

НОВАЯ
МИРА

НОВАЯ
МИРА

1967

8

1967

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 8

Август, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ	
Рассказывают министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР И. Ф. СИНИЦЫН и министр химической промышленности СССР Л. А. КОСТАНДОВ	3
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС — Стена (Поэма города). Перевел с литовского А. Межиров	19
М. РОШИН — С утра до ночи, рассказ	75
ЕВГЕНИЙ НОСОВ — Пятый день осенней выставки, рассказ	111
С. ЛИПКИН — Из лирики	129
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Дом Турбиных	132
ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР — О трудностях перевоспитания, стихи. Перевел с немецкого Лев Гинзбург	143
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ПОБОЖИЙ — Под небом Монголии	147
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ! — Л. Киселев. В Крыму. — П. Стрелянов. На Дону	179
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Полвека советской литературы</i>	
А. ТВАРДОВСКИЙ — Поэзия Михаила Исаковского	206
В. ЛАКШИН — Пути журнальные (Заметки о книгах по истории журна- листики)	229

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
Р. Мишин. Сердце «ничейного брата». — Н. Реформатская. Книга о книгах поэтов. — А. Горбунов. Хемингуэй — человек и писатель. — Б. Шнайдер. Современный эпос.	
<i>Политика и наука</i>	258
Ф. Кедров. Книга об академике И. В. Курчатове. — И. Карпенко. НОТ вчера и сегодня. — А. Кондратов. Взята ли этрусская Бастилия? — А. Гуревич. Наследие византийской цивилизации.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ — С. Лисичкин. Научным исследованиям — разумная организация	270
КОРОТКО О КНИГАХ — Ральф Паркер. Советский Союз продлил мне молодость. — С. Норильский. Н. М. Федоровский. — Грей Уолтер. Живой мозг. — А. Турков. От десяти до девяноста. — Ю. С. Мусабеков. Занимательные истории из жизни ученых. — Николай Амосов. Мысли и сердце. — В. И. Костин. Татьяна Алексеевна Маврина. — Л. Я. Резников. Горький и Север. — Ст. Рассадин. Так начинают жить стихом. — Ф. Сыркина. Александр Григорьевич Тышлер. — Бартоломе де Лас-Касас. К истории завоевания Америки. — Е. Черненко. Жизнь в саду	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

«Ключевой задачей в строительстве социализма явилась социалистическая индустриализация»,— читаем мы в Тезисах ЦК КПСС к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинский план ГОЭЛРО, первые пятилетки, годы войны и послевоенного подъема народного хозяйства — этапы большого пути социалистической промышленности. Этот путь наша страна прошла с огромным напряжением усилий, добившись громадных успехов. Годы героического труда народа и бурного экономического развития вывели нашу страну на одно из первых мест в мире по уровню промышленного развития.

«С вершины пятидесятилетия Октябрьской революции партия, советский народ осмысливают пройденный путь, чтобы еще лучше решать новые задачи»,— говорится в Тезисах. О пройденном пути и о новых задачах рассказывают читателям «Нового мира» руководители тех отраслей нашей промышленности, которых не знала старая Россия, которые родились в годы советской власти.

МАШИНЫ УЧАТСЯ И УЧАТ

Рассказывает министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР И. Ф. СИНИЦЫН

В начале тридцатых годов в серии «История заводов», затеянной Горьким, вышла книга «Люди Сталинградского тракторного». Составил ее Яков Ильин из рассказов людей, которые строили и пускали наш первый тракторный завод. Книгу эту я всегда беру в руки с большим волнением. Я сам работал на тракторном в начале пятидесятых годов, а в 1931—1932 годах, будучи студентом, проходил практику в том самом коллективе. Для нас стали легендой те первые годы. И сейчас эта старая книга, как ничто другое, помогает почувствовать атмосферу ушедших лет, понять, что означало для советских людей рождение тракторной промышленности.

Строительство завода на Волге всколыхнуло всю страну. Это событие горячо обсуждалось во всем мире. За тысячи километров собирались на стройку рабочие. В самые первые, еще пустые корпуса приходили крестьяне. Мерили шагами пролеты, хотели убедиться, что дело поставлено всерьез, что тракторы для колхозов будут.

Сейчас мы богаты. У нас столько тракторных заводов, что как-то даже об идного незаметно проходит рождение еще одного гиганта в Павлодаре. Это будет близнец Волгоградского,— конечно, не старого, а нынешнего, реконструированного по современному проекту, оснащенного новейшими станками и автоматическими линиями.

А тогда рождался первый тракторный. Строго говоря, самый первый советский тракторный завод был пущен гораздо раньше в городе Марксе. Там выпускали небольшие тракторы «Карлик» с нефтяным двигателем. Тот завод был построен по указанию Ленина. Но был он небольшой и не мог знаменовать подлинное рождение отрасли. Волгоград-

ский завод вошел в историю как первенец тракторостроения, рожденный эпохой индустриализации.

Даже тем, кто видел то время своими глазами, нелегко бывает вспомнить сейчас, как все это выглядело. Людям помоложе и вовсе невозможно представить все то, что встает со страниц старой книги. Одна из глав ее называется так: «Да, мы ломали станки». Эту главу написал Л. Макарьянц — комсомолец, рабочий, приехавший на Волгу с московского завода. Даже для него были дивом американские станки без ременных трансмиссий, с индивидуальным мотором. Он не умел с ними обращаться. А что говорить о крестьянах, пришедших из деревни? Были и неграмотные — читать и писать было для них проблемой.

Все было тогда проблемой. Не было ложек в столовой — с этим справились, когда приехал на завод Орджоникидзе и потребовал навести порядок. Были проблемой клопы в бараках — вывести их заставил секретарь ЦК комсомола А. Косарев.

А вот что писал в книге первый директор завода В. Иванов:

«В механосборочном цехе я подошел к парню, который стоял на шлифовке гильз. Я предложил ему:

— Померь.

Он стал мерить пальцами... Инструмента, мерительного инструмента у нас не было!»

Сейчас, перешагивая славный полувековой рубеж, нам надо в подробностях помнить все это. Помнить, как создавалась промышленность, вышедшая ныне на первое место в мире по производству тракторов. Помнить, в каких условиях первый тракторный гигант был за год построен и за год пущен на полную мощность. Ведь все это сделано в стране, где еще в 1910 году более двух третей почвообрабатывающих орудий были деревянными.

Теперь мы неизмеримо сильнее и богаче. Но задачи развития отрасли ничуть не проще — наоборот, гораздо сложнее и многообразнее, чем прежде. Достаточно обширны даже проблемы чисто количественного роста в текущей пятилетке. Выпуск тракторов нужно увеличить с 355 тысяч до 600—625 тысяч штук. Примерно вдвое увеличивается и производство сельскохозяйственных машин.

Обеспечить такой рост — задача сама по себе достаточно серьезная, но это еще не самое трудное из того, что должны сделать в ближайшие годы работники отрасли. Главная наша забота сейчас — обеспечить создание и увеличить производство машин, которые позволят комплексно механизировать все трудовые процессы в сельском хозяйстве. Все эти машины собраны в так называемой системе машин, которую разработали ученые в содружестве с практиками. Сама разработка этой системы машин потребовала многолетнего труда десятков научно-исследовательских институтов разных отраслей, вузов, опытных станций, специалистов нескольких ведомств. При этом была учтена технология возделывания и уборки сельскохозяйственных культур в разных зонах. В результате получился солидный том — своего рода закон для конструкторов, производителей и других работников нашей отрасли. Согласно этой системе на предприятиях нашего министерства необходимо выпускать около тысячи различных машин, механизмов, приспособлений. Мы сейчас выпускаем свыше 500, но пятая часть из них должна быть заменена новыми моделями в течение пятилетки. Только в нынешнем году испытываются образцы примерно 700 новых машин.

Эти цифры дают некоторое представление о том, каков объем работы, выполняемой в годы пятилетки. Но они отражают далеко не все. Ведь мы должны выпускать машины, не уступающие лучшим мировым образцам. Значит, новая машина в момент ее создания должна быть

лучшей в мире. А чтобы она была действительно лучшей, требуется многое. Нужны новые конструктивные решения, новые материалы, новое оборудование и — может быть, всего важнее — рост сознания людей, которые создают машину, а также работающих на ней.

Да, психологическая ломка — это самое важное и самое трудное. Многие еще помнят путиловские «Фордзоны» двадцатых годов — тракторы, которые на пахоте с трудом конкурировали с быками. Еще больше людей, которые помнят «Универсалы», — их много тысяч было на полях уже после войны. Трактор этот требовал от человека весьма невысокой технической квалификации, но зато изрядной физической силы. Эти воспоминания еще свежи, но сегодня они обманывают. Они сохраняют представление о тракторе как о машине грубой, грязной, тихоходной, простой, не требующей особых знаний. Между тем трактор стал машиной сложной, точной, быстроходной, он требует грамотного ухода и обширных знаний. За это он платит высокой производительностью и удобством в работе, экономическим эффектом.

Наши тракторы за исключением немногих устаревших имеют хорошие показатели производительности, скорости, веса, расхода горючего. Изменился даже характер замечаний в заключениях государственных комиссий по испытаниям тракторов. Замечания делаются такие: еще велик шум, не подрессорены сиденья, нет в кабине наиболее благоприятного микроклимата. Вот о чем сейчас хлопочут конструкторы.

Главные тенденции развития конструкций тракторов и сельскохозяйственных машин — рост энергонасыщенности, скорости, ширины захвата, повышение надежности и все большие удобства для человека. Сейчас Харьковский и Волгоградский заводы, институт НАТИ создают 150-сильный трактор, который сможет работать на поле со скоростью до 15 километров в час, по производительности превзойдет в два с половиной раза лучшие из существующих у нас сельскохозяйственных тракторов, а удельный расход металла будет всего 40 килограммов на лошадиную силу, — в мире подобных нет.

Да что трактор! Наши конструкторы научили сельскохозяйственные машины вещам поистине удивительным. Еще не так давно трудно было поверить, что можно механизировать, например, сбор чайного листа. Ведь надо собрать с куста только нежные молодые побеги и почки, а остальные оставить. Однако такая машина создана, она «ощупывает» куст и снимает только те листья, какие нужно. В 1967 году коллектив тбилисских ученых и конструкторов во главе с Ш. Кереселидзе получил Ленинскую премию за создание чаесборочной машины «Сакартвело». Другую Ленинскую премию юбилейного года получили конструкторы П. Глазатов, А. Приходько, В. Тютюков, М. Марков и бригадиры-хлопководы Гурсуной Ахунова и Д. Кучиев за создание и внедрение в сельском хозяйстве хлопкоуборочной машины.

Не надо думать, что это было легко. Чаесборочная машина создавалась с 1950 года. Первая модель хлопкоуборочной машины, вышедшая на поля еще в 1949 году, оказалась неработоспособной. И только в 1959 году упорные усилия конструкторов позволили создать машину, ставшую прообразом нынешней. Но еще пять лет люди «учили» ее лучше, полнее собирать хлопок, доводили конструкцию.

Но и машина в свою очередь многому учит людей. Эти машины никак не назовешь простыми, в них сложная кинематика, гидравлика. А в насосных станциях и поливочных машинах, создаваемых по решению майского (1966 года) Пленума ЦК КПСС, применяется электроника. Да и обычные детали машин должны стать иными. Нужна более точная обработка поверхностей — это повышает долговечность трущихся дета-

лей. Нужно более широко применять термическую обработку для повышения прочности, смелее использовать низколегированные стали.

А это значит, что новыми представлениями о современном тракторе, о современной сельскохозяйственной машине должны проникнуться не только те, кто ими пользуется, но и те, кто производит и поставляет для них металл, резиновые изделия, краску. Мы постоянно сравниваем свою продукцию с лучшими мировыми образцами — обычно европейскими или американскими. Наши тракторы и сельскохозяйственные машины последних марок выдерживают такое сравнение — это подтверждается и тем, что их охотно покупают разные страны, включая развитые промышленные страны Западной Европы. Советские машины не уступают зарубежным по основным техническим характеристикам. Но есть вещи — еще недавно, казалось, несущественные, — в которых мы отстаем. Недостаточно прочными оказываются крепежные изделия — болты, гайки, шпильки и т. п. Непрочна и некрасива окраска. Низко качество резиновых деталей — кто не видел потеки масла на наших машинах: из-за плохой резины протекают соединения.

Значит, и смежным отраслям надо изменить свое отношение к трактору. Мы могли бы предъявить много претензий, скажем, к металлургам, от которых еще мало получаем прочных сталей и сплавов, точных заготовок. Ведь более прочную заготовку для болтов они могли бы нам дать — мы сами взять не можем: оборудование наших заводов приспособлено только для обработки крепежа из мягкой стали.

Я видел американские и английские заводы. Надо сказать, в конструкции машин и технологии производства у них и у нас большой разницы нет. Разница, однако, в чистовой обработке деталей: у них она гораздо чище, а от этого зависит долговечность изделий. Далее, у них есть гамма станков, обеспечивающих высокую точность обработки — вовсе не везде подряд, а лишь для тех деталей, главным образом трущихся, где большая точность дает большую долговечность. Это коленчатый вал, гильза, шатун, плоскостные детали, топливная аппаратура.

Разительно опередили нас американцы и англичане по использованию электронно-вычислительной техники. На крупных заводах тракторного и сельскохозяйственного машиностроения инженерные и экономические расчеты, оперативный учет — все механизировано. Электронно-вычислительная машина помогает рассчитать разные варианты технологии, подсказывает, как лучше раскроить металл, при организации нового производства сообщает, где окупятся большие предварительные затраты, а где лучше обойтись оснасткой победнее.

Вот в этих направлениях мы и работаем сейчас усиленно. Вместе с министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления К. Н. Рудневым выделили для начала шесть наиболее подготовленных заводов — в их числе Минский, Волгоградский, Челябинский тракторные, Ростсельмаш и другие, — где создадим первые системы управления с помощью электронно-вычислительных машин. Минский завод, который работает в этой области наиболее успешно, будет уже через год на уровне американских фирм по использованию современной вычислительной техники.

Разработана новая гамма красок, которые мы хотим получать от химиков. Это важная вещь — краска. Она не только металл защищает от ржавчины — она и человеку рассказывает о машине. Одно отношение к машине темно-коричневой и совсем другое к светло-желтой, голубой, серебристой, оранжевой. На светлой, яркой краске грязь видна сразу, эта краска заставляет лучше ухаживать за машиной. И может быть, именно с помощью новой окраски удастся довести мысль о том, что трактор сегодня не тот, что прежде.

Наше дело — производить машины, но с этим делом нельзя хорошо справляться, не думая о том, как организована их эксплуатация. А в этом многое нас не удовлетворяет. Машины служат меньше, чем могли бы при нынешнем качестве, списываются слишком рано. Зерноуборочные комбайны, например, в целом по стране не отрабатывают положенных восьми лет, и за последние годы парк их растет очень медленно, несмотря на быстрый рост производства. В ремонте выбрасывается много запасных частей, еще годных для дальнейшего использования. Нам кажется, корень зла здесь в том, что нет строгого технического руководства и контроля за эксплуатацией тракторов и сельхозмашин, нет настоящей помощи колхозам и совхозам в этом деле. Организации Сельхозтехники обслуживают по договорам слишком малое число техники колхозов и совхозов. Каждый год в самую горячую пору уборки из-за технических неисправностей простаивает значительная часть комбайнов и тракторов.

Думается, было бы полезно организовать государственную техническую инспекцию по надзору за эксплуатацией машинно-тракторного парка. Возложить на нее не только контроль, но и помощь колхозам и совхозам в овладении техникой, рассмотрение и удовлетворение на месте рекламаций, проверку подготовленности механизаторских кадров.

Мы живем в век специализации. Самостоятельными отраслями являются сейчас не только производство машин на заводах и эксплуатация их в сельском хозяйстве. Самостоятельной отраслью стали также сбыт и обслуживание машин. Недаром в Болгарии, США и других странах существуют специальные фирмы, которые не только продают тракторы и сельхозмашины, но и следят за их эксплуатацией, оказывают техническую помощь земледельцам. Думается, и у нас вокруг такой инспекции могла бы постепенно вырасти система хозрасчетных организаций (трестов ли, фирм, объединений — дело не в названии), которые бы связывали экономически нашу отрасль с сельским хозяйством. Мне мыслятся именно хозрасчетные организации, которые оказывают услуги за плату и таким образом отвечают рублем за качество своей работы.

Они смогли бы обеспечить и обратную связь от сельского хозяйства к промышленности. Это очень нужно нам. Здесь я хочу привести интересный документ, к которому следовало бы обращаться почаще: в апреле 1921 года В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о сельскохозяйственном машиностроении. Приведу три его пункта.

«1. Признать сельскохозяйственное машиностроение делом чрезвычайной государственной важности.

2. Поручить Народному Комиссариату Земледелия в месячный срок определить типы сельскохозяйственных машин, подлежащих изготовлению, а также разработать и представить Высшему Совету Народного Хозяйства сводку потребности в сельскохозяйственных машинах и орудиях, в которой было бы детально указано количество требуемого инвентаря по каждому типу в отдельности и район их потребления.

3. Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства, руководствуясь заданиями Народного Комиссариата Земледелия, разработать в срочном порядке генеральный план организации сельскохозяйственного машиностроения по принципу массового производства и специализации его. Указанный план вместе с программой постепенного его осуществления представить Совету Народных Комиссаров не позднее конца 1921 года».

Здесь хочется подчеркнуть не только бесконечно дорогую нам заботу В. И. Ленина о нашей отрасли. Хочу обратить внимание на характер поручений Совнаркома ведомствам и на сроки исполнения. Вчитайтесь в это: «типы сельскохозяйственных машин, подлежащих изготовлению»; «сводка потребности в сельскохозяйственных машинах и орудиях, в ко-

торой было бы детально указано количество требующегося инвентаря по каждому типу в отдельности и район их потребления». Ведь это то самое, что нам необходимо знать в первую очередь и сегодня. Типы машин мы знаем. А размер потребности в каждой из них в целом и по районам? А соотношение цен на взаимозаменяемые машины?

Удовлетворительного ответа на такие вопросы от Министерства сельского хозяйства СССР мы получить пока не смогли. Но, может быть, министерству легче было бы дать такой ответ, если бы оно опиралось на сеть таких хозрасчетных фирм-посредников, которых тесно свяжут с колхозами и совхозами общие экономические интересы.

Сейчас ясно лишь, что такие посредники нужны — организационные формы и конкретные методы пока рекомендовать трудно. Практика экономической реформы, проводимой в стране, со временем даст ответ, как все это должно выглядеть. На предприятиях нашей отрасли реформа уже изменила многие привычные представления.

Первыми в нашей отрасли еще весной 1966 года перешли на новую систему планирования и экономического стимулирования девять наиболее рентабельных предприятий. Среди них Ростсельмаш, Онежский тракторный, Винницкий агрегатный... Вероятно, нет нужды подробно рассказывать, какой эффект дала новая система хозяйствования на этих, а затем и на других заводах: это уже не раз описано в печати. Было то же, что и везде: рост заинтересованности людей в труде на благо общества, а на этой основе — повышение производительности труда, быстрое расширение производства и улучшение его организации, увеличение прибыли предприятий и отчислений в бюджет государства.

Думается, анализ работы этих коллективов делается не для того, чтобы лишний раз сказать: реформа — это хорошо, польза от проведенной перестройки есть. Конечно же, есть польза, иначе и быть не могло. Но сейчас нас больше интересует другой вопрос: как реформе развиваться дальше, как обеспечить еще большую эффективность мер, принятых по решению сентябрьского Пленума?

И здесь, как и в решении других проблем, перестройка сознания людей оказывается самым важным делом. Что премия больше, если больше прибыль предприятия, — такая премудрость до любого доходит сразу. Что для увеличения прибыли надо реализацию продукции наращивать, а затраты снижать — это тоже всем понятно. Однако перспективу развития экономики в новых условиях, глубинные тенденции реформы улавливают еще не все.

Первый быстрый и заметный успех предприятий, перешедших на новую систему, объясняется в значительной степени «снятием сливок», то есть использованием резервов самых близких, лежащих на поверхности. Были, скажем, у предприятия большие запасы готовых непроданных изделий. На показателе валовой продукции это не сказывалось: сложил на склад, и ладно. Теперь новый показатель реализации заставил бытовые и финансовы службы расшевелиться, запасы растаяли. Значит, в первые месяцы продали больше, чем произвели, за счет старых запасов. Это, конечно, полезно, но запасов-то больше нет. Чтобы и дальше в таком же темпе наращивать реализацию, надо копать глубже. Вот это умеют не все.

Некоторые руководители заводов стали сдерживать капиталовложения, поняв по-своему введение платности производственных фондов. Между тем эта важная экономическая мера принята вовсе не для того, чтобы замедлить рост основных фондов. Смысл ее в ином: в принуждении к более эффективному использованию как имеющихся мощностей, так и новых вложений. Стало быть, в расширение производства и обнов-

ление оборудования сейчас надо не меньше вкладывать денег, а может быть, даже больше, чем прежде,— недаром же предприятия получили свой фонд развития производства, недаром облегчено получение банковских кредитов на эти цели. Но расходовать эти средства надо разумно, с уверенностью в высокой отдаче: предприятие теперь в отличие от прежних лет несет за это материальную ответственность, интенсивность использования основных фондов сказывается на прибыли.

Реформа не терпит робких. Она требует смелых экономических решений. Осторожничание, бездеятельность не принесут успеха в новых условиях. Думается, главная задача сейчас — создать надежную, всепроникающую систему хозрасчета, связывающую воедино экономические интересы государства, каждого предприятия и каждого работника. Нам крайне необходимо налаженное нормативное хозяйство — пока оно очень слабо, и нам придется много заниматься его укреплением. Необходимо также подчинить общим экономическим интересам каждого — будь то рабочий или нормировщик, бухгалтер или конструктор.

Технолог нашел новую операцию, которая позволяет сделать деталь прочнее. Очень хорошо. Но пусть не думает, что его миссия на этом закончена. Новая операция втрое дороже старой. Предположим, она нужна. Тогда найди в другом месте: где можно соответственно удешевить технологический процесс?

Конструктор предлагает усовершенствование. Прекрасно. Однако машина стала в производстве дороже на десять рублей — где их взять? Сядь и подумай еще. Шутка сказать, за 1966 год конструкторы дали нам по отрасли удорожающих факторов на несколько миллионов рублей. Мы им говорим: «Что же останется через три года от новой системы хозяйствования при такой работе? Рентабельность производства должна расти — это ведь и вас касается».

Нужна детально разработанная система, делающая экономистом каждого. Хозрасчет возможен и нужен в любом звене производства. Даже в таком, например, как капитальный ремонт — я имею в виду рациональность расходования средств на эти цели. Мы издали приказ по министерству, запрещающий тратить деньги на капитальный ремонт здания или машины, если при этом достигается только сохранение их в прежнем виде. Ремонтируешь — добейся и морального обновления, добейся усовершенствования за те же деньги. Не видишь такой возможности — не тратьсь на ремонт, покупай новое.

Многое в ходе реформы надо пересмотреть. Почему конструкторы рвутся только к новым машинам, а о прежних своих детищах не думают? Создал — и забыл. Машина не растет, а она, может быть, имеет много недостатков, которые можно устранить, не меняя в принципе конструкцию. Дело в том, что конструктору платят большую премию за новую машину, но не вознаграждают соответственно труд по совершенствованию старой. А модернизация часто дает эффект больший и почти всегда быстрее, чем рождение принципиально нового. Новый комбайн Ростсельмаша будет на 50 процентов производительнее ныне выпускаемого. Но его создание и освоение требует много времени и денег. Между тем за счет модернизации можно и нынешний существенно улучшить, поднять производительность на 25 процентов. И это можно сделать быстрее и дешевле, не перестраивая радикально производство. Почему нам отказываться от такой возможности? Мы ведем и ту и другую работу, и конструктор должен быть материально заинтересован в модернизации.

Экономика диктует нам ряд важных шагов. Министерство, в частности, поставило перед собой цель создать единую систему организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы провели реорганизацию технологических, научно-исследовательских, проектно-

конструкторских институтов и конструкторских организаций. Основным принципом ее была специализация и улучшение координации их деятельности. Теперь отдельный институт целиком определяет политику в соответствующей области производства, несет ответственность за ее техническое развитие.

Привлечение ученых и конструкторов к разработке и проведению в жизнь единой технической политики в отрасли уже начинает давать ощутимые результаты. Давно уже определилась тенденция переносить все большую долю трудовых затрат при изготовлении машин в заготовительные цехи: литейные, кузнечно-прессовые, металлоконструкций и т. д. Литье, поковки, штамповки все больше производят на специализированных заводах. Сейчас она дополняется новой тенденцией: специализировать и выделять в отдельные предприятия конструкторские и технологические службы, инструментальные и ремонтные цехи. Ряд крупных заводов, например Волгоградский, мы уже лишили своих инструментальных цехов и создали вместо них в Волгограде крупный инструментальный завод. Здесь тоже психологическая сторона, столкновение разных мнений играет не последнюю роль. Кое-кому непривычно, боязно остаться без «своего» цеха. И мы эту боязнь понимаем: ведь людям отвечать за производство — а что, если не обеспечат инструментом? Эти опасения идут из прошлого. А сегодня мы убеждаемся в эффективности нового: специализированный завод делает инструмент дешевле и лучше, дает его больше.

Важно и то, что крупнейшие наши заводы сосредоточатся на главном: выпуске тракторов и сельхозмашин. А все обслуживание возьмут на себя специализированные предприятия и организации. Они будут проектировать и конструировать, централизованно готовить всю оснастку для производства новых машин, вести ремонт и техническое перевооружение, оказывать транспортные и другие услуги.

Практика хозяйственной реформы также показывает, что для квалифицированного управления предприятиями требуется переход к качественно новым методам работы, основанным не на субъективном администрировании, а на использовании экономических методов. В ходе реформы явственно обнаружилось, что прежние методы управления недостаточно эффективны. Это сказывается как внутри предприятия, так и вне его. Оценка работы управленческих подразделений завода плохо увязывается с планированием и оценкой работы всего коллектива. Функциональные службы завода не переведены на хозяйственный расчет, а это снижает их ответственность за результат работы.

В новых условиях изменяется и характер отношений в системе завод — главк — министерство. Нам сейчас необходимо не только четко определить права и обязанности каждого работника аппарата заводоуправления, главка, министерства, но и выработать научные критерии оценки их способностей, результативности, деловитости.

Венцом всей этой работы должно стать внедрение хозрасчета в управление. Это предрассудок, будто руководители, стоящие над предприятием, могут работать лишь на чисто административных началах. Экономический интерес возможен и полезен и здесь, он заставляет и самого добросовестного работника по-новому присмотреться к своему делу. В системе нашего министерства появился один из первых в стране хозрасчетных главков — Главкомбайнпром, расположенный в Ростове и управляющий десятками предприятий, в том числе и весьма крупных. Опыт хозрасчетного управления пока невелик, говорить о нем рано, но мы уверены в успехе этого дела, как и всех дел, задуманных сентябрьским Пленумом ЦК и XXIII съездом партии.

Беседу записал Т. Смирнов.

КОНКУРИРУЯ С ПРИРОДОЙ

*Рассказывает министр химической промышленности СССР
Л. А. КОСТАНДОВ*

Наш век — «атомный», «электронный», «космический» — принято также называть «веком химии». На пороге пятидесятилетия советской власти оглянемся назад и посмотрим, с чего начинала наша отечественная химическая индустрия, — без этого невозможно представить путь, который она прошла.

Первые химические заводы появились в России еще в XVIII веке. Однако вплоть до Октябрьской революции масштабы и технический уровень химического производства оставались низкими. Царская Россия так и не сумела создать для него машиностроительной и сырьевой базы. Не было и своих инженерных кадров. При наличии огромных, практически неисчерпаемых ресурсов химического сырья эта отрасль работала в основном на импортном сырье: фосфориты ввозились преимущественно из Африки, колчедан — из Испании, сера — из Италии, калийные соли, многие полупродукты для производства красителей, да и сами красители — из Германии. Поэтому и размещались заводы — потребители этого сырья главным образом в западных и южных районах страны, вблизи границ и морских портов. Понятно, что ни о каком развитии химических производств на территории Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Средней Азии, где сосредоточены огромные сырьевые и энергетические ресурсы, не приходилось и говорить.

Хочу напомнить: при царизме химическая промышленность России находилась в руках иностранных фирм. В 1911—1917 годах акционерный капитал этой отрасли составлял 166,9 миллиона рублей, в том числе половину — иностранный. Анилинокрасочная и химико-фармацевтическая промышленность находилась в монопольном владении германского капитала, французам принадлежали парфюмерные фабрики, туковый завод, карбидный завод «Нептун», лакокрасочные, коксобензолные и другие предприятия.

Отсталость химической промышленности дореволюционной России от тогдашнего уровня ее в развитых капиталистических странах была значительной и очевидной.

Вот почему мы с полным правом говорим, что наша нынешняя вполне современная и мощная химическая индустрия создана фактически за годы советской власти.

Владимир Ильич Ленин, превосходно разбиравшийся в значении и развитии естественных наук, очень высоко оценивал роль химии в народном хозяйстве. Его внимание не раз останавливалось на новых идеях в области химического производства. Так, идее подземной газификации угля Ленин еще в 1913 году посвятил специальную статью в «Правде».

С первых же дней советской власти Ленин предпринимает практические шаги для создания химической промышленности и фундаментальной химической науки. Особенно же поражает то, что уже в 1918 году, когда народная власть делает свои первые шаги в разоренной дотла и обескровленной войной стране, когда каждый кусок хлеба, угля и дров — на вес золота, когда со всех сторон на Советскую республику насаждают вооруженные интервенты, когда вся страна находится в голодной блокаде, — Ленин дает указание создать химические научно-исследовательские центры.

Не буду перечислять, что делалось для развития химии в годы пятилеток. Это общеизвестно. Скажу сразу о результатах.

Ныне в Советском Союзе созданы крупнейшие современные отрасли по производству пластических масс, синтетических смол, химических волокон, синтетических каучуков, химических средств защиты растений, автомобильных шин и многих других изделий и продуктов. Эти отрасли во многом определяют технический прогресс всей промышленности.

В минувшем году химики изготовили свыше 200 тысяч тонн химических средств защиты растений, около миллиона тонн пластических масс и синтетических смол, около 400 тысяч тонн химических волокон, около 30 миллионов штук автомобильных шин.

В 1967 году объем валовой продукции нашей отрасли в триста раз больше, чем он был в 1913 году. Среднегодовой темп прироста достиг 14 процентов. Это в полтора раза выше, чем средний темп прироста по всей промышленности СССР.

Отечественная химическая индустрия сейчас прочно занимает второе место в мире. По объему выпускаемой продукции она оставила далеко позади ведущие капиталистические страны Европы — Англию, Францию, ФРГ, Италию. И все же, несмотря на столь очевидные успехи, мы пока не можем, к сожалению, сказать, что все потребности народного хозяйства в продукции нашей отрасли удовлетворены.

В решениях XXIII съезда партии намечено в ближайшие годы расширить многие предприятия и построить новые. Однако и после этого в 1970 году наша промышленность еще не сможет полностью удовлетворить все нужды различных отраслей народного хозяйства СССР в химической продукции. Объясняется это тем, что химическим материалам в разных отраслях промышленности и техники предстоит играть все более важную роль.

Химия — одна из древнейших областей человеческой деятельности, но и сегодня она принадлежит к числу наиболее прогрессивных. На наших глазах происходит великая научно-техническая революция, невиданная по своей глубине и размаху. Естественные науки ныне вышли на новые рубежи — на рубежи познания явлений природы на молекулярном и субмолекулярном уровне. Это открывает возможности создавать на том же уровне и технологические процессы.

На смену длительному, медленному развитию техники методом проб и ошибок пришло быстрое создание новых производств на базе познаваемых закономерностей строения вещества. Использование природных материалов сменяется созданием искусственных, которые по качеству не уступают первым, а нередко даже обладают такими свойствами, которых нет у натуральных веществ.

Конечно, и в прежние времена люди создавали искусственные материалы — так были получены бронза, сталь, стекло. Однако теперь этот процесс проник в область органической химии и охватывает всю сферу вещей, служащих нуждам человека. На наших глазах синтетика вытесняет природные материалы в одежде, обуви, предметах домашнего обихода. Все больше применяются они в мебели, деталях отделки жилищ и т. д. Эти синтетические материалы очень красивы, прочны, они дешевле природных и быстро приобретают популярность.

Еще быстрее новые синтетические материалы вторгаются в сферу тяжелой промышленности, в строительство, транспорт, связь и особенно в области новейшей техники — энергетику, радиоэлектронику, приборостроение, атомную и ракетную технику.

В современных условиях ни одна новая конструкция машины, аппарата или прибора любого назначения не может обойтись без тех или

иных видов синтетических материалов. И это вполне естественно. Возьмите пластические массы. Многие из них служат прекрасным конструкционным материалом, с успехом заменяя дерево, металлы, стекло. Причем пластики значительно превосходят традиционные материалы в долговечности и стойкости к различным внешним воздействиям. Трубы из пластических масс не подвергаются коррозии и поэтому могут служить практически неограниченный срок.

Скажу еще об одной особенности пластических материалов: их удельный вес в пять—семь раз меньше удельного веса металлов, особенно цветных. Пластмассы в качестве заменителей цветных металлов применяются теперь так широко, что их выпуск по объему превосходит выпуск всех цветных металлов, вместе взятых.

В прежние времена в качестве уплотняющих материалов широко применялась кожа, замененная впоследствии резиной на основе натурального каучука. Теперь для этой цели применяется целая гамма синтетических каучуков и других искусственных эластиков, все в меньшей степени обладающих недостатками природного вещества (малая термостойкость, быстрое старение и т. п.).

В промышленной технике самое широкое применение находят синтетические и стеклянные волокна. Пятнадцать лет назад автомобильные шины изготовлялись из хлопчатобумажного корда и натурального каучука. Теперь покрышки делаются полностью из синтетических материалов. И заметьте: это не только не снизило качества шин, но их пробег и долговечность значительно выросли. Из стеклопластиков, где в качестве наполнителя применены стеклянные волокна, уже сейчас с успехом изготавливаются корпуса автомобилей, лодок, катеров, вагонов, угольных тележек. Конструкции эти отличаются легкостью, а их технические и эксплуатационные характеристики очень высоки.

Нет сомнения, что в ближайшие годы передовые области техники все шире будут применять новые синтетические материалы. Одновременно резко повышаются требования к их физико-химическим свойствам. Например, невозможно осваивать космос или применять в мирных целях атомную энергию, не имея химических материалов, способных выдерживать крайне низкие и тысячеградусные высокие температуры, сверхвысокие давления и глубочайший вакуум, жестокие агрессивные среды и другие тяжелые внешние воздействия.

Советские химики более или менее успешно решают эти весьма сложные задачи, но все же не поспевают за ростом требований к новым материалам. Вот, например, органические соединения. Они весьма быстро разрушаются при повышении температуры и еще быстрее теряют эластичность и упругость. Между тем современная авиация и ракетная техника постоянно требуют уплотняющих материалов, которые стойко служили бы при больших температурах --- неизбежных спутниках высоких скоростей. Ради этого советские ученые разработали методы получения материалов нового класса — кремнийорганических и элементоорганических соединений. Они соединяют в себе достоинства продуктов органического синтеза со стойкостью к внешним воздействиям, присущей неорганическим веществам. Сейчас идет активный поиск таких пластмасс, каучуков, волокон, клеев, лаков, эмалей и красок, которые были бы устойчивы при высоких температурах.

Радиоэлектронная техника требует от химиков способ чистых веществ для полупроводников. И в этой области советская промышленность добилась определенного успеха. Мы научились создавать продукты такой чистоты, в которых содержание различных примесей доведено до минимальных долей процента. При этом обнаруживается пора-

зительный эффект: давно привычное химикам вещество, стоит лишь удалить из него посторонние примеси, обретает совершенно новые, удивительные свойства. Это направление в развитии химической науки и в промышленности в последующие годы будет усиленно развиваться.

Наконец, хочу назвать еще одну группу веществ, которые применяются при разных технологических процессах в виде небольших добавок. Это так называемые поверхностно-активные вещества. Их множество, и применяются они повсюду. Некоторые из них способствуют облагораживанию текстильных материалов. После специальной обработки нитей ткани не мнутся, не «салятся», отталкивают влагу.

Такие вещества не выпускаются миллионами или даже сотнями тысяч тонн. Нет, их «тираж» скромн — не более сотен тонн. Но по своему значению они соперничают с многотоннажной химической продукцией. Приведу только один пример. Если такой препарат — деэмульгатор — добавлять в небольших дозах в сырую нефть, в ней резко снижается содержание влаги. Продукт становится более качественным, удобным для переработки и перевозок. Только на внешнем рынке за нефть, обработанную деэмульгатором, Советский Союз может получать дополнительно около 600 миллионов рублей в год.

До сих пор мы вели речь о промышленности. Ну, а какие перспективы химизации сельского хозяйства? Прежде чем ответить, скажу несколько слов об одном распространенном заблуждении. Очень многие люди, не связанные с сельским трудом, представляют себе дело так: химизация сельского хозяйства означает, что в почву при посевах вносят все больше минеральных удобрений. Однако это далеко не все.

Роль минеральных удобрений, бесспорно, велика, но химизация заключается еще и в том, что многие механические процессы в сельском труде заменяются химическими.

И все же разговор о химизации я начну с удобрений. Это самая многотоннажная и массовая наша продукция для села. Туковая промышленность создана в стране практически в послевоенные годы. В 1945 году мы произвели удобрений всего лишь немного более одного миллиона тонн, а в прошлом году их выпуск достиг почти 36 миллионов тонн. Это почти столько, сколько изготовлено туков три года назад в США.

Однако успех в этом деле определяет даже не столько количество удобрений, сколько их ассортимент и качество. Важно перейти с выпуска простых туков, где велика доля балласта, на изготовление химических с высокой концентрацией полезного вещества и с содержанием двух, а то и всех трех главных веществ плодородия — азота, фосфора, калия.

Есть у нас тут существенные достижения: почти половина туков поставляется в хозяйства в виде концентрированных и сложных. Из года в год возрастает доля гранулированных удобрений взамен порошкообразных.

Вместе с тем работники сельского хозяйства высказывают много жалоб из-за крайне небрежной упаковки удобрений, из-за того, что туки слеживаются в пути и в местах хранения, засоряются. Главная же причина их недовольства — невысокое содержание в удобрениях питательных веществ. Из-за этого приходится перевозить с заводов на склады и затем на поля огромное количество балласта.

Мы понимаем справедливость этих нареканий. В ближайшие три года мы имеем в виду создать промышленную технологию получения новых видов высококонцентрированных, сложных удобрений, в том числе на базе полифосфорной кислоты. Они будут поставляться в хозяйства в форме неслеживающихся крупных кристаллов и жидкостей, то есть в

том виде, в каком их удобнее вносить в почву. Предполагаем также, что многие туки одновременно будут содержать стимуляторы роста и микроэлементы, которые играют в жизни растений роль витаминов.

Мы, химики, со своей стороны тоже хотели бы предьявить претензии сельскохозяйственным организациям. Научно-исследовательские институты и опытные участки Министерства сельского хозяйства еще не могут дать колхозам и совхозам обоснованные рекомендации: как правильнее, рациональнее использовать удобрения под зерновые и овощные культуры. Сейчас пока определены наилучшие способы подкормки лишь для посевов хлопка и сахарной свеклы.

Организациям Союзсельхозтехники надо много потрудиться, чтобы привить работникам колхозов и совхозов бережное отношение к тукам, научить их правильному хранению. Тогда потери ценных химикатов станут меньше. Сейчас-то они достигают порой пятой части!

Теперь остановлюсь на второй стороне химизации сельского хозяйства. В полевых работах есть немало вспомогательных операций, очень трудоемких и кропотливых. Достаточно назвать прополку, борьбу с вредителями и болезнями растений, удаление листьев перед машинной уборкой хлопчатника. Все эти процессы теперь выполняются при помощи химических препаратов. Еще в начале прошлой семилетки мы давали селу шесть видов таких препаратов. Сегодня их уже пятьдесят.

Многие из этих соединений — сильные яды. Надо ли лишний раз говорить о том, сколь умело и осторожно следует ими пользоваться!

К сожалению, иногда людей, которым вручают ядохимикаты, плохо инструктируют. А ведь всякая небрежность, неумелое обращение с этими опасными веществами могут кончиться плохо. В нашей печати уже были сообщения о таких случаях. Поэтому сейчас Министерство химической промышленности наметило в качестве одной из важнейших научно-исследовательских работ такую задачу — создать средства для борьбы с сорняками, вредителями, паразитами и болезнями сельскохозяйственных культур и лесов, которые будут безопасны для человека, домашних животных и полезных насекомых.

Много надежд мы возлагаем на новую отрасль современной химии — микробиологическую промышленность. Ее значение для сельского хозяйства заключается вот в чем: биологические препараты, добавляемые в корм мясному животному, помогают им быстро прибавлять в весе.

Говоря о проникновении химии в деревню, хочу еще добавить, что там все шире начинают применять полимерные материалы. Приведу пример. Сооружение парников и оранжерей недешево обходится хозяйствам из-за дороговизны силикатного стекла. Ныне его с успехом заменяет легкая пластмассовая пленка. Ранние овощи под нею вызревают даже быстрее, потому что полиэтилен в отличие от стекла пропускает ультрафиолетовые лучи.

Такую же пленку используют мелиораторы: ею выстилают каналы, чтобы вода не уходила в почву. Из пленки клеят и легкие переносные трубы для полива посевов. Конечно, мы пока выпускаем таких пленок мало. Куда меньше, чем требуется.

Сейчас мы стремимся вырабатывать побольше пластмасс, пригодных для переработки в пленку. Думаю, что недалеко то время, когда сможем удовлетворить нужду колхозов и совхозов в пленочных материалах.

В последнее время в нашей стране быстро растет производство потребительских товаров. Как скажется развитие химии на различных сторонах быта советских людей? Если внимательно приглядеться, то мы увидим, что сейчас химические изделия сопутствуют человеку всю жизнь,

с самого рождения. Просто мы привыкли к этому и не замечаем. Действительно, соска, которую мы надеваем на бутылку с молоком, губка, которой младенца моют, клеенка, мыло, яркие игрушки и многое, многое другое — все это продукты химической промышленности. Я уже говорил, что естественные природные материалы все больше вытесняются искусственными, синтетическими. Это в равной мере касается одежды, обуви, предметов домашнего обихода, мебели, отделочных материалов. Обратимся для примера к текстильной промышленности. В минувшей семилетке больше чем в двух миллиардах погонных метров тканей использованы химические волокна. Интересно отметить, что весь прирост производства волокон в расчете на душу населения произошел в СССР за счет химической промышленности. У шерсти, шелка, хлопка и льна появились соперники — лавсан, нитрон, ацетатный шелк, триацетатное волокно.

Оглянитесь вокруг — нас окружают привычные предметы: телефонный аппарат, чернильный прибор, автоматическая ручка, расческа, скатерть на столе, телевизор, радиоприемник, холодильник, стиральная машина, полотер и пылесос, настольные лампы и абажуры...

Мы «общаемся» с этими предметами каждый день и совсем не думаем, что материалы для них родились в химическом реакторе.

Столь же привычными они скоро станут при сооружении наших жилищ. Причем речь идет не только о мелких декоративных деталях, но и о целых конструкциях.

Преимущества синтетиков по сравнению с природными материалами неоспоримы. Они, как уже говорилось, красивее, неизмеримо дольше служат, так как гораздо меньше подвержены влиянию различных внешних воздействий.

К тому же синтетические материалы, как правило, дешевле природных. Удельные затраты при производстве синтетиков значительно ниже, чем при выработке натуральных продуктов. Благодаря этому государство получает немалую дополнительную прибыль. Правда, не всегда это сразу сказывается на розничных прейскурантах. Придя в магазин, вы без труда убедитесь, что изделия из химического сырья пока не намного дешевле, чем из натурального. Но тут уж дело не в издержках производства, а в политике цен.

Как видим, советская химическая промышленность стала мощной отраслью народного хозяйства и выпускает огромный ассортимент продуктов для промышленности, транспорта, сельского хозяйства и многие товары народного потребления.

С точки зрения объемов выпуска этих изделий мы, можно сказать, обеспечиваем нужды страны. А вот что касается качества товаров, то нам еще предстоит достигнуть уровня лучших мировых зарубежных фирм. Это очень сложно. Необходимо, чтобы к этому делу приложил руки буквально каждый рабочий, каждый инженер, ученый, конструктор — словом, все вплоть до министра. Сейчас мы считаем это важнейшей и первоочередной своей задачей.

Впрочем, нашей отрасли в оставшиеся годы пятилетки предстоят и другие, не менее ответственные дела. Напомню, что и в последующие годы химическая промышленность будет развиваться опережающими темпами.

В течение нескольких лет нам предстоит удвоить выпуск своей продукции. Эту задачу невозможно решить путем простого расширения действующих и строительства новых предприятий. Для быстрого развития многотоннажных производств надо укрупнять отдельные агрегаты и переходить с периодических процессов на непрерывные. В мировой практике, например, уже сейчас успешно эксплуатируются агрегаты для син-

теза аммиака мощностью 1200 тонн в сутки, в то время как у нас максимальная производительность — 300 тонн. На предприятиях ведущих зарубежных фирм полиэтилен, ацетилен и другие продукты тяжелого органического синтеза вырабатывают в реакторах, которые мощнее наших в два, а то и в пять раз.

Однако увеличение габаритов аппаратуры и реакционных объемов — это тоже еще не все. Нередко в таких случаях, как говорят химики, процессы не моделируются. Дело вот в чем. С увеличением реакционного пространства меняются сами процессы, они и протекают совсем иначе, и для их отлаживания требуются другие методы. Ускоренные реакции в непрерывных процессах, иные объемы веществ, вступающих во взаимодействие, требуют новых, более активных катализаторов.

Для того, чтобы лучше рассчитать и спроектировать то или иное крупнотоннажное производство, специалисты стремятся выбрать наилучший вариант процесса. А поиски такого оптимального варианта легче вести по математическим моделям. Разработку методов математического моделирования ученые-химики институтов нашего министерства успешно ведут вместе со специалистами Института катализа Сибирского отделения Академии наук СССР.

Современное химическое производство я не могу себе представить без автоматического управления процессами, без электронно-вычислительной техники. Создавать такие предприятия и комплексы цехов химии смогут лишь в гармоническом содружестве с учеными и конструкторами машиностроительных министерств. В последнее время мы энергично стараемся упрочить с ними контакты. И уверены, что совместный труд приведет к успеху.

Каждый год на химические заводы приходят сотни и тысячи новичков. А ведь в химических цехах малейшее нарушение технологии может привести к тяжелой аварии. Сейчас создается комплекс приборов для определения предельно допустимых концентраций токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе. Если установить такие приборы в помещениях предприятий, они смогут предотвратить последствия любых нарушений технологии, вызванных недостатком знаний и квалификаций рабочих.

Есть и еще одна проблема, которая занимает в нашей практике совсем особое место. Я имею в виду защиту природы — лесов, водоемов, воздуха — от вредных воздействий различных веществ, выбрасываемых с предприятий в водостоки и атмосферу. Уже не раз о губителях природы писали газеты, многократно эта проблема была предметом рассмотрения в контрольных органах и в правительстве СССР. И все-таки директора многих заводов до сих пор не чувствуют личной ответственности за отравление водоемов и воздуха, равнодушны к нарушителям законов об охране природы. Оправдываются они обычно тем, что им-де неизвестны эффективные способы очистки сбросов. И в какой-то мере химики должны принять этот упрек. В нынешней пятилетке мы особый акцент делаем на разработке надежных способов нейтрализации вредных стоков.

Не могу не сказать и о первых итогах работы по новой системе планирования и экономического стимулирования.

Как и в других отраслях, на химических предприятиях началась глубокая, всесторонняя экономическая перестройка. Три с половиной десятка наших предприятий уже идут по пути хозяйственной реформы. Их опыт свидетельствует: путь избран правильно. Если сопоставить результаты, то увидим, что на предприятиях, перешедших на новые условия планирования и экономического стимулирования, темп роста прибыли — а это теперь ведущий критерий оценки успехов — значительно выше, чем средний по отрасли.

Быстрее поднимается здесь и производительность труда, и вследствие этого заработная плата рабочих. Она тут растет заметно скорее, чем в целом по химической промышленности. Словом, и результаты и прогнозы самые оптимистические.

Новая система многое дает предприятиям. Но многого и требует от производителей. Директор, главный экономист, инженеры, технологи теперь уже не смогут жить «сиюсекундными» потребностями предприятия. Они вынуждены заглядывать дальше, заботиться не только о плане нынешнего года, но и четко обдумывать перспективы.

Понятно, что не все тут зависит от самого комбината или завода. Работа в новых условиях требует жесточайшего порядка в планировании, хорошо налаженного снабжения и сбыта. Между тем пока еще мы не можем гарантировать предприятиям самого главного — стабильности плановых заданий. То есть сейчас, пока в новых условиях действуют лишь десятки наших заводов, мы стараемся их оберегать, не обрушивать на них бесконечные «корректировки» планов. А когда перейдут сотни... Это я говорю к тому, что решать задачу стабилизации планов нам надо в общегосударственном масштабе.

На пороге славного юбилея химии вместе со всей страной подводят итоги, намечают новые рубежи. Сделать предстоит много. И нет сомнений, все, что намечено, будет сделано.

Беседу записала Н. Яковчук.



ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

★

СТЕНА

(Поэма города)

С литовского

Памяти моей матери.

I

Снаружи дома старого,
К Стене,
В морщинах и рубцах,
Лишенной окон,—
К слепой Стене
На внутреннем дворе
Прижалось время,
Прислонилась вечность
(Пространство не участвует в игре).

Вкось указатель —
Молния ночная,
Стрелы неоперенной чернота,
Преследует и гонит
Человека
Во тьму, в извечный страх,—
Чтоб возвратить
Назад
На несколько тысячелетий.

УБЕЖИЩЕ.

Стрела вопит истошно:
Нет ничего
И не было.
Вернись
В пещерный век,—
Тебе придется снова,
Ты должен будешь
Заново открыть
Всё —
И топор,
И клинопись,
И бога.

**Рисуй на черном выступе Стены
Свой страх
В облище Зверя.
Или выйди
Ему навстречу
И убей его.**

Вопит истошно
Молния ночная.
А рядом слово белое
Спокойно
Вещает:

РАЗМИНИРОВАНО.

Трудно
Уверовать душой в его реальность.
Оно такое белое,
Почти
Бессильное, как этот вот ребенок,
Который в этот миг среди двора
На эту Стену, как на доску в классе,
Внимательно глядит.
Потом подходит
И ржавой шляпкой старого гвоздя,
Осколком кирпича или гранаты
Вычерчивает первое, кривое
Аз, букву А.

Постигнуты азы,
Положено начало.

Ах, Эвклиды,
Ньютоны, Лобачевские, Сократы,
Все ваши параллельные прямые,
Параболы, трапеции, углы
И этот исполинский знак вопроса,
Стоящий перед миром:
«Дважды два».

Все это разве не следы усилий
Убить свой страх
В облище Динозавра,
Которого никто еще не видел,
Но о котором каждому известно —
Он существует...

Серая Стена
Изрезанного трещинами крова,
Как старый холст экрана,
Год за годом,
Не избегая современных средств,
Жизнь человека
Излагает скупю.

**Конечно, мы нередко устаем
И часто ошибаемся.
Конечно,**

Все это так.
Но взгляда от Стены
Не отрываем ни на миг,
Стараясь
Постигнуть тайный смысл,
Понять ее.

II

В тот день из школы
Маленький Эйнштейн
Вернулся поздно.
На ранце из телячьей кожи
Недоставало одного ремня
(По-видимому, след недавней драки).
Он потому и не спешил домой
К обеду,
А задумчиво топтался
У роковой Стены.
Безлюдный полдень
Не отвлекал его.
(Никто, никто
Не помешал!!!)
Нашарив мел в кармане
(А завтра в классе
Снова на вопрос:
— Кто мел стащил? —
Придется показать
Прилежно вывернутые карманы),
Он абстрагировался на Стене
Жилого дома:
 a плюс b в квадрате.

III

Но это было далеко не все.
В исходе долгой ночи
Кто-то в Стену
Вписал нарезом
Пять разновеликих
Углов —
Пятиконечную звезду.

С тех пор она и стала
Средоточьем
Истории
И центром всей Стены.
И автоматной очереди пули
Перебежали Стену,
Как страницу
Истории, —
И кто-то тяжело
Упал на землю,
Поднимая к небу
С земли
Пятиконечную звезду.

Конечно, мы нередко устаем
 И часто ошибаемся,
 Конечно,
 Все это так,—
 Но взгляда от Стены
 Не отрываем ни на миг,
 Стараясь
 Понять ее и заслонить собой
 Единожды, раз в жизни быстротечной.

IV

Потом настало время для любви,—
 И сердце, пораженное стрелой,
 На освещенной стороне Стены,
 Наивное,
 Взошло и воссияло.
 По вечерам
 Две тени отрешенных
 Искали там друг друга,—
 В тишине,
 Безмолвные,
 На каменном экране,
 Передвигались робко,
 Смущены
 И, может быть, испуганы немного,
 Что в мире ничего не видят, кроме
 Самих себя.

А мир смотрел на них,
 Как зритель в кинозале,
 Чуть усталый,
 Немного равнодушный
 И, быть может,
 Опять заинтригованный слегка.

В который раз
 Он смотрит
 Тот же фильм.
 Вновь
 Те, кто равнодушнее,—
 Выходят.
 Те, кто по горло сыты,—
 Засыпают.
 А кто в кулак позевывает сладко,
 Тот знает всё.
 И ничего не ждет.

Конечно, мы нередко устаем
 И часто ошибаемся,
 Конечно,
 Все это так,—
 Однако от Стены
 Не отвернемся,
 А стараться станем

**Постигнуть тайный смысл,
Понять ее.**

И девушка почувствовала первой:
Еще чего-то надо, что в словах
Невыразимо
И неповторимо.
Что если...
Если этого чего-то
Неотвратно не произойдет,
То все,
Что происходит на экране,
Не подлинно, неверно, неправдиво
И не способно выразить того,
Что происходит в сердце,—
И тревожно,
И чутко, плечи приподняв по-птичьи,
Ждать принялась...

Прошел какой-то срок,
И юноша спросил:
— Что будем делать
С Любовью?
(До сих пор они об этом
Еще не говорили никогда.)
Что будем делать
Со своей Любовью?
Запрет ее на ключ в каморке тесной
Или, как стяг,
Поднимем над Стеной?

Он долго думал
И добавил с грустью:
— Хотя, сказать по правде,
Я не знаю,
Какого цвета, формы и размера
Мог быть бы этот стяг Любви...
А ты?..

Она не знала тоже.
Очень странно,
**Неужто и поныне не открыты
Ни цвет, ни форма знамени Любви?**

Еще какой-то срок прошел,
И снова,
Продлив раздумье,
Юноша спросил:
— Что будем делать со своей Любовью?
Быть может, призовем на помощь небо
И между всеми птицами земли
Ее разделим,
Ибо я не знаю,
Еще не знаю,
Сможем ли одни

Или не сможем
За нее ответить.

И перед утром
Пробудились птицы,
На ранний пир слетелись у Стены.
Увы...
Мир спал надежно
И не видел
Того неповторимого,
Того
Великого,
Того, что здесь бывает
Единой, один лишь только раз.

V

День. Новый день,
Облокотясь о Стену,
Лучами кладку старую прогрел.
И, привалясь к Стене,
Старуха грела
Застуженную долгой ночью спину.
Прищуриль дальнорские глаза,
Вязала,
И неспешно шевелился
Клубок каких-то ниток подле ног.

Пеленки сохли.
И неподалеку
В модерно-обтекаемой коляске
Сквозь сон
Блаженно чмокало дитя.

Еще старуха помнила,
Что как-то,
В такой далекой юности,
Однажды
Уже такую видела коляску
На грациозных медленных колесах.

**Клубок из красных ниток становился
Все меньше.**

А на левой стороне
Глухой Стены
Глухая тень лежала.
Там солнцу места не было и нет.

Там было нарисовано большое
Животное,
Быть может, Динозавр.

В него мальчишка целился из лука.

VI

Старуха, щурясь, все еще вязала.
Она уже достаточно жила,
Чтоб ожидать еще увидеть что-то,
Чего не повидала до сих пор.
К тому же,
Щурясь,
Видела она неизмеримо больше,
Больше,
Но...
Не говорила никому об этом.

Она отлично знала наперед,
Что **это** значит,
И была готова
Принять, понять и молча встретить **то**,
Что было, есть
(Убеждена, что есть)
И будет
По ту сторону Стены.

Она не знала слова «динозавр»,
Но думала и ведала,
Что **это**,
По ту глухую сторону Стены,
Огромнее, чем Зверь,
И много больше
Изображенья на глухой Стене.

Мальчишка целился в него из лука.
Он смутно верил, что убьет его.

Возможно, это был не Динозавр.
Однако все пугали им детей.

VII

Старуха трудно вспомнила:
Когда-то,
Когда она была малым-мала
И малый дворик был большим,
Когда
Торчащими антеннами косичек
Она ловила позывные мира,
Тогда... Тогда,
Не раньше и не позже
(Так именно и вспомнила она),
Какой-то парень
Принялся страшать,
Дразнить и злить
Меньших детей дворовых
Тем, что они значительно сильнее
Отцовского ремня
Боятся Зверя,
Который нарисован на Стене.

А малыши стояли и молчали,—
Но что тут скажешь,
Если это правда.
И только было неприятно очень,
Не по себе.
Так стыдно, что она
Не выдержала,
Сжала кулачишки,
Вся напряглась
И медленно пошла.
А страх,
Который во сто крат сильнее
И больше, чем она,
Поплелся рядом.
Пошел за ней.
Он путался в ногах.
Через него необходимо было
Перешагнуть
Хотя бы для того,
Чтоб не споткнуться.

Хохотал мальчишка:
— Она сейчас заплачет!
Посмотрите,
Сейчас помчится к маме.

Но она
Все шла и шла.
Ей и сегодня странно,
Что так тогда
Могла она идти.
Но шла, и шла, и шла она.

А тот,
К которому она все шла и шла,
Все приближался,—
И теперь казалось,
Что вовсе не она идет,
А тот,
Ужасный, отвратительный, зловещий,
Из тьмы кромешной вышел,
Из Стены,
И приближался к ней.
Но шла она.

Да, это так.
Все помнят.
Шла она.
Так долго это длилось,
Что никто
Впоследствии
Не сомневался в этом.
Она все шла.

И наконец вплотную,
Так близко подошла,

Что ощутила
Его дыханья холод ледяной.

Он был в натуре
Во сто крат страшнее
Того, кто нарисован на Стене.
Он был неизмеримо больше Страха.
Поэтому она и ощутила
Его куда полней и много резче,
Чем самое себя.

Она не помнит,
Как долго это длилось наяву.
А так как это длилось очень долго,
Ей показалось, что конца не будет.
А тот, кто нарисован на Стене,
**Еще чего-то требовал большого,
Еще чего-то большего...**

Она
Припомнила:
Подумалось,
Быть может,
Сейчас и надо на колени стать.
Ей и тогда
Уже известно было:
Перед великим
(Кто бы ни был он)
Необходимо преклонять колени.

Она бы так и сделала, наверно,
Но было жалко,
Было очень жалко
(Так именно и помнит:
Было жаль...),
Жаль той дороги длинной, по которой
Она прошла,
Перешагнув свой Страх.

А тот,
На той Стене изображенный,
Таясь во тьме,
Никак не отпускал,—
**Еще чего-то требовал большого,
Еще чего-то большего...**

Тогда
Зажмурилась она
(Вот так и помнит:
Зажмурилась...),
Она еще была
В то время так мала, что отчего-то
Зажмурилась
И, стиснув кулачки
(Да, да... все помнит ясно...),
Показала
Ему язык.

**Единожды хотя бы,
Но человек при жизни показать
Язык обязан собственному Страху.**

Она была в то время так мала,
Что ничего другого не умела.
И потому,
Не открывая глаз,
Ждала чего-то страшного...
Расплаты?
Но не случилось, не произошло,
Не совершилось ничего.
И тот,
Который нарисован на Стене,
В извечной тьме таящийся от века,
Теперь незримо отпустил ее.
Она сама почувствовала это,
Глаза открыла
И вернулась тихо
На солнечную сторону двора.

Ну да, конечно,
Помнят все:
Вернулась,—
И ничего не совершилось, кроме
Того, быть может, только,
Что назад
Она вернулась выросшей намного,
Неизмеримо больше, чем большой.

VIII

Действительно,
Заметно повзрослевшей
Она вернулась,
Потому что дети
Почтительно
Пред нею расступились
И вслед смотрели пристально,
Покуда
Она идти могла.

Ну, а когда
Почувствовала, что не может больше,
О Стену оперлась.
И мир большой,
Мир беспредельный
Рухнул на нее,
На малый двор обрушился
(Теперь
Двор этот очень маленьким казался)
И предлагал ей
Безраздельно все,
Все ей одной,
И все лишь потому,

Что и она теперь была большая,
Она имела право выбирать.

Молчали дети,
Осознать не в силах,
Что во дворе убогом,
У Стены,
Теперь
Стояла женщина,
Но дети
Еще не понимали ничего.
Да и она не поняла тогда,
А только лишь почувствовала **что-то**
Неизмеримо большее,
Чем **то** —
На каменной Стене.

Она не знала,
Как повести себя:
Без возражений
Принять на веру это **что-то** или
Сопротивляться и протестовать.

Да и того не ведала она,
Что человек, по сути,
Побеждает
Единожды, один лишь только раз.

IX

Старуха у стены, прикрыв глаза,
Вязала,
И у ног
Ежесекундно
Клубок из красных ниток становился
Все меньше, меньше, меньше.
Но она
Не прерывала начатого дела
И не старалась медленней вязать,
Хотя и знала —
Иссякает нить,
Кончается.
Она себе вязала,
Вязала, как дышала.
Вот и все.

Блестели спицы.
Издали, наверно,
Могло бы показаться, что старуха
В руках лучи ломает и кладет
Их на колени,
Как охалки молний;
И что, подол наполнив до краев,
Поднимется она,
Костер разложит

И сварит что-то вкусное,
И двор
Запахнет лугом,
Свежим после ливня.

X

И улыбнулась —
Вспомнила:
В тот день,
Когда, казалось, ничего на свете
Особенного не произошло,
Лишь этот двор
(Лишь только этот двор)
Стал маленьким негаданно-нежданно,
В тот самый день
(Нет, в ночь)
Приснился ей
Какой-то луг широкий и красивый.
Она еще не видела лугов,
Но **ведала** откуда-то,
Что это —
Луг.

И босая шла.
Ей нужно было
Идти по лугу.

Из-за горизонта
Конь вымахнул, играя и резвясь
(Кипящая смола тяжелой гривы,
Гнедая масть
И молодая стать),
Копыта, разрубающие воздух,
Топтали землю росную, сырую.
Вставало солнце.
Приближался конь.
(Она не испугалась,
Чувством страха
На приближенье не отозвалась,—
Конь этот был **ее** конем.)

К ладони
Он прикоснулся бархатной губой.
Вставало солнце... Было хорошо
И безмятежно,—
И она проснулась.
И был наполнен солнцем узкий двор,
И над колодцем каменным, над срубом,
Простор небес простертый, словно луг.

XI

Она не удивилась...
Нет, несколько

Не удивилась,
Выбежав во двор,
Когда того же самого мальчишку
Немедленно увидела.
Того же,
Который издевался лишь вчера
Над всеми и над ней.

Как победитель,
Засунув руки глубоко в карманы,
Он
С видом независимым
Торчал
В демонстративной близости от Зверя,
Который на Стене начертан
Или
Живет в Стене,
А может, за Стеной.

Она старалась этого мальчишку
Не замечать.
И это ей вначале
Как будто удалось.
Однако позже
(Так именно и помнится:
Потом)
Не удавалось никогда.
Ну что же,
Хоть раз, но в жизни удастся **что-то**,
А раз и жизнь дается человеку
Один лишь раз,
То можно ли сказать,
Что человеку жизнь не удастся?

XII

Она еще не видела того
Мальчишку.
Но внезапно ощутила,
Что он,
Как будто получив толчок,
Вдруг сделал шаг
И двинулся навстречу.
И двор ему казался так велик
(Как ей вчера),
И кулаки в карманах
Он стиснутыми нес
(Всё, как вчера).

Все было так же, как вчера,
И только..
И только одного она не знала,
Осмелится ли он
(Еще не знала)
Ей показать язык.

До мусорного ящика.
Повсюду
Избыточно сияли башмаки,
Излишне сыто ухмылялись лица
В лицо пришельцам,
Чьи босые ноги
Кричали от обиды и стыда.

Прохожие
С повадкой манекенов
И манекены
В позах пешеходов
К босым ногам
Прислушивались молча.
И только из витрин больших, надменных,
Разноголосы и пестры на диво,
Полуботинки, туфли, башмачки
Себя босым пришельцам предлагали,
Босым ногам навязывали нагло.

XIV

И ноги удержаться не смогли,
Бегом пустились,
Побежали сами,
Противиться не смея по-иному,
Иначе не умея возражать,
А может статься, просто не желая.
И слыхано ль, чтоб модным башмачкам
Хотели возражать
Босые ноги.

Она бежала сзади,
По следам
Вчерашнего мальчишки,
Наблюдая,
Как быстро он бежит и как легко.
Она еще не знала,
Что надолго,
Что навсегда
Останется в душе
Воспоминанье,
Как легко и быстро
По улице огромной и прямой
Бегут босые ноги,—
Убедиться,
Что есть на свете
Человек без ног.

XV

— Смотри! —
Сказал мальчишка,
И она
Смотреть смотрела,
Но довольно долго

Не видела,
 По той простой причине,
 Что за стеклом в витрине угловой
 В тот день смеялись громко манекены,
 Обласканные взглядами прохожих,
 Хихикали ехидно,
 Хохотали,
 Величья бутафорского полны.

А улицей
 В обличье пешеходов
 Шло время.
 Без помех.
 И только там,
 Где две стены образовали угол,
 На уличном углу,
 Такой короткий,
 Такой смешной
 И маленький
 Сидел
 (А может быть, стоял),
 Хватая время,
 Тот человек.

Протягивая руки,
 Он обращался к времени,
 Ловил
 И умолял его остановиться,
 Замедлить шаг хотя бы на мгновенье,—
 Чтобы секундой,
 Нет, не золотой
 И даже не серебряной,
 А легкой,
 Из никеля отбитой,
 С легким звоном,
 Чуть слышно
 В шапку старую упасть.

XVI

Но время шло.
 Не видело его.
 Как мусорную урну, обтекая
 Просителя,
 По улице лилось,
 Текло, приняв обличье пешеходов.
 И, как пустая пасть,
 Просила шапка,
 Вымаливала, криком исходя.

Тогда-то и увидел их безногий.
 Он был небрит,
 Обтрепан,
 Голова
 Казалась неестественно огромной,

Чужой, случайной, странной.
А глаза,
Ему, как видно, заменяя ноги,
По городу ходили,
Бесновались,
Перебегали площади, шая.
В такую даль порою забредали,
Куда еще никто и никогда
Не проникал.
Тогда в его глазах
Глубокая печаль обозначалась.

Он подозвал к себе детей,
Поставил
Их на колени,
Кланяться заставил.
И сам просил,
Протягивая руки,
Вымаливал навзрыд —
Не золотые,
И даже не серебряные, нет,
А легкие,
Из никеля,
Секунды.

Им начало везти:
Одна... другая...
А там и третья легкая монета
Упала в шапку...
Изнывали ноги.
Потом и вовсе затекли, исчезли.
Заплакала она.
Да, плакать стала,
Что нету ног,
Что не вернется больше
В свой двор.
Сквозь слезы видела она
Все ту же Стену
И того же Зверя.
Он собирался выйти из Стены.
Она была **в то время здесь**,
Но, кроме
Нее самой,
Во всем дворе в то время
Никто не смог бы
(Нет, никто не смог бы!)
Его остановить...
Верните ноги!

XVIII

Старуха у Стены, закрыв глаза,
Вязала.
Из коляски плач ребенка

Послышался,—
 И сразу же:
 — Людвісе,—

Мать позвала она.
 Глухим и слабым
 Был голос,
 Потому что для него
 Двор был велик.
Теперь велик.
 А прежде
 (Да, прежде)
 Голос, как сама она,
 Не умещался во дворе.
 Он круто
 Ввысь восходил
 И, словно летний дождь,
 Сбегал по крышам,
 Лился через арку
 Приземистых ворот,
 Не унимался,
 Вновь подымался вверх
 И падал вниз
 И, как упругий разноцветный мяч,
 На мостовой подскакивал.
 Да, да,
 Когда-то голос
 Был большим и сильным.

А как бранился он,
 Когда однажды
 Пришлось ему схлестнуться с голосами
 Всего двора
 (Да, да, всего двора).
 И он не только выдержал,
 Но даже
 Всех разогнал,
 Потом загнал в квартиры,
 Захлопнул окна
 И один остался
 Среди двора,
 И долго по нему
 Плясал, метался, вызовы бросая.
 Потом, усталый, но не побежденный,
 Угомонился и приник к Стене.

XVIII

Старуха со смеженными глазами
 Вязала, чутко слушая,—
 С базара
 Уже вернулись женщины,—
 Сердиты,
 И, видимо, немблоды,
 Коль скоро
 Никто цветов с базара не принес.

Ну, а уж если женщина с базара
Лишь с тем приходит, что необходимо,
С картошкой, мясом и тому подобным,—
Понятно, что немолода она
И на судьбу, как водится, сердига.

Старуха знала —
Вскорости из кухонь
Во двор обильно хлынет крепкий запах
Готовящихся наскоро обедов.
На время воцарится тишина.
И женщин одурманил этот запах,
И паром, восходящим от кастрюль,
Надышатся они
И, как в дурмане,
Увидят сны,
И улыбнутся гихо
И горестно
Нахлынувшим на них,
Как запахи борща,
Воспоминаньям.

ХІХ

О женщины, живущие всегда
Воспоминаньем:
Сотворенье мира,
И первородный грех,
И свет слепящий,
И пена, из которой Афродита
Выходит, словно из ночной сорочки,
Троянская война
и ожиданье
(Ах, все еще вы ждете, ждете, ждете)
Скитальца Одиссея,—
Хитроумный,
Он в городе далеко задержался,—
Но вашими заботами
Всечасно
И сын его храним, и лук тяжелый.

О женщины,
Живущие всегда
Воспоминаньем.
Помнящие много
И потому способные прощать...
Так многое прощать!
Воспоминанья —
Пеленки ваши,
Ваши пелены
И ваши саваны.
Воспоминанья —
Вторая плоть,
В которой вам вовеки
Ни постаренье не грозит, ни смерть.

XX

Еще старухе вспомнилось,
 Как часто
 По городу
 На людный перекресток
 Они с мальчишкой бегали —
 Туда,
 Где, словно пасть,
 Зияя пустотой,
 Отверстая,
 Выпрашивала шапка;
 И что стремнина времени,
 В обличье
 Прохожих
 Проплывающая мимо,
 С их появлением
 Делалась щедрей.

Они тогда так молоды еще,
 Так молоды еще
 В то время были.
 А время...
 Время к очень молодым
 Премного милосердно.
 Милосердным
 Был к ним и этот человек,—
 За помощь
 Он втискивал насильно
 Каждый раз
 По грошику в смущенные ладошки.

О да,— они работали.
 Работа
 Вознаграждалась
 Так же, как везде.

XXI

Когда не торопясь брели домой
 И ощущали,
 Как в ладони бьется
 Хоть небольшой,
 Но настоящий грош,
 Спасаться как от бешеной собаки
 Им приходилось,
 Потому что **город**
 Не отпускал,
 Заманивал,
 С издевкой
 Он предлагал
 И требовал,
 И грубо
 Облапывать норовил,
 И непотребно

Прижаться к телу,
Чтобы вытрясть душу;
Преследовал
И за руки хватал.
Казалось, что судьба его
Всецело
Зависит лишь от этих двух монет.
И ежели сегодня же за вечер
Их не сожрет,—
Всю ночь уснуть не сможет,
Голодный будет маяться до света,
Ворчать, метаться и грозить, мигая
Глазами воспаленными витрин.

А грош в ладошке потной,
Словно рыба,
Из тины извлеченная речной,
Меж пальцев трепыхался, ускользая,
Покуда утомленный кулачок
Не разожмется.
И тотчас же город
Их отпускал домой.
Уже ненужных.

XXII

Теперь стояло солнце над Стеной
Заметно выше,—
И старуха телом
Об этом знала, как деревья, травы
И даже камни.
Открывать глаза
Не требовалось ей.
К тому же рядом
Уже раздался дребезжащий голос:
— Точу ножи и ножницы...
Точу
Ножи и топоры,—
А если нужно,
И языки —
Точу, точу, точу —
Все, что хотите,—
Дешево-сердито...
Он точно знал,
Когда,
В какие сроки
Ему являться надо во дворе.

XXIII

На том дворе
Все точно знали время
Свое.
Все знали точно,
Все и всё:

Не только
 Люди, вещи и события,
 Великие и малые,
 А — всё...
 И лишь одно...
 Да, да, одно лишь голько
 Явилось раньше срока,
 Слишком рано
 Запечатлелось на Стене.
 Старуха
 Могла бы и теперь,
 Закрыв глаза,
 То место показать,
 Где слишком рано
 И так давно
 Впервые после ночи
 На каменной Стене запечатлелось
 Во весь простор:
Адомас + Марцеле =
Любовь.

XXIV

Старуха помнит,
 Помнит хорошо,
 Когда в то утро, выбежав из дома,
 Увидела впервые эти буквы.
 Вставало солнце.
 Ночью по двору
 Прошелся дождь,—
 И свежестью нездешней
 Дышало все вокруг —
 Незъяснимым
 Предчувствием,
 Тревогой ожиданья.
 Уже открыты настежь были окна,
 И, наспанные за ночь горячо,
 Свисали с подоконников постели,
 Делясь воспоминаньями о ночи
 И о любви.
 А между тем Стена
 Все близилась
 И, подойдя вплотную,
 Промолвила:
Адомас + Марцеле =
Любовь.

XXV

Она ждала
 Возникновенья этого.
 Однако
 Представить не могла,
 Что так внезапно,
 Так быстро

Это все
Произойдет.
И потому, смущенная,
К Стене
Метнулась, чтобы заслонить собою,
Скрыть первое любовное письмо,
Спасти и спрятать
От раскрытых окон,
От наспанных постелей
И от глаз.
Но разве заслонишь, укроешь, спрячешь
Письмо любви,
Которое досрочно
Получено
Во весь размах Стены.
Не скомкать, не порвать
И на груди
Не утаить,
Поцеловав украдкой,—
Чтоб наслаждаться близостью его.
И, выкроив минуту,
Вновь и снова
Читать и перечитывать...

Марцелле
Простерла руки
И прижалась грудью
К Стене,
Прильнула тесно к письмам
И замерла на миг,
Воспринимая
Всем телом оттиск первого письма.

В тени
Поодаль
Спало мертвым сном
Животное.
Быть может, Динозавр.
Пришла пора любви.
Стена светилась,
Стена цвела, как заозерный луг,
Как озеро зацветшее,
Как сердце.

XXVI

А ввечеру,
Когда мощный двор
Остыл
И звезды
Опустились ниже,
Приблизились к булыжнику,
И день
Свернулся, как собака в подворотне,
Марцелле снова подошла к Стене

И положила голову на слово
 Любовь —
 И, сердце придержав рукой,
 Ждать принялась.
 О господи,
 Как много
 Понадобилось времени,
 Покуда
 Он пересек в потемках этот двор.
 День, как собака, спящий в подворотне,
 Успел перевернуться с боку на бок,
 Во сне чему-то улыбались дети,
 Вздыхала тяжело женщина больная.
 О боже, боже!
 Как немного звезд
 Способны уловить глаза и окна,
 В потемках озирающие двор.

XXVII

Но видела она, как приближался
 Мальчишка,
 Тот, который лишь вчера
 Подтрунивал надменно надо всеми,
 С которым вместе бегали так часто
 По лабиринту улиц городских.

Нет!
 Это был совсем не тот мальчишка,
 А Прародитель, Праотец, Пророк,
 Из рая детства изгнанный жестоко
 На землю
 Для того, чтоб этот двор
 Людью наполнить,
 Одержат победу
 Над Зверем, притаившимся в Стене.

И видела Марцеле —
 Он все ближе.
 И знала,
 Что должна ему помочь.
 Немного потеснилась, оставляя
 Часть букв
 Для головы его
 На слове —
 Любовь...
 И оба место обрели.

XXVIII

Стояли,
 Опершись на это слово,
 На Стену изначального познания,
 В тени которой место обрели,
 Как получают комнату в квартире —

Пусть небольшую, но зато свою,
Обставленную собственной Любовью,
Украшенную тем, что есть и будет.
Тем, что еще когда-нибудь придет.

Они не знали этого
И все же
На грани чуда пребывали оба.
Она полней и резче сознавала
Все это
И, наверно, потому
Промолвила:
— Ты можешь...
Если хочешь...
Поцеловать меня...
Так разрешает море,
Только море,
Притронуться к нему
И погрузиться
В него,
Подняться с ним до горизонта,
С ним вместе падать на́ берег
И все же
Не властвовать над морем никогда.

XXIX

Старуха на припеке у стены,
Полузакрыв глаза, вязала что-то.
А солнце,
Как ее воспоминанья,
Достигло полдня,
Поднялось в зенит.
**Теперь Стена уж больше не могла
Быть освещенной.**
Но зато старуха
Всю эту Стену видела теперь,
Как прошлое свое,—
И даже с темной,
Уже не освещенной стороны.
С той,
На которой жил,
Таясь во мраке,
Тот Зверь угрюмый,—
И она спешила.
**Ей надо было дотемна успеть,
Успеть пройти всю Стену,
Эту Стену,
Пока она еще освещена.**

XXX

Но ей хотелось,
Ей хотелось очень
Побыть в зените памяти своей.

И потому в тот цокольный этаж
Она спустилась мысленно,
В обитель,
Куда они перенесли когда-то
По буквам со Стены отвесной слово
ЛЮБОВЬ
И, как подушку в изголовье,
Сложили на железную кровать.

...А по утрам,
Когда на эту Стену
Ложился отсвет солнца,
Их тела
Бывали золотыми-золотыми;
Они боялись выпустить из рук,
Нечаянно утратить из объятий
Богатство.

...А позднее,
По ночам,
У пыльного и низкого оконца,
Как гурт овечий,
Собирались камни
Мошеного двора,—
Протянешь руку —
И можно было гладить их, как груди,
Ласкать, как плечи...

...А по вечерам
Бульжники,
Хранящие дневное
Прикосновение солнечных лучей,
Теплом дышали,
Как буханки хлеба.

Напротив их окошка,
Как предел,
Который никому еще поныне
Не удавалось преступить,
Как вечный
Безжизненный и грозный окаем,
Была **Стена** простерта.
Мысль и взгляд
Наталкивались на нее
И глухо,
Как эхо, возвращались.
Было страшно.
А как-то раз
Она во сне слыхала
(Да, да, слыхала),
Как взревел тот Зверь
С той стороны Стены,
Из тьмы крошечной.
Охваченная ужасом,
Прижалась
Она

К груди Адомаса
И долго
Дрожала, успокоиться не в силах.

XXXI

Скорей всего
Был самый-самый полдень,
И, как обычно, в этот час
Мальчишку,
Который в Зверя целился из лука,
Домой позвали.
Он пошел довольный
Удавшейся охотой,
Перекинув
Свой самодельный лук через плечо.

А вскоре на обед пришел фотограф,
Жилец второго этажа,
Отец
Семейства многочисленного.
Дети,
Которых он любил сильнее всего
И всех фотографировал,—
Все дети
Похожи были на его жену,
Лишь на нее —
И в жизни и на фото.
Вот почему соседи по двору
Подтрунивали:
Мол, не удастся
Фотографу себя увековечить.
А он не обижался.
Отвечал
Прощающей улыбкой.
И соседей
Всех, кому надо и кому не надо,
Всегда снимал бесплатно.
За спасибо.

Он серый фон любил.
На сером фоне
Всех жителей двора
Сажал и ставил
Спиной к Стене и к Зверю.
У Стены.

Крестины, или свадьбы,
Или просто
Какая-нибудь дата —
Старожилы
И молодежь
Сходились у Стены.

Он даже **гроб**
Всегда просил поставить

К Стене
 И крышку снять
 По той причине,
 Что там, где было **начато**,
 Пусть будет
 И **кончено**.
 Один и тот же фон.
 Твердил фотограф,
 Что на этом фоне
 Полней всего характер человека
 Проявится.
 И если ты ничтожен,
 То этого не скроешь
 Возле серой,
 Щербатой, в заскорузлостях Стены.

Старуха с ним давно была согласна.
 А потому не пряталась
 И даже
 Теперь
 (Да, да, **теперь**)
 Она смотрела
 На эту Стену, будто на себя
 На старой фотографии, пожухлой
 От времени.
 Смотрела и смотрела,
 Закрыв глаза
 И все же **видя все**.

XXXI

Марцеле здесь могла бы,
 Здесь могла бы
 Остановиться, потому что дальше
 Была Стена и больше ничего.
 Одна Стена,
 Холодная, глухая,—
 Не вырвешься,
 Не выйдешь никуда,
 Лишь запрокинув голову,
 Увидишь,
 Как совершает солнце вечный путь;
 И в эту щель ворот
 Отдашь сначала
 Часы и дни,
 Ну, а потом и годы
 В обмен на воздух, воду, хлеб...

Нет, **нет**,
 Не надо так!
 Молчи!
 Твоя задача
 Пожизненна —
 Не на день,
 А на век.

Ты можешь развернуть ее как знамя
Над каменной стеной,
Чтобы прохожий
Снял шапку.
Ты на крайний случай можешь
Себя бумажным змеем запустить
Над городским хитросплетеньем улиц.
Ты можешь... Можешь ты...

Марцелле может
Сказать, с какого времени,
Когда
В чертах ее лица возникло сходство
С изрезанной морщинами Стеной.
Когда война возникла, но не *эта*
(Не эта, не последняя),
А *та*.

Адомаса позвали за ворота —
И он ушел.
Не видела она,
Сквозь слезы не увидела,
Что следом
Пошел за ним тот страшный Зверь, который
В извечной тьме таился за Стеной
И часа ждал.
А на Стене остался
Его двойник, изображение, оттиск.

Теперь она одна на этом слове,
Просторном и вместительном,—
Любовь —
Лежала, глядя темноту ночную,
И думала —
Теперь покинул Стену
Тот страшный Зверь,—
Вокруг другого слова,
Зовущегося Ненависть,
Теперь
Сплотились люди.

Холодно и пусто.
Остались только женщины.
Одни.
Им надлежало бодрствовать
И свято
Оберегать огонь священный слова,
Которое **слабей укреплено**,
Чем Ненависть...

Все чаще вечерами
Они, как птицы общего несчастья,
Бескрыло собирались у Стены.
А небо прокопченное
Лежало
Тяжелым грузом
На венце двора.

Сквозь щель в воротах
 Заползали вести,
 Повестки, извещения,—
 И во тьме,
 Истошно вскрикнув,
 Кто-нибудь из женщин
 Сползал в изнеможенье по Стене
 К ее подножью —
 И Стена горела.

XXXIII

Необходимо было поспешить
 За временем,—
 Уже переместился
 Двор
 Во вторую половину дня
 И меньше стал клубок
 Из красных ниток,
 А тени вправо отползли.
 Старуха
 Глаза на миг открыла,—
 По двору
 С бельем к колодцу,
 Затевая стирку,
 Уже сходились женщины.
 Запахло
 Послеобедом, щелоком и мылом,
 Плескались пересуды и вода.
 А маленькая девочка в косынке,
 Как будто с одуванчиков отцветших
 Сдувая пух,
 Стояла в стороне,
 Головку напряженно запрокинув,
 И мыльные пускала пузыри.
 Взлетали разноцветные,
 Качались
 Над золотой соломинкой
 И гасли.
 Но не сдавалась девочка,
 Пока
 Один из них,
Отнюдь не самый яркий,
Не самый многоцветный и большой,
 Поднялся выше всех,
 Увидел солнце
 И, как за горизонтом,
 За Стеною,
 Сверкая всеми красками, исчез.

Ей повезло.
 Довольная собой,
 Счастливо рассмеялась.
 Смех ребенка,
 Как многоцветный красочный клубок,

Перекатился по двору —
Туда,
Где кто-то вынул из земли мошеной
Один булыжник.
Старые дворы
Замощены не только детским смехом.

XXXIV

Стояла,
Опираясь, как на посох,
На слово сокровенное —
Любовь.
Она ждала.
Пришло оповещение:
Адомас возвращается.
Ждала.
А за спиной,
От края и до края,
Обугленная черная Стена
Угрюмо простиралась.
И Марцеле
В белесоватой слабой синеве
Предутреннего часа
Мнился двор,
Мощенный не булыжником, а сталью
Солдатских шлемов...

Стоя у ворот,
Она устала.
Шли вторые сутки.
Она уже устала.
Но ждала.
Советовали женщины:
Пошла бы,
Поела что-нибудь...
Мы постоим...

Но лишь качала головой Марцеле.

XXXV

Она едва держалась на ногах,
Когда в начале вечера
Внезапно
Почудилось,
Да, да, наверно, только
Почудилось:
Во двор через ворота
Вернулся Зверь
И спрятался в Стене.
Хотела крикнуть — прочь,—
Но не успела.
Всё в ту же щель ворот

Вкатили двое
(В шинелях серых)
Странную тележку.
А в ней
Не то сидел,
Не то лежал
Какой-то человек
(В шинели серой).
Марцелле ближе подошла —
Казалось,
Что те мужчины у нее о чем-то
Спросить намеревались,
Может быть,
Сказали что-то важное,
Но слов
Марцелле не услышала.
Фотограф,
Который тоже ждал весь день,
Желая
Увековечить возвращенье,
Понял
И отвернулся.
Женщины вокруг
Все **поняли**.
И лишь одна Марцелле
Еще не понимала ничего.

Стояла, руки опустив,
И тихо,
Сама себя не слыша,
Позвала:
— Адомас!

И подумала,
Что этим
Все кончится,
Что две шинели серых
Ошиблись.
Но знакомый сильный голос
Ответил из тележки:
— Это я.

И снова все умолкло.
Наконец
Один из двух мужчин в шинели серой
Досадливо сказал:
— Да ты, хозяйка,
Его взяла бы все же...
Или как...

Тогда Марцелле бросилась к тележке,
И подняла, и на руки взяла,
И было странно, было очень странно,
Как легок он,
Как немощен и мал.

Она в тележку заглянула даже:
Неужто все?
Все то, что на руках
Она держала,—
Вправду было — **все**.

И это **все**,
Пересекая двор,
Она несла к дверям полуподвала.
А по пятам
Все время
Шла Стена,
Обугленная, грозная, глухая.
И Триумфальной аркой
Над двором
Горела ярко
Радуга страданий.

XXXVI

Она еще надеялась на что-то,
Захлопнув плотно дверь в полуподвал,
Не зажигая света,
Продлевала
Самообман.
И, на колени встав,
Поцеловала ношу —
И от страха
Пред наступившей тишиной
Навзрыд
Захохотала.
А когда Адомас
Костлявыми и длинными руками
(Зачем такие длинные они?)
Привлек ее к себе,
Она послушно
Всем телом распрямилась
И к нему
Прижалась тесно.
Но на этот раз
Ее ногам,
Прекрасным, нежным, чутким,
Поблизости найти не удалось
Другую пару ног, больших и сильных.
И бились ноги белые ее,
Как выброшенные на белый берег
Две белых рыбы,
Сияясь уловить,
Еще пытаясь обнаружить ноги
Адомаса.
Но вскоре осознав
Тщету дальнейших поисков,
Притихли.

И радуга погасла за окном.

XXXVII

Должно быть, было за полночь.
С постели
Марцеле встала,
Зная, что не сможет
Уснуть,
Пока не выскажет,
Покуда
Не выплачет всего.
И через двор
Пошла, простоволосая, босая.
Сжав кулаки,
Прижала их к груди.
Шагнула в тень,
К Стене,
Где в тьме извечной,
Бездействуя, коснел
Тот страшный Зверь.
Приблизилась,
Помедлила, покуда
В груди возникнет новая волна,
Поднимется и бросит, как былинку,
Ее на эту Стену.

Дождалась.
Почувствовала, как в груди стесненной
Волнение поднялось.
И прямо в Стену
Плевков вlepила,
Харкнула со вкусом
В кривую перекошенную морду,
В его зловещий мертвенный оскал.
Еще раз... и еще...
Потом о Стену
Разбила кулаки.
Ломая ногти,
Царапала ее
И, задыхаясь
От ярости и боли,
Колотила,
Пинала одинокими ногами.
Распущенные волосы, как дождь,
Хлестья хлестали Стену.
И не видя,
Что кулаки разбиты,
Что в крови
Прекрасные и чуткие колени,
Она все время продолжала бить,
Царапать и впиваться в Динозавра,
Покуда, обессилев, не сползла
К его подножью
По Стене.

И сразу
Обрушилась на землю тишина.

**(Нет, нет — еще не время...
Слишком рано...)**
И грозно вскинув голову,
С земли
Приподнялась и встала,
И, уставясь
В его глаза пустынные, в упор
Произнесла неистово и страстно:

XXXVIII

— О, кто б ты ни был —
Страх или Судьба,
Зверь или Бог,
Черт или Человек, —
Кто б ни был ты,
Из тьмы своей кромешной
На волю выйди,
Надо мной победу
Немедля одержи,
С лица земли
Сотри,
Испепели,
Втопчи в булыжник, —
Мне только легче станет.
Неужели
Ты возомнить посмел,
Что я уже
Побеждена?!
Смотри,
Какое тело,
Как молодо оно,
Какая грудь,
Какие бедра, —
Я уже была,
Уже была, когда тебя в намеке
На этом свете не было, —
И буду,
Когда тебя не будет.
Ты-то знаешь,
Ты знать **обязан,**
Что сегодня ночью
В полуподвале,
Все на том же Слове,
На слове сокровеннейшем —
Любовь —
Был зачат сын.
Ты слышишь — сын?
Да, **сын!**

XXXIX

Сказала так и, смолкнув, отошла,
Усталая, иссякшая, пустая.

Она сказать должна была
 Хотя бы
 По той причине,
 Что уже нельзя
 Иначе было.
 Просто невозможно.

Но зная, что победа не за ним,
 Испытывала чувство облегченья.

XL

Адомас пил, и плакал,
 И уныло
 Пел что-то очень страшное.
 На стол
 Взбирался
 И в окно глядел часами.
 В окне он видел
 Ноги пешеходов —
 То семенящих бодро,
 То устало,
 Состарившихся или молодых.

Мелькая за окном полуподвала,
 Они перемещались, как лучи,
 Ниспосланные из другого мира,
 И резали оконное стекло
 Острее, чем алмаз,
 И вынуждали
 Смежить глаза,
 И от бессильной злобы
 Бить кулаком по старому столу,
 Браниться, клясть и пить,
 По счету ног
 Счет рюжкам подводя...

Зато ночами...
 Зато ночами
 Добирался он
 До ног Марцелле,
 Чутких и прекрасных.
 Набрасывался яростно на них,
 Ласкал и гладил,
 Стискивал до боли
 Костлявыми и длинными руками
 (Зачем такие длинные они?!).

XLI

Случилось что-то...

Вытащил Адомас
 Из-под кровати ящик,

Тот,
В котором
Оставил, собираясь на войну,
Скарб немудреный — обиход сапожный.
Колодки ходовые отобрал,
Поставил банку со смолой на угли
И, фартук подвязав,
Наполнил рот
Гвоздями деревянными.
А вскоре
У низкого и пыльного окна
Стопились дети,
Чтобы терпеливо
Следить, как возникают башмаки,
Рождаются ботинки,—
И, сгорая
От нетерпенья,
Ожидать минуты,
Когда сапожник снимет свой передник —
И выяснится сразу же, **что нет,**
Нет ничего под ним.

Верните ноги!

XLII

Он не спешил
И все-таки один
Остался.
Даже низкое окошко
Пустынным стало,
Потому что все,
Да, все без исключенья
Знали точно,
Доподлинно известно было всем,
Что под его передником рабочим
Нет ничего...

XLIII

Во рту костер проклятий
Засыпал горстью гвоздиков —
И вновь
Склонился низко над своей работой.

XLIV

Прекрасные должны быть башмаки.

XLV

Со стороны казалось, что Адомас
Творит при жизни памятник себе.

XLVI

Не заподозрив ничего, Марцеле
 Приободрилась...
 Под вечер с работы
 Пришла и обнаружила,
 Что двери
 В полуподвал закрыты изнутри
 И плотно занавешено окошко.
 Подумала:
 Наверное, Адомас
 Устал и отдыхает.
 Пусть поспит.
 Решила сбегать в лавку.
 Скоро ужин.
 И покупала что-то,
 Размышляя:
 Теперь-то полегчает —
 Как-никак,
 А все-таки работает Адомас.

Потом соседи выломали дверь,
 И до всего увиденного
 Сразу
 Ей на глаза попались башмаки,
 Новехонькие, черные,
 Как мрамор,
 Как памятник,
 Изваянный надежно.
 Светясь,
 Они стояли на полу.
 Ботинки сорок третьего размера,
 Размера ног Адомаса.
 Точь-в-точь.

А с потолка,
 Как с неба,
 Две руки,
 Костлявые и длинные,
 Простерлись
 Вниз
 К башмакам
 Размера сорок три,
 Красивым,
 Новым,
 Сшитым так искусно.

В углу валялся старый табурет,
 Который, по всей видимости, тоже
 Он оттолкнул все теми же руками
 (Зачем такие длинные они?).

XLVII

Соседки уговаривали:
 Надо
 Продать скорее эти башмаки,

Гроб заказать короче вполонину...
Всё деньги...
Да тебе ведь и самой
Известно, как нечасто забредает
В наш двор деньга.

Но только головой
Покачивала горестно Марцелe.

И вынесли в молчанье на руках
Не половину из полуподвала,
А целый гроб.
Адомас **был** большим.

И попросив
Поставить гроб к Стене,
Она сама
Определила место,
Покинутое светом,
Где в тени
Густеющей,
Во мраке непробудном,
В дремучей дреме
Затаился Зверь.

Фотограф объяснял,
Что здесь, в тени,
Едва ли выйдет что-то,
Но Марцелe
Добилась своего
И крышку с гроба
Велела снять.

Адомас **был** большим —
Такой, как был,—
Большими башмаками,
Новехонькими,
Сшитыми искусно,
В край гроба упирался,
Будто в пол.
И потому
Казалось, что ему
Невыносимо тесен
Этот ящик.
И удивленно озирались дети —
Неужто, умирая,
Человек
Вновь получает все,
Что он утратил?

И в позе вызывающей застыв,
И гордо вскинув голову,
Марцелe
Стояла перед фотоаппаратом.
Скорей на Стену,
Чем на мертвеца,

Она смотрела,
 Кулаки сжимая
 И закусив губу.
 И, как волчица,
 Была к прыжку и выстрелу готова,
 И не казалась побежденной,
 Нет,
 А только разъяренной до предела.
 Поддерживала правой рукой
 Живот округлый,
 Потому что нужно,
 Необходимо было заслонить
 Все то, что будет,
 И того, кто будет.

Стояла супротив Стены и Зверя,
 Стеной и Зверем не побеждена.

И вновь не повезло,
 Не вышло снова,—
 Единственная, лучшая ее
 Не получилась карточка.
 Фотограф,
 Как видно, не обманывал.
 Ну что ж,
 Все это было памятно настолько,
 Что все и так запомнила она.

XLVIII

Пожалуй, даже странно,
 Что поныне
 Ей помнится
 Приснившийся опять
 Тот самый луг.
 Но в этот раз над лугом
 Стоял густой туман,
 И, разгребая
 Руками голубую полумглу,
 В молочный сумрак вглядываясь чутко,
 Плыла Марцеле
 В поисках коня,
 Который повстречался ей когда-то
 Здесь,
 На лугу поемном.

Ничего.
 Ни неба.
 Ни земли.
 Туман, и только.

Ей предстояло всей вселенной дать
 Начало всех начал,
 Создать в тумане
 Все из себя,
 И только из себя.

XLIX

Глаза открыла.
Нет, не пелена
Молочного тумана,
А глухая
Стена в рубцах и шрамах
Перед взглядом.
Так много претерпевшая,
Так много
Всего перевидавшая Стена.

Теперь она приблизилась вплотную
К окошку,—
И Марцелле у нее
Искусанными до крови губами
Спросила:
— Что ты хочешь от меня?
И ей Стена ответствовала:
— Солнца...
Тогда Марцелле закричала —
Громко
И радостно —
И Стену от себя,
Как боль,
Одним движеньем отстранила.

И засветилась изнутри Стена.

Туман растаял.
Из-за горизонта
Явился конь.
И, простирая руки,
Возможности **притронуться** к нему
Ждала Марцелле.
К ней склонился кто-то,
Косынкой вытер потное лицо
И голосом старушечьим, негромким
Бесстрастно произнес над ухом:
— **Сын...**

L

Двор пахнет свежим хлебом.
Неужели
Повечерело?
Если свежий хлеб
По городу разгуливает,
Значит,
Мужчины возвращаются.
Да, да,
Мужчины возвращаются,—
Все гуще
Под окнами теснится во дворе
Вечерний говор.
И старуха даже

Немного удивилась, что могла
 Не видеть и не слышать,
 Как мужчины
 С работы возвратились.
 Не иначе
 Она вздремнула,
 А воспоминанья
 Отдельно от нее текли, как время.

В руках у женщин узелки с бельем.
 Ах, да! Сегодня банный день.
 Суббота.

LI

...суббота.
 И она когда-то сына
 Брала сначала на руки,
 Потом,
 Немного позже,
 За руку —
 И в баню
 Сперва несла его,
 Потом вела.
 Блаженные минуты —
 Клубы пара,
 Как шелк тончайший,
 Льнут к нагому телу,
 Окутывают густо,
 И вода
 Свободно входит в соприкосновенье
 Со всем —
 От головы
 До самых ног.
 И неправдоподобны голоса
 Блаженствующих женщин,
 И всё тоньше,
 А там и вовсе исчезает грань
 Меж телом и водою,
 Исторгая
 Стон первобытной радости,
 Блаженный
 Вздох чувствованья,
 Древнего, как мир.

Она хватала сына,
 Зажимая
 В ногах головку светлую,
 И терла,
 Намыливала волосы,
 Покуда
 Не удавалось вырваться ему.

За это первобытное мгновенье
 Первоначальной радости

Она
Расплачивалась нестерпимой мукой
Всей ночи,
Потому что молодым
Наперекор всему осталось тело
И, властно пробужденное водой,
Теперь
Металось в поисках незрячих
И требовало права на слепые
И обоюдные прикосновенья.

У тела есть права —
Они извечны,
Как вечна жизнь —
Начало всех начал.

И в темноте
Ворочаясь до света,
Марцелле задыхалась,
Но была
Беспомощна.

Перегорало тело,
Должно было сгореть,
Чтоб в горстке пепла,
В пригоршне праха,
В том, что остается
От брэнной плоти,
Просияв из мрака,
Возникла **радость верности** —
Кристалл.

И потому,
Должно быть, потому,
Она кусала собственные губы,
Своими же руками прижимала
Свою подушку к собственной груди.

И крохами ночных воспоминаний
Подкармливала плоть,
Чтобы душа
Себя не признавала побежденной.

ЛII

Затронутая тенью,
У Стены
Старуха зябко вздрогнула.
Все ниже
Спускалось солнце.
На шербагом камне
Лежала плоско
Слабая полоска
Остаточного света и тепла.
И скоро тень

Всю Стену
Без остатка
Заполонит.

В былые времена
Старуха
В этот час,
Покинув Стену,
В полуподвал спускалась.
Но сегодня
Прикинула на ощупь,
Что к концу
Подходит нитка,
И со стулом вместе
Придвинулась к последней полосе
Воспоминаний,
К той полоске слабой
Остаточного света и тепла.

ЛИИ

Уже вернулись женщины из бани
И, пересмеиваясь,
По двору
Прошли неторопливо,
Чтобы вскоре
Рассесться у зеркал.
Сейчас начнут
Расчесывать чуть пахнувшие мылом
Распущенные волосы
И чутко
Прислушиваться к собственному телу,
Которое водой возбуждено,
Так,
что ему в одеждах
слишком тесно.

Итак,
Да будет так!
Да будет радость,
Свет памяти
И сумрак забвения,
И сладостное странствие к истокам
Во глубину веков —
Пусть повторится!
Пусть дети нынче вечером заснут
Как можно раньше,
Потому что завтра
Их ждет не будний день,
А воскресенье,
Торжественное, может быть...
Итак,
Да будет праздник!
Радостным и легким
Да будет пробужденье ото сна.

LIV

Сын осознал давно, что он мужчина.
И сына

ежеутренне

теперь

Марцеле отпускала на работу.
Она совсем не думала об этом,
Но счастлива была,
Скорей всего
Как раз тогда,
И позже,
Ожидая,
Когда он возвратится,
И поздней,
Когда кормила ужином,
И даже
Еще поздней,
Когда по вечерам
Он ожидал товарищей,
И поздно...
Да... поздно...
Поздно вечером.
Когда,
Окно полуподвала занавесив.
Они читали книги
Или просто
Беседовали тихо.
А она,
Прислушиваясь,
Где-нибудь в сторонке
Неслышно хлопотала
И счастливой
Действительно была
По той причине,
Что о Стене не думала совсем,
Забыв
(Да, ей казалось, что забыла)
Того,
Который жил во тьме извечной,
Который и ее не победил
И ею не был побежден.

В то время,
О да, в то время
Было время мира,
Сплошная череда хороших дней.
Она от них не требовала много,
Хотела только,
Чтобы и в дальнейшем
Все так и шло,
Все точно так же шло.

LV

Однажды сын извлек из-под кровати
Все тот же ящик

С утварью сапожной,
 К нему второе приспособил дно —
 Здесь он и прятал книги,—
 И Марцеле
 Все поняла —
 И после стольких лет
 Почувствовала снова беспокойство,
 На Стену посмотрела
 И опять
 Подумала о том,
 Что вновь проснулся
 Тот страшный Зверь,
 Таящийся в Стене,
 И что теперь ей **надо быть готовой,—**
 Необходимо,—
 Ибо время мира
 Закончилось.
 А может быть, и вовсе
 Все это время не было его.

LVI

Указывая матери на ящик,
 Сын говорил:
 — Здесь, мама, инструмент,
 При помощи которого
 Обуем,
 Да что обуем —
 С ног до головы
 Оденем всех
 И досыта накормим.

Прислушиваясь,
 Думала Марцеле:
 «Пожалуй, мало этого...»
 И сын,
 Как будто бы почувствовав,
 Добавил:
 — Конечно, мало этого,
 Но здесь
 Есть инструменты,
 С помощью которых
 Всех сделаем счастливей.
 Всех на свете,
 Всех, всех,—
 Ты слышишь, мама?
 «А меня?» —
 Подумала Марцеле,
 И, как будто
 Почувствовав,
 Добавил сын:
 — И первой
 Тебя.
 Ты слышишь, мама!
 И тогда
 Марцеле прошептала еле слышно,

А может, лишь подумала:
 — ...Стена...
 Быть может, лишь подумала
 И все же
 Почувствовала ужас:
 Неужели
 Побеждена?
 И вся подобралась,
 И, глядя внутрь себя,
 Проговорила:
 — Пусть будет так,
 Как ты сказал...
 Пусть будет...

LVII

Старуха ясно помнила еще
 Тот день,
 Настолько ясно,
 Что яснее,
 Наверно, не бывает.
 Как всегда,
 Она проснулась рано
 И на сына
 Сначала поглядела,
 А потом
 На Стену
 (Как всегда).
 И удивилась —
 Неужто солнце поднялось уже?
 И только после этого
 В проеме
 Оконном,
 Выше Зверя и Стены,
 Увидела развернутое знамя.
 Оно хватало ветер
 И живым,
 И дышащим казалось,—
 Я слепая,
 В рубцах и шрамах
 Серая Стена
 Пылала и плыла
 В открытом мире
 Навстречу солнцу,
 Как в открытом море
 Плывет корабль.

Не ведала Марцелле,
 Куда...
 И, вероятно, потому,
 Отпрянув от окна,
 Спросила сына:
 — Флаг... на Стене... вот этот...
 Флаг Любви?..
 (Не видела ни разу,
 Но в реальность

Несокрушимо верила:
 Обязан
 Существовать на свете флаг Любви.
 Не может быть, что он еще не найден!)

Сын отвечал:
 — Да,
Это флаг Любви.

Был молод сын —
 Большой, красивый, сильный,
 Он никогда не лгал.

Тогда Марцеле
 Оделась,
 Вышла из полуподвала
 И стала подле флага
 У Стены.
 А двор пылал и плыл
 (...Куда...)
 Со всеми
 Заботами своими и страстями,
 Восторгами, тревогой
 И тоской,
 С долготерпеньем,
 Ненавистью,
 Страхом,
 С насущным хлебом всем
 И солью всей.

Корабль был стар.
 В его глубоких трюмах
 Имелось все...

И, стоя у Стены,
 Вперед Марцеле подалась всем телом
 И ощутила явственно,
 Что двор
 Плывет (...Куда-то...),
 Потому что ветер
 Притронулся к одежде,
 По щекам
 Легко провеял свежестью и лаской,
 И солнце поднялось из-за Стены.

LVIII

Старуха, поглощаемая тенью,
 Не отрывая глаз, вязала.
 Надо
Закончить то, что начато.
 Иначе —
 Нельзя.
 А кроме этого, она
 Еще ждала
 (Да, да, ждала),
 Но только
 Не говорила никому об этом.

LIX

Никто не знал...
Откуда же, откуда
Ей было знать.
И все-таки она
Должна была,
Да, да, была должна
Знать
И на страже бодрствовать,
И всех
Звать к той Стене,
Чтоб слитное усилие
Неисчислимых рук
Закрыло выход
И чтобы не был выпущен **из тени**,
Из **тьмы** кромешной,
Из глухой **Стены**
Тот страшный Зверь,
Тот Динозавр.

LX

Все спали —
И вышел он.

LXI

Под утро, на рассвете,
Всех разбудила новая война.

LXII

И поперек Стены
Возникло Слово —
УБЕЖИЩЕ,
Начертанное тьмой.

LXIII

По каменным ступеням
В свой черед
Марцеле опустилась в подземелье,
Где с узелками,
С хлебом и водой
От той большой войны спасались люди.
Там пахло страхом,
Крысами и потом.
И было тесно.
И тесня друг друга,
За место под землей
Боролись люди.

И ей казаться начало,
Что здесь,

Что в подземелье
Тоже происходит
Негромкая и малая война,
Что даже здесь,
Незримый, но огромный
(Как страх),
Живет и дышит Динозавр.

Людей она не осуждала.
Люди
Во многом были ей понятны.

Вышла.
Никто не задержал ее.
Но кто-то
Без промедленья
Местом завладел
И воздухом ее...

Зачем, о боже?

Наружу вышла —
И огромный мир
Представился
Убежищем огромным,
В котором обитает
Динозавр,
Его вселенский дух,
Его идея.
Вот почему так трудно флаг Любви
Воздвигнуть над Стеной, —
Весь мир огромный —
Огромное убежище,
И негде
Укрыться,
И приходится дышать
Чающим пепелищем,
Пóтом,
Страхом,
И ты убить не в силах Динозавра,
Поскольку он равно живет во всех.

LXIV

Она стояла рядом со Стеной,
Куда идти, не ведая,
Как рядом
С Историей.
И видела:
В руины,
В прах
Превращались города, и люди,
И памятники,
И земля горела,
И воздух тлел,
И плавилась вода.

От мысли:
Неужели проиграла? —
Живое сердце
Стало мертвой частью
Стены отвесной.
Неужели в мире
Нет больше места
Для любви —
Для птицы
С обугленными крыльями?

Сквозь дым
К Стене стремится птица,
И с размаху
О камни разбивается она,
О голую бесчувственную Стену,—
Чтоб камнем
На булыжники двора
Упасть бескрыло.

Ах, зачем повсюду
Одни лишь **камни!**
Может быть, они
И есть одно из многих воплощений
Окаменелой птицы?

И Марцеле
Упала на колени
Посреди
Мошеного двора,
Склонилась низко,
Целуя камни
И шепча им что-то.

И ожили **они**,
И в тот же миг
(Быть может, ей почудилось)
Взлетели.
Теперь любой и каждый камень мог
Быть самолетом,
Камнем
Или даже
Солдатом.

LXV

Не казалось, что она
Побеждена,
Но высохла,
Поблекла,
И города нездешней красоты
В ней рухнули,
И, как осенний ветер,
Она бродила посреди руин,

Не помышляя собирать обломки
 Минувшего.
 Печально осознав,
 Что ничего в себе не восстановит.

Но хоронить бывшее было жаль,—
 И все в себе,
 Как саваном тяжелым,
 Она прикрыла словом —
Почему...

LXVI

Одно лишь знала —
 Сын бы ей ответил,
 Сын объяснил.
 Но не было его.
 Сам из дому ушел,
 Не позван даже.
 И, торопясь, оставил только флаг
 На сохраненье,—
 Флаг Любви.
 Тот самый.

Марцелю в ящик спрятала его
 Между вторым и первым дном.
 Отныне
 Уже не только сердце,
 Но и взгляд
 Остыл
 И стал пустым,
 Как будто чья-то
 Десница
 Отделила от Стены
 Частицу,
 И теперь частица эта,
 Отбитая от целого,
 Должна
 Погибнуть,
 Претерпеть уничтоженье.

И потому, быть может,
Потому
 Ее все чаще можно было встретить
 У каменной Стены.
 Лишь здесь, пожалуй,
 Она могла приблизиться к себе.

Конечно, мы нередко устаем
И часто ошибаемся.
 Конечно,
 Все это так,—
И все же от Стены
Не отворачиваемся
Во имя

Того, чтобы понять...
Понять ее.

И потому
 О собственном уже
 Устала рассуждать.
 И стало ясно,
 Что **этим** все и кончится,
 И **часть**
 Назад вернется —
В целое.

LXVII

Марцелле,
 С лицом, похожим на глухую Стену,
 Морщинами изрезанную сплошь,
 Теперь
 Все чаще
 Вслушивалась чутко
 В себя:
 Итак,
 Быть может,
Ничего
 И не было,—
 Быть может, за вязаньем
 Она сама придумала себе
 Всю эту жизнь,
 Всё создала
 И даже
 Поверила в создание,—
 И теперь
 Сама не знает,
 Чем и как закончить.
 А если так?
 Действительно, а если
 Все это так,
 Могла ли быть она
 Счастливой вживе,
 И ее Стена
 Могла ли дать ей
Что-нибудь другое?
 Да и она сама,
 Она сама
 Могла ли воспринять
Другое что-то
 И жизнью называть?

К тому же ей
 Недоставало главных доказательств,
 Что все, что было,— было.
 Разве может
 Считаться доказательством
 Ключок
 Бумаги проштампованной,

Повестка
 О том, что сын единственный ее
 Пропал без вести?

Просто невозможно
 Поверить,—
 Нет, не верила она —
 Такой высокий, молодой, красивый
 Пропасть не может без вести.
 Должна
 Была существовать
 Хотя бы пуля
 Или граната,
 Выстрел или взрыв,
 Зверь или человек,
 И на земле
 Должно быть место,
 Пусть всего лишь точка,
 В которой сын ее стоял как знамя,
 Как гордый стяг Любви.
 И до сих пор
 Стоит еще —
 Такой высокий, сильный,
 Такой красивый, юный,
Он не мог
 Пропасть без вести.
 И несправедливо
 Твердить о том, что кончилась война.
 А значит, жив
 И Динозавр,
 И те,
 Что не вернулись,—
 Продолжают битву.

Но если это так,
 То и она
 Не проиграла.
 Ждет победы.
 Сына.

LXVIII

А если это так, то встанем все
 Почтить живые памятники —
 Наших
 Многострадальных матерей,—
 Почтить
 Тех, кто нашел сыновние могилы,
 И ненашедших,
 Ибо все они
 Владеют неопровержимым правом
 На полную победу.
 Их сыны
 Еще ведут сраженья —
 Молодые,

Красивые и сильные,
Идут
На бой
И добиваются победы,
Которая превыше всех побед.

Наш долг — помочь им
И расчистить место
В себе самих
Для знамени любви.
Так встанем,
Чтобы выразить почтение
Изваянным из горя матерям,
Чьи дети вечно юны и прекрасны
И все еще ведут свою борьбу.
Почтим же матерей
Простых и кротких,
Иссушенных тревогой ожидания,
Живущих среди нас,—
Они печальны,
Как древки, что остались от знамен.

LXIX

И все на свете кончилось.
Во мрак
Ушла Стена
Экраном, на который
Никто и не взглянул,—
Быть может, только
Мальчишка,
Тот, который в Динозавра
Неутомимо целился из лука.
Но он был слишком мал,
Чтобы понять.

И вздрогнула старуха.
Чуждый холод.
Нить подошла к концу.
(О том, что нитка
Когда-нибудь закончиться должна,
Известно было ей.)
И все же это
Случилось неожиданно,—
К земле
Она склонилась,
Чтобы посмотреть,
Чтобы узнать,
Действительно ли нитка
Кончается совсем
И что в конце.
Но разогнуть
Коснеющую спину
Уже была не в силах.
Ничего
Не увидала.

LXX

Рухнула Стена.

LXXI

Не знала, наяву или во сне,
Перешагнула серую руину
Разрушенной Стены.

С той стороны
Открылся ей
Сияющий, широкий,
Давно знакомый луг,
И потому
Не страшно было
И совсем не странно.
Подумала:
Теперь и должен конь
Явиться,
И пошла ему навстречу.
А из-за горизонта,
Как гора,
Встал Динозавр.
И на лугу бескрайном
Они вдвоем остались наконец.
И лугом шли, не торопясь, покуда
Не встретились друг с другом.
И тогда
Он преклонил пред ней свои колени,
Непобежденный,
На колени пал,
Огромный, страшный,
Он лизал ей руки.
Вставало солнце, как в блаженном сне,
И было хорошо, забылись муки.

LXXII

Новорождённый день прильнул к Стене.

Перевел А. Межиров.



М. РОЩИН

★

С УТРА ДО НОЧИ

Рассказ

Был шестой час утра, Карельников уже поднялся и, включив свет, стоя в трусах в коридоре перед трельяжем, брился. Электробритва зудела на весь дом по пустым комнатам. Позавчерашний день все не шел из головы. Вчера уже была куча дел, и сегодня предстояло дай бог, тем более что Купцов слег все-таки, не вышел, загрипповал, — да, дел было невпроворот, но из памяти никак не уходило то, позавчерашнее: бюро, и как они вышли из обкома, как обедали потом вдвоем, летели в «аннушке». Главное, что между ним и Купцовым пробежала черная кошка. Вышло, будто он подвел первого. Смешно, конечно, но получилось именно так — Карельников подложил Купцову свинью! Чушь, но кое-кто так и скажет. Да и сам Купцов разве не дал ему понять? Нет, это просто под горячую руку, к тому же грипп. Но когда вышли из обкома, остановились на обкомовских ступеньках, Купцов повернул к Карельникову красное лицо и сказал зло: «Ну, понял?» Понял, понял, что ж не понять...

А за обедом?.. Обед попросили в номер, Купцов решил выпить, чтобы разогреться, как-то разогнать простуду или, может, просто разрядиться, а пить в ресторане, на людях, не хотел, и они обедали вдвоем в номере. И тут, наверное, надо было как-то иначе себя повести, подобрее. Купцов брезгливо, почти с отвращением, как лекарство, но и с отчаянием каким-то выпил целый стакан, — он был с краями налит, водка по стенкам текла и капала, — да, наверное, тоже надо было выпить много и сказать что-то утешительное, а Карельников покуривал и молчал. Но он был спокоен и не чувствовал себя виноватым.

Выходило, что это все Карельников, что, если бы не он, не было бы этой записки в обком, всей этой катавасии, нервотрепки, ожидания, и в конце концов этого бюро, и сначала насмешливого, а потом уже просто уничтожающего разгона им обоим. Им обоим, но главным образом, конечно, Купцову, поскольку Купцов — первый секретарь райкома, старый и опытный, а Карельников — второй, и, как говорится, без году неделя второй...

В самолете за полтора часа полета они уже ни словом не обмолвились. Купцов, совсем больной, с температурой, с красным и набрякшим после водки, постаревшим лицом, поживался, запахивался в пальто и почти не глядел на Карельникова...

Электробритва раздражала, он слышал ее звук, и где-то в затылке отдавался моторчик — это был первый признак утомления и скверного настроения. Надо было как-то сбросить с себя эту тяжесть. Дел полно. Но в голову, помимо воли, лезло и лезло одно и то же: как он все-таки не сдержался и вспомнил Купцову, что они, собственно, когда готовили

записку и не рассчитывали, что их встретят с распростертыми, знали, на что шли. Шуточки ли — предложили менять основу экономики всего района, на областной баланс замахнулись. Не так все просто, за это по головке не гладят. Но все-таки, что греха таить, все-таки надеялись, что поддержат, поймут, в пример даже, может, поставят. А что сказал им Козаченко? «Работать надо, а не прожекты сочинять. Работать не умеете, вот и придумываете, легоньких путей все ищите...»

Слава богу, побрился! Можно дернуть штепсель и бросить наконец эту нагрешуюся жужжалку. Бритву получше не могут придумать, бухтит, как трактор! Еще этот пустой, неприбранный дом, сиротские без Нади и Витюшки комнаты, ворох грязного белья в ванной, остатки пристывшей на сковороде яичницы — черт знает что, одно к одному... А как Козаченко бросил под конец их записку, каким жестом брезгливым! А она год писалась, по ночам, сколько людей труд свой вложили и, главное, надежду... Нет, хватит, хватит, а то совсем размагнититься к черту с такими мыслями. Обойдется. Перемелется — мука будет...

Он стал под холодный душ, растерся, побрызгал лицо одеколоном из пульверизатора, надел чистую теплую ковбойку и почувствовал себя бодрее. Почему-то под душем, хлопая себя по крепкому телу, растирая руки и ноги, побрякивая под ледяной водой, он всегда вспоминал о своем возрасте, о том, что только-только перевалило за тридцать, все еще впереди, и чувствовал себя молодым спортивным парнем, которому все нипочем. В хорошем настроении, когда Надя дома, он всегда еще что-нибудь поет веселое из ванной... Уж две недели, как Надя отвезла Витюшку в Новгород к бабке, а сама сдает в Ленинграде сессию. Сегодня экзамен, позвонит, должно быть, к ночи.

Уже торопясь, стоя он выпил на кухне чаю, еще раз подумал, что надо бы выкроить время, субботник устроить и все тут прибрать, перемыть, а то просто домой идти неохота. Он любил хозяйственно походить по дому с молотком и гвоздями, замазывать окна на зиму, колоть дрова; когда Витюшка родился, стирал с Надей в четыре руки пеленки, обеды варил, полы мыл. Но теперь и забыл уже, когда все это делал, — некогда, некогда, и кто-то другой приходит замазывать им окна, чинить краны, а дрова привозят колотыми.

За окном светлело, хотя день, видимо, опять собирался пасмурный и с дождем. Проклятая эта еще погода, двадцать первое мая, а все не отсеялись!

Пора было ехать. Он сбросил тапочки, надел тяжелые сапоги, кепку и куртку, вышел на крыльцо. Вспомнил и поманил за собой кота, чтобы тот не оставался в доме. Кот лениво вышел, и Карельников сказал ему: «Пошатайся уж опять где-нибудь, к вечеру вернусь». Крыльцо было сырое от ночного дождя, на пустом дворе стояли лужи, зато «газик», что ждал его подле крыльца, омыло после вчерашней грязи.

С крыльца, через забор, на той стороне улицы виден был дом Купцова, такой же, как у Карельникова и как у другого городского начальства, у директора Стекольного, у председателя райисполкома, у начальника милиции, — такой же типовой чистенький финский домик с тремя окнами по фасаду. Знакомые пестрые желтые занавески на окнах были задернуты. Неужели надолго Купцов свалился? Не ко времени. Надо будет вернуться пораньше да зайти проведать, теперь он, наверное, успокоился немного, отошел. Вчера, правда, когда звонил и сказал, чтобы Карельников принял пока всю команду на себя, голос у него был официальный и никакого лишнего слова он не сказал. И Карельников тоже не сказал. Черт его знает почему. Ну, ничего, бывает. Может, с Инной Ивановной хотя бы потолковать? Пожалуй, надо потолковать. Она тетка славная. Нет. Потом.

Он сошел с крыльца, открыл дверцу, достал из-под сиденья тряпку и наскоро протер ветровое стекло. Вымел чуть-чуть из-под ног вчерашнюю непросохшую грязь. Открыл ворота, выехал задом. «Газик» завелся сразу, будто только и ждал, когда к нему прикоснутся.

Потом он вышел, чтобы затворить ворота, и увидел, как показались ему, что в доме Купцова поднялась и опустилась занавеска в крайнем окне.

Он проехал своей улицей, где стояли рядом финские домики, и выехал на Волейбольную. Тут стояли катки и грейдер, горками лежал щебень, Карельникову пришлось съехать со свежего асфальта на обочину. Он отметил, что со вчерашнего дня дорожники нисколько не продвинулись (опять дождь проклятый) и что сейчас пока ни одного рабочего на дороге нет, а ведь обещали к первому июня Волейбольную сдать... Он проехал до моста, миновал мост, заводские пруды, рынок. Он еще не решил, куда поедет сначала: в «Первое мая», к старику Нижегородову, или в Кувалдино, к Ляху. Отметил мимоходом, что ворота на рынке уже раскрыты, но стоят всего две машины, людей мало, пусто. Не до рынка сейчас... На дверях новенького стеклянного магазина «Спутник» (одежда, галантерея, парфюмерия) висела дощечка — «ремонт». Осенью только открыли торжественно, нахвалиться не могли — тоже и у нас модерн, не лыком шиты! — и вот за зиму магазин скособочился, два больших стекла лопнули, пластик на полу вздыбился — начинай все сначала!

После областного города Михайловск, как всегда, казался большой деревней, да он и был, в сущности, селом Михайловским, с шестьюдесят первого только переименовали. И вот с тех пор бывшее Михайловское из кожи вон лезет, чтобы походить на настоящий город, строится и асфальтируется, но все равно реконструкция захватывает пока только самый центр, пяточок, да район Стекольного, а остальной Михайловск все остается деревянным и одноэтажным. Сюда бы еще троечку таких заводов, как Стекольный, или большую стройку, или хотя бы железную дорогу не в восьмидесяти километрах, как сейчас, а поближе, тогда бы пошло дело. Или... Да, или то, что было написано в их «прожекте»: интенсивный животноводческий район потребовал бы холодильников, мясных и молочных заводов, возродилось бы кожевенное производство, можно было бы построить обувную фабрику... Ну, ладно, ладно, а пока вон тетка выгоняет из калитки корову, а вон другая, а вон и два пастуха волокут свои кнуты по асфальту...

Карельников доехал до развилки, где стоял новенький, выкрашенный серебряной краской столб не столб, обелиск не обелиск с вертикальной по нему надписью: «Город Михайловск». Тут же были слова «Добро пожаловать!» и типовой синий орудовский щит с румяным милиционером и стандартным изречением, что Михайловск приветствует дисциплинированных водителей. Карельникову припомнилась Германия, мекленбургские голубые шоссе, уставленные тоже подобными надписями и указателями, его шоферская служба, — давно дело было, совсем мальчишкой был Витя Карельников...

Как-то сам собой «газик» повернул налево. Ну что ж, к Нижегородову так к Нижегородову. Интересно, знает ли уже старик, с чем они вернулись? Что-то он скажет? Ничего ему, черту хитрому, не делается. Пока он в председателю, секретарей-то в районе не меньше десятка поменялось, уж он-то всякое повидал...

Каждый раз, выезжая на первомайскую дорогу, Карельников любовался видом, который открывался за развилкой. Михайловск лежал как бы в долине между невысокими горами. Это все были исконно лесные места с пестрыми и скудными почвами, с глиной и камнем, но необычай-

но красивые, просторные — извилистая, тихая и мелкая Сога в черемуховых зарослях, широкие чистые луга с отдельными по ним старыми ветлами, отлогие склоны холмов, как бы самой природой приготовленные под пастбища, а выше — леса, сосняк, береза, дубки, — светлые и чистые леса. По долам прчнутся деревеньки, — совсем близко подъедешь и то не увидишь, пока не выдаст ее старая колокольня. Остались еще тут деревянные церкви и каменные, но все заброшенные, разваливающиеся.

Ровные и обширные поля в Михайловском районе по пальцам пересть, поэтому стали запахивать луга. Вот, например, сразу слева от дороги луга были, а теперь?.. На просторном длинном поле, заняв его на две трети, поднялась молодая зелень — это взошло то, что успели до мая посеять. А остальной участок лежал черным и пустым, и где-то на самом краю его можно было разглядеть увязшую в грязи сеялку без трактора — значит, до сих пор еще сеяли или в лучшем случае только-только закончили. Как зарядили с тридцатого апреля дожди, так по сей день колхозы никак из грязи не вылезут.

Дорога едва приметно поднималась вверх и вверх, ее было далеко видно среди зелени и черноты полей. Карельникову надо было ехать до самого леса, подняться в гору, там ехать по нагорью километров восемнадцать, все лесом, а затем снова спуститься вниз, а там уже будет и само Пеплово, и усадьба первомайская. На западе как будто светлело и тучи поднялись повыше — может, еще и разгуляется сегодня, май все-таки.

Впереди сошла с дороги, посторонясь от машины, высокая старуха в тулупе и сапогах, с авоськой, в которой успел Карельников разглядеть буханку хлеба. Мелькнуло испуганное длинное старушечье лицо. «Это куда ж она?» — подумал Карельников. До ближайшей деревни было километров восемь. «Не иначе, как из Прудов». Он было проехал, но потом затормозил. Откинул правую дверцу, высунулся, обернув голову назад. Старуха стояла в нерешительности и как бы в испуге.

— Далеко ли тебе, бабка?

— Как? — Голос у старухи был очень высокий, она кричала почти.

— Куда идешь-то? — закричал тоже Карельников.

— А в Пруды, милай, в Пруды, тамошняя я.

Все не выходя на дорогу, старуха заторопилась, заковыляла по грязной обочине к машине, ссутулилась и будто сделалась меньше ростом.

— Ну, садись, подбросу тебя. — Карельников перегнулся через сиденье и открыл заднюю дверцу.

— Да это что ж, это спасибо, милай, только отплатить-то мне нечем тебе. — Старуха говорила все так же громко, должно быть, глуховата была.

— Садись, садись, ладно.

Старуха стала обивать с сапог грязь, неумело, неловко полезла в машину, все что-то говорила благодарно и испуганно. Карельников опять перегнулся и захлопнул за ней дверцу.

— Из Прудов, значит?

— Оттуда, оттуда, из Прудов мы.

— Чья ж ты?

— А Василёва, милай, Василёва Анна. Мужика-то нету у меня, на войне убитай, а дочка старшая, Анютка тоже, в доярках, может знаешь, в первомайском дояркой. Она-то по мужу Анфисова...

— А, Анфисова, знаю. — Он в самом деле слышал как будто такую фамилию — Анфисова. Но не может быть, чтобы в Прудах жила доярка, а в первомайском работала — больно далеко от Прудов до ферм, что до первой, что до второй. Пруды — это была совсем затерянная деревенька, богом, как говорится, забытая, в семь дворов всего.

— Что ж она, с тобой живет, дочка-то? — Карельников глядел на дорогу и спрашивал, не оборачиваясь к старухе, громким тоже, высоким голосом. Старуха разбирала, не переспрашивала.

— Строюца, милай, строюца. В Пеплово ушли. Куда ж в Прудах-то!

— Строятся? Это во сколько ж им дом-то встает?

— А во сколько! Новый-то в одиннадцать старых обломится, да хотим вот старый перевозить.

— Старый?

— А то куда ж его? Не бросать, чай, а покупателей на Пруды-то не найдешь. Худое место, вовсе худое. Пруды — не годятся никуды.

— Худое, говоришь?

— Куда-а! И не дееца им ничего, Прудам-то, разбомбил бы их уж господь! Старухи мы одни остались да ребятишки. Большие города, слышу, пощиплют там войной иль еще как, да обратно отстроят, а нам сто лет все одно. Никудышнее место!

— Так ведь ты небось всю жизнь там прожила, или не жалко?

— Нет, я не отсюда, меня мужик привел, мы сами-то серебряковския...

Карельников усмехнулся: Серебряково было в соседнем районе, всего километрах в сорока пяти отсюда. Старуха осмелела заметно, все так же громко, почти на крике, стала рассказывать, как привез ее мужик в Пруды, как жить стали...

— А ведь у вас в Прудах свой колхоз был,— вспомнил и перебил старуху Карельников и усмехнулся опять: колхоз на семь дворов.

— Был, был, как же! После войны еще был...

— А скажи мне, пожалуйста, по скольку ваши мужики прежде хлеба тут брали?

— Брали? А помногу-то никогда не брали, по шестьдесят, бывало, пудов брали...

— Ну уж, по шестьдесят! — Карельников не поверил, хотя и эта цифра невелика была. Но если учесть, что в прошлом, например, году едва собрали то, что посеяли, и если учесть, что в лучших михайловских хозяйствах цифра в семь центнеров написана на всех лозунгах и плакатах как предел взятых колхозами обязательств, то десять почти центнеров, конечно, диковина.

— Это на каких же, мать, полях они брали?

— А на каких! На этих же, на наших, вон они пойдут, за рощей-то...

— За рощей?

— А то где ж! Да ты что дивуешься-то? Бывало, всюю осень и вёсну навоз возим да зóлу, под семенное-то уж непременно мужики золу клали...

— Золу, смотри ты!

— А как же! Навоз — он сорняк гонит, где ж тут!

— Интересно... Но я ж эту землю знаю, камень ведь один голый, теперь-то еле по три-четыре центнера...

— Теперь-то так, обтощала земля...

Впереди была длинная желтая лужа, Карельников сбросил скорость и медленно въехал в нее, отвлекшись на минуту от разговора, не слушая, что говорит дальше старуха. Потом вспомнил и снова перебил ее:

— Золу, говоришь?

— Ее. Всюю зиму, бывало, собирашь...

— Химия, значит, была, минеральное удобрение?

— Как?

Карельников не ответил. Ему не верилось, что собирали прудовские мужики такие урожаи именно на тех, зарощинских, хорошо ему знакомых землях. Но старуха не могла ошибаться. Что ж, выходит,

может, прав Козаченко: работать не умеем? Нет, это все не так просто, не надо забывать, сколько и каких лет лежит между теми урожаями и нынешними. Да и не везде, наверное, и не всегда удавалось мужикам столько брать хлеба.

— А на других землях как? — спросил он старуху.

— Так по-всякому, милай, какой год! Уж насиживались и без хлебушка, слава тебе господи! Так-то насиживались, что в иную весну могилки свеженьких на погосте больше, чем народу по домам...

Вот-вот, вот то-то и оно, а шестьдесят-то пудов, может, раз-другой только и было, почему и в память запало. Не зря михайловские помещики зерновым хозяйством почти не занимались — предпочитали лучше кусок чернозема где-нибудь на юге купить, тут же, в своей губернии, поужнее только. Все дело-то в том, что в Сосново-Кузьминском, например, районе земля как земля, там и по двадцать два и по двадцать пять центнеров получают, а тут — пшик. А область одна, и планы одни, и цены одни, и требования одинаковые. Уж так ясно, ребенку ясно, что нельзя с одной меркой подходить, — нет, все не разберемся никак. И мы в своих требованиях правы, мы, и бояться нам нечего...

Опять вернулся Карельников мысленно к Купцову и опять вспомнил, как летели в самолете, какой больной и несчастный вид был у первого, — почему-то именно те обидные полтора часа молчания не шли из памяти.

Карельников еще поговорил со старухой: о других ее детях, о погоде, о строительстве дома. Старуха никак не хотела помириться со своими полуразвалившимися Прудами: у других и электричество, и радио, и шоссе рядом или станция, а от Прудов все далеко, ничего в Прудах нет, хорошо еще ребятишек стали в интернат на зиму забирать, а то и учиться негде — за десять километров не находишься...

Все, о чем говорила старуха Василёва, было Карельникову известно, известно было также о тех многих решениях и постановлениях, которые принимались райкомом и райисполкомом о Прудах и подобных Прудам деревеньках, об их укрупнении, слиянии и т. п. Но пока Пруды продолжали существовать, и от этого никуда не денешься.

— А скажи-ка мне, мать, что председатель-то ваш, он как? Вот хоть с домом: помогать-то обещал?

— Он-то? Иван Никитыч, что ль?

— Да какой Иван Никитыч, у вас Нижегородов теперь, вы ведь первомайские теперь, что ты, ей-богу!

— Ну да, — сказала старуха неуверенно, — первомайские. Иван Никитыч это... ну да... — И вдруг опять подняла голос: — А ему чего! Мы ему чужие, он к нам и не кажется, на кой мы ему!

— Да ну, брось, брось, сам я с ним к вам заезжал, что уж зря говорить...

— В Пруды заезжал?

— Ну, в Пруды, конечно, куда ж еще...

— Ну, может, и так, вам оно виднее. — Старуха сразу сникла и подумала, должно быть: кто ж это такой везет ее? — У нас и с коноплями все мимо ездют, и на таких машинках вроде проскакивают, может, и так...

Разговор как-то сразу увял, да и Карельникову все труднее было следить за дорогой, потому что въехали в березняк, тут было мокро, набито было сразу три колеи, не угадаешь, какой лучше держаться. Надо было бы уважить бабку и сделать крюк километра в полтора к распроклятым ее Прудам, но там будет потом совсем дрянная дорога, возвращаться же назад — долго. Поэтому на повороте Карельников притормозил. Да и старуха уже заволновалась, глядела в оконце и вот-

вот, должно быть, хотела спросить, куда это везут ее. Карельников помог ей открыть дверцу, она выбралась, опять громко и от души благодарила его.

Они распрощались, и Карельников тронул машину. Дело не в крюке было, он понял: просто не хотелось лишний раз бередить себя видом Прудов, старых и еще крепких, как он помнил, но сиротливых и неухоженных домов, куцей улочки, полурастасканного развалюхи-амбара. «Пруды — не годятся никуда». Точно сказано...

Дорога петляла среди редких молодых берез, трава между ними стояла свежая, мокро-зеленая, с первыми цветами, — сюда, видно, пастухи еще не заводили коров, хотя рядом, слева, вот-вот должна была открыться калда — летний лагерь. Несмотря на холод и дождь, природа брала свое, лес и поля оделись в зелень, и было то состояние в природе, та готовность к лету, что, кажется, пробрызгни на полдня солнце — и все оживет, высохнет, заиграет, будет май как май. Карельников подумал: заезжать или не заезжать на калду? На утреннюю дойку, конечно, опоздал, еще в четыре должны подоить и выгнать стадо, сейчас небось уже и нет никого.

Однако, подъезжая, он еще издали увидел медленно, разбросанно бредущих от лагеря коров — каждая, опустив голову, жадно хватала первую попавшуюся траву. Возле свежей, желтеющей, как масло, изгороди видна была группа доярок; пастух в длинном плаще изгибался там что-то, махая шапкой; женщины смеялись. На деревянном помосте белосияли алюминиевые бидоны... «Ну, паразиты, ну, работнички, полседьмого уже, а они...» Карельников почувствовал, как жар ударил в голову, знакомо накатила гнев. Он прибавил скорость и целиной, по траве и кочкам, погнав машину к калде. Мимо коров, мимо рыжего быка, мимо полевого вагончика с вылинявшим флажком — жилища доярок и скотников.

Его заметили издали, успели перегруппироваться, кто-то из женщин побежал в лошину, пастух торопливо отделился от всех, надел шапку, ударил кнутом, и ближайшая к нему корова дернулась и прыжками побежала вперед. Карельников чувствовал, что сейчас выпрыгнет из машины, как чумовой, и заорет. Вот уже совсем рядом увидел он напряженные лица доярок, сбросил скорость, остановился. Машина проюзилась с метр по жидкой грязи, доярки отпрянули.

Карельников взялся за ручку, чтобы отбросить дверцу и выпрыгнуть, но какое-то мгновение помедлил, сдержался. Ему надо было обойти спереди машину, и эти несколько шагов на расползающихся по коровой грязи ногах тоже помогли ему скрепиться.

— Секретарь, секретарь, — услышал он шепоток, и как будто почувдилось ему в шепотке этом и лицах доярок облегчение. Видно, не самый для них страшный зверь был секретарь.

— Ну, здравствуйте, красавицы!

— Здравствуйте!.. День добрый!.. Вам также! — небойко ответили голоса.

Перед Карельниковым в грязи и на мостках стояли женщины в сапогах, ватниках и платках, только две из шести были молодые, и молодых Карельников помнил — беленькую простоватую Настю повыше ростом и невысокую, строгую, с красивым смуглым лицом Марфу Кострову. С Марфой даже выработался у них за время знакомства игривый, с подковырочкой тон разговора, — она ему нравилась, он ей, кажется, тоже. Знал он и Лизу Савельеву — ей было лет сорок, но, как говорили, всю жизнь прожила она без мужа, и в ее чистом, застенчивом лице осталось что-то девическое, всегда она смущалась и розовела, как девушка, и издали можно было угадать ее по быстрой и тоже молодой походке.

Стояла тут же маленького росточка, знакомая на лицо Карельникову старушка доярка из тех бойких старушек, что не помнят своего возраста и вечно держатся с молодыми бабами и даже бывают заводилами среди них.

— Ну и что же это, как же это называется? — Карельников обвел взглядом всех, но обратился к Марфе, поскольку она была за старшую. — Эй! — тут же крикнул он пастуху и поманил его рукой: — Погоди-ка!.. Как его? — обратился он к женщинам.

— Горелов Пашка, — ответила хмуро Марфа.

Пастух еще ударил кнутом, гикнул на коров и нехотя повернул назад.

— Ну так что ж это делается у вас? — опять спросил Карельников.

Доярки понимали, в чем их винят, тут ничего объяснять не нужно было, но по лицам их Карельников уже видел, что виноватыми за то, что стадо уходит из лагеря так поздно, они себя не считают. И действительно, старушка сразу бойко ответила:

— Так ведь дождь даве лил, товарищ секретарь. Куда же их?

— Отдой-ка скоро! — сказала с вызовом беленькая Настя, обращаясь не к Карельникову, а к подругам. — У меня вон девятнадцать их!

— В три-то часа и выйти не дал! — сказала еще одна доярка о дожде.

— Машину бы лучше вовремя подавали! Все одно ее до сих пор нет! Вон оно, молоко-то! — Это Марфа вступила и показала вниз, в лошинку, где в родниковой воде в широком деревянном лотке стояли утопленные на две трети бидоны. Марфа не улыбалась, говорила по-прежнему хмуро, и то, что между ними не возникло обычного легкого и шутивого тона, означало, что Карельников сердит на Марфу, а ей самой тоже не до шуток.

Услышав про машину, Карельников выругался про себя, но виду не подал, потому что сразу пришлось бы признать виноватым кого-то другого, и поэтому, не отвечая Марфе, продолжал наступать.

— Навесы-то у вас зачем? — сказал он. — Что ж, под навесом, что ли, нельзя в дождь доить?

— Так и доили, что ж, когда поутихло-то..

— Их, чай, девятнадцать, — опять сказала Настя.

Пастух подошел и остановился в двух шагах. Карельников глянул мельком — парень напуском хмурился, зимняя шапка натиснута была на лоб — и продолжал слушать женщин.

Говорить стали одна за другой и сразу, как водится, о всех бедах своих, хотя речь шла только о нынешнем утре, но уж это, как обычно; стоит увидеть начальство — и посыплется все жалобы от Адама: и что из грязи не вылезают, и что плохо ездит лавка продуктовая, и что телята поносят, и что коровы селедку плохо едят (бочки с селедкой стояли тут же в стороне, под брезентом, и от них шел острый соленый и гниловатый дух), — говорили все сразу, одна подхватывала начатое другой, и уже выходило, что не Карельников делал им выговор, а они ему.

Слушая и коротко отговариваясь, Карельников вступил на мостки, где на кольях сушились перевернутые бидоны, стал отгибать и нюхать резиновые круглые прокладки на крышках бидонов. Женщины сразу примолкли и следили за ним.

— Что ж плохо моете, или кипятку нет? — Он опять обратился к Марфе.

— Да моем, как не моем! — сказала Марфа.

— А это вот что? Понюхай! Это вот чей? — Он повернул бидон и увидел криво написанные черной краской инициалы «Ев. М.». Из-под прокладки этого бидона тянуло кислым.

— Михайловой Дуськи это! — ответила за Марфу старушка. — Говорили ей, окаянной, тыщу раз говорили!

— Болеет она, — сказала Марфа.

— Ну вот, — Карельников как бы отвечал на все их жалобы, — сама себя раба бьет, что нечисто жнет. Не так, что ли? Что не от вас зависит — это мы с другими разберемся, но свое-то что ж спустя рукава делаете? Вот ты, — он обратился к пастуху, который стоял с таким видом, точно скучал, — для самостоятельности другое бы время нашел. — (По всем лицам как бы прошла улыбка.) — Когда теперь назад погонишь? Не накормишь ведь, ненакормленными вернешь?

Пастух плечами пожал, усмехнулся — мол, такого не бывало еще — и не ответил.

— Не мне же вас учить, сами все знаете, — сказал Карельников мягче при общем молчании, — неужели пособранней нельзя быть? Ведь говорили много, толковали, вон лето-то какое...

Он понимал, что говорит, может быть, ненужные, известные слова, и ему вовсе не хотелось ругать женщин или держаться с ними так официально, как он сейчас держался, но он знал, что они поймут, чего он хочет от них. На каждом шагу видишь, что люди не умеют, не любят или ленятся работать так, как нужно. Уж кажется, сами лучше кого другого понимают необходимость и выгоду своей работы — так нет, обязательно что-то будет не так. Конечно, деревня не завод, все не учтешь, не распределишь от смены до смены, не спланируешь. Вон дождь ливанул в четыре — и весь распорядок к черту. Но все равно. Крышку вот эту несчастную неужели вымыть нельзя?..

— Мешок комбикорму увезли у нас давеча, — вдруг сказала Марфа. Она вовсе нахмурилась и не глядела на Карельникова.

— Как это?

— Да вон они там стояли, — она показала на дорогу, — как их нам привезли, мы и занести не успели. А они ехали, сразу в кузов к себе — и поминай как звали...

— Да кто же?

— Не знаю я его. Я, говорит, бригадир, у меня согласовано. Мешок в кузов — и айда! Из кувалдинских вроде...

— Да ты что, Марфа, как же это так?

— Да вот как есть...

Черт поberi, только этого не хватало! Из кожи лезешь, все делаешь, чтобы на молоке хоть что-то взять! Лагерь построили, комбикорм этот выбиваешь черт знает с каким трудом — и вот на тебе!

Карельников стал спрашивать, какой из себя был этот человек, что за машина, куда поехали. «Вот чем заниматься приходится, товарищ секретарь райкома». — сказал он себе. Ему захотелось тут же вскочить в машину и броситься в погоню, найти этот мешок. Черт знает что!

Он прошел еще по доскам, положенным в грязь, к калде, Марфа провожала его. Пожилая женщина в распахнутом ватнике сгребала с настила лопатой навоз и грязь; измученная, с раздутыми боками корова лежала тут же, слышно было ее частое, отрывистое дыхание. Глаза у нее были совершенно человеческие, как у больной женщины.

— Нынче отелится, — сказала Марфа, и они стали говорить, сколько еще коров должно стелиться и сколько яловых. Женщина остановилась и слушала, опершись на лопату. А Карельников еще раз прикованно обернулся на страдающие коровьи глаза.

Он не уехал сразу, заглянул еще в вагончик. Тут тесно стояли топчаны, высокие от настиленных матрацев и одеял, — доярки спят по двое, а то и по трое — стены густо были залеплены бог весть какими плакатами: насчет коров и хранения денег в сберкассе, донорскими и пионер-

скими. Топилась железная печурка, в вагончике было жарко, варилась картошка в чугушке. Бойкая старушка хлопотала уже у печки, спустив с головы платок. Как-то нехорошо стало от тесноты, убогой временности этого жилья. Свет едва проникал в два мелких оконца.

— Вот ругать-то нас все! — говорила старушка. — А что бы другую такую халабудку поставить! Мужики-то тоже тута спят, у порогу вон их кладем, — так дует. Хочешь молочка-то?

— Да выпью, — сказал Карельников. — А вы бы с собой их клали, мужиков-то.

Доярки толпились за ним в дверях, на его шутку загомонили разом. Старуха налила из бидончика и поднесла в литровой кружке молока, коричневой ладошкой обтерла доньшко.

— Куда мне, — сказал Карельников, — лопну!

— Пей, пей, молодой, что тебе сделается!

— Подобрей будешь! — задорно крикнул кто-то из женщин.

Карельников обернулся.

— А то злой я вам? Так другую, говоришь? — обратился он опять к старушке.

Женщины смеялись, говорили что-то, но старушка ответила всех громче:

— Ну а что ж, не люди, что ль? Всюю лету ведь жить, товарищ секретарь Карельников! У иных там и свет есть, и радива проведенная, а мы рыжие, что ль?

«И эта про радио», — подумал Карельников, но слушал с улыбкой, ему нравилось, что бабке тоже хочется радио.

— А попросили бы у председателя своего, пускай транзистор вам купит.

— Чего?

— Приемник такой, — объяснила Марфа за Карельникова. — Что Васька Пирогов зимой купил, по улице идешь, а он в запазухе зудит... Да нешто он купит? Держи карман шире!

Карельников пил холодное вкусное молоко, не мог оторваться, перевел дух и сказал:

— Ну почему, Нижегородов это любит.

— Он кому все, кому ничего, — сказала сзади беленькая Настя.

— Ну разве на ферме у вас плохо?

Нижегородов славился своими двумя образцовыми фермами, где было чисто, лежали журналы и книги в просторном красном углке и была устроена душевая для доярок, — Карельников вспомнил сейчас как раз об этом.

— На ферме-то, конечно, а тут-то?

Надо было бы пообещать им второй вагончик и приемник тоже, но обещать было рискованно, не раньше, чем через месяц-полтора, когда пойдут вверх надои, можно будет говорить о премиях, так что лучше потом сюрприз сделать, если удастся, а не обещать. На сердце отлегло немного, он сам рад был, что разговор его с доярками под конец смягчился: ведь если по чести говорить, этих женщин, которые работают тут, среди леса, не зная ни дня, ни ночи, в грязи и навозе, на руках надо носить, золотом осыпать, а мы их еще жучим, выговариваем: то не так, это не так. И все-таки... Поблагодарив за молоко, выйдя к машине, он сказал:

— Ну, обратно поеду — загляну опять. Погляжу, как тут у вас будет... А мешок, Марфа, я тебе разыщу...

— Заезжайте, — сказала Марфа. — Мы тут всякому гостю рады.

Другие женщины — все как бы вышли провожать его — тоже благодарили и говорили, что милости, мол, просим. Лиза Савельева позже

всех вступила, ее «заезжайте» уже в тишине прошепталось, и щеки ее зардели. Карельников улыбнулся и поехал.

Не больше чем через две минуты нагнал он стадо, открыл дверцу и погрозил пальцем пастуху. Тот успел пожать плечами и сделать такой вид, что, мол, о чем разговор, все в лучшем виде будет.

Карельников ехал дальше, и странно, ему как будто легче стало после встречи с доярками.

Минут через сорок он уже подъезжал к правлению первомайского колхоза. На последних километрах нанесло вдруг тучу, хлынул сильный дождь, стучал по брезенту, «дворник» болтался по стеклу среди водяных струй. Карельников въехал под белую высокую арку с названием колхоза, голо стоящую на дороге, увидел голубую «Волгу» Нижегородова у крыльца, блестящую от дождя. Подрулил поближе к входу, чтобы сразу выскочить из машины под навес. Вокруг не было видно ни души. Старый, длинный, на высоком фундаменте дом стоял одиноко среди поля; Пеплово — большое село с пятиглавой старой церковью, в ней с незапамятных времен хранилось зерно, — лежало слева. Тут, вокруг правления, по планам Нижегородова, должно было вырасти новое село из каменных двухэтажных домов, с отоплением и канализацией, но построен пока был только один такой дом — под ясли колхозные, — а другого строительства видно не было, — Карельников подозревал, что о планах новостройки Сергей Степаныч говорил только так, для важности, а этот одинокий дом поставил больше для отвода глаз: вот, мол, уже начали.

Такого хитрюгу, как Нижегородов, поискать! Колхоз его самый большой и богатый в районе, объединяет шестнадцать деревень, и земли его протянулись по районной карте едва не на семьдесят километров. По территории колхоза проходит железная дорога, и есть станция Горбуновка — одна на весь Михайловский район. Колхоз разбросан сильно, и горы тут тебе, и лес, два озера, и до некоторых участков «Первого мая» никогда в жизни не добиралось никакое начальство — один Сергей Степаныч да двое его «сатрапов», как называет Купцов первомайских бригадиров Винограденко и Райхеля, знают дорогу на дальние поля и фермы, на пасеки и покосы, — именно поэтому Нижегородову удавалось всегда сохранять скот, когда все сдавали скот, сеять травы, когда все запахивали травы, не везти в закупку семена, когда все везли в закупку семена, и т. п.

Колхоз числится животноводчески-зерновым, но даже Карельников не мог бы сказать, какой уклон в «Первом мая» основной. Купцов, как и прежние, впрочем, первые секретари, не терпел нижегородовского самовластья, но Нижегородов обычно только посмеивался. Купцов не ездил, наверное, уже с год в Пеплово и, надо сказать, ревниво и неодобрительно относился к карельниковской симпатии и вниманию, которые Карельников оказывал первомайскому председателю. «Нижегородовщиной пахнет, нижегородовщиной», — не раз обрывал он Карельникова.

Теперь Карельников перебежал под дождем на крыльцо, прошел к кабинету председателя, и странно, никто его не встречал, и вообще никого не было видно, и в просторной секретарской комнате, где стояла на столе большая машинка «рейнметалл», покрытая чехлом, тоже было пусто. Карельников вспомнил, что вчера не мог дозвониться до Нижегородова, — где-то, подмытые дождем, упали столбы. Он открыл дверь в кабинет и вошел. Кабинет тоже был просторный, но черная печка-голландка, черный довоенный диван, низкий потолок, длинный стол для заседаний под темно-зеленым сукном, поставленный, как водится, торцом к председателю, тоже старому, темному, большому столу на круглых, резных, какие бывают у рояля, ножках, — все это придавало

кабинету старинный и мрачноватый колорит, вовсе, надо сказать, не соответствующий характеру хозяина кабинета. Может быть, еще потому показалось сумрачно, что оконные стекла снаружи обливал дождь и печка топилась.

Нижегородов в накинутах на плечи коротком своем кожаном пальто сидел на диване и, далеко отставив от себя руку с газетой, читал передовицу в «Правде». Кучка других газет лежала рядом. Странно было увидеть Сергея Степаныча в такой домашней позе, за чтением, в очках и, главное, в одиночестве. И вдруг Карельников вспомнил и понял, что сегодня воскресенье. Вот почему так мало ему встречалось машин и людей на всем пути. Да, ну конечно же, позавчера пятница была, вчера суббота,— вот черт, совсем ты, секретарь, зарпортовался...

— Батюшки мои! — сказал растерянно Нижегородов. — Кого я вижу!

Ноги его не доставали до полу, и он поелозил по дивану, чтобы встать, и поднялся как-то нелегко, придерживая пальто за полу, чтобы не упало, и снимая торопливо очки.

— Это как же ты? Когда ж приехал? Ну, сюрприз! А я без связи сижу!.. Не промок?.. Раздевайся, Виктор Михайлыч, раздевайся...

«Надо же, воскресенье сегодня», — продолжал думать Карельников и понял, что и доярки потому так задержались с дойкой, что, может быть, поспали сегодня лишних полчаса. И теперь Карельникову показалось, что он тоже не вовремя приехал, что Нижегородов будто ждет кого-то или отдыхает, — во всяком случае начать сразу разговор о делах, о севе, о бюро обкома или, допустим, о тех же Прудах как-то неловко было. Он снял только кепку, а раздеваться не стал, чтобы показать, что он ненадолго, хотя как раз больше всего хотелось посидеть тут, помолчать, поговорить и не торопиться никуда.

Нижегородов, низенький, широкий, в крепких чистых сапогах, суетился по кабинету, подергивая плечом, поправляя спадающее пальто, говорил о погоде, о дорогах, о повалившихся столбах, но Карельникову все слышалось в его тоне как бы оправдание за что-то, и было такое ощущение, словно он помешал. Он взял с дивана газету и посмотрел число — газета была вчерашняя, субботняя, уже читанная.

— Я так просто завернул, — сказал он Нижегородову, — если у тебя дела какие, Сергей Степаныч, ты на меня внимания не обращай!..

— Ну вот, — сказал Нижегородов, — да ты что, Виктор Михайлыч!.. Я тут это... гость так один... вроде обещался... по случаю выходного, значит... Да сам-то ты завтракал? Рано ведь небось выехал?..

Карельников вспомнил опять, как он выезжал сегодня со двора и как вроде бы поднялась занавеска в окне у Купцова, и стало вдруг неловко — если Купцов видел, то непременно подумал: куда, мол, его в выходной-то несет? И еще, после слов о завтраке, Карельников почувствовал, как засосало в желудке — в самом деле, ведь не ел ничего, кроме чаю да молока у доярок.

— Не отпущу не покушавши! — сказал Нижегородов, поскольку Карельников молчал, и сразу какое-то облегчение почувствовалось в разговоре, и Нижегородов уже хозяином сел за свой стол, глядел ласково и свободно. — Ну что похмуриваешься, Виктор Михайлыч, чего там? Не того, видать? Косицын вчера проехал тут у меня, Виктор, говорит, Михайлыч туча тучей, даже не принял!..

— Что это я не принял? Был он у меня, — ответил Карельников и всяком предсателя Косицына, как он сидел вчера в кабинете и глядел жалостно, пока Карельников долго разговаривал по телефону.

— Не приглянулся, значит, план-то?

Карельников крутил на пальцах свою кепку и не отвечал.

— Н-да, не приглянулся, значит,— опять сказал Нижегородов и тоже примолк.

Оба понимали, что обком ругать друг перед другом нельзя, не полагается, и оба думали уже не о том, что произошло (Карельников чувствовал, что Нижегородов тоже так думает), а о том, что дальше будет. Потому что, готовя записку в обком, строили уже исподволь всю работу как бы по этой записке или во всяком случае что-то оттягивали и откладывали до принятия решения, надеясь, что оно будет таким, как хочется. И теперь надо было поворачивать на старое или опять тянуть до лучших времен. А это уже во многом зависело от райкома — как райком: будет ли он и дальше отстаивать свои предложения или просто подчинится обкомовским указаниям, тем более что обком теперь начнет контролировать с пристрастием.

— А Алексей Егорыч-то как? — осторожно спросил Нижегородов о Купцове и этим вопросом показал, что действительно думал о том же, о чем и Карельников.

— Слег он, загрипповал,— сказал Карельников, и надо было понимать, что пока неизвестно, но надежд на хорошее мало.

— Да-а,— сказал председатель протяжно и опять умолк.

Чтобы как-то разрядить тяжесть разговора, Карельников после молчания спросил:

— Ну, ладно, у тебя-то как? Что успели-то в эти дни?

Нижегородов стал говорить, что, где и сколько еще посеяли, и все это была мелочь, оставалось много. Он доставал из скоросшивателя отпечатанные на машинке сводки, протягивал через стол, Карельников наскоро их просматривал. Заговорили потом о надоях — надои тоже росли медленно. Это в «Первом мая» так, а что ж у других председателей!.. Нижегородов не оправдывался и не старался прикрасить картину, и Карельников держал себя не как инспектор и ничего не выговаривал Нижегородову, и весь скрытый смысл этого уже конкретного разговора сводился опять к тому, что, мол, могло бы быть иначе, если бы там прислушались и пошли навстречу. Один другому как бы все время поддакивал в этом разговоре. Но не учить же в самом деле было Нижегородова, где у него сухо и можно сеять. Нет худа без добра: эта весна перепутала и нарушила все планы, и сейчас, к концу мая, никто уже не требовал победных сводок и рапортов о севе, никто никого не подгонял, и по всем телефонам не кричали обычного: «Ну, сколько сегодня, сколько?», а спрашивали осторожно: «Ну, как там у вас, а?» В колхозах и совхозах сами все измучились, трактористы и севцы с прицепами ночевали возле агрегатов, подсказки им не нужно было: если за ночь поле подсыхало хоть чуть-чуть, если не шел дождь на рассвете, то сами пускали машины, не дожидаясь и агронома, и хоть три, четыре гона делали, сеяли. Что тут будешь выговаривать старику председателю? Будто у него самого душа не болит...

Под окном внезапно затрещали мотоциклы — один, потом второй...

— Бригады мои,— сказал Нижегородов, хотя Карельников и сам догадался.— Так как насчет поесть-то, Виктор Михайлыч? Не откажи...

— А ты кого это ждешь-то?

— Да так это,— Нижегородов потер непробритый подбородок, и он заскрипел под рукой,— так тут, одно дельце.— Нижегородов не боялся сказать Карельникову правду.— Командир один, понимаешь, майор. У нас тут стройбат на дорогу-то пригнали, на ремонт, ну вот... Попросить хочу кой-чего... Взвод там дадут на денек — им это что, а я с навесами буду под картошку. У меня нынче картошки-то вон сколько сеется...

— Ну-ну,— сказал Карельников, но все-таки слегка похмурился:

не за спасибо небось стройбат будет стараться. Однако про себя решил, что поест в такой компании не зазорно и интересно даже.

В это время уже вошли оба знаменитых первомайских бригадира, Винограденко и Райхель, гремя мокрыми сапогами и сами мокрые, из-под дождя. Они поняли, кто приехал («газик» райкомовский всем знаком), и поэтому вид у обоих был строгий и деловой, словно они не насчет завтрака хлопотали, а исполняли важные хозяйственные дела.

Винограденко был высок, одет в серый длинный милицейский плащ (с плаща текло) и суконную фуражку, не хватало только сумки через плечо — и был бы настоящий орудовский инспектор; его крупное здоровое лицо было розово и выбрито; вся фигура отдавала какую-то деревянной могучей статью и опрятностью или, может, казалась такою рядом с неуклюжей фигурой Райхеля. На Райхеле был замасленный и залатанный ватник, в котором его можно увидеть во всякое время года, и обвисшая кепка, одного, должно быть, возраста с ватником. Он был не то чтобы толст, но коренаст, толстоплеч, толстошек, двухдневная щетина и какая-то грязь на лице, то ли дорожная, то ли от мотоцикла, придавали ему совсем затрапезный вид; к тому же взгляд, словно оттаивая в тепле, принимал свое обычное, опечаленное и будто виноватое выражение. Сапоги у Винограденко были чистые, а у Райхеля такие заскорузлые, сбитые и грязные (еще старая, сухая грязь проступала на голенищах сквозь свежую), словно их сроду не касалась щетка. Да, должно быть, и не касалась: такие сапоги омывают в лужах, оскребают щепочкой, трут пучком травы или смоченной в солярке тряпкой. Их сутками не снимают с ног, и они обретают тяжелую и косолапую конфигурацию ноги; высыхают они чаще всего на ноге же, а попав на просушку на печку, так закалеют, так выворотятся, превратятся в такие сухари, что полчаса будешь биться с каждым, пока натянешь с проклятьями на ноги. Сопревшие и разбитые, такие сапоги выходят из строя сразу и навсегда... В районе к Райхелю давно привыкли, но на всякого свежего человека он производил обычно странное впечатление: зачем, мол, здесь этот пожилой еврей? Удивился в свое время и Карельников, а потом узнал, что Райхель — коренной михайловский житель, пепловский, всю жизнь крестьянствует, учился мало и говорит с ярким пепловским «аканьем»: «быват», «знат», «делат». Человек он на редкость добродушный, спокойный, ласковый и неудачливый, обремененный большой семьей.

Оба «сатрапа» словно бы олицетворяли нижегородовскую политику и стиль работы: где надо было взять лаской, увертливостью, видимым простодушием, далеко глядящей хитростью — там действовал Райхель. Где нужна была сила, нажим, не уговор, а приказ — там показывал себя Винограденко. Трудно даже было объяснить, отчего бы, например, самостоятельному и твердому Винограденко ходить перед Нижегородовым в таком беспрекословии, летать за ним, словно охраннику, на мотоцикле, когда тот мчит впереди в своей «Волге». Купцов всегда говорил, что тут нечисто, что у этих, мол, троих круговая порука, рука руку моет. Но Карельников хорошо знал, что у всех троих все есть, что им надо, а сверх того, что есть, — на это они не позарятся. Он верил, что здесь другой, чистый интерес, хозяйственный и народный, и ему обидно было, когда Купцов говорил так: три эти мужика держали огромный колхоз богатым, подымали его и подымали вверх год от года, и глядеть на них с подозрением, думать, что они ради себя стараются, было бессовестно. Он был убежден: у них учиться надо. И требовать с них сверх меры тоже не дело, за двенадцать худых хозяйств никакой Нижегородов все равно не расплатится — эдак ему можно только ноги перебить. «Ну да, — кричал Купцов в минуты споров, — Нижегородов у нас пускай на-

ливается, как клоп, а другие без порток ходят, так, что ли? Может, вам в партийной-то школе не преподавали, зачем мы коллективизацию проводим? Или, может, мы всю жизнь не об социалистическом сельском хозяйстве стараемся, а об чем другом?» Карельникова злость душила при таких разговорах, но он сдерживался, понимал потом, что Купцов тоже в чем-то прав, и говорил только с трудно дающимся спокойствием, что надо, мол, искать самые разумные способы ведения социалистического хозяйства. «Ну, ладно,— сбавлял тон Купцов,— ты это не мне, ты это в другом месте скажи». Но как они ни ругались, составляя свою записку, составили ее все-таки вместе и подписали вместе. И вместе надеялись... Ну, да что опять об этом!..

Между тем Винограденко и Райхель больше междометиями и мимикой, чем словами, дали понять Нижегородову, что у них все готово и какие, мол, будут дальше распоряжения. Чтобы прояснить дело, Нижегородов сказал:

— Вот Виктора Михайлыча тоже приглашайте к завтраку, он у нас холостой нынче, некормленный...

Винограденко и Райхель сразу обмякли на глазах, Райхель расплылся измазанной своей физиономией, Винограденко деревянно улыбнулся, показав большие зубы.

— Милости просим! Всегда рады! Очень даже хоршо!— сказали они вместе.

Еще через несколько минут под окном явилась еще одна машина, зеленый военный «газик», чистенький, как на параде, с белыми ободками на шинах. В кабинет вошел, сбрасывая движением плеч длинную, без рукавов, офицерскую накидку, невысокий молодой капитан («Почему же майор?» — подумал Карельников) со светлыми усиками, в очках в тонкой золотой оправе. Вдобавок к его пуговицам и очкам еще блестело на пальце обручальное кольцо, а от платка, которым капитан красивым жестом промокнул дождевые капли на лице, или от самого выбритого, розового, очень молодого лица запахло по комнате «шипром». Нижегородов поспешно и не без подобострастия заспешил навстречу, все прихватывая за полу, чтобы не свалилось, свое кожаное пальто. взял из рук капитана его зеленый дождевик и передал Винограденко. Райхель подобрал живот, каблуки его сапог сдвинулись сами собою, взгляд сделался по-солдатски бодр, и на лице изобразилась солдатская же готовность.

— Привет труженикам полей!— сказал капитан, усмехнувшись, и во рту его тоже блеснуло золото. Он левой рукой, двумя пальцами, снял очки и, не относя их от лица, лишь чуть отодвинув от глаз и прищурясь, проверил стекла на свет, нет ли на них тоже капли или соринки. Увидев, что первые его слова приняты с должной радостью и юмором, он снова пошутил:— Ну как, овес-то нынче почем?

И снова все искательно поулыбались, только Винограденко взглянул ошеломленно: какой, мол, овес?

Перед тем, как капитану войти, Карельников, чтобы не смущать ни военного, ни Нижегородова, сообразил сказать Сергею Степаньчу, чтобы тот его секретарем райкома не представлял,— в сапогах и затертой куртке Карельников вполне мог сойти за здешнего бригадира или шофера. И теперь Нижегородов, как бы проверяя эту просьбу, взглянул вопросительно: говорить или нет? Карельников незаметно мотнул головой: не надо, мол.

Но для капитана они, кажется, все были на одно лицо, кроме знакомого ему Нижегородова. Он, не всматриваясь, пожал всем подряд руки — бригадирам и Карельникову.

— Немного закусим перед дорогой, а?— искательно говорил Нижегородов.

городов.— А то мы не позавтракавши нынче. А там и поедем. А то хозяйство-то у меня разбросанное, далеко все, а дороги — сами знаете!..

— Ох уж эти ваши дороги!— сказал капитан.— Лучше не напоминайте! А долго вам завтракать?

Он вскинул руку, сдвинув рукав, и обнажились из-под обшлага тоже золотые крупные и плоские часы — должно быть, «вымпел».

— Да что ж нам-то, что ж нам-то?— засуетился Нижегородов.— А вы-то, товарищ майор? С нами-то? Не обижайте...

Винограденко и Райхель издали тоже некие недоуменные и протестующие звуки.

— Ну что ж,— сказал капитан,— сегодня выходной, как-никак, а? Куда торопиться?..

В этом же доме, в правлении, только с отдельным, позади, ходом были у Нижегородова оборудованы две комнатки для гостей, для приезжих. Стояли чистенькие, заправленные, как в общежитии, коврики, табуретки, большой стол, бак с кипяченой водой, висели занавески. В той комнатке, где стол, находился еще и старый буфет с застекленными наверху дверцами. Было голо, необжито, но чисто, хорошо. Тем более что печь была протоплена. Сюда и привел Нижегородов своего капитана.

Завтрак выглядел так: на чистое дерево стола была брошена куча зеленого лука, лежали, раскатившись, десятка два яиц, огромными ломтями, не иначе, как рукой Винограденко, был нарезан черный хлеб, а посредине на газете возвышалась гора полусиних, плохо выщипанных куриных ног, крыльев, грудок, разорванных руками тушек. В эту кучу ушло не меньше десяти кур или петухов, но, видно, сварены они были давно, успели остыть, и вид у них был неаппетитный. Капитан странно и продолжительно засмеялся, поглядев на этот стол, чем привел «сатрапов», а за ними и Нижегородова в смущение. Они в недоумении переглянулись, а затем Нижегородов, сообразив, в чем дело, крикнул:

— Эх, тетери! Вилочки-то, тарелочки где! Вот офицанты у меня, что ты скажешь! Да вы садитесь, садитесь, вот сюда на кроватку можете, тут помягче...

Райхель и Винограденко исчезли, но тут же появились с тарелками и вилками. Капитан, продолжая извиняюще улыбаться, снял свою твердую, имеющую новенький и чистый вид, как и остальная его одежда, фуражку — по комнате снова запахло «шипром», — и сел на табурет во главе стола. За ним расселись остальные.

Карельников прятал глаза, чтобы не рассмеяться, ничего не говорил, чтобы не выдать себя, и, поддавшись общей игре или забывшись, как бы сам снова чувствовал себя солдатом, батарейным шофером Витькой Карельниковым, для которого и сержант-то был большим чином, а уж о комбате и говорить нечего.

Вот и все сели. Винограденко снял плащ, а Райхель остался в ватнике. Он только слегка ополоснул лицо, руки у него были черны по-прежнему, он поводил пятерней по круглой лысине с несколькими прилипшими к ней жидкими прядями черных волос, причесался. Винограденко же достал пластмассовый футлярчик, из него — расческу, вправленную в серебро, причесал свой седой густой бобрик, дунул на расческу, протянув ее перед губами, и так же аккуратно спрятал в футлярчик. Бригадиры сели ближе к двери, не осадисто, не надолго, а как садится на уголке стола хозяйка, которой поминутно надо вставать за чем-либо. Возникла короткая пауза.

— Гм! — сказал Нижегородов, прикрыв рот ладонью, и чуть повел взглядом на бригадиров.

И опять волшебный вихрь унес их из-за стола, и в следующую минуту на столе появились где-то ополоснутые, еще мокрые граненые ста-

каны и три темно-зеленые поллитровки, показавшиеся странно мелкими и короткими в лапах Винограденко.

— Ну что вы! — сказал капитан. — С утра!

— Ну-ну, ну что уж! — сказал Нижегородов. — Что уж тут, товарищ майор! Пища вся сухая, горло дерет. Как, Виктор Михайлыч, а? Надо ведь, а?

— Да, видно, надо, — сказал Карельников. Ему вдруг самому захотелось выпить и вообще сидеть здесь, ничего больше не делать, провести воскресенье, как люди. Он не утерпел и уже поколол о стол яйцо и одним движением большого пальца спустил с него шелуху. Ждал, когда нальют.

— Ну вот, — обрадовался Нижегородов, — чего уж там, товарищ майор, мы помаленьку. А там уж на пасеку заедем, меду отведаем. Ох, медок у Гаврилы!..

— Но это же самый что ни на есть сучок, — сказал капитан, — сивуха... тью-тью-тью, мне хватит! — Он придержал за руку Винограденко. — Я ведь вообще-то пью только сухие вина. Но тут их днем с огнем не найдешь...

Все умолкли, следя за тем, как Винограденко разливает водку, и слушая ее музыкальное, от высокой до низкой, полной ноты разговорчивое бульканье. Когда водка была разлита, Нижегородов как бы очнулся и воскликнул:

— Что? Чего это мы днем с огнем не найдем? Сухое? Это которое кисля... кисленькое такое? — Он даже распрямылся и победно посмотрел на Райхеля. — Михал Осипыч, скажи!

Райхель повел грустным, почти прощальным взглядом по столу, поднял на капитана, который должен был почувствовать себя в этот миг обыкновенным мальчишкой, печальные, жалостью к капитану налитые глаза, спросил тихо:

— Шампанское подойдет?

Капитан не поверил, но ему стало интересно.

— Шампанское? Шутите! Откуда здесь вино, рожденное землей и солнцем советского юга?

У всех сделался такой вид, что, мол, чего там с ним разговаривать.

— Сколько вы даете минут, — сказал Нижегородов, — чтобы здесь появилось?.. Сколько?.. Так: раз, два, три... пять бутылок шампанского. Сколько даете?

— Ну что вы! — сказал капитан и посмотрел на свои прекрасные часы. — Ну зачем это, ей-богу?..

— Сколько?

— Пятнадцать минут. До десяти ноль-ноль.

— Все! — Нижегородов пристукнул по столу, и Райхель, поднявшись, надел кепку.

— Может, выпьем все-таки сначала? — предложил Карельников, жалея Райхеля.

— Да, только быстро! — сказал Нижегородов. Он переводил стрелки на своих часах.

Все выпили. Капитан, Райхель и Карельников по полному своему стакану, Винограденко — чуть пригубив, и Нижегородов — тоже. Сергей Степаныч любил угощать, но сам пил очень мало, а если можно было, вовсе не пил.

— Поспорили? — Нижегородов едва не потирал руки от такой удачи. — Поспорили, значит, майор, а?

— Поспорили. — Капитан совершенно не обращал внимания на то, что председатель упорно величает его майором. — Только посмотрим, что он привезет. Вы, наверное, шампанское с чем-нибудь путаете?

За домом возник и стал тут же быстро удаляться треск мотоцикла.
— Ну что уж, мы шампанского не знаем? Нет, ты вот лучше скажи, что будет, ежели он привезет сейчас, а?..

Капитан пожал плечами и посмотрел с усмешкой: дескать, поглядим. Но Нижегородов продолжал наседать и спорить. Он отвлекся только на секунду: увидев, с каким трудом вгрызается Карельников в птичью ногу, он наклонился и шепнул (Карельников сидел рядом с ним на кровати):

— Не обижайся уж, Виктор Михайлыч, петухи старые, выбракованные...

И тут Карельников не удержался и стал смеяться. Чуть не подавился. Все у этого хитрого черта в дело идет. Туману напустил, пыль в глаза, шампанское, а сам свежего куренка даже такому гостю не зарежет — жалеет...

— Ну, чего ты, чего? — Нижегородов не понимал, в чем дело, косился на удивленного тоже капитана, боясь, как бы Карельников не испортил вдруг всю обедню.

— Да ничего, ничего! — сказал Карельников и слезы отер. — Давай за тебя выпьем, Сергей Степаныч!..

Без двух минут десять Райхель вошел в комнату, прижимая к груди растопырившиеся из рук серебряными головками бутылки шампанского. Правда, их было не пять, а три. Райхель сказал, что больше не было, но по виду его Карельников опять понял, что Райхель сэкономил. И опять ему стало смешно.

— Ну, это гениально! — сказал капитан и даже встал, чтобы принять из рук Райхеля бутылку. — Где это вы, а? Где, расскажите? На станции, да?

— Где было — там нету, — печально сказал Райхель.

— Надо будет, еще достанем! — тут же сказал Нижегородов. — Пей на здоровье, товарищ майор! Но ты понял теперь, да?..

— Ну, вообще-то, конечно, — поправился Райхель. Он сел на свое место.

Карельников, подмигнув, налил ему водки.

— Или, может, шампанское будешь, Михал Осипыч?

— Мы не привыкли, — сказал Райхель. — Мы в городе Бухаресте им лошадок поили.

— С вашего разрешения? — галантно и оживленно сказал капитан. Он ловко распаковал бутылку, как-то прижал, потом отпустил пробку — она выстрелила, но вино не разлилось: видно, он и вправду был мастак по таким делам. И наливать он стал вино в стакан по стенке, оно играло, но не пенилось, а когда запенилось под конец, то капитан осадил пену, опустив в нее лезвие ножа. Как ни странно, все отнеслись с уважением к этим его манипуляциям, и сам Нижегородов решил выпить с капитаном шампанского.

— Ну будь! — Они чокнулись. — С тебя, значит, причитается!

— Договоримся! — сказал капитан, глядя сквозь стакан на свет. — Ну, за крутой подъем сельскохозяйственного производства, а?

— Ура! — сказал Нижегородов.

...Примерно часа через полтора все громко, шумно вышли на крыльцо, обогнули дом, остановились возле машин. Выманила погода: дождь кончился, вдруг проглянуло солнце; черные и зеленые поля, лужи на дороге, крыши — все весело, мокро сверкало, дышалось легко. Капитан был румян, доволен, но не пьян. Ему все нравилось, хотя он сохранял свой снисходительный вид, и он готов был ехать дальше и пировать, развлекаться, отдавшись мягким лапам Нижегородова. А старик почти обо всем договорился с капитаном, и ему хотелось привести его на то

место, где должны поработать стройбатовцы. Договор же состоял в том, что за навесы стройбатовцев будут кормить и отпустят им потом по даровой цене меду.

Винограденко был совсем трезв и, прямой, строгий, наготове стоял перед мотоциклом, чтобы в любую минуту ехать. Райхель же размяк, уже несколько раз вспоминал, что у него, мол, ребяташки дома, и Карельников даже сказал Нижегородову:

— Отпусти ты его.

Но у Нижегородова не было привычки одному ездить по хозяйству, он по пути интересовался всем сразу, и у него под рукой должны были находиться оба бригадира.

Карельников не знал, что теперь делать: он отвлекся с этим капитаном, забылся, все нужные и ненужные мысли отошли вдруг, он в самом деле словно бы устроил себе на три часа выходной. Но хватит, пора.

Он давно не пил и теперь чувствовал себя приятно пьяным, легким: водка, как всегда, сняла физическую усталость и малость развлекла. Вообще он мог выпить очень много и, как казалось, только здоровел от выпитого. Но чем больше пил, тем строже контролировал себя, особенно когда был за рулем, и случалось, что, проведя весь вечер за столом, он выходил к машине почти трезвым. Теперь же он выпил немного, не так уж много, и не сдерживал себя, не велел себе каждую минуту помнить о выпитом, и потому хмель был приятен. Кроме того, он незаметно сжевал с пяток яиц и одолел не меньше двух петухов. Впору повернуть домой, завалиться до утра и выспаться в кои-то веки. Но не хотелось расставаться с Нижегородовым, и к тому же он звонил вчера в Кувалдино, предупреждал Ляха, что приедет.

Пока он размышлял, Нижегородов уже распорядился, и стройбатовский шофер, все это время проспавший в машине в ожидании своего капитана, был отправлен доедать петухов и спать на койке для гостей. Капитана же и разомлевшего Райхеля Нижегородов усаживал в свою машину.

— Задумка есть, капитан! — кричал Нижегородов. — Сейчас такое тебе покажу, нигде не увидишь! У Нижегородова все есть! Сейчас к Бурцеву двинем! Ты скажешь тогда!.. Виктор Михайлыч, а ты что? Садись тоже, брось своего козла, погуляй! Бурцева ему покажу, пусть знает! Виктор Михайлыч!..

— Да нет, Сергей Степаныч, спасибо, дела еще есть. В Кувалдино надо проехать...

— Так, милый ты человек, через Замурзаевку с нами и проедешь! Там, верхом-то, лучше, посуше будет, а крюку-то километров десять всего и есть! Бурцев коня тебе нового своего изобразит. Поехали!

Нижегородов звал так хорошо, ладно, что и в самом деле захотелось с ними ехать. Правда, через Замурзаевку там и проскочить верхом, правильно он говорит. А то до Кувалдина еще раза три где-нибудь станешь, мимо людей не проедешь, а тут до Замурзаевки голо все. Опять же чудака этого поглядеть лишний раз, Бурцева.

— Ну, ладно, что ли, Виктор Михайлыч? — спрашивал Нижегородов. Все старику нынче удавалось, теперь и Карельникова, хорошего человека, не хотелось от себя отпускать. — Ну, ладно, что ль?

— Ну, ладно, — сказал Карельников, — ежайте, я следом.

— Ну вот и замечательно!

Как ни увлечен был Нижегородов гостями своими, однако, отойдя в последний момент от машины, поманил к себе Винограденко, который занес было уже ногу через мотоцикл, и сказал:

— На Выдринское завернем, может, сеют. Смотри, растелешилось небушко-то.

— К вечеру обратно нагонит,— ответил бригадир,— а все ж завернем, Иван Яклича поведедем.

— Вот,— совсем деловито и трезво сказал Нижегородов,— вот то-то и оно...

Мотоцикл быстро и резко ушел вперед, за ним, пробрызгнув грязью из-под колес, поехала «Волга», а следом — Карельников.

И первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он остался один, была о том, что, когда Купцов узнает об этом завтраке,— а он узнает, потому что в районе все и про всех рано или поздно узнается,— то он ревниво скажет об этом при случае и покривит лицо, а потом еще и выговорит, что пить и панибратничать с подчиненными — это самое последнее дело. И ему не объяснишь, что Карельников никак не числит Нижегородова и даже его бригадиров подчиненными себе людьми и что замыкаться от людей и важничать — это куда хуже. Вспомнив Купцова, он снова представил себе его домик с занавесками и свой пустой дом, из которого он даже кота выманил утром, и подумал, что не опоздать бы домой к ночи, когда Надя будет звонить. Хоть и некогда было скучать, а надоело без Нади и Витюшки,— он, может, потому и про воскресенье забыл, что их нет, и по дорогам шастает потому, что пусто и неуютно в доме. То ли дело у Инны Ивановны! Как ни учится Надя, как ни старается, уж и мебель купили, и занавески всякие, коврики, а до Инны Ивановны далеко.

Инна Ивановна — это жена Купцова. Вспомнив о ней, Карельников сразу представил себе тот вечер, примерно с год назад, когда он, сильно поддавшись влиянию Ляха, просто-таки влюбившись в Ляха и носясь с ним, как курица с яйцом, привез Ляха к Купцову, чтобы познакомиться с ним.

У Инны Ивановны чистота в доме, как в хорошей больнице. Порядок такой, что, когда приходишь к ним, обязательно надо обувь снимать. Везде ковры, ни пылинки. Дают мягкие тапочки, словно в музее. Алексею Егорычу самому бывает неловко, что его гостей заставляют сапоги и ботинки разувать, и он обычно загодя, как бы шутя старается предупредить об этом, а то не дай бог, если на ногах портянки или носки не в порядке. Лях, собираясь к Купцову и зная от Карельникова об этом домашнем правиле Купцовых, носки надел самые яркие, самые новенькие. И костюм надел, и галстук повязал. Правда, он потом говорил, что потому, может, так расшумелся и разозлился, что все время дурацки себя чувствовал при галстукке и босиком.

Когда они пришли, Алексей Егорыч с женой смотрели телевизор — интересную какую-то московскую программу. И, между прочим, телевизор не выключили, а только убрали звук, и во время всего разговора, пока разговор не дошел до последнего накала, Алексей Егорыч нет-нет, а прикованно оборачивался к экрану.

Как говорили (да это и заметно), Купцов без памяти любил свою жену — она у него вторая и трудно ему досталась,— любил свой чистый дом и в домашней обстановке делался куда мягче и добрее, чем на людях.

Положение тогда было жуткое: район получил новый нагоняй за кукурузу, хлеба почти не сдали, мясopоставки не выполнили. Начались перебои с продуктами, за хлебом стояли в очередях с пяти утра, как в войну. Однажды на дороге Карельников остановил свой «газик» возле севшего в грязь автобуса. Это был рейсовый автобус из облцентра. Он был битком набит бабами. Они материли шофера и вытаскивали в грязь мешки. У всех были одинаковые мешки,

по пуду примерно. Карельников увидел и сообразил сразу: пшено из города везут. Ему бы дать газ и уехать от греха подальше, но он захотел шоферу помочь, вступил в разговор. Кто-то из женщин его узнал. И тут началось! Как они кричали! Что они кричали! Как они еще не избили его! А избивали бы, тоже были бы правы. А он стоял в грязи, слушал и ничего не смел сказать.

Они работали много тогда: заседали, заседали, обивали пороги в области. Настроение было самое мрачное. На облактиве сообщили, что принято решение закупать хлеб за границей. А в газетах продолжали писать тогда об успехах, о победах, о крутом подъеме... От слов становилось холодно. Холодно и стыдно.

Купцов тоже был не в себе. Но, переступая порог дома, он как-то умел отключиться хоть на два-три часа. Смотрел телевизор. Или Инна Ивановна читала ему вслух «Дело Артамоновых» — книгу, в которой так хорошо показана неизбежность вырождения и краха капитализма.

Неуемный Лях составил тогда письмо в ЦК с копиями в «Правду» и в обком. Там было много дельного, но резко сказано. Карельников посчитал, что колхозный агроном, член партии, безусловно, вправе обращаться в самые высокие инстанции со своими предложениями. Тем более что не один, наверное, Лях такой умный и такой смелый: пусть накапливаются, где надо, мнения рядовых работников.

Более того, у самого Карельникова тогда-то и явилась мысль предложить обкому хотя бы в виде эксперимента составить почвенную карту Михайловского района и по-новому решить вопрос с животноводством в районе. Он понимал, что все это трудно осуществить, почти невозможно, но то ли Лях его заразил своей горячностью и верой, то ли у самого накипело, но Карельников решил рискнуть. Надо было только, разумеется, посоветоваться с Купцовым и, дай-то бог, заручиться его поддержкой.

И вот они приехали тогда для этого разговора.

Инна Ивановна, гладко причесанная, с милым застенчивым лицом, не то чтобы полная, но плотная, крепкая, в аккуратном домашнем фартучке, накрыла на стол. Угощение было самое скромное: дешевая с толстыми кусками белого жира колбаса, бычки в томате, картошка, помидоры своей засолки. В графинчике — неразведенный спирт. Разговор шел сначала о том, о сем. Алексей Егорыч все поглядывал на телевизор и сел так, чтобы удобно было поворачиваться к нему. Молодой, длинный, очень городского вида, рыжий, как огонь, Лях сразу, видимо, произвел хорошее впечатление на Инну Ивановну.

— Вы уж не обращайтесь внимания на меня, — говорила она с милой улыбкой, — я ничего этого не умею, — она кивала на стол, — вон Виктор Михайлович знает. Теперь все как-то по-новому, вы, молодые, лучше знаете. А я как-то и не бываю нигде и вообще мало что понимаю...

— Да ну, будет вам, Инна Ивановна! — протестовал Карельников.

Лях смело ходил по комнате, шлепая тапочками, все рассматривал: цветную пленку, прикрывающую экран телевизора, узор висевшего на стене ковра и несколько акварельных картинок на другой стене. На них было сплошь море — с парусом, чайками, с силуэтом крейсера.

— Это все сын рисует, он у нас в Севастополе, в училище. — Инна Ивановна поглядела на мужа и вздохнула слегка.

Карельников знал, что младшему Купцову не нравится служба, что он хочет уйти в университет, но отец уперся, настаивает, чтобы сын был офицером: военная специальность в руках, обеспеченность, строгость — можно не бояться, что лоботрясом вырастет. А Инна Ивановна держала сторону сына, жалела его.

— Ничего картинки, симпатичные,— сказал Лях,— а что-то книжек у вас не вижу?

— Да вот все не перенесем после ремонта из сарая,— ответила Инна Ивановна,— стеллаж все хочет Алексей Егорыч, а руки не доходят...

Купцов, не отводя взгляда от телевизора, сказал:

— Сколько говорю, ты бы хоть Ленина мне перенесла, поставила.

Купцов сидел в кресле добрый, размягший, в пижаме поверх белой рубашки с галстуком, очень спокойный,— и не поверишь, что еще утром, днем у него было угрюмое, отчаянное выражение, что было долгое бюро, на которое из-за распутицы половина народу опоздала, а три человека вовсе не приехали. К Ляху обращался он грубовато-милостиво, несколько раз подчеркнул, что Лях, мол, молодой совсем.

Лях был местный, кувалдинский, восемнадцати лет стал работать учителем, потом уехал в Москву, в Тимирязевскую академию. Проучился почти четыре года, вернулся без диплома и с партийным выговором: поссорился с профессором каким-то. Злой был тогда. Книг привез с собой два чемодана да еще багажом потом пришел ящик. Хоть диплома он не получил, но в Кувалдине взяли его агрономом, и к моменту этого разговора с Купцовым Лях работал агрономом уже третий год. Прославился сразу тем, что не хотел кукурузу сеять, а когда заставили все-таки, посеял вполонину меньше того, что велели. И состоялся тогда у них с Карельниковым памятный разговор (Карельников только еще приехал в Михайловск).

— Что ж,— говорил Лях, сидя один на один с Карельниковым в кабинете и вызывая у Карельникова чуть ли не ярость своим развязным городским видом, своей манерой прямо говорить о том, о чем никто в открытую не говорит, и, главное, открытой насмешкой и неприязнью к нему, Карельникову, секретарю райкома.— Что ж,— говорил он,— завтра вас заставят медведей в Выдринском лесу разводить, вы и будете разводить?

— Да, будем! — со злостью отвечал Карельников.

— Вон что! — Лях посмеивался, но узкое его лицо, усыпанное рыжими веснушками, подрагивало от злости.— Если будете, то нам и говорить тогда нечего.

— А не будем,— сказал в запале Карельников, перегибаясь через свой стол и почти ложась на него грудью, чтобы приблизить лицо к Ляху,— а не будем, то нас уберут, а вместо нас других поставят, которые будут. Ясно?

— Ясно.— Лях продолжал усмехаться.— Своя рубашка ближе к телу. А кто поставит-то?

— А тот поставит, кто интересы государства соблюдает, а не интересы одного колхозишки!

— Колхозишки! — Лях встал со стула, огляделся, проверяя, одни ли они в кабинете, и, тоже наклонясь к Карельникову поближе и глядя прямо в глаза, сказал: — Пошел бы ты тогда к такой-то матери, понял?..

С той поры прошло много времени, с Ляхом друзьями стали, по ночам то у него в Кувалдине, то дома у Карельникова все дела и все мысли обсудили, самое главное выяснили: не хочется и Карельникову «медведей разводить». Вспоминали не раз и тот, первый, разговор, смеялись. «Я тебя из партии собрался выгонять»,— говорил Карельников. «Я и ждал,— смеялся Лях.— Да и больше ждал: приехал от тебя, чемодан стал складывать, да одумался: ни черта он мне не сделает, не те времена.— «Те не те, сделал бы». — «А шут с тобой»,— отвечал Лях,— я не боюсь. Это что, стоять за правду, ты за правду посиди, как говорит-ся...»

Он и в самом деле не боялся ничего, рубил сплеча, и Карельников не раз учил его быть потише, поосмотрительнее. Но это было без толку. Теперь, у Купцова, тихий, домашний разговор быстро перешел тоже в перепалку и сдвинулся на политику, на положение дел в районе и вообще в стране. Удивительное дело! Карельников давно заметил такую штуку: где бы и какие люди ни собрались — в чайной ли, в поезде, в гостиной, в гостях ли друг у друга, о чем бы ни завели сначала разговор — о выпивке, о бабах, о ребятишках, — все равно в конце концов перейдут на спор и крик насчет того, что ж это делается и когда же это будет порядок? Врачи толкуют о своем, инженеры о своем, учителя, рабочие, журналисты, даже военные, кого ни возьми, — каждый расскажет какую-нибудь нелепицу, и у каждого душа болит, каждый видит и понимает беспорядок, видит, как сделать лучше. Видит, а сделать может мало, и оттого тот, кто сильнее, кипит злостью, а кто послабее, вовсе машет рукой: «Да ну его все к черту, бесполезно, плетью обуха не перешибешь!» Как будто какой-то бог надо всем витает, право слово, высшая идея, и всех по рукам связывает. Витает — и все тут, хоть тресни!..

Как ни старалась Инна Ивановна смягчить разговор, перевести в шутку, как ни останавливала то Ляха, то мужа, — но они перешли на крик, а потом и на оскорбления. Выслушав поначалу Ляха, Алексей Егорыч прямо сказал:

— Это все глупости! Это значит — все зря делали, крути назад, так, что ли?

— Ну, если ошиблись, то ошибку лучше исправлять, а не углублять.

— Да почему это ошиблись? Кто сказал?

— Зачем же ждать, пока кто-то скажет, так, что ли, не видно?

— Кому видно-то? — В этом месте разговора Алексей Егорыч еще не упустил из внимания телевизора и чувствовал себя правым.

— Да хоть мне! — говорил Лях.

— Ну, это... — Купцов смеялся, — это... извини, конечно, агроном, но это еще невелика колокольня-то... Повыше есть.

— А не очень ли высоко-то будет? От земли-то? — спрашивал Лях. Он тоже пока держался спокойно, усмехался, его привычка спорить помогала ему.

Карельников не вмешивался, не поддакивал ни тому, ни другому, но Купцов, видно, понял, что Карельников оставляет его одного против Ляха, и не обращался к Карельникову. Инна Ивановна, как понял Карельников, тоже осталась на стороне Ляха. В каком-то месте она даже сказала: «Вот и я Алексею Егорычу говорю...»

Разговор длился долго, стали кричать и кричать друг на друга уже со злостью.

— Медведей прикажут разводить, — вспомнил Лях, — тоже станете?

— И станем! — кричал Купцов. — Станем, если надо! А вы ижди-венцы, вас работать надо заставить, как мы работали! Рассуждать много научились, а работать — дядя! Молодые! Смена растет, надежда! Да на такую смену глаза не глядят, удавиться впору! Работать надо — рабо-та-ть, а не языком трепать! И без ваших планов работы хватит, успевай только!

— Да зачем же волоком тащить, пуп надрывать? Вот это-го нам зачем дадено? — Лях стучал себя кулаком в лоб.

— Во-о-т! — со злорадством отвечал Купцов. — Вам бы как бы голько ручек не замарать! Смене-то нашей! — Он победно обводил всех взглядом, но Карельников глядел в пол, а Инна Ивановна не смотрела на мужа тоже.

— Думаете, только вы болеете за страну, за свой народ, а нам на-

плевать, да? — Лях уже понимал, что Купцова не убедить, и ему стало все равно, он тоже перешел на злой крик. — А не кажется вам, что вы уже больше за себя болеете, за свой престиж?..

Потом пошли уже совсем невообразимые слова, и кончилось дело почти скандалом.

— Мальчишка! Всякий сопляк, понимаешь!.. — кричал Купцов в комнате, когда Лях уже яростно натягивал ботинки в прихожей. — Мы жизнь прожили!..

Инна Ивановна его увещевала.

Лях, уже открыв дверь (Карельников решил остаться, чтобы успокоить немного Купцова: он чувствовал себя виноватым перед ним), закричал напоследок через коридор:

— Вы бы Ленина-то из сарая достали да почитали лучше!

— Мальчишка! — крикнул в последний раз Купцов, уже сдерживаясь, уже оценивая то, что произошло, и то, что сам кричал в запале, и как вел себя.

Словом, все вышло тогда так, что хуже не придумаешь. Карельников еще посидел молча, глядел, как наливает Инна Ивановна мужу лекарство, — по комнате запахло валокордином.

— Деятели, понимаешь... Стиляги, понимаешь. — Купцов должен был еще выпустить, выговорить последние слова.

Инна Ивановна показала Карельникову глазами, попросила, чтобы он больше не говорил ничего.

Карельников посидел, помолчал и незаметно ушел. Ушел, думая, что ему больше не работать с Купцовым: уж очень он расписал ему накануне Ляха.

Но на другое утро они снова встретились в райкоме. Купцов не вспомнил вчерашнего, только вид у него был угрюм и обращение официальное — так всегда случалось, когда Купцов обижался. Потом постепенно, за делами скандал с Ляхом забылся. Только однажды, при случае, Алексей Егорыч сказал:

— Неужели своих дел у нас каждый день мало? Что ты еще-то себе на шею вешаешь?.. И в людях надо разбираться получше: не заметишь, как под монастырь подведут.

Карельников долго не заговаривал о Ляхе, но потом, спустя месяцев пять, дела стали поворачиваться так, что все заговорили о том, о чем толковал раньше Лях. А теперь вот, спустя год, все настолько изменилось, что они с Купцовым решились послать в обком свою записку. А ведь в записку тоже попала не одна мысль непутевого кувалдинского агронома...

И именно к нему ехал теперь Карельников, чтобы рассказать о постигшей записку судьбе...

Он мог спокойно предаться своим мыслям и воспоминаниям потому, что впереди, метрах в двухстах, ровно шла «Волга» Нижегородова. Карельникову оставалось лишь машинально повторять ее ход, снижать или прибавлять скорость, вслед за ней объезжать лужи, держаться в ее колее. Дорога поднималась все выше и выше, слева появился и все больше густел лес — это уже был тот самый Выдринский лес, о котором любил упомянуть Лях при случае и который почти как свой, колхозный, пользовал Нижегородов, имевший, разумеется, «своих людей» в лесничестве. Ему стало совсем тепло, он уже давно ехал без куртки, а теперь снял и кепку и снова почему-то вспомнил дом с занавесками и нынешнее утро, как он собрался и выехал, — показалось, что это было очень давно, вчера или позавчера, а прошло всего полдня.

Они проехали уже примерно полпути до Замурзаевки, и Карельников, отвлекшись, стал думать про Замурзаевку и про то, как и во

сколько примерно приедет он в Кувалдино. Но тут (дорога забирала влево, к лесу, и поля справа ровнялись, делались просторнее) он увидел, что «Волга» впереди приблизилась, и увидел, что она стоит и гам, возле нее, был и мотоцикл Винограденко, и еще грузовик, лошадь, а издали, из-за загиба поля, напрямик к этому месту двигался трактор с селками.

Через минуту и Карельников подъехал сюда. Он глянул на свое раскрасневшееся лицо в машинное зеркало, надел кепку и вышел, оправляя рубаху под ремень солдатским, спереди назад, жестом.

Нижегородов, его бригадиры, золотозубый с усиками капитан уже вышли и стояли группой с другими людьми, колхозниками, среди которых Карельников узнал знакомого старика Ивана Яковлевича, о котором вспоминал при отъезде Винограденко. Совершенно, не такой он был и старик, лет пятидесяти пяти, но носил бороду, усы, короткие, побитые сединой. Сам был сухощав, невысок, но крепок, молчалив и имел привычку, держа руку возле рта, мелким таким обезьяньим жестом шепотью потрагивать, пощипывать свою бороду подо ртом и усы. Думает, молчит и пощипывает.

— Сею-д,— видно, отвечал он теперь Нижегородову,— два-д гона-д прошел пока-д, а там-д хрен-д его-д знат...

На старике были доверху извоженные в грязи сапоги, такой же, как сапоги, грязный и мокрый ватник и зимняя шапка. Прищурясь от солнца и потрагивая бороду и усы, он глядел на медленно приближающийся трактор.

«Сеет, черт эдакий». Карельникову весело стало от вида работающих людей, перемены, от крепкого, напряженного звука трактора и особого запаха «посевной земли» — запаха плотного, полного, густого, извнутреннего,— так и кажется, что земля дышит и обдает тебя каким-то живым и теплым своим дыханием. Самые это лучшие дни — сев и жатва.

Карельников поздоровался со всеми за руку: с парнем-шофером, с бабой-возницей, которая стояла возле телеги, нагруженной мешками с зерном, с Иваном Яковлевичем.

— Сеете, значит? — тоже спросил он старика.

— Сею-д,— отвечал Иван Яковлевич,— маленько-д хоть взять, а то беда-д...

Трактор приближался, все умолкли и ждали его. В стороне разговаривали только капитан с Райхелем, видно, подружившиеся за дорогу. Райхель сказал громко:

— Да это что! Это уж известно! Народ больно шерудированный стал, все превзошли!..

Нижегородов поманил Карельникова, чтобы тот наклонил к нему ухо.

— Слышь-ка, Виктор Михайлыч, майор рассказывает... в Америке-то...

— Ну?

— Вот сидит, значит, на взгорочке человек в шляпе, в кресле, значит, складном. А рядом — вездеход, под рукой, значит. А над ним зонтик — от жары чтоб. И есть у этого человека на груди бинокль, на машине рация, и он сидит и из холодильника пиво там свое достает и хлещет...

— Ну? — Карельников усмехался.

— Ну вот. Кто такой, думаешь? Сидит себе и **в бинокль** осматривается?

— Ну и кто же?

— Не угадаешь? А пастух это ихний — вот кто!

- Ну и что?
- Арригинально!
- Да ну тебя, Сергей Степаныч!
- Чего? Врет, думаешь?
- Может, и не врет. Ну, а что тебе-то?

— Да ничего, конечно, но арригинально! В бинокль и пиво жрет... Трактор был теперь совсем близко. Тракторист, высунувшись из кабины, что-то кричал назад прицепщику и севцам. А еще через минуту, не дойдя до края поля, он стал разворачивать трактор, чтобы повернуться сеялками к дороге. Женщина потянула вожжи, Иван Яковлевич, а за ним вся группа перешли к месту разворота трактора. На ходу Карельников еще сказал Нижегородову:

— Возьми да и ты своим пастухам по биноклю купи, пусть глядят.

Когда трактор остановился, севцы и прицепщик спрыгнули со своих мест, поспешили к подводе с мешками. На левой сеялке севцом стояла молоденькая девчонка в распахнутом ватнике и резиновых сапогах. Карельников ее узнал — это была Любаша Мешкова, солистка районного самодеятельного хора. Хорошенькое ее личико было сейчас густо покрыто пылью, ватник тоже в красноватой — от протравы — пыли. Она подбежала к подводе, вместе с другими стала вытягивать тяжелый мешок с зерном. Карельников подошел помочь.

— Здравствуй, Любаш! — сказал он.

— Здравсте, Виктор Михайлыч, здрасте! — Лицо у нее было разгоряченное, глаза веселые. — Да что вы, спасибо, мы сами!

— Ладно, ладно! Ты чего тут?

Любаша работала у Нижегородова в детских яслях; в поле или на ферме Карельников никогда ее не встречал.

— А я люблю! — сказала Любаша. — Я на сев всегда прошусь, весело!

— А не тяжело?

— Да ну!

Карельников взбросил на плечи тяжелый мешок, пошел, глубоко увязая в сырой жирной земле, к красной, еще свежей после ремонта сеялке. Любаша бежала рядом, и они вместе ссыпали красное, сухо зазвеневшее зерно в бункер.

— Спела бы, что ли! — весело сказал Карельников.

— А я там пою! — в тон ему ответила Любаша и кивнула в поле. — Сегодня как пошли в первый гон, так я запела, Володька смеялся вон!

Она показала глазами на второго севца — низенького, крепкого парня, который тоже принес мешок на свою сеялку и поглядывал оттуда на них.

— Мы нынче всю ночь ждали, — говорила Любаша. — Иван Яклич говорил: утром начнем. А утром опять дождик. Вот только и начали...

Сеялки загрузили дружно, быстро. Карельникову досталось отнести только два мешка. Нижегородов поговорил о чем-то с трактористом, и вот тракторист уже пошел снова к машине, высоко поднимая ноги, и занял свое место в кабине. Невыключенный, ровно стучавший мотор взревел, и весь агрегат — трактор и три сеялки — двинулся и сразу ходко пошел вперед. Любаша помахала рукой и засмеялась.

— Хоть бы до вечеру-д походил, — сказал рядом с Карельниковым Иван Яковлевич. Он ощипывал бородку и глядел не на трактор, а вверх, на восток, где опять по голубому небу натягивалась как бы белая марля.

— Ну, ладно, — сказал Нижегородов, — айда, а то соскучил у нас майор. Соскучил, товарищ майор?

— Нет, ничего, — сказал капитан, — интересно. На полях страны, как говорится.

— Это что! — Нижегородов опять засуетился. — Сейчас не то увидишь! Сейчас мы тебе Бурцева представим... Ну, ладно, Иван Яклич, так ты ночь-то сей, если что.

— Знамо-д, — сказал старик.

Все распрощались, сели по машинам. Только Карельников постоял еще, глядя на удаляющийся трактор. Винограденко возвращался, чтобы объехать другие поля, посмотреть, как там дела, и распорядиться насчет семян. Грузовик пошел следом за ним. Райхель с капитаном и Нижегородов опять сели в «Волгу». Тут, на краю поля, остались Иван Яковлевич да баба-возница, которая прилегла на землю на пустых мешках, как только отъехало начальство.

Карельников наклонился очистить немного сухой веточкой сапоги и близко перед глазами увидел гладкий, перевернутый лемехом, не повалившийся под борону пласт земли — в прожилках белых корешков старой травы. Земля вокруг была осыпана светлым красноватым зерном и пахла опять сырым сильным запахом — духом весны, сева, работы. И Карельников сказал вдруг себе: «Нет, ничего. Ничего, ничего...»

Минут через двадцать, догнав «Волгу», которая легко, на хорошей скорости шла по подсохшей дороге через сосняк, Карельников вслед за нею въехал в Замурзаевку. Лесная эта деревня, несмотря на свое название, была аккуратная, с чистыми домами — некоторые даже крыты железом. Промчались по пустой почти улице, пугая кур и маленьких ребятишек, выползших на солнышко, — дом Бурцева находился на том краю, немного на отшибе. Дом был старый, но с переделанной, непривычно для этих мест приподнятой шатровой крышей — там, на широком чердаке, Бурцев оборудовал себе комнату для работы. Еще отличался дом пышно вырезанными кружевными наличниками, выкрашенными в голубое, и знаменитыми водосточными трубами, о которых далеко шла молва. Когда Карельников подъехал, Нижегородов, приобняв капитана за талию, уже показывал ему эти трубы.

Бурцев, самоучка-скульптор, в некотором роде достопримечательность Михайловского района, сделал у себя водосточные трубы в виде русалок: от деревянных, по полметра примерно, баб с зелеными волосами и коричневыми, круглыми, как яблоки, грудями шли трубы и внизу заканчивались зелеными рыбьими хвостами. Поднятыми руками русалки поддерживали карниз и смотрели на прохожих круглыми оранжевыми глазами. Говорили, что ни одна старуха не пройдет мимо, чтобы не плюнуть в сторону деревянных баб.

В следующую минуту Карельников увидел и самого Бурцева. В желтой майке и пиджаке, в вылинявших солдатских штанах он выскочил на крыльцо, а следом за ним все его домашние: дети, тетушки, сестра или племянница с младенцем на руках — сразу человек восемь или десять. Лицо у Бурцева было круглое, щекастое, очень оживленное, маленькие глазки так и сияли — он всегда рад был гостям. Происходил он из чувашей. Уже в летах, полный, а двигался очень быстро, живо, суетливо. Лет пять или шесть назад, когда над Бурцевым только смеялись, когда он жил впроголодь со своим многочисленным семейством в развалившемся доме, какой-то путешествующий столичный корреспондент явился в Замурзаевку и написал потом о Бурцеве в газете. Затем к Бурцеву приехали из областного управления культуры и взяли у него в областной музей деревянного коня со всадником, — Карельников своими глазами видел этого коня в музее. Толстый богатырский конь с длинной гривой вылетал, как из волны, из куска дерева, слившийся с ним всадник в буденновском шлеме держал пику наперевес. Карельников мало понимал в таких вещах, но конь ему понравился. Да и многим он нравился, так что Бурцев с тех пор по сей день делал

небольшие копии своего коня, и их можно было встретить у многих людей из областного и местного начальства. Был такой конь и у Карельникова. Правда, Бурцев иногда вместо буденновца изображал на коне монгола, или пугачевца, или русского богатыря, и тогда скульптура соответственно называлась «Добрыня Никитич» или «Салават Юлаев». Но конь оставался неизменным. И еще то было интересно, что каждый конь и каждый всадник чем-то смахивали на самого Бурцева — круглыми плечами, скуластостью, быстрым взглядом мелких глаз. Впрочем, и в других бурцевских работах можно было заметить это сходство.

С тех пор Бурцев прославился. Нижегородов взял его под свою опеку, всем хвастал, что у него в колхозе свой скульптор, ни в чем Бурцеву не отказывал. И Бурцев расцвел.

Теперь Нижегородов решил поразить Бурцевым своего «майора».

— Ну, Ваня,— кричал он громко,— покажь-ка! Покажь, чего у нас есть!

Бурцев, сияя круглым хитрым лицом, радостно пожал всем руки, но глазки его не столько глядели на капитана, сколько на Карельникова, и суетился он больше возле Карельникова, и Карельников тотчас вспомнил: кто-то говорил, что Бурцев обещал, и аванс как будто взял, сделать для пионерлагеря пионерку со знаменем и пионера-трубача, но до сих пор заказа не выполнил. И Карельников похмурился: надо напомнить об этом Бурцеву в удобную минуту.

Вошли в дом, чтобы все осмотреть и оценить. Дети, тетушки, собаки по знаку Бурцева остались во дворе, но потом все время кто-нибудь из них прорывался в комнаты и на чердак и молча присутствовал, дышал за спиной. Капитан протирал золотые очки и посмеивался, как человек, которому пообещали чудо, но который в чудо не верит. Нижегородов ступал впереди, обгоняя самого хозяина, и часто прерывал его, объясняя, какая замечательная та или иная вещь.

В первой обширной горнице рассматривали живописные картины Бурцева и расписанные им деревянные подносы, висевшие по стенам. Это все были пышные, сказочные букеты самых ярких цветов,— какие именно тут были изображены цветы, Карельников, например, не мог бы сказать,— пожалуй, добрую половину их Бурцев сам выдумал. Какая такая в них красота — этого Карельников тоже понять не мог. Но капитан вдруг заинтересовался, оживился и стал быстро говорить с Бурцевым, называя какие-то имена (на некоторые из них Бурцев отозвался), и часто упоминал слово «примитивизм». Что-то, видно, капитан понимал — как в шампанском,— и Бурцев оживился тоже и потом, объясняя и показывая, обращался уже больше к капитану.

Поднялись наверх — здесь на полу, на длинном столе, на полках стояло с десяток начатых, небольших и покрупнее, бурцевских коней, валялись куски дерева, разных размеров стамески и деревянные молотки. Но внимание всех сразу привлек выкрашенный в серебряную краску большой бюст старухи с печально опущенным лицом. Она совершенно была похожа на Бурцева, и все по очереди, поглядев на портрет, переводили взгляд на автора, чтобы удостовериться в сходстве. Оказалось, это портрет умершей бабушки. Бурцев начал было что-то объяснять, все так же оживленно, как про подносы, как про работу, но Нижегородов перебил:

— Да это что! Ты покажи-ка, покажи-ка секрет!

Бурцев было засмутился, но Нижегородов сам уже оборотился к кому-то из домочадцев, сгрудившихся в дверях, и тут же был принесен ковш воды.

Секрет в том заключался, что воду выливали в дырочку на макушке и из-под опущенных век бабушки медленно выплывали на серебря-

ные щеки слезы. Все примолкли и загрузили на минуту, один капитан как бы несколько опешил и не знал, что сказать. Карельников, поскольку сам понимал мало и потому за эти полчаса уже приносившийся слушать капитана и как бы его глазами глядеть и оценивать, тоже подождал высказывать мнение, хотя «секрет» этот его поразил — надо же такое придумать!

— Странно, странно,— сказал капитан,— вот уж никогда не думал!

Карельников понял, о чем капитан говорит, и ему самому вдруг пришло в голову, что это действительно странно: сидит в лесу в какой-то Замурзаевке человек, семейный, в летах, никому не ведомый, и занимается, как помещанный, вот эдакими штуками. Что это? Почему? Зачем?.. В самом деле, странно...

Между тем Нижегородов громко и горячо объяснял, что бюст, выставленный на воле, все время будет наполняться дождевой водой и вечно плакать. И опять это как-то задело Карельникова, и он не сказал Бурцеву на лестнице, как хотел сказать, про пионерские скульптуры.

Спустились. В сарае глядели нового огромного коня — та же грива, вздутые ноздри, еще только намеченный, но не законченный всадник, в котором, однако, можно было угадать — по бурке и папахе — Чапаева. Затем вышли на просторный задний двор — тут уж снова объявились все молчаливые и внимательные домочадцы, — и на этом дворе сразу увидели большую, во весь рост, тоже выкрашенную в серебряную краску скульптуру человека в шляпе, в длинном пальто, с тростью в одной руке и с яблоком в другой. Карельников уже знал, что это Мичурин, хотя похож человек был больше на писателя Чехова и опять-таки на самого Бурцева. Второй точно такой же Мичурин длинно лежал на земле рядом с первым, а чуть поодаль, по грудь закопанный в землю, торчал третий Мичурин, только без шляпы. Этот совсем был вылитый чуваш.

Опять-таки на взгляд Карельникова, Мичурин был неплох, вполне можно было бы поставить его в Михайловске на берегу пруда, на новой набережной или в парке Стекольного завода. Но капитан вдруг засмеялся, сказал что-то Бурцеву, и тот стал смеяться тоже и говорить: «Это старое, старое...» — и Карельников понял, что все эти мичурины никуда не годятся, и странное их кладбище так и останется здесь навсегда на бурцевских задворках. И Карельникову немного неловко стало за себя, что ему Мичурин понравился.

Бурцев опять позвал всех в дом, и по некоторой суете среди домашних стало понятно, что там что-то готовится, опять угощение. Карельников поглядел на часы и решил ехать, не задерживаясь. Он даже не пошел в дом.

Его уговаривали, Нижегородов кричал всех громче. У Бурцева сделался виноватый вид, но Карельников сказал, что ему пора. Да и в самом деле было пора: когда он теперь доберется в Кувалдино и когда домой? Он опять вспомнил, что Надя должна звонить, что Лях ждет его весь день, вспомнил про Пруды, о которых так и не поговорил с Нижегородовым, и про мешок комбикорма, увезенный у Марфы.

— Пора мне, пора,— сказал он твердо,— спасибо за компанию.

Он распрощался со всеми во дворе, сел в машину, и все стояли, не уходили, провожая его. Капитан впервые поглядел на Карельникова с интересом, спрашивал что-то у Нижегородова, но Нижегородов сделал какой-то неопределенный жест, не желая, видимо, и под конец объяснять капитану, что за человек пробыл с ними полдня. Карельников махнул еще раз всем рукой и поехал.

Его как-то задело, и он продолжал думать о том, что вот капитан понимает что-то и может поговорить насчет Бурцева и вообще искус-

ства, а он, Карельников, в этом деле ни бе, ни ме. Читать надо, учиться, быть в курсе. Надо, надо, обязательно надо. Но когда? До того ли, если газету с утра прочесть некогда, читаешь уже в постели, на ночь глядя? А книг, журналов, кино всяких — миллион, разве успеешь? И главное, быстро все делается, быстро все меняется — месяца три не походишь в кино, потом пойдешь, а там тебе уже такое завернут, что диву даешься, откуда что взялось, такого и не показывали сроду.

Он ехал опять краем леса, дорога шла вниз и вниз, и справа, за лесной мелочью, промелькивала низина, куда ему надо было съехать, а там открылось издали и Кувалдино — разбросанное, широкое, ярмарочное когда-то село с площадью и церковью посередине, как в Пеплове. На колокольне среди голых прутьев, оставшихся от купола, росла береза, ее далеко было видно.

К дому Ляха Карельников подъехал, когда снова стал мелко брызгать дождь. Длинная кривая улица была пуста, во дворе, куда Карельников вошел, толкнув калитку в высоких глухих воротах, тоже никого не было видно. Шелестел под дождем маленький густой сад, дом с пристроенной на дачный манер стеклянной верандой и высоким крыльцом стоял в глубине и тоже выглядел пустым или сонным. Карельников уже поднялся на крыльцо, и только тогда отворилась дверь и стала на пороге Тамара, жена Ляха, в спортивных штанах и такой же кофте с белой полоской по горлу. Она была в очках, а в руках книга.

— Виктор! Наконец-то! — сказала она. — Целый день ждали!

Карельников вошел, разделся. Сенцы, веранда, комнаты — все в доме Ляха маленькое, тесное, трижды перегороженное, и, едва переступив порог, чувствуешь здесь себя не как в деревенском доме, а будто в городской квартире. Еще оттого было похоже, что всюду натыкался взгляд на книги, картинки, портреты и фотографии, на какие-то коврики, безделушки, «думочки», полочки, опять на книги. Дом достался Ляху от отца, тоже агронома, давно умершего, но почти все сохранялось, как при отце, даже венские стулья с плетеными сиденьями, о которых Лях говорил, что такие же стулья стоят у Толстого в Ясной Поляне. Тамара больше всего на свете любила лежать и читать, и в любом уголке дома можно было найти удобное старое кресло с лампочкой над ним, или кушетку, или диван с брошенным на него теплым платком, и куда ни сядешь, где ни пристроишься, делается сразу уютно, спокойно и тепло.

Оказалось, Ляха нет: не дождавшись, он уехал с бригадиром по полям, обещал скоро вернуться. Тамара провела Карельникова в тесную узкую комнатку с окном в сад — кабинет мужа. Здесь тоже было набито книг, на письменном столе горой лежали бумаги и книги.

— Ты, наверное, есть хочешь? — спросила Тамара. — Могу обедом накормить. Или подождем?

— Подождем, — сказал Карельников. Он взял со стола первую попавшуюся книгу и сел на низкий диван.

— Ну, посиди тогда, — сказала Тамара, — развлекать тебя не надо?

— Переживем.

Она кивнула и ушла. Странная жена у Ляха. Настоящая интеллигентка. Он привез ее из Москвы, она закончила университет и теперь учительствует в кувалдинской десятилетке. Лях рассказывал: они поклялись всю жизнь жить в деревне. Но Москву не забывают: и ездят туда часто, и переписываются, и тьму денег тратят на книги да на журналы. Всё знают, ничего не упускают, читать могут день и ночь. И это все больше она, чем он. Чудаковатая малость. Но ничего...

Книга, которую держал в руках Карельников, была старая, захватанная, распухшая от закладок и мелких записок, вложенных между

страницами, а сами страницы были сплошь исчерканы красным и синим карандашом. Это были «Письма из деревни» Энгельгардта — одна из любимых книг Ляха. Карельников стал листать и читать на выбор подчеркнутое.

«...Положим, что я, например, оставил бы всю землю моего имени в диком, некультивированном состоянии и завел бы такую систему хозяйства: со всей земли собирал бы траву, которая родится сама собою, без всякой культуры, скармливал бы эту траву скоту и весь навоз складывал бы на одну десятину при усадьбе и вел на этой десятине интенсивное хозяйство, разводил бы, например, спаржу, шампиньоны, ананасы. Это было бы очень интенсивное хозяйство, оно могло бы быть очень выгодно для меня, но что толку было бы в этой интенсивной системе хозяйства, какой интерес могла бы она представлять и стоило ли бы работать над этим?..»

«...Конечно, если вы станете разводить турнепсы в Смоленской губернии или садить кукурузу, конский зуб, для силосования, или разводить живокость, или что там еще есть нового, — росичка, кажется? — то мужик перенимать у вас не станет. Мужик сер, да не черт его ум съел!..»

«...Перестали ходить в Москву на заработки, занялись землей ей, и дворы стали богатеть...»

Карельников приостановился и, чувствуя интерес к прочитанному, перелистал несколько страниц, чтобы заглянуть в конец статьи, на дату. Там стояло «17 декабря 1880 года». Восемьдесят пять лет назад!.. Н-да, интересно... Он перевернул еще несколько страниц и наткнулся на новое, особенно жирное отчеркивание красным карандашом и восклицательные знаки на полях:

«...Счастлив тот, кто спокойно ест свой хлеб, зная, что он заработал его собственным трудом. Может ли быть человек спокоен, счастлив, если у него является сознание, что он ест не свой хлеб?.. Не оттого ли так мечется наш интеллигент, не оттого ли такое недовольство повсюду?.. И чего метаться! Идите на землю, к мужику!.. Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач на место земледельца-знахаря, земледелец-учитель, земледелец-акушер. Мужику нужен интеллигент-земледелец, самолично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей...»

«Вот он весь Лях в этом», — тут же подумал Карельников. Это его отчеркивания, его восклицания, его программа. Сколько раз Карельников слышал от него подобные слова! И сам он изо всех сил выполняет их... Но где же сам он?

Карельников поискал глазами, куда стряхнуть с папиросы пепел, и вышел, чтобы спросить у Тамары пепельницу. Хотелось поделиться с кем-то прочитанным. Тамара сидела на веранде в кресле, поджав под себя ноги, подняла лицо от книги.

— Черт знает где его носит! — сказала она.

— Да ничего, — сказал Карельников, — я, пожалуй, поеду, поздно. Может, по дороге встречу. Он куда подался-то?

— Кажется, в Щекутьево, о Щекутьево у них был разговор. Но может, я покормлю тебя? Надя-то дома? Как они там?

Карельников рассказал про Надю, что он именно торопится к вечеру домой, чтобы поговорить с ней. Он вдруг понял, что если Ляха сейчас нет, то он не скоро и будет, можно прождать долго. Да и было такое ощущение, словно он уже поговорил с Ляхом.

Тамара не задерживала его, не уговаривала — церемонность не в ее привычках: хочешь — сиди, хочешь — уходи. От этой суховатости становилось немного не по себе. К тому же Карельников наедине с нею не

зная обычно, о чем с нею говорить: он чувствовал, что сам он ей тоже неинтересен. Вот и сейчас он понял, что ничего не скажет ей про Энгельгардта. Он отказался от обеда и решил ехать.

— Скажи, значит, что был, что дня через три будем актив собирать, пусть готовится. Если, конечно, погоды не будет. Да и вообще приезжайте.

— Куда ж сейчас! Экзамены,— сказала Тамара.

Они поговорили об экзаменах, о делах в кувалдинской школе (Карельников считал, что через год-другой Тамару надо сделать директором или завучем), и она проводила его, выйдя на порог.

Дождь продолжал сыпать, и то ли от дождя, то ли оттого, что не повидал Ляха, то ли от прочитанного, то ли от равнодушия Тамары к нему Карельникову сделалось одиноко и скучно. Или не хотелось возвращаться в пустой, неприбранный дом? Или хмель вышел? Ну, ладно. Между прочим, можно будет к первому все же заехать, проведать...

Он поехал по Кувалдину медленно, еще надеясь встретить Ляха или кого-то другого, но село было пусто, даже детей не видно.

Нижняя дорога от Кувалдина лежала разбитая тракторами и машинами, грязная, в колдобинах, «газик» сразу стал тонуть, вилять, вязнуть, то и дело приходилось включать передний мост, и уже через несколько минут езды Карельникову стало жарко и все мысли вылетели от единоборства с дорогой. Так ехал он минут сорок, и ни одна живая душа не встретила, кроме двух девочек-подростков с велосипедами, которые вели велосипеды по обочине. Дождь не переставал, и делалось нехорошо от мысли, насколько он опять задержит сев.

В маленькой деревне Мордвинке, на краю, уже на выезде, Карельников увидел возле одной избы трактор. Избы здесь стояли просторно, неогороженные, без единого дерева или куста (и без того лес рядом). Неплохо было бы заправиться на всякий случай, бензина оставалось мало, может, у тракториста найдется,— и Карельников подрулил к трактору.

Изда была большая, старая, с полукрытым позади двором, с галереей, но уже само крыльцо скособоилось и дрожало под ногами, и все было распахнуто, неприбрано, навалено, будто Мамай прошел. Едва ступил Карельников на галерею, как все вокруг заскрипело тоже, задрожало, под ноги выкатились два кутенка, заскулили, а в закутке, в темноте, затокали, заволновались собравшиеся ко сну куры.

Карельников толкнул дверь и вступил в горницу.

— Можно, нет? Здравствуйте!

— Здорово, коль не шутишь! Вот и гостя бог послал!

В нос ударило густым, спертым воздухом, заколыхалось пламя керосиновой лампы на столе, забелели обратившиеся к двери лица. От стола поднялся, покачнувшись и засмеявшись на свое качанье, маленького роста мужик в выпущенной из штанов рубаше, босой. Лицо у него было молодое, но голова лысая. Сбоку, прислонясь прямой спиной к стене, сидел второй человек, видно гость, в шинели внаброску. В глубине горницы, на кровати, сидела женщина и с нею двое белоголовых ребятишек лет по пяти.

— Да ты заходи, заходи, чего там! — говорил хозяин. — Давай погрейся!

Карельников стал объяснять насчет бензина и поймал на себе напряженный, опасный взгляд второго человека, в шинели. Лицо у него было бледное, саркастическое, словно он хотел уличить в чем: знаем, мол, за каким таким бензином пожаловал.

— Это делаем! — ответил хозяин Карельникову. — Отольем! У Во-

леди все есть! Да ты садись! — Он уже наливал из бидона в большую молочную кружку розовую брагу. — Откудова сам-то?

— Из Михайловска.

— Из Михайловска?! Ха! — едко сказал тот, что в шинели, и Карельникову показалось, что он или сумасшедший, или пьян вдребезги. Еще он разглядел, что у человека нет правой руки — пустой рукав приколот к рубахе.

— Да ладно, брось! — сказал хозяин однорукому. — А ты на него не гляди, черт с ним, надоел!

Карельников снял кепку, сел. На столе была картошка, лук, пустая банка из-под консервов в томате. Хозяйка поднялась и подошла к столу поухаживать. Была она огромного роста, молодая, плоская, неуклюжая, шеки румяные — видно, тоже выпила с мужиками.

— Я на минуту, — сказал Карельников, — спасибо, не надо ничего. А то темнеет, дорога вон какая!

— Да брось, ночуй! — сказал хозяин. — У Володи места, что ль, не хватит? Брось! Свой брат, шофер!

— Ха! Шофер! — опять сказал однорукий, сверля Карельникова взглядом.

— А ты сам-то кто будешь? — спросил Карельников. Хозяин Володя налил уже всем и тянулся чокнуться.

— Я-то? — Однорукий засмеялся, как артист. — А тебе-то зачем, кто я есть?

— Да мне не надо, — сказал Карельников и чокнулся с Володей, давая понять, что не хочет говорить с одноруким.

— Кто буду! Ха-ха! — продолжал однорукий.

— Да ладно вам, Николай Иваыч! — сказала хозяйка густым голосом. — Не можете без скандалу-то?

— Сулейка-а-а-хану-у-ум, — вдруг запел Володя, — аб тебе-е одной я мичта-а-аю!..

Ребятишки слезли с кровати и стояли теперь в двух шагах от Карельникова, разглядывая его. Можно бы посидеть, поговорить, но однорукий мешал. Да и Володя был уже хорош.

— Ну, ладно, давай зальемся, пока не стемнело совсем, — сказал Карельников и поднялся.

— Зальется он! — сказала хозяйка. — Пушай сидит! — Она пошла к двери. — Давеча приехал — слышу, трактор бухтит, а он не идет. Вышла, а он с трактору-то свалился и лежит в грязи. Доехать доехал, а в дом силов нету войти!

— Что ж, и разговаривать с нами не хотят! — закричал однорукий, но не поднялся и не бросился, как уже ожидал Карельников, а еще прямее прижался к стене и сильнее побледнел. Глаза у него совсем сделались безумные.

Карельников, не отвечая, вышел за хозяйкой. Она, идя впереди, объясняла на ходу:

— А энтот идол хоть и убогий, а спасенья уж нет. Дружок-то, Николай Иваыч. В эмтэсе еще когда-то механиком был, а теперь, когда руку-то отрезали. кладовщиком...

— А что с рукой-то?

— Поранился, рану заразил, все и дела. Да он сроду эдакий, по тюрьмам уж отсидел, теперя боится, обратно заберут, всех пугается.

Рассказывая, хозяйка достала, разбросав какой-то хлам на галерею, канистру. Карельников перехватил ее в свои руки, пошел к машине. Почти совсем стемнело, и дождь продолжал идти, он наливал бак наугад. Хозяйка не уходила, рассказывала с крыльца про мужа и Николая Иваыча.

— А все погода! — сказала она. — Мой-то уж работать горазд день и ночь, сутками не приходит, а теперя что ж? И не посудишь! Пьют да пьют, все одно сеять нельзя.

— Да это уж так, — сказал Карельников, думая о Николае Ивановиче. — А семья-то у него есть?

— У него-то? — Хозяйка сообразила, о ком речь. — А как же! Старшая уж в Михайловском в продавщицах работает да малых двое. Он мужик-то уж старый...

Карельников подумал почему-то и представил себе опять, что сказал бы Купцов, увидев Карельникова пьющим брагу с Володей-трактористом и этим странным Николаем Ивановичем, или как бы он сам, Алексей Егорыч, держал себя с этими людьми. На него бы никакой Николай Иванович голоса не решился поднять, осекся бы.

Карельников закрыл бак, отнес канистру, в которой еще плескался бензин, к крыльцу, отдал хозяйке рубль.

— Ну, спасибо вам, поеду! — Его подмывало вернуться и послушать еще, что наговорит в запале Николай Иванович, и поговорить с Володей, но он подумал, что наперед знает, что можно от них услышать. Не стоит. Да и давали уже себя чувствовать усталость и голод, а ехать еще далеко. Надоело все как-то и захотелось приехать скорей домой, лечь и заснуть.

— А то вправду ночуйте, — сказала хозяйка, — у нас есть где. Они-то хороши уж, угомятся скоро...

— Спасибо, доеду.

На галерее бухнула, отворилась дверь, заскрипело, упало что-то и послышалось опять «Сулейка-ханум», а потом детский голос: «Мамка! мам!»

Хозяйка выругалась и пошла назад. Карельников подождал, думая, что Володя сейчас выйдет, но он пел и шумел уже где-то по двору. Карельников сел в машину, зажег фары (в их свете видно стало, как сильно сыплет дождь), посигналил два раза на прощание и поехал. Но еще долго ему казалось, что он сидит в этой избе, видит бледного Николая Ивановича (тот наверняка говорит теперь о Карельникове), Володю и хозяйку с ребяташками.

Дорога опять была грязная, трудная и так почти до самого Пеплова, мимо которого снова надо было ему проехать. Можно бы вернуться к Нижегородову, но уже не хотелось. Да и навряд ли они вернулись, если Сергей Степаныч действительно повез своего капитана на пасеку мед есть. Не останавливаясь, Карельников проехал Пеплово, дорога стала забирать вверх. Дождь не переставал, тьма загустела, и не узнать было мест, по которым ехал он утром. Ни о чем не думалось, мелькало в памяти перевиданное за день, то одно, то другое, и он еще не знал, как все это собрать в одно. Чего он промотался весь день, выходной свой, чего выездил? Ничего особенно не делал, никаких вопросов не решил. Но все-таки не было такого чувства, что зря ездил, наоборот — успокоился как-то, устал, отвлекся от того настроения, с каким летел позавчера в «аннушке». И было еще одно важное, понятное: что его напиток все же этот день и все встречи, что есть у него перед всеми долг какой-то и что ни перед кем он не в ответе, а есть только одна самая высокая ответственность — перед этими людьми и этой землей...

Как всегда, когда едешь ночью один по лесной дороге, где никто не встречается, было, несмотря на усталость, немного напряженное чувство и ощущение одиночества, и желание, чтобы попался кто-то навстречу или обогнал. Но никого не было, только выступали в длинном свете фар и уходили назад березы, кусты, дорога. И опять вспоминал-

ся почему-то чистый дом Купцова, по которому ходят в тапочках, симпатичная Инна Ивановна,— наверное, сейчас они читают вслух, глядят телевизор, пьют чай. И что это у Карельникова все не по-людски, по-студенчески, как-то необжито, неустроено и нет такого порядка и основательности? И главное, в самом нет основательности, солидности? И нет покоя.

Обгоняя нынешние впечатления, приходила мысль о завтрашнем дне, о тысяче завтрашних дел, о разговорах по меньшей мере с сотней людей— так и по телефону, тем более что Купцов не придет, и это будут разговоры и дела, касающиеся не только сева, но всей жизни Михайловского района. И он подумал, что среди всех этих дел надо не забыть про мешок комбикорма, который утащили с калды у Марфы. Он представил себя завтра в своем кабинете, где он должен быть выспавшимся, собранным, бодрым, энергичным, без той расслабленности и расстроенности, которая преследовала его сегодня с утра. Ничего, все войдет в свою колею.

До нижней дороги, до шоссе, ведущего к Михайловску, оставалось километра два, когда в моторе вдруг зачихало, стукнуло два раза, и он мертво в одну минуту заглох. Только этого не хватало! Карельников раз, и другой, и третий попытался завести мотор снова, но без толку— похоже было, что засорило бензоподачу. Как ни противно было вылезать под дождь в грязь, но пришлось,— он поднял капот и запустил руки в горячий мотор. Сзади по куртке стучал дождь.

Так он провозился минут двадцать, вымок, обозлился, не раз помянул своего Толика-шофера,— уж очень глупо было бы ночевать здесь, на дороге, в получасе езды до дома. И как назло есть захотелось— просто подвело.

Но куда денешься? Так и пришлось бы ему здесь ночевать, если бы еще минут через пятнадцать позади, на дороге, не засветили фары, не показалась машина. Карельников стоял и ждал под дождем, и тяглый грузовик, слепя его, подошел почти вплотную. Он был нагружен дровами, и Карельников подумал, что не иначе, как мужики Выдринский лес пограбили ради воскресного дня.

Обе дверцы отворились, из грузовика выпрыгнули и окружили Карельникова трое мужиков в ватниках и кепках, загомонили, заговорили весело, не обращая внимания на дождь: один был высокий, с длинным лицом, молодой; второй— шофер— коренастый, лет сорока; третий— круглолицый, щекастый, лихой, особенно веселый, балагур. Когда полезли с шофером в мотор и длинный наклонился тоже, Карельников почувствовал, как от них пахнет водочкой.

— Да чё там ковыряться!— шутил третий.— На трос его, и все дела! Тебе до Михайловска, что ль? Давай, а то в чайную не успеем!

— Лесом-то где разжились?— спросил Карельников длиннолицего.

Шофер по тону понял, о чем речь, поднял от мотора глаза, ответил за товарища:

— Это не думай, это у нас в порядке, бумага есть и все, что надо.

— Да я ничего,— сказал Карельников, хотя в другом положении, может быть, и посмотрел, какая такая есть у них бумага.

— А ты, видать, начальник, а?— веселился круглолицый.— Начальник, а? Начальник, а загораешь. Давно загораешь-то?

— Не очень,— сказал Карельников.

В моторе поковырялись минуты три, и он ожил, прочихался, все заулыбались, а весельчак стал кричать, что с Карельникова причитается.

— Чего там причитается,— ответил Карельников,— тут жрать охота, спасу нет.

Шофер вытер ветошью руки, принес из кабины полбуханки хлеба, завернутую в газету, и луковицу. Карельников отломил ломоть, сел в кабину, откусил кусок.

— Вы вперед езжайте,— сказал шофер на «вы»,— мы сзади постараемся в случае чего.

Так они и поехали. Карельников впереди, грузовик сзади; так выехали и на шоссе, и хотя Карельников мог прибавить скорость и уйти вперед, но не уходил — ему весело было, что они едут следом, что он не один на дороге. Он съел на ходу хлеб, луковицу, заморил червяка, и ему даже пришло в голову: не зазвать ли мужиков к себе — где-то дома есть немного водки,— пускай посидят, поболтают. Но нет, не стоит, конечно, да и не пойдут они.

Возле Михайловска они посигналили ему светом, он остановился.

— Ну как? — закричал шофер, выйдя на ступеньку.— Тянет?

— Спасибо, порядок!

— Ну, бывай. Мы через город не поедem, в объезд тут двинем!

— Ладно! — Карельников усмехнулся: не все, видать, у них выправлено с бумагой.

Балагур открыл дверцу со своей стороны и тоже кричал что-то и махал рукой, но за ревом мотора Карельников не услышал, только помахал тоже в ответ. Грузовик пошел в сторону, и Карельников подождал, провожая его глазами. Потом поехал сам, прямо. Здесь уже было веселее, светили фонари, окна в домах, попадались автобусы и машины. Еще магазины были открыты, и Карельников решил заехать в продовольственный возле Стекольного, взять чего-нибудь к ужину. К Купцову он решил все-таки не заходить, хоть был только десятый час и зайти можно было бы.

Приехав к дому, он увидел, что у Купцовых действительно еще горит огонь в окнах и опять как будто поднялась занавеска на одном окне, когда он отворял ворота и загонял машину во двор. Но нет, идти не хотелось. Можно позвонить, узнать, как и что, сказать, что устал. Он ведь и в самом деле устал.

Когда он открыл дверь, откуда-то явился кот. Карельников обрадовался, стал разговаривать с ним, и кот ходил за ним следом, пока Карельников переодевался, умывался, жарил яичницу. Так они вдвоем и поужинали на кухне; Карельников выпил полстакана водки и сказал коту: «Будь здоров!»

Потом он включил приемник, поймал музыку, звонил на телефонную станцию, спросил, не вызывал ли его Ленинград, потом пометил у себя в блокноте насчет Прудов, мешка комбикорма и других дел. Потом взял ворох нечитанных газет, папку с бумагами, лег и стал читать. Купцову уже поздно было звонить, и он решил отложить звонок на завтра.

Читалось плохо, лез в голову прошедший день — то Нижегородов, то Винограденко, Любаша на сеялке, капитан, бледный Николай Иванович, **плачущая** бабушка Бурцева, Тамара. Он отложил газеты и стал — в который **уже раз** — читать записку, которую они возили в обком. Завтра, если бы записку утвердили, можно было бы начать работать по-другому... Ничего, время покажет.

Карельников погасил свет, думал, что сразу уснет,— а то Надя и среди ночи может позвонить, не дождется,— но не спал еще долго, слушал, как шумит дождь, а перед глазами стояла грязная дорога, высвеченная фарами, и уходили назад березы. Долгий этот день все не кончался и не кончался.



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

★

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ

Рассказ

В последнюю погожую неделю октября на окраине областного города открылась сельская осенняя выставка. На улицах веселого фанерного городка вперемежку с дикторскими объявлениями гремели марши и взмыкивали породистые быки. Тракторы новейших марок временами сотрясали землю вместе с павильонами. Выхлопные дымы мешались с запахом антоновки и крепкой осенней капусты. А над всем этим, в синеве солнечного ветреного неба, на высоких шестах струились флаги, вытягиваясь в одну сторону, как отлетные журавли. И было радостно и празднично от их пламенно-кумачовых всплесков.

На выставочных площадях в походных кухнях, одолженных по этому случаю у местной воинской части, варились кукурузные початки. Крышки котлов наглухо завинчены лопухими гайками, но даже и они не могли удержать аромата. Возле кухонь нетерпеливо толпились ребятишки. Повара в белых халатах и высоких накрахмаленных колпаках с важностью посматривали то на водомерные трубки, то на карманные часы. Вот кто-нибудь из них делал повелительный жест рукой и требовал отойти подальше. Над булькающим кратером котла вздымалось облако пара, повар поддевал метровой вилкой первый дымящийся ослепительно-желтый кочан и в обмен на пяточок, покрикивая: «Руки! Руки береги!» — сбрасывал его в подставленную кепку. Что же это за лакомство — пропаренный до барашковой кучерявости, до золоторунного сияния, обжигающий руки даже сквозь ватную шапку початок, особенно если его подсолить из баночки, которую имел при себе каждый кукурузный повар!

А тем временем колхозники показывали свои достижения под ажурными навесами павильонов и на скотных площадках. Все они, какого ни возьми, были отменно загорелые, будто только что приехали сюда с самого южного берега Крыма. Лишь на затылках и висках просвечивала белая кожа после свежей стрижки по случаю праздника. Многие были в новых, неловких, словно чужих костюмах, иные даже при галстуках, которые, впрочем, ни у одного не сидели должным образом, а непременно съезжали на сторону или же, ослабнув в узле, обнажали под воротником верхнюю пуговицу рубашки, что случается с горожанином, когда он порядком, или, как говорил один выставочный милиционер, «зарядно выпимши».

Показывали они свои достижения в большинстве случаев молча, лишь иногда бросая коротко: «Не балуй», если какой-нибудь малец начинал карабкаться на трактор или тыкать кукурузной кочерыжкой в бок развалившегося за изгородью хряка. Так что весь день, терпеливо простаивая возле своих экспонатов, они и сами, казалось, были выставлены для всеобщего обозрения.

* * *

Одетая в белый халат поверх плюшевого жакета, которые все еще любят носить женщины черноземного подстепья, топталась возле своих коров Анисья Квасова — уже немолодая, с узким сухим лицом, темневшим треугольником из серенького полушалка. Лицо это с костистыми, обтянутыми и поэтому особенно заветренными скулами и со впалыми щеками, на которых ранее всего появлялись беспорядочные морщины, лицо это было замкнуто и даже сурово. Но в светло-серых глазах, затененных крутым надбровьем, таилась детская робость и доверчивость. Такие женщины обычно молчаливы даже в девичестве, больше слушают других, а при неожиданной и редкой улыбке стараются прикрыть рот концом косынки. Но зато нет рукастее их в работе, и, наверно, не бывает в нашей стороне более хлебосольной хозяйки, когда в ее избу нагрянут званые или незваные гости: уполномоченный ли на ночлег, заблудившийся в осеннюю распутицу водитель или полузабытая золовка с детишками из дальних мест. Забегает, замелькает неслышно по избе — и зашумит самовар у загнетки, вскрикнет и забьется зарубленная курица, а из распаханного сундука замелькают чистые мережковые наволочки с простынями, и все это в радостно-смятенной бессловесности.

Коров у Анисьи было три: Ромашка, Зинка и Лада. Лада чуть погрузнее, попредставительнее — она мать, а Зинка с Ромашкою ее дочери. Все три были светлой масти цвета молока, самую малость приправленного кофеем. И у всех у трех — белые чулочки на передних ногах и белые одинаковые пролысинки на узких и большеухих мордах, похожих на олени. Схожесть с оленухами им придавала еще и безроговая — и мать и дочери комолы. Но в крестцах коровы были неожиданно высоки и разлаты, с тяжелым, прямо-таки неподъемным выменем, так что если бы одну из них, скажем, разрезать поперек, то, пожалуй, никто не признал бы, что обе эти части принадлежат одной и той же корове. Своей необычностью животные вызывали любопытство, и возле Анисьиного стойла всегда толкался народ.

Когда Анисье сказали, что поедет на выставку, она испуганно ойкнула и целый день скребла и чистила коров, хотя они и без того содержались в опрятности. Потом еще мыла их теплой водой с дегтярным мылом и уксусом, а хвосты — самые кисточки — даже расчесала гребнем, так что они все волнисто распушились. А приехавши на выставку, Анисья ревниво оглядела все, что доставили из других колхозов. Скотины навезли множество: с машин с зарешеченными кузовами сводили по доскам коров, телят, баранов невиданной породы — один лобастее другого, — свиней всяких да еще с малыши поросятами. О птице и говорить нечего: каких только гусей-уток не навезли! Больше всего Анисью занимали коровы, и, надо сказать, были среди них очень даже видные и статные. Но, возвращаясь к своей машине, дожидавшейся разгрузки, и еще издали увидев за бортовыми решетками своих коров, она тихо обрадовалась: свои всегда кажутся лучше.

Определив коров в стойло, Анисья больше не отходила от них все эти дни, каждую минуту находя себе дело. Праздник праздником, а и убрать за скотиной надо, и сено в кормушке поладнять, чтобы зря не топталось, и подоить три раза, потому как для коров и вовсе нет ни выходных, ни праздников: знай гони молоко. Затем их и показывали, что каждая за раз наеживала по полной доенке. Это если посчитать, то ребятишкам на целую школу по стакану молока каждый день.

Спала Анисья в шумном, переполненном и прокуренном Доме колхозника, выстроенном тут же, на краю выставочного городка, где всю ночь горел свет, хлопали дверьми, а за хлипкими перегородками на мужской половине стучали в домино, горласто, подвыпивши, гомонили с неперменным матерком, хохотали, пиликали на гармошке. Анисья не спала, а так, вздремывала на казенной провалистой койке, стесняясь раздеться как положено, сбросив одну только жакетку да резиновые сапоги. И даже во сне все струились и хлопали выставочные флаги — так они за день намелькались в глазах.

Вскакивала еще до свету и, окликаемая сторожами, таившимися где-то под навесами павильонов, бежала по пустынным выставочным улицам. Лада узнавала ее еще издали, нетерпеливо и обрадованно взмывала. И Анисья, тоже радуясь, приговаривая: «Сейчас, девки, сейчас, родные», совала им сквозь решетку куски булки, оставшиеся после ужина.

В коровьем стойле, где пахло скотиной и сеном, где стояла доильная скамейка и висели ведра, ей было привычно, она чувствовала себя здесь куда как спокойней, чем в заезжем доме, и ей даже нравились эти ранние и тихие часы до открытия выставки.

Тем временем начинали доить и в других стойлах, позвякивали ведра и цепи, циркало молоко, перекликались выставочные петухи в пропахшем антоновкой и капустой синем предрассвете, и, казалось, все было так, как на колхозной ферме. Молоко сливали во фляги и отвозили куда-то на машине. Потом по рядам развозили сено, и угрюмый казенный скотник, стоя на возу, сбрасывал пару-тройку навильников прямо на коровьи головы.

Анисье всегда казалось, что он скаредничает, обделяет ее коров, и она старалась украдкой выщипать из воза лишний пучок.

— Но-но! — кричал скотник, замахиваясь на нее вилами.

— Кинь еще маленько, — просила Анисья.

— Вот я т-тя кину...

— Насорил только...

Скотник отъезжал к соседнему быку, громыхавшему цепью за дощатой перегородкой.

Вечерняя дойка проходила тоже без посторонних, после того как схлынет гуляющая публика. Зато днем, когда выставка бурлила в полную силу, доить приходилось на людях. Анисья присаживалась перед Ладой, загородку обступали любопытные. Обмывая Ладино большое, отяжелевшее вымя, розоватое, покрытое легким белым пушком, сквозь который проступали голубые, напряженно вздутые вены, Анисья слышала голоса:

— Гляди, доит...

— Пацаны, айда сюда, тут доят!

Бежали глядеть ребятишки, останавливались взрослые.

Шумно налетала стая десятиклассниц в сопровождении не менее шумных своих одноклассников и, зашебетав: «Девчонки, побежали. Ну чего особенного? Не видели, как доят коров?» — останавливались посмотреть.

— Мам, а что тетя делает?

— Тетя доит молоко, Игоречек.

— То самое, что в садике?

— То самое...

Молодая женщина в голубом кожаном пальто, с пышно и высоко взбитой прической подняла сынишку над оградой. И круглощекий Игорек, одетый в розовый комбинезон под космонавта, заглядывая через изгородь, за которой, запуская языки в розовые парные ноздри,

шумно жевали настоящие живые коровы, с каким-то испугом в округлившись, немигающих глазах смотрел, как Анисья «делала» молоко — то самое, что в садике. Глядел он на Анисьины большие красные кулаки, которые часто мелькали, поднимаясь и опускаясь, и из этих красных кулаков, то из правого, то из левого, в ведро били мгновенные упругие молнии. Ведро сперва голодно позванивало, потом начало отзываться все глуше, все сытей, и когда над его краем показалась белая пузырчатая шапка, струи пропарывали пену отрывистыми хлопками, будто били по бумаге.

— Мам, а коровке не больно?

— Нет, не больно...

Анисья слушала лепет малыша и умилялась его любопытством и неведением. «Откуда же ему знать,— думала она.— Все бутылки да бутылки. Ах ты господи!»

Она отставила тихо шипящую доенку, достала из своей авоськи, что висела на задней стенке на гвозде, алюминиевую кружку, раздула пену в ведре и зачерпнула.

— А ну-ка, попей вот молочка.— Она обтерла ладонью доньшко и протянула теплую кружку через изгородь.— Попей, голубчик. Не стоялое, от коровки толечко. Самое сладенькое, запашистое.

Малыш отпрянул от протянутой к нему кружки.

— Может, он меня чурается, так вы сами... Из своих рук. Коровка моя чистая и кружка сполоснутая...

— Что же ты? Как нехорошо...— укоряла сына женщина.

Игорек еще больше нагнул голову и вдруг заревел.

— Ах ты господи...— Анисья сконфуженно вылила молоко обратно в доенку. Обеим — и мамаше и ей — сделалось неловко.

— Пойдем, пойдем,— заторопилась женщина,— мы еще не видели лошадок. Хочешь посмотреть лошадок?

Иногда набегали обвешанные аппаратами фотокорреспонденты. Они ставили Анисью между коров, заставляли обнимать Ладу за шею или же совать ей в нос пучок сена.

— Головку вот так...— Фотограф брал Анисью за подбородок и в ротил ее голову куда-то на сторону.— Не смотрите на меня. На корову смотрите, на корову... Вы ее кормите и ласково разговариваете... Очень хорошо... А где же улыбочка?

Анисья послушно поворачивала голову, подсовывала Ладе сено и старалась улыбнуться. Но губы, будто обмороженные, не подчинялись, и она еще больше немела лицом, а глаза заволакивались слезой от внутреннего напряжения, так что она уже не видела ни коровы, ни фотографа.

— Очень хорошо! А теперь запишем... Значит, Анисья Квасова... так... доярка...

— Ага, доярка...— облегченно выдыхала Анисья.

— Так... Ну и как вы добились такого успеха?

— Да как... Кормим, ходим...

— Передовой опыт, конечно, изучаете...

— Да есть брошюрки... У нашего учетчика.

— Значит, читаете,— подсказал корреспондент. Ему, видно, очень надо было, чтобы Анисья читала брошюрки, и он, не дожидаясь ответа, что-то записал в блокнот.

Анисья сконфуженно теребила Ладино ухо.

— Если хотите иметь фотокарточки лично,— сказал под конец фотографа,— могу завтра занести.

После дойки Анисья полоскала ведро, стирала цедильную марлечку, снова прибирала в стойле, посыпала мокрые места песком, всякий

раз боясь остаться без дела, потому что просто так торчать на людях под сотнями любопытных глаз было непривычно. А народ все валил и валил вдоль скотных рядов, и все непременно останавливались перед Анисьиной троицей.

— Петька, гляди, какая коровища.

— Ого!

— Дай ей покурить.

— Га-га-га!

— Мальчик, зачем же ты тычешь в корову папиросой? А еще, наверно, пионер.

Мальчишки шмыгнули в толпу.

— А вы знаете, Алла Павловна, я этим летом был в Нидерландах. И представляете — у них сплошь черно-рябые. Просто поразительно. Проехал всю Голландию — и одни черно-рябые.

— Эти тоже милые коровки. Смотрите, вымя какое. Особенно вот у этой. Не представляю, как она ходит с таким выменем.

— Голубушка, вы не скажете, почему они безрогие?

— Комолые, — поясняла Анисья.

— Как это?

— Без рогов которые.

— Первый раз вижу. Это что же, порода такая? Что-нибудь новое?

— Не знаю... — Анисья застеснялась своей неучености. — Так просто... Деревенская...

Она знала только одну породу — ту, что прошла с ней рядом через всю ее жизнь: таскала плуг по одичалому, забурьяненному в тяжкие годы войны полю, когда, кроме баб и коров, не осталось никакого другого тягла; волокла из леса к деревенскому пепелищу свежесрубленные кругляши, из которых вокруг уцелевших печей все те же бабы сами вязали венцы и забирали простенки; возила торф из болота и рожениц в больницу и с первой каплей телилась сама плоским, каким-то слежалым телком, с которым бледные, бескровные ребятишки играли с неделю, пока он учился вставать на нетвердые копытца, а затем играли уже в бабки из его костей.

Знала Анисья ту породу, что в бескормные зимы, встав на дыбки, обнажив тощий живот и усохшее, тряпичное вымя, скреблась по стене копытами, тянула лес и выщипывала обледенелую застреху коровника и не сдыхала, не имела права околевать только потому, что чуяла поблизости, за хлевом, возню детишек, для которых она из последних своих соков нацеживала кружку-другую синеватого молока. Ее заносили в черные списки беспородных, выродившихся, пригодных только на головки кирзовых сапог, но Анисья знала, что если эту ребрастую, зачуханную горемыку покормить хотя бы один год досыта, подстлать ей свежей просяночки да не пинать, а найти для нее пару-тройку добрых слов на каждый раз, то вскоре она позабудет все свои прежние невзгоды, быстро наберет тело, шкура ее заблестит, забархатится, а до того сморщенное вымя нальется, отяжелеет и резиново распрямятся соски. И будет она каждую зорю перед закатом, издавая протяжный трубный мык по лугам, спешить ко двору, обрызгивая нетерпеливым молоком дорожную пыль и собственные копыта.

Такой породы и была ее Лада.

Она досталась Анисье от Клавдюхи лет семь, а то и все восемь тому назад. Тогда Клавдюха еще только начинала доярить, а до той поры кипятила воду, мыла фляги, иногда подменяла кого-нибудь на дойке — принаравливалась к делу. Анисья помнила ее еще совсем пугалицей: худющей, безгрудой, в маломерковом надставленном платье

ишке, с мышинными хвостиками косиц, схваченных по концам марлевой тесемкой.

Когда Клавдюха начала доить самостоятельно, ей спихнули самую никчемную скотину: тугососых, бодливых, застарелых яловок. Но Клавдюха и этому была рада. Бывало, бежит с доярками в луга, старается не отстать от спорого бабьего шага, на руке песком начищенный подойник, а на дне его — кусок хлеба, чтоб коровы к ней привыкали.

Досталась Клавдюхе и эта самая Лада — тихая, замученная оводами безрогая животиная... Ладу безнаказанно бодали, из-под носа отнимали пучок травы, она ходила с пропоротыми боками, в ссадинах, старалась отделиться от стада и пастись одна, так что поневоле была самой блудливой коровой. За это пастухи ненавидели ее и лупили чем попадя.

А тут еще в те годы с кормами было худо. Ровные, открытые луга, а стало быть и самые тонкотравные и кормистые, запахивали под кукурузу. Скотина бродила по кустарниковым неудобьям, дожидаясь, пока вырастет кукуруза. И получалось, что в самый травный месяц май, когда к тому же план по молоку подвалил высокий, кормиться было нечем.

В это-то время ихний председатель Иван Тихонович и распорядился поддержать коров мучной болтушкой. Приказ был такой: за каждый надоенный литр — сто граммов муки. Дала корова десять литров — получай кило... Дала пятнадцать — получай полтора. Такая была заведена коровья сдельщина: кто не доится, тот не ест. Ну, а поскольку Лада давала не больше двух-трех кружек, ей ничего и не причиталось из председательской премиальной оплаты. Да и другим Клавдюхиным горемыкам за их нерадение тоже доставалось что ни на есть на самую понюшку.

Бегают с ведерком Клавдюха, а надоев никаких. Все, бывало, пишут ее фамилию на самом последнем месте. Иной раз подойдет Клавдюха к доске показателей, смотрит, а сама ногти грызет.

Заикнулась как-то Анисья Ивану Тихоновичу, чтобы Клавдюхиным коровам мучицы прибавили, а он: «Ты давай знай свое. У меня план трещит, а я тут буду с дармоедами нянчиться. Пусть она на таких учится. На заводе ученику тоже не сразу хороший станок дают». Такой суровый человек этот Иван Тихонович...

Тем же летом по троице случилась у Клавдюхи неприятность. Поймали ее за нехорошим делом. Стала подливать в молоко разведенный мел. И как она такое удумала? Дошло до Ивана Тихоновича. А он сразу: «Позвать сюда Клавку! Ты что ж, говорит, делаешь? Тебе колхоз доверие оказал, а ты пакостишь». Да еще судом пригрозил. Может, он и несерьезно это, судом-то, так только, пострашать, ну а Клавдюха еще пуще оробела да в тот же вечер как ушла из кабинета Ивана Тихоновича, так и не пришла больше домой. Ни справки, ни полсправки не взяла, как была в одной жакетке, так и пропала. С тех пор Клавдюха больше и не появлялась в деревне.

...Спросили у Анисьи невзначай про Ладину породу, а вся эта история и припомнилась ей. И долго она еще припоминала, откуда пошла ее Лада, а заодно и о многом другом передумала, и как-то выходило, что комолы не одни только коровы бывают, а и человек тоже, и всяк его может боднуть и отпугнуть от своего стада.

После Клавдюхи никто больше не хотел брать к себе Ладу. Иван Тихонович распорядился списать ее и свести в районную столовую. Пастух Сашка Севрюк побег ловить, накинул веревку на шею и, рогача и злорадствуя, надавал Ладе сапогами под бока. Уж больно на-

солила она ему своей блудливостью. Тут-то Анисья и отняла у него корову и забрала себе, в свою группу. Уж и походила она за ней, как за бездомной сиротой. Обмыла застарелые струпья, смазала чистым дегтем. Да еще оставалась после дойки в лугах, уводила с собой Ладу подальше, куда-нибудь в укромное, незатоптанное местечко между болотцами, где по влажным берегам росла угонистая разновсячина. Днем пасла ее особо от стада, а на ночь к себе домой пригоняла: то бурачка ей подкрошит, то пойлица соберет. Был у Анисьи припасен чувал отрубей, собиралась поросенка завести, да весь мешок на Ладу и извела.

А там и в колхозе с кормами посвободнело, чего-нибудь лишнего да подкинет Ладе. Ну и повеселела коровка, в один год выладнялась, откуда что взялось: и грязь к ней не стала липнуть, как раньше, когда взъерошенная ходила, да и шерсть как-то покорочела, а на лбу даже завиваться начала такими вензелями, какие и в парикмахерской не уложишь, да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблуках стала ходить. И пошли у нее каждую весну теленочки один другого лучше. И вот ведь что удивительно: ничто к ней не приставало, никакая примесь. Отец Зинки с Ромашкою — здоровенный дурила, темные полосы по бурым бокам и рога — в пору трехведерные чугунок из печи вынимать, тигра полосатая с рогами, да и только. Но Лада упорно ничего этого не принимала, и телятки росли безрогими и светленькими — тютелька в тютельку сама Лада. Даже Иван Тихонович удивлялся: что за чертовщина, ты, говорит, Аниска, слово какое хитрое знаешь... На выставку послал. А теперь вот фотографируют, породой интересуются. А порода все одна — руками выхоженная.

...Натоптавшись за день до застарелой простудной ломоты в ногах, Анисья иногда присаживалась на скамейку в укромном месте за коровами. За изгородью мельтешила разноголосая публика, гремели музыкой и песнями репродукторы, но Анисья, уже ничего не воспринимая, в первый же день пережив праздничное возбуждение, роняла красные суставистые руки, какие бывают только у доярок и прачек, себе в подол между коленок и забывалась в недвижимом покое, а то и просто задремывала. А иногда вдруг начинала томиться всей этой сутолокой и высчитывать, сколько ей еще сидеть тут. И принималась думать о доме. Видалась ей деревня: беленые хаты по косогору, будто кто расставил пыленные рафинадные кубики. За десять верст светит белым деревня, особенно теперь, по осени, когда воздух ясен и студен. Перед каждой хатой вниз, к синей притихшей речке, забрызганной палой ракитовой листвой, тянутся полоски огородов: одни еще в жухлой зелени — там, где не копали картошку, другие свежечерные, перерытые, и по ним белые крапины гусей. Витька с Галькою теперь тоже копают огород; Витька небось разделся, чертенок, до майки, пыхтит, шурует лопатой и все лается на Гальку, чтоб швыдче подбирала, потому что ему не хочется после копки еще ползать на карачках и помогать Гальке собирать картошку. Ну а та не спешит, разглядывает, как всегда, картофелины: то ей поросенок почудится, то баба с головой, с перехватом в поясе. Да и много ли накопают они вдвоем, без нее — дети ведь... А еще и перебрать надо, и посушить, и в подполье засыпать, да и яму на огороде почистить. Мужичкое это дело, а какой из Витьки мужик — двенадцатый годок: задачки пишет — книжки под себя подкладывает, чтобы повыше-то сидеть... Никак не хочет ходить в школу, пострел, с ремнем да с хныком, с самого начала нахватал двоек, учительница приходила выговаривать. Ну а теперь ему без матери и вовсе своя воля...

— Есть горячая кукуруза! За початок — пятачок! За пару — гри-и-венничек!

— Пап, посмотри, какая рогатая корова.

— Какая же это корова? Это бык.

— А что у него в носе? Пап, что?

— Гражданин Метелкин! Вас у главного входа ожидает жена. Повторяю...

...И коровы брошены. Этим-то ничего, Ладе да Зинке с Ромашкою, эти при ней, обхоженные, а ведь там еще девять хвостов осталось, окромя своей во дворе. Назначили Нюрку Хмызову доглядать, дак какая Нюрка хожалка: надсмотрит — надоит, за неделю коров не узнаешь от такого надсмотра, — ветер в голове. А еще небось ден пять сидеть, руки связавши... Ладно бы сбегать на ярманку, посмотреть Гальке с Витькою обувки да так чего, селедок да бубликов, а то все порасхватывают к закрытию, и уедешь ни с чем. Скажут, была в городе, а гостинцев не купила. Хорошо бы вдвоем сидеть: можно кому и отлучиться, по ларькам походить...

Буду петь да тебя целовать —
Научи на гармошке игра-а-ать!

— А вот я тебя побалую за уши... побалую...

— Кукуруза горячая! Кукуруза!

...Говорила председателю, Ивану-то Тихонычу, чтоб вдвоем с кем-нибудь с коровами ехать. Да нет: а что ты там будешь делать? Сено казенное, общий скотник будет раздавать, воду тоже не таскать, автопоилки по рядам устроены, сиди да посиживай... Не больно распустишься при людях-то... Поперву хоть сам Иван Тихоныч заглядывал, справлялся. Ты, говорит, книжку отзывов на видном месте держи. Пусть записывают. Любит он, чтоб записывали... А вчера и нынче что-то совсем не казал носу Тихоныч, должно, загулял с начальством, не идет, не спрашивает... И откуда только народ набирается: и валит, и валит. Пятый день выставки, а он все колготится. Шутка ли, каждому надо по булке да по куску мяса, сколько всего на каждый день. Люду, как муравьев, и каждому давай... А так все красиво устроено: павильоны, что тебе дворцы или театры, и флаги, и музыка. Отсюда, со скотного, глядеть — и то красиво. Вот бы Витьку-то моего с Галькою сюда, нагладелись бы, набегались. Чудес-то всяких...

* * *

— Ай задремала, девка? Кличу, кличу...

Перед Анисьей выросла грудастая фигура Доськи Матохиной, телятницы из ихнего района. Ее стойло находилось за быками, на том краю рядов.

Анисья встрепелулась, поднялась со скамейки.

— Чтой-то задумалась... Думки взяли... Дома-то все брошено...

— Нашла об чем горевать. Пошли лучше обедать.

Доська была без халата, в канареечном шелковом плаще, плотно обтягивавшем крепкую центнерную фигуру на коротких толстых ногах. Поверх плаща на могучей Доськиной груди лежала медаль «За трудовую доблесть». Доська человек бывалый и на выставку приехала с телятами уже по третьему разу.

— Давай собирайся.

— Дак ведь как же...

— Куда они к ляду денутся! Накормлены, привязаны.

Донька, шурша плащом, фасонисто прошлась по стойлу, похлопала Ладу по бокам. Она была в хорошем настроении.

— С тебя вообще-то должно причитаться. За таких коров, вот увидишь, швейную машинку отхватишь.

— Смеешься все.— Анисья развязала тесемки на рукавах халата.

— А я тебе говорю: отхватишь. Лучше твоих коров нынче никто не привез. Так что машинка обеспечена.

— Да за что машинка-то?

— Такса такая: за первое место швейную, за второе — часы, а у кого третье — тому отрез на платье. Не веришь, Марью нашу спроси, она уже четыре машинки отхватила. Каждый раз по «тулке».

— Чудно. Зачем ей столько? Одной хватит, а к ней еще чего б дали...

— Да разве упомнят там, кому что раньше дано? Я и то двое часов схлопотала. Одни продала, а эти — вот они: тикают, голубчики! Так что давай, девка, собирайся, в ресторан пойдем.

— Куда-а? — Анисья испугалась и перестала развязывать халат.

— Куда, куда... Закудахтала, смотри снесешься.

— Ой, да ну тебя с твоим рестораном! Выдумает тоже... Я уж тут перекусила...

— Знаем мы эти перекуски... На зеркальце, причесывайся, а я от народа загорожу.— Донька растопырила полы плаща на жарко-пламенной подкладке, занавешивая Анисью.— Хороший я себе макинтошик подцепила? На ярманке давали.

— Яркий дюже...

— Наплевать. Хоть теперь веселенькое поносить. Самые хорошие годочки в серых ватниках прошли... Глянь-ка, как городские одеваются: шляпа не шляпа, пальто не пальто. А мы что, хуже, что ли... Брехня, вот еще шпильки себе куплю. Фу-ты ну-ты...

— Чево тебе не носить, ты еще молодая...

— А ты так старая! — Донька усмехнулась, оглядывая Анисьин коротенький плюшевый жакет, из-под которого белел оборчатый передник.— Ты себе тоже плащ купи. Теперь такие уже не носят.

— Это еще от свадьбы.

— И передник сними. А то в ресторан не пустят.

— Ой, бес тебя поднес... Не пойду я никуда... Иди сама, если приспичило.

— Я шучу. Пустят. Сегодня наш праздник. Хочешь подкраситься? — Донька вынула из кармана пластмассовый патрончик с помадой и подбросила его на ладони.

— Что ты, что ты... — испугалась Анисья.

— Как хошь... А то давай, разрисую. Глядишь, какой влюбится. Бабий век — сорок лет, а в сорок пять — ягодка опять...

— Ой и брехло ты, Донька!

Анисья наспех прихорошилась, перевязала платок поладнее, пошоркала тряпкой резиновые сапоги и, попросив посмотреть за коровами соседа — старичка, дежурившего возле угрюмого бугая с кольцом в ноздрах, побежала вслед за Донькой.

Ветер рвал из рук мальчишек разноцветные шары на нитках, в глазах рябило от всплесков кумача, от яблок, капусты, колосьев и всяких лозунгов и диаграмм, радио играло какую-то хорошую музыку, и к Анисье снова вернулось праздничное настроение, перемешанное со щемяще-сладким испугом.

— Удумает же такое — в ресторан! — восхищалась Анисья Донькой.

* * *

Белый, ажурный, с широкими застекленными верандами на все стороны, с высоко бьющим рассыпчатым фонтаном перед входом, весь в гирляндах разноцветных лампочек и флажков выставочный ресторан гудел народом, как улей во время взятка.

Анисья, невесомая от робости, стесняясь взглянуть по сторонам и видя перед собой одну только канареечную Донькину спину, углублялась вслед за ней в дымный гул зала.

Они прошли к только что освободившемуся столику у края веранды с видом на примыкавший к выставке молодой саженный сосняк.

С непривычки робея даже перед ресторанными стульями, Анисья деликатно примостилась на краешке красного изогнутого сиденья и с преданностью и чуткой готовностью посматривала на Доньку, как будто вся ее, Анисьиная, жизнь теперь зависела от одной Доньки.

Зал гудел. Как на молотье, стучали вилки и тарелки, пушечно выстреливали пробки, пахло жареным луком и кофеем, то здесь, то там прокатывались взрывы смеха. Маячили раскрасневшиеся лица, которые Анисья видела будто сквозь запотелое стекло,— не лица, а какие-то жаркие пятна, постепенно таявшие в глубине зала, в дымном табачно-луковом тумане. За некоторыми столиками Анисья успела разглядеть женщин, тоже раскрасневшихся, большинство в пестрых цыганских платках, сдвинутых за спину или распушенных по плечам.

У многих на груди поблескивали медали.

В дальнем углу зала пела в сарафан наряженная певица. Песня долетала урывками, и Анисья видела только, как певица раскрывала рот, будто ей не хватало воздуха.

Анисье было непривычно видеть такое шумное, праздничное застолье, наблюдать сразу столько заслуженных людей, которые так вот просто ели, пили, говорили и смеялись. Будь это не в ресторане, а в простой избе, все это походило бы на веселую свадьбу. Свадебную праздничность всему пиршеству придавали своим бесшумным мельканием белолицые улыбающиеся официантки, все как одна в голубых кашемировых платьях и накрахмаленных фартучках. Анисья засматривалась, как они в этакой толчее сноровисто и легко, будто плавали меж столами, несли горы тарелок и бутылок на высоко поднятых подносах и при этом улыбались, будто всех знали, любили и были бесконечно рады такому наплыву гостей. Они были все хорошенькие, чем-то похожие в своих кружевных чепцах на подвенечных невест, и Анисье казалось, что не эти невесты должны разносить тарелки, а наоборот, их самих надо посадить в красный угол, подавать все в первую очередь и кричать: «Горько!»

Есть Анисье уже не хотелось, она вовсе забыла про еду и с пугливо-радостным любопытством смотрела в зал, будто с улицы подглядывала в свадебное окошко.

— Быр-быр... тыр-тыр,— сказала что-то Донька.

Анисья, ничего не поняв, растерянно улыбнулась и в знак согласия кивнула головой. Она была согласна со всем, что говорила или могла сказать Донька.

Донька засмеялась:

— Чего киваешь? Есть, говорю, что хочешь?

— А что ты, то и я.

— Ну вот слушай. Я буду читать, а ты замечай.

Донька разложила перед собой толстую клеенчатую папку и, заправляя пальцами за уши жиденькие завитые кучеряшки, принялась вычитывать названия еды.

— Салат «выставочный»... Осетрина заливная... Рыба под маринадом...— После каждого названия Доська поднимала глаза и вопросительно глядела на Анисью.— Да ты что пялишься по сторонам? Ты давай слушай... Вот отхватишь первое место... Еще и депутатом выберут... Наездишься, наглядишься...

— Да подь ты! Не кричи-то громко.

— Гляди-ка, а вон и ваш Иван Тихонович сидит.— Доська приставила палец к строчке в меню и указала глазами в зал.

И верно, в середине зала среди незнакомых лиц виднелась похожая на мучной куль туго обтянутая спина Ивана Тихоновича. Он разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, все время вздрагивала, набегая складкой на ворот пиджака. Стол перед ним был завален красными рачьими ошурками, в опорожненных бутылках шевелились и лопались глазастые пивные пузыри.

— А ты знаешь, с кем он сидит? — сказала Доська.

— Что-то не признаю.

— Да с Катькой! Дроновская ветеринарша.

— А и правда.

— Гляди, гляди, как он возле Катьки-то увивается, старый хрен... Значит, так... Рыба под маринадом... Чепуха, треска какая-нибудь... Салат из помидоров... Видали мы такие... Вот! Икра черная! Ух ты, елки зеленые!— Доська воткнула палец в буквы и посмотрела на Анисью.— Берем, а?

— Не знаю... Как ты...

— Берем! И шпроты попробуем... Гулять так гулять!

Доська предлагала все заковыристое: выбрала какой-то «суп пи-ти», да еще по ромштексу с луком и с яйцом, да по кофею с лимоном, и Анисья только кивала с удивлением:

— Обалдела девка! Куда сразу столько? Небось на великие деньги замахнулась.

Тем временем певица в сарафане, исполнив еще несколько песен, ушла под нестройные хлопки, и сразу же из-за своего столика привстал Иван Тихонович с обломком рака в руке. Лицо у Ивана Тихоновича просторное, нарощенное с боков и снизу, под подбородком, и все, что на нем было размещено — и круглые, глубоко запрятаные глазки, и вперед устремленный нос, и жесткий посевчик усов,— все это кучно располагалось на самой середине лица, в то время как вокруг еще оставалось много пустого, незанятого места. Иван Тихонович простер в зал руку, требуя к себе внимания. Напрягаясь лицом, побагровев, он низко и сипло запел, поводя перед собой раком, будто дирижерской палочкой:

Есть на Во-о-олге у-тес...

Анисья никогда не видела этого вечно насупленного, что-то сообщающего человека поющим, и теперь лицо его сделалось каким-то незнакомым. Он пел трудно, с мученическим выражением, оттягивая книзу углы рта,— будто не пел, а плакал,— и она сразу же запереваливала, проникаясь к Ивану Тихоновичу сочувствием: как бы не осекся.

Улыбаясь, покачивая головой с легким укором, мимо прошла бело-голубая официантка, неся большую вазу с фунтовыми антоновками. Иван Тихонович преградил ей путь, еще энергичнее замахал перед ней раком, приглашая петь вместе. Но та легонько отстранилась, и Иван Тихонович, сконфуженно оглядываясь, махнул рукой и опустил на стул.

Неслышно, как тень, к Анисьиному столику подошла официантка и принялась убирать на поднос грязную посуду. Анисья встрепенулась и хотела было помочь, но та притронулась к ее плечу и чистым полотенцем смахнула хлебные крошки со скатерти. Потом поправила солонку с перечницей, достала из фартучного кармашка чистые вилки и ложки и положила их попарно перед Анисьей и Донькой. И пока она все это делала, мелькая оголенными руками, Анисья испытывала стыдливую неловкость за свое праздное сидение. Она не привыкла, чтобы за ней вот так ухаживали, и, когда случалось бывать на деревенских празднествах, войдя в избу, первым делом принималась помогать хозяйке.

Переживая песню, официантка оперлась пальцами правой руки о край столешницы. На безымянном пальце туго врезался перстенок с голубым стеклышком.

«Чистая работа,— подумала Анисья.— Ногти крашеные». И украдкой снизу вверх посмотрела в лицо официантки. Посмотрела, не поверила своим глазам, еще раз взглянула и опешила: «Да неужто Клавдюха?»

— Так... Что желаете кушать? — вежливо спросила официантка совсем знакомым голосом, отчего Анисье стало даже неловко.

Донька начала перечислять еду, водя пальцем по строчкам в клеенчатой папке, а Анисья все вглядывалась и вглядывалась снизу вверх на спокойной стоявшую рядом официантку и все больше про себя изумлялась: «Господи, Клавдюха! Клавдюха и есть!»

— Что тут у вас на второе? — Донька запуталась в меню.

— Из вторых — лангетик, шашлычки по-карски... — с доброй услужливостью отозвалась Клавдюха. — Но лучше возьмите гуся с яблоками — это наше фирменное блюдо.

— Давай гуся, — кивнула Донька.

— Пить что желаете? Крюшон, апельсиновый напиток, соки натуральные, кофе черное с лимоном.

И опять Анисье было странно слышать, как Клавдюха свободно выговаривала заковыристые слова. Хотелось заговорить с ней по-родственному, но что-то мешало, да и сама Клавдюха то ли не узнавала, то ли делала вид, что не узнает Анисью.

Записав заказ себе в блокнотик, Клавдюха забрала грязную посуду и пошла. Анисья посмотрела ей вслед. Шла она легко, часто постукивая тонкими каблучками белых туфель. И опять не верилось, что это та самая Клавдюха, тетки Клепихи дочка.

— Нашенская, — нагнувшись к Доньке, вполголоса сказала Анисья. — Из одной деревни мы... Вместе на ферме работали.

Донька обернулась и проводила Клавдюху долгим пытливым взглядом.

— Скажи пожалуйста... Отойди-подвинься... Что ж не признала тебя-то?

— Может, не разглядела, — с сомнением сказала Анисья. — Столько лет прошло.

— Заелась небось... — возразила Донька.

Анисья посмотрела на кухонную дверь, за которой скрылась Клавдюха, и сказала:

— Неловко как-то получилось...

— Что неловко?

— Да как же... Мы тут сидим, а она прислуживать нам будет... Вроде как барыням. Кабы не наша была...

— Вот пусть и прислуживает, — фыркнула Донька. — За красивой жизнью погналась.

— Грех вышел у нее. Она и ушла со стыда.

— В подоле притащила?

— Да нет... Молоко мелом разбавила.

— То-то, гляжу, глаза непутевые.

— Судить хотели... А была такая старательная да понятливая. Еще девчоночкой на ферму прибилась. Дома у них было — не приведи господь: раку не за что ухватиться. Все, бывало, на ферме в поддувале скотскую картошку пекла... Я ей и насоветовала в доярки протиться... А оно вон как получилось-то...

— Она и тут небось разбавляет...

— Тише ты, вон она идет,— прошептала Анисья.

Приподняв над кружевным чепцом поднос с тарелками, Клавдюха снова пробиралась между столиками. Анисья выжидательно всматривалась. И уже подойдя к столу, Клавдюха встретила с Анисьиними глазами, будто напоролась на острое.

Анисья, сама не понимая для чего, приподнялась со стула.

Они молча смотрели друг на друга, и обе покраснелись от неожиданности встречи.

На располневшем Клавдюхином лице малиновел напомаженный рот. Ресницы ее были незнакомо черны, от уголков глаз тянулись к вискам полосы, намалеванные чем-то зеленым, а над белым чепцом торчала копна резко-желтых, тоже не Клавдюхиных волос. Все на ее лице было неприятно-чужое, и только глаза, голубенькие кругляшки с удивленно расширенными зрачками, оставались прежними, Клавдюхиными.

— Стало быть, тут ты...— Анисья перевела взгляд на Клавдюхины белые туфли.

— Да вот, видите...— Клавдюха совсем сконфузилась, и глаза ее беспокойно и виновато забегали.

— А я гляжу — ты ли, нет ли... И ты, и не ты...

Клавдюха опустила поднос и, все так же пылая лицом, переживая неловкую внезапность встречи, старательно и как-то даже торжественно расставила на столе посуду с закусками.

— Так, так...— твердила Анисья, не зная что еще сказать.

— Да вы кушайте, кушайте,— услужливо говорила Клавдюха, поправляя перед Донькой и Анисьей тарелки.

Донька, поджав губы, откровенно и неприязненно разглядывала официантку.

— Принеси-ка нам шампанского,— потребовала она.

— А и правда, выпейте,— оживилась Клавдюха.— Праздник ведь! Сейчас сбегая...

Она проворно побежала за вином.

— А что? — Донька подпушила свои кучеряшки.— Пусть посмотрит. А то небось думает, кофею ее обрадовались.

— Дак, поди, дорого будет-то?

— Наплевать. Я плачу. Еще сейчас и по полкило мороженого закажу.

Запотелая бутылка с посеребренным горлом шарахнула пробкой из Клавдюхиных рук, ясно-золотистое вино закипело в фужерах. Сидевший за соседним столиком грузный, наголо обритый мужчина скрипуче повернулся на бутылочный хлопок.

— Дают колхознички жару! Какого района будете?

— До нас сто верст шляхом, а там то рысцой, то шагом.— Донька выпила фужер шампанского одним дыхом, как самогонку.

Мужчина захохотал так, что на пиджаке зазвякали медали.

— Давай перебирайтесь сюда, в мой колхоз,— сказал он, отодвигая на столе тарелки.

— Мы сами казаки с усами, только сабли не пристегнуты.

— Ай да девки!

Анисья тоже глотнула. Шампанское зашипало в носу, слезой ударило в глаза. Она поддела вилкой смуглую шпротину в зеленом крошеве лука.

— Может, выпьешь с нами? — сказала она Клавдюхе.

— Глоточек за встречу выпью, — согласилась Клавдюха и подтянула к столу незанятый стул. — Я на одну секундочку только. Там ведь еще четыре моих столика.

Опять вышла певица, на этот раз в блестящем черном платье и черных до локтей перчатках. Позади нее выстроились три музыканта, одетые в одинаковые белые пиджаки, с черными бантами под шейей. Замурлыкал аккордеон, и один из музыкантов принялся постукивать чем-то, похожим на детскую погремушку с горохом.

Клавдюха убежала на кухню за обедом. Донька снова разлила шампанское.

— Мне бы хватит... Доить еще... — запротивилась Анисья.

— Ладно тебе... Держи свою марку.

Анисья отхлебнула три жарких ложки супа и распустила под шейей концы полшалка. Донька налила себе еще вина и выпила дочиста... Глаза ее блестели.

В глубине веранды пели что-то быстрое, веселенькое:

А парни все разборчивы,
Придирчивы ужасно.
И остаются у стены
Пришедшие напрасно...

Певица, пощелкивая черными перчаточными пальцами, подходила то к одному, то к другому музыканту, и все, улыбаясь ей, кивали одинаковыми черными головами с одинаковыми приборами.

Стоят девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребя,
Потому что на десять девчонок,
По статистике девять ребят.

— Веселая у тебя работенка, — не то позавидовав, не то подковырнув, сказала быстро захмелевшая Донька. — С музыкой.

— Ой не говори! — Клавдюха закрыла уши ладонями. — Так за вечер наслушаешься! Придешь домой, а в ушах все музыка гремит. Мы тут временно, пока выставка, а в будни я в городском ресторане работаю. Так там до самой ночи.

— Музыку стерпеть можно, — сказала Донька, разглядывая то Клавдюхин чепчик, то зеленую подкраску на глазах. — Я б всю жизнь под музыку телят выхаживала...

Клавдюха промолчала и, опустив ресницы, принялась катать на столе хлебный мякиш.

— Пойду за столик получу, — сказала она, вставая.

— Вон ведь как... — вздохнула Анисья.

Она задумалась, подперев кулаками щеки.

— Гляди-ка! Иван-то твой Тихоныч, — кивнула Донька.

Иван Тихонович и Катька сошли с веранды и, обогнув ту ее сторону, где у края сидели Анисья и Донька, побрели прочь от ресторана. Иван Тихонович, нетвердо ступая, держал Катьку под локоть и все говорил ей что-то на ухо, зарываясь усами в ее волосы.

— Ай, комедия! — Донька щурилась на них, горя кошачьими глазами. — Пошли малину собирать: Кино прямо!

Вскоре сосед переманил Доську за свой стол. Она забрала гуся с яблоками и пересела. Сосед оживился, вызвал Клавдюху, заказал коньяку и плитку шоколада.

— И еще что-нибудь этакое...— Он побренчал в воздухе пятерней.— Фруктов, фруктов...

Доська хмельно хохотала и делала из-за спины соседа знаки Анисье: дескать, почему бы не погулять.

Анисья качала головой и стыдливо отворачивалась: ох уж и баламутка...

Клавдюха прибрала им стол и принесла заказанное угощение: графинчик с коньяком, шоколадку и большой полосатый арбуз.

Придерживая рукой вершок, Клавдюха ловко расхватила арбуз вдоль полосок так, что он при этом не развалился, а только пустил розоватые слезки по надрезам. Но когда она убрала руку, арбуз мгновенно раскрылся алым цветком на черном подносе.

Анисья невольно подивилась Клавдюхиной ловкости. «Тоже, видать, проворность нужна»,— подумала она.

Разрезав арбуз, Клавдюха опять под села к Анисьиному столику.

— Значит, на выставку...

— Да вот все с коровами. Трех привезли.

— Не бросаете...

— Да уж куда теперь бросать. Теперь уж до пенсии.

— Да-а...

Разговор не вязался. Но Клавдюха не уходила и в раздумье переставляла на столе пустой фужер.

— Мама-то твоя померла,— сказала Анисья.

— Знаю.— Клавдюха потупилась.

— Похоронили мы ее... У прудовой стезжки положили.

Клавдюха прикрыла глаза рукой, губы нервно задвигались под ладонью.

— Ну будя, будя,— тоже расстроилась Анисья.— Ничего все, ничего, обошлось... Вот, гляжу, обута-одета. Тут столуешься али как?

Клавдюха, не отрывая руки, кивнула.

— И то ладно. Копейка лишняя задержится.

— Все у меня есть, тетя Анисья,— всхлипнула Клавдюха.— И тряпки, и сыта...

— Ну будя, будя...

В зале застучали вилкой по графину.

Клавдюха вздрогнула, быстро достала платочек, вытерлась и побежала на зов.

Анисья видела, как она раза два проходила между столиков, шла, как и прежде, легко, приветливо прося посторониться, улыбаясь, и в своем казенном бело-голубом наряде снова походила на счастливую невесту.

* * *

Из ресторана Анисья выходила одна: Доська осталась досиживать с тем самым бритым соседом.

«Баловство все это»,— с осуждением думала Анисья о себе, вспоминая, как Доська выложила за обед красненькую.

Клавдюха не хотела было брать с них денег, говорила, что, мол, все это пустяки, не стоит беспокоиться, но Доська и слушать не пожелала. Она сунула десятку в карман передника Клавдюхи и отвернулась с недоступным видом.

После ресторанной дымной сутолоки на площади было свежо и просто. Анисья невольно задержалась на ступеньках. Перед ней из фон-

тана бил толстый жгут воды. Водяная пыль от фонтана долетала до самого крыльца и приятно холодила разгоряченное Анисьино лицо. Радио играло «Амурские волны», и было радостно и в то же время почему-то грустно слушать эту красивую музыку.

— Чтой-то я загуляла нынче,— вздохнула она и сошла со ступенек.

И вспомнив про своих коров, она торопливо пошла вдоль павильонов. Витрины и стеллажи ломились от всякой всячины, но она нигде больше не задерживалась и, поглядывая на низкое солнце, думала о том, что скоро опять начнут раздавать казенные корма и ей надо успеть к раздаче, чтобы коровам положили сена как следует.

После праздного сидения в ресторане мысли о предстоящем деле — раздаче кормов и вечерней дойке — доставляли ей даже тихое удовлетворение.

— Баловство все это,— повторяла она, шагая и с упреком думая о выпитом шампанском.— Целую пенсию просидели...

Лада еще издали заметила Анисью и нетерпеливо и обрадованно взмывала.

— Иду, иду,— отозвалась Анисья, затворяя за собой калитку загон и на ходу снимая со стены халат.

Солнце опустилось за павильоны. Быстро за вечерело. Включили лампочки. Народ еще потолокся немного и стал постепенно расходиться. Репродукторы объявили о закрытии выставки и смолкли. В наступившей тишине стало слышно, как на другом конце скотных рядов скрипела телега и сердито тпрукал на лошадей скотник: начал развозить вечернее сено.

Получив свою порцию и засыпав сено в подвесные кормушки, Анисья немножко посидела на своей скамейке. Она сидела и прислушивалась к тому, как где-то за выставкой, за темной стеной саженных сосен все еще бурливо и неугомонно шумел город: выстукивали колесами трамваи, что-то пытело и шипело паром и еще что-то непрерывно и пчелино гудело — то ли от перепутанных проводов, то ли от скопления народа.

Посидев так еще минутку, Анисья устало приподнялась и не спеша принялась готовиться к дойке.

Она опростала сперва Ладу, потом Зинку и уже заканчивала доить Ромашку, как вдруг почувствовала за своей спиной чье-то присутствие. Анисья обернулась.

Опершись о калитку, плохо различимая в тени навеса, стояла женщина, видимо, уже давно наблюдавшая за ее работой. Анисья подумала, что это возвратилась из ресторана подгулявшая Дonya, но женщина негромко отозвалась, и Анисья узнала Клавдюхин голос.

— Дайте, тетя Анисья? — спросила она с робкой уважительностью.

— Да шабашу уж...

— А я с работы. Думаю, дай забегу...

Она просунула сквозь решетку руку и поворошила в кормушке сено.

— Да ты заходи,— сказала Анисья.— Я сейчас...

Клавдюха несмело вошла в калитку. На ней было легкое голубое пальто и тонкая паутинно-прозрачная косынка поверх высоко взбитых волос.

— Хорошо тут у вас,— вздохнула Клавдюха и теплым взглядом окинула нехитрое Анисьино хозяйство: ведра на гвоздях, вилы, стираную марлечку на веревке у задней стены.— Сено хорошо как пахнет...

Она остановилась позади Анисьи и задумчиво глядела на ее быстро мелькавшие под брюхом коровы жилистые руки. Колкие струйки глухо зарывались в нежную пену переполненного псдойника.

— А кто ж еще из наших? — помолчав, спросила Клавдюха.

— На выставке-то? Да кто... Иван Тихонич...

— Видела я его. Каждый день на веранде сидит.
— Признал-то хоть?
— Узнал! Все предлагал выпить на мировую. Дескать, строго тогда было...

Анисья промолчала.

— А я не только выпить, а и посмотреть на него не могу,— тоже помолчав, сказала Клавдюха.— Столько потом натерпелась. И в копне ночевала... И на вокзале жила... Как тогда из дому ушла... И в няньках была, тарные ящики сколачивала, асфальт заливала, пока ногу смолой не ошпарила... А сколько углов по чужим домам да по баракам пересчитала. Верите?

— Да уж известное дело — не дома,— сказала Анисья.

— Бывало, уткнусь в подушку и реву. Даже матери не писала, чтоб не знали, где я и что... И вас, тетя Анисья, поди, тоже ругали за меня. Наверно, сердитесь на меня.

— Ну да что ж теперь толковать...— Анисья поднялась со скамейки и принялась процеживать молоко во флягу.

Делала она с той спокойной и уверенной сноровкой, с какой Клавдюха в прошлый раз разрежала арбуз. И Клавдюха в свою очередь тоже загляделась на Анисью. От широкой струи, округло сбегавшей из подойника во флягу, тонко запахло парной молочной свежестью.

— А коровки у вас хорошие,— уважительно сказала Клавдюха.

— Да это же Лада твоя. Помнишь Ладу-то?

— Да неужто?

— Она, Клава, она.

— Ой, да какая ж она стала. Да какая же...

Клавдюха робко прошла между коров к кормушке.

— Неужели Лада? Тетя Анисья?

— А это вот дочки ее,— сказала Анисья.— Правда, похожи? Ромашка и Зинка.

— Ой, да надо же! — не переставала удивляться Клавдюха, то поглядывая на коров, то на Анисью.— Лада! Лада! — позвала она, дотрагиваясь до кучеряшек на лбу коровы.

Лада долго обнюхивала Клавдюхину руку, тычась влажной розовой губой в ладонь, потом шумно выдохнула воздух и, отвернувшись, принялась поддавать мордой сено в кормушке, отыскивая какие-то одной ей известные лакомые былинки.

— Не узнала,— растерянно сказала Клавдюха.— Разве всех упомянешь... А я ни капельки себе тогда не брала. Ну вот ни полстолечка... Верите? А Иван Тихоныч как окрысился... А я ведь как думала... Думала, замеряют у меня молока побольше и муки набавят. Всем коровам дают, а моим не дают. А мне самой — зачем? Сколько лет прошло, а все обидно...

— Не то важно, Клава, что про тебя говорят,— сказала примирительно Анисья.— А то, что про себя знаешь. Душа святая — свят и день...

Они долго еще сидели в загоне на Анисьиной доильной скамье. Коровы неторопливо, монотонно пережевывали жвачку. Возле фонаря перед стойлом кружились поздние осенние бабочки. Было тихо, и они, подчиняясь этой тишине, тоже разговаривали вполголоса, почти перешептывались.

— А кто ж еще из наших?

— Да кто... Варька Зобова.

— Какая Варька?

— Да что с выселок.

— А... Я ж с ней вместе училась. В пятый ходили. Скажи ты! Тоже тут, значит...

- Ага, тут... С капустою.
- Хоть бы посмотреть на нее.
- Зайди, повидайся.
- Не узнать, поди... Сколько лет прошло.
- Уже двое детей у нее. За Пашкой Калабухом замужем.
- За Калабухом?
- А что... Какой стал парень! Действительную отслужил. Теперь в колхозе по моторам. Дом построили, все под масло. Хорошо живут... А еще Ванек Стукалин тут. У того просо хорошо уродило. Да агроном с ним, ты его не знаешь, новенький он у нас... Приезжай летом, погостюй.
- Говорят, получшало теперь.
- Да подладилось... И равнять с прежним нечего...
- У нас небось теперь паутина летит по лугам, картошку копают... Высоко на белых шестах дремали уставшие за день, наплескавшиеся флаги. Пересвистывались сторожа...
- Прошел пятый день осенней выставки.



С. ЛИПКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

СВИРЕЛЬ ПАСТУХА

В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины
Гнездовья допотопных птиц,
Есть электронные машины
И ускорители частиц.

А ниже, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,
Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.

Причастные законам квантов
И с новым связанные днем,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнем?

Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем,
Как много тысяч лет назад.

ЛЮБОВЬ

Нас делает гончар; подобны мы сосуду..

Кабир.

Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчал:

Был дик и тускл его звериный трепет.
И ярость охватила гончара:
Ужели и сегодня, как вчера,
Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство
Чело и шея, руки, ноги, груди,
Но сущности не видел он в сосуде,
А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной
Свое отчаянье в ее уста,
Как бы страшась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоюдною.

Тогда наполнил глину странный свет.
Но чем он был? Сиянием страданья?
Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,
Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,
И он упал с заплаканным лицом.
Не он — она была его творцом,
И душу он обрел, — ее творенье.

У МАГАЗИНА

Квартал на дальнем западе столицы,
Где с деревенским щебетаньем птицы
На вывеску садятся торопливо,
Заметив, что вернулись продавщицы
С обеденного перерыва.

В тени, у обувного магазина, —
Свиданье: грустный пожилой мужчина
С букетиками ландышей в газете
И та, кто виновато и невинно
Сияет в летнем, жгучем свете.

О робость красоты сорокалетней,
Тяжелый, жаркий блеск лазури летней,
И вечный торг, и скудные обнови,
О торжество над бытом и над сплетней
Прасущества, первоосновы!

ПРОИСШЕСТВИЕ

От переводческой поделки
Глаза случайно оторвав,
Я встретился с глазами белки,
От зноя смуглой, как зуав.

Зачем же бронзовое тельце
Затрепетало, устрашась?
Ужель она во мне, в умельце,
Врага увидела сейчас?

Вот прыгнула, легко и ловко
Воздушный воздвигая мост.
Исчезли узкая головка
И шегольской, но бедный хвост.

Я ждал ее — и я дождался,
Мы с нею свиделись опять.
В ней некий трепет утверждался,
Мешал ей жить, мешал дышать,

Как бы хотел отнять способность
Взвиваться со ствола на ствол,
И эту горькую подробность
В зрачках застывших я прочел.

Два дня со мной играла в прятки,
А утром, мимо проходя,
Сосед ее увидел в кадке,
Наполненной водой дождя.

Так умереть, так неумело
Таить и обнажить следы...
И только шкурка покраснела
От ржавой дождевой воды.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

ДОМ ТУРБИНЫХ

«...Буль-буль-буль, бутылочка
казенного вина!!
Бескозырки тонные,
сапоги фасонные,—
то юнкера-гвардейцы идут...»

И в это время гаснет электричество. Николка и его гитара умолкают. «Черт знает что такое,— говорит Алексей,— каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи». И входит Елена со свечой, и где-то очень далеко раздается пушечный выстрел. «Как близко,— говорит Николка.— Впечатление такое, будто бы под Святошином стреляют...»

Николке Турбину семнадцать с половиною. Мне тоже семнадцать с половиною. Правда, у него на плечах унтер-офицерские погоны и трехцветные шевроны на рукавах, а я просто-напросто учусь в советской железнодорожной профшколе, но все же обоим нам по семнадцать с половиною. И говорит он о Святошине, нашем киевском Святошине, и свет у нас тоже так вот гас, и так же доносилась откуда-то канонада...

Бухало, целыми днями бухало. И где-то стреляли. И по ночам зачем-то били в рельс. Кто-то приходил, кто-то уходил. Потом, когда становилось тихо, нас водили в Николаевский парк перед университетом, и там было всегда полно солдат. Сейчас почему-то их совсем нет, парк стал пенсионерски-доминошным, а тогда на всех скамейках сидели солдаты. Разные — немцы, петлюровцы, в двадцатом году поляки в светло-городовых английских шинелях. Мы бегали от скамейки к скамейке и спрашивали у немцев: «Вифиль ист ди ур?» И солдаты смеялись, показывали нам часы, давали конфетки, сажали на колени. Очень они нам нравились. А вот белогвардейцы, или, как их тогда называли, «добровольцы», нет. Два истукана-часовых стояли на ступеньках у входа в особняк Терещенко, где расположился штаб генерала Драгомирова, и мы бросали в них камешками, а они хоть бы что, дураки, стояли, как пни...

Каждый раз вспоминаю я их, этих истуканов, проходя мимо дома на углу Кузнечной и Караваевской, где обосновался после генеральского штаба прозаический Рентгеновский институт...

...Электричество зажигается. Гасят свечи. (У нас тоже зажигалось, но гасили не свечи, а коптилки: где Турбины доставали свечи — ума не приложу, они были на вес золота.) Тальберга все еще нет. Елена беспокоится. Звонок. Появляется замерзший Мышлаевский. «Осторожно вешай, Никол. В кармане бутылка водки. Не разбей...»

Сколько раз я видел «Дни Турбиных»? Три, четыре, может, даже и пять. Я рос, а Николке все оставалось семнадцать. Сидя, поджав колени,

на ступенях мхатовского балкона первого яруса, я по-прежнему чувствовал себя его ровесником. А Алексей Турбин всегда оставался для меня «взрослым», намного старшим меня, хотя, когда я в последний раз, перед войной, смотрел «Турбиных», мы были ровесниками уже с Алексеем.

Режиссер Сахновский писал где-то, что для нового поколения Художественного театра «Турбины» стали новой «Чайкой». Думаю, что это действительно так. Но это для артистов, для МХАТа, — для меня же, сначала мальчишки-профшкольника, потом постепенно взрослеющего студента, «Турбины» были не просто спектаклем, а чем-то гораздо большим. Даже когда я стал уже актером, интересующимся чисто профессиональной стороной дела, даже тогда «Турбины» были для меня не театром, не пьесой, пусть даже очень талантливой и привлекательно-загадочной своим одиночеством на сцене, а осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, но всегда очень близким.

Почему? Ведь в жизни своей я не знал ни одного белогвардейца (впервые столкнулся с ними в Праге в 1945 году), семья моя отнюдь их не жаловала (в квартире нашей перебивали жильцами-реквизиторами и немцы, и французы, и два очень полюбившихся мне красноармейца, пахнувших махоркой и портянками, но ни одного белого), да и вообще родители мои были из «левых», друживших за границей с эмигрантами — Плехановым, Луначарским, Ногиным... Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то «турбинское», очевидно, было. Мне трудно объяснить даже что. В нашей семье я был единственным мужчиной (мама, бабушка, тетка и я — семилетний), и никаких гитар у нас не было, и вино не лилось рекой, даже ручейком, и общего с Турбинами у нас как будто ничего не было, если не считать соседа осетина Алибека, который появлялся иногда у нас в гостиную весь в кавказских газырях (Шервинский?!) и, когда я малость подрос, все спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих школьных товарищей его кинжал — он любил пропустить рюмочку. А вот что-то общее все же было. Дух? Прошрое? Может быть, вещи?

«...Мебель старого красного бархата... потертые ковры... бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанскою дочкою, золоченые чашки, портреты, портьеры...»

Одним словом, Турбины вошли в мою жизнь. Вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой, МХАТом, потом и романом, «Белой гвардией». Написан он был раньше пьесы — за год, за два, но попал мне в руки где-то в начале тридцатых годов. И укрепил дружбу. Обрадовал «воскрешением» Алексея, «убитого» Булгаковым, правда, после, но для меня до романа. Расширил круг действия. Ввел новых лиц. Полковника Малышева, отважного Най-Турса, таинственную Юлию, домовладельца Василису с костлявой и ревнивой Вандой — женой его. На сцене МХАТа была уютная, обжитая, такая же симпатичная, как и населяющие ее люди, квартира с умилявшими до слез Лариосика кремowymi занавесками, в романе же ожил весь «город прекрасный, город счастливый, мать городов русских», занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный «год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй».

Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев — разве что Куприн, да и то очень уж довоенный. А тут все близко, рядом — знакомые улицы, перекрестки, Святой Владимир на Владимирской горке с сияющими белым крестом в руках (увы, этого сияния я уже не помню), который был «виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводах и изги-

бах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням».

Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда «география» самого произведения. Важно знать, где жили — точно! — Раскольников, процентщица. Где жили герои вересаевского «В тупике», где в Коктебеле был их белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями. Я был сперва разочарован (уж очень привык к этой мысли), а потом обрадован, узнав, что Ростовы никогда не жили на Поварской именно в том доме, где сейчас Союз писателей (тут жила Наташа, а теперь отдел кадров или бухгалтерия...). Причем важно было, где жили и действовали герои, не автор, а именно герои. Они всегда (сейчас, может быть, в меньшей степени) были важнее придумавшего их автора. Впрочем, Растинька и до сих пор для меня «живее» Бальзака, как и д'Артаньян — старика Дюма.

А Турбины? Где они жили? До этого года (точнее, до апреля этого года, когда я вторично через тридцать лет прочел «Белую гвардию») я помнил только, что жили они на Алексеевском спуске. В Киеве такой улицы нет, есть Андреевский спуск. По каким-то ведомым только одному Булгакову причинам он, автор, сохранив действительные названия всех киевских улиц (Крещатик, Владимирская, Царский сад, Владимирская горка), две из них, наиболее тесно «привязанных» к самим Турбинам, — переименовал. Андреевский спуск на Алексеевский, а Мало-Подвальную (там, где Юлия спасает раненого Алексея) на Мало-Провальную. Зачем это сделано — остается тайной, но так или иначе нетрудно было догадаться, что жили Турбины на Андреевском спуске. Помнил я и то, что жили они в двухэтажном доме под горой, на втором этаже, а на первом жил домовладелец Василиса. Вот и все, что я помнил.

Андреевский спуск — одна из самых «киевских» улиц города. Очень крутая, выложенная булыжником (где его сейчас найдешь?), извиваясь в виде громадного «S», она ведет из Старого города в нижнюю его часть — Подол. Вверху Андреевская церковь — Растрелли, XVIII век, — внизу Контрактовая площадь (когда-то там по веснам проводилась ярмарка — контракты, — я еще помню моченые яблоки, вафли, масса народу). Вся улица — маленькие, уютные домики. И только два или три больших. Один из них я хорошо знаю с детства. Он назывался у нас Замок Ричарда Львиное Сердце. Из желтого киевского кирпича, семиэтажный, «под готику», с угловой остроконечной башней. Он виден издалека и со многих мест. Если войти в низкую, давящую дворовую арку (в Киеве это называется «подворотня»), попадаешь в тесный каменный двор, от которого у нас, детей, захватывало дух. Средневековье... Как-то арки, своды, подпорные стены, каменные лестницы в толще стены, висячие железные, какие-то ходы, переходы, громадные балконы, зубцы на стенах... Не хватало только стражи, поставившей в угол свои алебарды и дующейся где-нибудь на бочке в кости. Но это еще не все. Если подняться по каменной, с амбразурами лестнице наверх, попадаешь на горку, восхитительную горку, заросшую буйной дерезой, горку, с которой открывается такой вид на Подол, на Днепр и Заднепровье, что впервые попавших сюда никак уж не прогонишь. А внизу, под крутой этой горкой, десятки прилепившихся к ней домиков, дворики с сарайчиками, голубятнями, развешанным бельем. Я не знаю, о чем думают киевские художники, — на их месте я с этой горки не слезал бы...

Вот такой вот есть Андреевский спуск. Есть и был. На нем ни одного нового дома. Таким — с крупной булыгой, с зарослями дерезы на откосах, с двумя-тремя неизвестно как и для чего посаженными немисливо кривыми, валившимися прямо на улицу американскими кленами, с маленькими своими домиками, — таким он был десять, двадцать, тридцать

лет тому назад, таким он был и в зиму 1918 года, когда «Город жил странно, неестественною жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии...».

Где же на этом самом Андреевском спуске жили Турбины? Не знаю точно почему, но я убедил себя, а потом стал убеждать и друзей, которых водил на ту самую горку, что жили они в маленьком домике, прилепившемся к Замку Ричарда. У него веранда, симпатичная калитка в глухом заборе, садик, перед входом один из этих кривулек-кленов. Ну, конечно же, они могли жить только тут. И жили. «Я вам это точно говорю...»

Но оказалось, что я жестоко ошибался.

И вот тут-то начинается самое интересное. До сих пор была, так сказать, присказка, сейчас же я приступаю к сказке.

Настал 1965 год.

Стоит ли говорить о том счастье, которое пережили все мы, прочитав впервые появившиеся в печати «Театральный роман», а год спустя «Мастера и Маргариту». Через двадцать пять лет после смерти писателя мы познакомились с неведомыми нам до сих пор страницами булгаковской прозы. И были поражены. Обрадованы и поражены, о чем тут говорить. Но еще более обрадовала и поразила (меня во всяком случае) вторичная встреча с «Белой гвардией». Ничто, оказывается, не померкло, ничто не устарело. Как будто и не было этих сорока лет. Я с трудом заставлял себя отрываться от романа и делал это насильно, чтоб продлить удовольствие. На наших глазах произошло некое чудо, в литературе случающееся очень редко и далеко не со всеми,— произошло второе рождение.

Кстати, с «Днями Турбиных» до сих пор этого не произошло. Последняя постановка пьесы в театре Станиславского особой радости никому не доставила. Может быть, потому, что после Хмелева, Добронравова, Кудрявцева (подумать только, никого из них уже нет в живых!), после молодого, тоненького Яншина — Лариосика, после Тарасовой и Еланской создать что-нибудь новое и яркое очень трудно. А может, и потому, что не все произведения искусства можно копировать, а родить новый оригинал не так-то просто. Я с тревогой (надеждой, но больше с тревогой) жду новой постановки во МХАТе. Ходить или не ходить? Не знаю. Боюсь... Всего боюсь: юношеских воспоминаний, сравнений, параллелей... Да, боюсь я за «Турбиных», боюсь за пьесу...

А вот роман обезоружил. Живой, живой, совсем живой... Ни одной морщинки, ни одного седого волоса. Выжил, пережил и победил!

Но я отвлекся. Вернемся к географии. Где же жили Турбины?

Оказывается, автор не делает из этого никакого секрета. Буквально на второй странице романа указан точный адрес: Алексеевский (читай Андреевский) спуск, № 13.

«Много лет до смерти (матери), в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку». Ясно и точно. Как же я этого не запомнил? Не запомнил, и все...

Итак, Андреевский спуск, № 13...

Самое забавное — оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева (в свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности), и точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектно. Андреевская церковь, Замок Ричарда, горка, сады,

вдали Днепр, а внизу — крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, и с этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой — я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотоми.

Я, конечно, побывал в нем, в этом домике. Даже дважды. Первый раз мимолетом, несколько минут, в основном чтоб уточнить, действительно ли это он или нет, второй раз подольше.

В романе дан совершенно точный его портрет. «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе — и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями... Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна».

Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы (Вас. Лис.) — Василия Ивановича Лисовича — на улицу первый этаж, во двор — подвал. Вот только сад исчез — одни сарайчики.

Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины. Или Булгаковы.

Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь, а почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков — знаменитый русский писатель, и что все, связанное с ним...

На лице дамы выразилось еще большее изумление.

— Как? Мишка Булгаков — знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог — знаменитый русский писатель?

Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем (это она знала), а то, что стал знаменитым...

Но выяснилось это уже после второго визита. На этот раз нас пришло только двое и времени у нас было сколько угодно.

На наш звонок из глубины квартиры раздался молодой женский голос:

— Мама, какие-то дядьки...

Мама — та самая немолодая дама-блондинка — вышла и после крохотной вспоминающе-оценивающей паузы — меня, по-моему, она сначала не узнала — любезно сказала:

— Пожалуйста, заходите. Вот сюда, в гостиную. У них это была гостиная. А это — столовая. Пришлось перегородить, как видите...

Бывшая столовая, судя по лепным тягам на потолке, была когда-то очень большой и, очевидно, уютной, сейчас же она превратилась в прихожую и одновременно кухню: справа у стенки красовалась газовая плита.

Мы вошли в гостиную, хозяйка извинилась, что не прерывает работы — она гладила, правда, не очень усердно, тюлевые гардины на длинной гладильной доске, — и пригласила нас сесть.

Обстановка в гостиной оказалась отнюдь не турбинской. И не бул-

гаковской. На трех окнах, выходящих на улицу, на противоположную горку с начавшей уже зеленеть травой, — раздвижные в пол-окна занавесочки, на подоконнике цветы — лиловый сон в вазочках. Все остальное — как у всех теперь — только киевский вариант: львовский «модерн» начала пятидесятих годов в сочетании с так называемой «боженковской» мебелью. (Герой гражданской войны, соратник Щорса, Боженко, увы, ассоциируется сейчас у большинства киевлян с посредственной мебелью фабрики, носящей его имя.) На стене что-то японское на черном лаке (цапли, что ли?), возле дверей — сияющее, под орех пианино.

Мы сели. Хозяйка любопытствовала, что нас интересует. Мы сказали, что все, касающееся жизни Михаила Афанасьевича Булгакова в этой квартире.

Из последующего рассказа, прерываемого то приходом молчаливого мужа, что-то искавшего в шкафу, то вторжением тут же изгоняемых внуков («Идите, идите, нечего вам слушать»), мы узнали, что семья Булгаковых была большая: отец — профессор богословия, умерший, по-видимому, еще до революции, мать — очень хозяйственная, любившая порядок, и семеро детей — три брата, из которых Михаил был старший, и четыре сестры. Прожили они в этой квартире больше двадцати лет и в 1920 году уехали. Больше никто никогда сюда не возвращался. Михаил в том числе. Семья была патриархальная, с определенными устоями. Со смертью отца все изменилось. Мать, насколько мы поняли, отделилась: «там наверху, против Андреевской церкви, жил один врач, очень приличный человек, он недавно умер в преклонном возрасте в Алма-Ате», и с тех пор в доме воцарилась безалаберщина.

— Очень они были веселые и шумные. И всегда уйма народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать... Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая посерьезнее, поспокойнее, замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе — немец по происхождению. — (Так, поняли мы, — Тальберг...) — Их потом выслали, и обоих уже нет в живых. А вторая сестра — Варя — была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре... А когда подымался слишком уже невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке: «Тихо!»

— На этой печке? — Мы разом обернулись, посмотрели в угол и невольно вспомнили надписи, которые на ней когда-то были. Последняя Николкина: «Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища... Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января».

— Нет, — сказала хозяйка, — в столовой. Будете уходить, я вам покажу.

Дальше пошел рассказ о самом Мише. Начался он почему-то с зубов. У него были очень крупные зубы. («Да-да, — подтвердил присевший в углу на стул хозяйкин муж, — у него были очень крупные зубы». Это была первая из двух произнесенных им за все время фраз.) А вообще Миша был высокий, светлоглазый, блондин. Все время откидывал волосы назад. Вот так — головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на двенадцать. Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его — насмешливый, ироничный, язвительный. Не легкий, в общем. Однажды даже отца ее обидел. И совершенно незаслуженно.

— У Миши там вот кабинет был. — Хозяйка указала на стенку перед собой. — Больных принимал, люэтиков своих. Вы ж, очевидно, знаете, что он переквалифицировался на венеролога. Так вот, у него всегда там почему-то краны были открыты. И все переливалось через край. И протекало. И все на наши головы...

Мы переглянулись.

— Вы что, на первом этаже жили?

— На первом. И все, понимаете, на наши головы. Чуть потолок не рухнул. Тогда отец мой, человек очень приличный, образованный и все-таки хозяин дома — квартиру-то они у нас снимали — (мы опять переглянулись...) — подымается наверх и говорит: «Миша, надо все-таки как-то следить за кранами, у нас внизу совсем потоп...» А Миша ответил ему так грубо, так грубо...

Но как именно ответил Миша, мы так и не узнали, в разговор вмешалась появившаяся вдруг из коридора очень золото- и пышноволосяя, расчесывающая свои кудри хозяйкина дочка.

— Ну зачем, мама, все эти детали?

Мать несколько смутилась, хотя тут же сказала, что ничего дурного в этих деталях не видит, просто одна из черточек Мишиного характера, а мы в третий раз переглянулись.

— Так вы, значит, на первом этаже жили? Который во двор подвалом выходит?

— Ну да. Поэтому на нас и лилось.

Все стало ясно. Первый этаж, домовладелец... Абсолютно ясно. Мы имели дело ни больше, ни меньше, как с дочерью Василисы, хозяина дома Василия Ивановича Лисовича...

Одно, правда, несколько удивило нас (все это уже потом, на обратном пути, перебивая друг друга, пытаясь во всем разобраться), — когда кто-то из нас в самом еще начале разговора упомянул имя Василисы, хозяйка наша и бровью не повела, как будто и имени такого не слышала.

Последующий кропотливый анализ посеял в нас сомнение: а читала ли нынешняя владелица булгаковской квартиры «Белую гвардию»? «Дни Турбиных», очевидно, видела, когда перед самой войной МХАТ приезжал в Киев (сын во всяком случае видел: билеты достать было невозможно, но он сказал, что он внук хозяина дома, где жили Булгаковы, и ему сразу дали). Одним словом, будем считать, что с «Турбинами» она была знакома, но все дело в том, что в пьесе Василисы нет, он даже не упоминается. А в романе есть. Возможно, сам Василиса читал, но вряд ли ему так уж хотелось, чтоб прочитали дети...

— Что и говорить, — грустно улыбнулась хозяйка, перебирая тюлевые гардины, — жили мы, как Монтекки и Капулетти... И вообще...

Дальше выяснилось, что не только как к жильцу, но и как к писателю у нее есть определенные претензии. Дело в том, что, когда в конце двадцатых или в начале тридцатых годов изымали золото, один из соседей — вот там, через улицу жил, — вспомнил, что в каком-то романе Миша писал о некоем домовладельце, у которого что-то там где-то хранилось; так вот, если оно действительно есть... Но его не было. Не было уже ничего... И все же как-то нехорошо получилось. Зачем так уж прямо?

Мы оба невольно посмотрели в окно: а где то дерево, та акация, с которой бандит-петлюровец подсматривал за Василисиными операциями с тайником в стене? Нет, обнаружить ее нам не удалось — ни сейчас, ни потом. Все-таки сорок лет прошло. Зато ущелье между двумя домами, тринадцатым и одиннадцатым, куда Николка прятал исчезнувшую потом жестяную коробку из-под конфет с пистолетами, погонями и портретом наследника Алексея, — нашли. И даже доски выломаны, как будто бандиты только сегодня или вчера вылезли из этого самого ущелья.

Сегодня? Вчера? Позавчера? Все как-то вдруг перепуталось, сдвинулось, переместилось...

Вот в этой самой комнате, где мы сейчас сидим, с тремя окнами на улицу, с таким же точно видом на противоположную горку, которая с

тех пор ничуть не изменилась (исчезли только акации, темнившие гостиную), в этой самой тогда гостиной жил себе и расхаживал быстрым шагом высокий голубоглазый человек, откидывавший назад волосы, ироничный и язвительный, уехавший потом в Москву и никогда больше сюда не возвращавшийся... В этой самой гостиной, тогда розоватой, с кремовыми занавесками, много-много лет назад в студеную декабрьскую ночь три офицера, один юнкер и нелепый, брошенный женой молодой человек из Житомира играли в винт, а в соседней комнате бредил тифозный, а внизу, на первом этаже, в это самое время петлюровцы чистили домовладельца, и потом он, бедняжка, прибежал сюда и упал в обморок, и его окатывали холодной водой...

В этой самой комнате, в этой квартире пахло когда-то на рождество хвоей, потрескивали парафиновые свечи, на белой крахмальной скатерти в вазе в виде колонны стояли гортензии и мрачные знойные розы, часы с бронзовыми пастушками каждые три часа играли гавот, и в столовой откликались им черные стенные, и на рояле лежали раскрытые ноты «Фауста», и пили здесь вино и водку, и пели эпиталаму богу Гименею и кое-что другое, приводившее в ужас похожего на Тараса Бульбу домовладельца и его жену: «Что ж это такое? Три часа ночи! Я жаловаться наконец буду!»

И вот всего этого нету. Нет больше «книжной», нет сокола на белой рукавице Алексея Михайловича, нет Людовика XIV в райских кущах на берегу шелкового озера, нет бронзовых ламп под зеленым абажуром, и холодные, старательно вымытые (начал еще Николка) саардамские изразцы тоскливо смотрят на голубые огоньки и кастрюли газовой плиты. И нижний этаж переселился в верхний, и Василиса, по-видимому, умер (мы почему-то, растерявшись, ничего о нем не спросили), а в угловой Николкиной комнате (двадцать шесть метров, как сообщила нам хозяйка) живет златокудрая Василисина внучка...

А Николка?

Да, у Миши было два брата. Николай и Ваня. Николай — старший, второй после Миши, спокойный, серьезный, самый серьезный из всех. Умер в январе этого года в Париже. Был профессором. Это кое-что да значит — быть профессором в Париже, да еще русскому эмигранту. Умница был. Тогда еще был умницей... А Ваня? Ваня тоже в Париже, но не профессор... В балалаечном ансамбле каком-то или как это у них там называется. Он самый младший был, вероятно, еще жив... Из сестер остались две, обе в Москве. Одна тяжело болеет, с другой, с Надей, изредка переписывается. Когда была в Москве, заходила к ней. Недавно где-то ее фотография была. На фоне Мишиной библиотеки. Сохранилась еще. А Миши вот нет...

Тут хозяйка, оторвавшись от утюга, испытующе и все же недоверчиво посмотрела на нас:

— Так вы говорите, стал знаменитым?

— Стал...

Покачала головой.

— Кто мог подумать? Ведь такой невезучий был... Надя, правда, недавно писала мне, что сейчас вот напечатали что-то его и все очень читают... Но ведь сколько лет прошло...

Опять ворвались дети — мальчик и девочка. Их опять прогнали. Муж вяло поискал что-то в шкафу и опять сел, хотя ему надо было куда-то уходить. Дочь, продолжая расчесывать свои кудри, попыталась вступить в разговор — почему мать ничего про Ланчия не рассказывает? Но мать, при всей своей словоохотливости, тут вдруг заартачилась — ничего, мол, интересного нет. Дочь уверяла, что очень интересно, ей во вся-

ком случае было очень интересно. Но мать проявила непонятную стойкость. Нам удалось только узнать, что Ланчия — хозяин гостиницы «Европейская» на бывшей Царской площади (эта пояснительная фраза была второй и последней, произнесенной мужем хозяйки), — имел в Буче дачу напротив Булгаковской, и была у него там оранжерея... Вот и все, как видите, ничего интересного... Мы поняли, что интересное было, но сообщать нам какую-то существовавшую, очевидно, сложность в треугольнике Булгаковы — Ланчия — Василиса по каким-то причинам не хотят, — и настаивать не стали.

Вообще, как выяснилось, мы с другом оказались никудышными репортерами. Не взяли с собой фотоаппарата, сидели как привязанные, я — к креслу, друг — к дивану, не побывали в других комнатах, ничего не узнали о судьбе Василисы... Впрочем, может быть, так и надо. В конце концов мы действительно не репортеры — что узнали, то и узнали. А сфотографировать домик я всегда успею — и снизу, и сбоку, и с горы, — он еще долго проживет.

Вот и все.

Мы попрощались и ушли. Обещали зайти еще. Но вряд ли это нужно.

Сейчас меня интересует одно: прочтут или нет жильцы этого прилепившегося к горе домика о событиях, разыгравшихся в нем без малого пятьдесят лет назад?..¹

Подымаясь вверх по Андреевскому спуску, взбудораженные и опекаленные, мы пытались подвести какой-то итог. Чему? Да так, всему. Прошлому, настоящему, несуществующему. Летом, в шестьдесят шестом, в Ялте мы читали опубликованные сейчас в журнале «Театр» воспоминания Ермолинского о Булгакове — очень грустные, очень трагичные. Сейчас вот побывали в местах булгаковской молодости и пойдем еще в 1-ю гимназию (теперь там университет), на ступенях которой, в вестибюле, погиб (на сцене МХАТа) Алексей, зайдём в «гастроном» на Театральной, где был когда-то «Шик паризьен» мадам Анжу с колокольчиком на дверях, потом в который раз попытаемся разыскать дом на Мало-Провальной. За поворотом «самой фантастической улицы в мире» — мшистая стена, калитка, кирпичная дорожка, еще калитка, еще одна, сиреневый сад в снегу, стеклянный фонарь старинных сеней, мирный свет сальной свечи в шандале, портрет с золотыми эполетами, Юлия... Юлия Александровна Рейсс... Нет ее. И дома этого нет. Я уже облазил всю Мало-Подвальную. Был когда-то похожий, в глубине двора, деревянный, с верандой и цветными стеклами, но его давно уже нет. На его месте новый, каменный, многоэтажный, нелепо чужой на этой горбатой, «самой фантастической в мире» улочке, а рядом телевизионная башня — двести метров уходящего в небо железа...

Мы поднимались вверх по Андреевскому спуску...

Почему никогда больше не потянуло сюда Булгакова? Ни его, ни братьев, ни сестер? Впрочем, братьям это вряд ли удалось бы. Николай умер, похоронен где-то на парижском кладбище, Ваня же... А может, я его видел, может, даже познакомился? Я был в Париже в русском ресторане, недалеко от бульвара Сен-Мишель. Назывался он «У водки». И пили там действительно водку, что в других ресторанах не очень-то практикуется, и за соседним столиком подвыпившие пожилые люди пели «Вещего Олега» и «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...», а в углу на ма-

¹ События? Какие события? «Белая гвардия» — роман, вымысел. А вот видите, какой вымысел, если я совершенно серьезно написал вышеприведенную фразу. И решил не трогать, не изменять, добавить только эту сноску.

ленькой эстраде шестеро балалаечников в голубых шелковых косоворотках в третий уже раз по заказу исполняли «Очи черные...». Я с ними разговаривал. Кроме одного, все были русскими. Фамилий своих они не называли. Все спрашивали, как им вернуться на родину... Может, среди них был и Ваня Булгаков, а для меня, для всех нас — Николка Турбин? В восемнадцатом году гитара, «Буль-буль-буль, бутылочка», сейчас балалайка и «Очи черные»...

Ах, как хочется продолжить роман. По-детски хочется знать, что же было дальше, как сложилась судьба Турбиных после восемнадцатого года. Бег? Для Николки, очевидно, да. Для Мышлаевского — не знаю. А Шервинский, Елена? А Алексей? Написал «Дни Турбиных» и «Белую гвардию»? Умер в сороковом году, не дождавшись триумфа, пришедшего через двадцать пять лет после смерти?

Как жалею я теперь, что не знаком был с Булгаковым. Как хотелось бы знать, что, где, как и почему рождалось.

В двадцать третьем году от тифа умерла его мать. И в двадцать третьем же году начата «Белая гвардия». И начинается она с похорон матери. «Мама, светлая королева, где же ты?..»

Я перечитываю сейчас «Мастера и Маргариту», и теперь мне особенно понятно становится, почему и «откуда» взялся устроенный Маргаритой потоп в квартире Латунского.

И Максудов в «Театральном романе» пишет вовсе не «Черный снег», а «Белую гвардию»... «...вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке...»

Николка... Опять Николка... Здравствуй, Николка, старый друг моей юности...

Вот и договорился — другом моей юности, оказывается, был ни больше, ни меньше, как белый офицер, юнкер... А я и не отпираюсь. И его старший брат тоже. И сестра. И друг брата...

Да, я полюбил этих людей. Полюбил за честность, благородство, смелость, наконец за трагичность положения. Полюбил, как полюбили их сотни тысяч зрителей мхатовского спектакля¹. А среди них был и Сталин. Судя по протоколам театра, он смотрел «Дни Турбиных» не меньше пятнадцати раз! А вряд ли он был таким уж завзятым театралом...

В сорок первом году в Минске «турбинская квартира» сгорела. И хотя через тринадцать лет она снова возникла из пепла, на этот раз не в одной, а в трех ипостасях (в Москве, Тбилиси и Новосибирске), для меня существовала только та, в декорациях (как не хочется произносить это слово!) художника Ульянова. Ее нет и никогда не будет. Так же, как никогда не будет больше Хмелева, Добронравова, Кудрявцева — первых, кто заставил нас влюбиться в невыдуманных (а может, и выдуманных, на половину, на четверть выдуманных, черт, опять запутался!) героев Булгакова.

Знакомство наше состоялось давно — сорок лет назад (кстати, нас отделяет сейчас от последнего мхатовского спектакля столько же времени, даже на три года больше, сколько этот же спектакль отделяло от изображенных в нем событий). Почему же через столько лет дружба наша не только не увяла (появились же и новые друзья), а, наоборот, окрепла? Почему я еще больше полюбил их, встретившись вновь?

Сначала я не мог дать точного ответа. Сейчас могу.

¹ Думаю, что не меньше, чем миллион. (За пятнадцать лет, с 1926 года по 1941 год, — 987 представлений. На каждом не менее тысячи зрителей.)

Я еще больше полюбил Турбиных, потому что они, именно они, первыми познакомили меня с Булгаковым.

Тогда, сорок лет назад, чего греха таить, Булгаков (и как писатель, и тем более как человек) меня интересовал куда меньше, чем его герои... Сейчас же, когда героев стало во много-много раз больше, и среди них даже черти и ведьмы, я мысленно возвращаюсь назад, к двадцать восьмому году, сажусь на ступеньки балкона первого яруса Московского Художественного театра и благодарю, благодарю Алексея, благодарю Елену, Николку, даже гетмана Скоропадского за то, что это они первыми сказали мне: «Булгаков Михаил Афанасьевич, драматург...»

Я не видал «Мольера», но читал «Жизнь господина де Мольера». У Булгакова не было «покровителей», не было принца де Конти и герцога Орлеанского, так же как не было у Мольера художественных руководителей, но оба они в одинаковой степени познали, что значит нелегкий путь подлинного искусства.

Слава к Булгакову пришла и рано — со всеми ее сложностями — и в то же время поздно, но тут я вынужден поставить точку — это уже тема отдельного исследования, к нему я не готов.

Моя тема — география. Я горжусь (и удивляюсь только, что до меня никто этого не сделал) своим открытием «дома Турбиных» и приглашаю всех, кто посетит Киев, спуститься вниз по крутому Андреевскому спуску до дома № 13, заглянуть во дворик (слева, под верандой, прошу обратить внимание на лестницу, это именно там у бедного Василисы по животу прошел холодок при виде прекрасной молочницы Явдохи), а затем подняться назад, через «рыцарский» дворик Замка Ричарда Львиное Сердце пробраться на горку, усесться на краю ее обрыва, закурить, если куришь, и полюбоваться Городом, который так любил Булгаков, хотя никогда больше в него не возвращался.



ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

★

О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

С немецкого

Воистину великолепны
великие замыслы:
рай на земле,
всеобщее братство,
перманентная ломка...

Все это было б вполне достижимо,
если б не люди.

Люди только мешают:
путаются под ногами,
вечно чего-то хотят.
От них одни неприятности.

Надо идти на штурм — освободить человечество,
а они идут к парикмахеру.
Сегодня на карту поставлено
все наше будущее,
а они говорят:
«Недурно бы выпить пива!»
Вместо того, чтоб бороться
за правое дело,
они ведут борьбу
с эпидемией гриппа,
со спазмами,
с корью!
В час, когда решаются всемирные судьбы,
им нужен почтовый ящик
или постель для любви.

В канун золотого века
они стирают пеленки,
варят суп...
Чем они только не заняты!
Бренчат на гитарах,
режутся в скат,
глядят кошек,
нянчат детей.

Ну, скажите,
можно ли с ними построить
могучее государство?
Все рассыпается в прах!

Обыватели,
ходячие пережитки прошлого,
скопище жалких посредственностей,
лишенное мысли!

Как с ними поступить?
Ведь нельзя же их всех уничтожить!
Нельзя же их уговаривать целыми днями!

Если бы не они,
если б не люди,
какая настала бы жизнь!

Если бы не они,
как бы нам было легко,
как бы все было просто!..

Если бы не было их,
о, тогда бы,
тогда...

Тогда бы и я не мешал вам своими стихами!

ИЗОТОП

Возьмем парусами зонты, сохраняя спокойствие:
новый всемирный потоп будет не слишком глубоким.
Древняя процедура:
майоры и коровы на высоковольтных мачтах,
эвакуация на Арарат,
всеобщая запись в кружки альпинистов,
паника среди ремесленников,
жирные голуби с оливковой ветвью и без —
все это ни к чему.
Во всяком случае
те же самые праведники
невредимыми покинут ковчег,
назло утопшим неправедникам
выпустят новые займы
и, в полном согласии с богом,
возьмутся за приведение в порядок
поврежденной потопом промышленности.

Сегодня целые стаи нобелевских лауреатов
всерьез занимаются тем,
чтобы поднять эффективность средств,
предохраняющих дамские ножки
от воздействия стронция.

В лабораториях царит обоснованная уверенность:
 сквозь дверные щели сочится роса —
 сырой, гуманный осадок,
 делающий абсолютно безвредным
 изготовление бомб,
 изготовление смерти,—
 жирная, вязкая мазь —
 полнейшая гарантия от каких-либо неприятностей.

Прошла пора испытаний.
 Из недр земли проступает
 вполне безобидная влага,
 безвредный всемирный потоп,
 и мы постепенно в него погружаемся,
 соблюдая очередь в билетные кассы,
 и дисциплинированно
 тоном
 под кукованье кукушек
 на мирных домашних часах.

МОЛВА

Все тот же разносится слух,
 та же старуха молва
 бредет по земле, причитая:
 «Все кончено... кончено... кончено...»

Ах, это мы слышали.
 Знаем.
 Но почему
 каждое утро, в точно назначенный срок,
 стоит на пороге
 в коричневой крынке
 свежее молоко?
 И свежей водой
 умывает нас утренний дождь?..

И нечто орущее,
 с диким и нежным мозгом,
 выходит из чрева рожениц?

И так же, как вчера,
 в восемь часов
 отправляется утренний поезд?..

Как это все объяснить?

Коровы телятся.
 Дурачатся резво телята.
 Некоторые люди
 даже справляют день своего рождения,
 не стесняясь.

Как если бы ничего не случилось,
ежедневно
вновь возникает
наш затрепанный, набожный,
трогательный, старый роман.
Продолжение следует,
а конца не видать.

В чем же дело?..

Почему в таком случае
каждое утро
в точно назначенный срок
стоит на пороге
злая старуха молва?

Перевел Лев Гинзбург.



О Ч И Р К И Ж А Ш С И Х Д Н Е Й

А. ПОБОЖИЙ

★

ПОД НЕБОМ МОНГОЛИИ

Был июль 1963 года, когда я ехал в Монголию. Путь пролегал по хорошо памятным мне местам. Здесь, в Бурят-Монгольской АССР, тридцать лет тому назад наша изыскательская партия прокладывала трассу для будущей железной дороги от Улан-Удэ до монгольской границы. Теперь эта дорога протянулась далеко за нашу границу — через всю Монголию.

Глядя в окно, я узнавал каждую складку местности, с нетерпением ожидал, когда из-за сопки покажется Селенга, — и обрадовался, когда она появилась именно там, где ее ждал.

Да и как было ее забыть! Вначале думали проложить дорогу по ее пойме, но разливы заставили перенести трассу на высокий коренной берег, по которому сейчас шел наш скорый поезд.

Внизу, у крутого склона, приютилась деревня — та, в которой мы жили, когда вычерчивали планы будущей дороги.

Вдали открывались поля и пастбища, красивая панорама Гусиного озера.

Вот здесь нас застала в 1934 году суровая зима; случалось, изголодавшиеся волки с храбростью отчаяния забегали в наш лагерь и нападали на лошадей. Местные жители говорили, что это очень опасные волки, потому что они приходят сюда из Монголии, где умерших людей не закапывают, а увозят в «долину смерти»; эти волки привыкли к человечине и могут напасть на скот в поселках и на людей. Мы мало верили этому: ведь в европейской России тоже случается, что в тягелую зиму волки, гонимые голодом, забредают в деревни. Все же такие рассказы усиливали смутное и тревожное чувство, когда я думал о том, что совсем недалеко, за Кяхтой, лежит совсем непохожая на все, что мы знали, земля.

«Монголия — страна степей и пустынь, по которым движутся караваны верблюдов», — только это и рассказывал о ней наш добрый школьный учитель, но рассказывал не раз, голосом задумчивым и важным. Сам он ничего больше не знал о Монголии, потому что учился давно и мало, а учебников у нас на Алтае в первые советские годы не было. Но, видно, произнося слово «Монголия», он испытывал особое чувство, ему грезилось нечто непостижимое, на что лишь намекает картинка на чайной коробке марки «караван». Эта картинка сильно действовала и на наше детское воображение — настолько, что и позднее, когда я уже кое-что знал о Монголии по книгам и рассказам, трезвые факты не уничтожили чувство, которое с детства связалось с мыслью о Монголии — сказочной стране.

Даже работая совсем близко к Монгольской Народной Республике в 1934 году, я не мог отделаться от представления, будто за пограничной чертой начинается страна, совсем непохожая на все виденное.

Теперь я готовился ее увидеть. Но вот остались уже позади Наушки, а местность мало изменилась — справа Селенга по-прежнему несла прозрачные воды к Байкалу. А поезд шел уже по Монголии, и за синими горами должна была быть река Орхон, на которой, в среднем ее течении, когда-то стояла столица Уйгурского царства Каракорум — столица Чингисхана...

1

К станции Дархан мы подъехали поздно вечером. Сотни электрических огней, силуэты невысоких служебных зданий на фоне громады строящегося элеватора, бесконечный поток автомобильных фар — все производило впечатление большого города. На самом деле это были лишь признаки его рождения. Строители жили пока в бараках, в вагонах и юртах.

Нас сразу увезли с вокзала за двенадцать километров, на линейно-путевую усадьбу железнодорожников, и устроили на ночлег.

Едва стал заниматься день — первый наш день в Монголии, — мы были уже на ногах. Из-за сопки показалось солнце, непривычно яркое для такого раннего часа. На синем небе не было ни облачка. Быстро, почти без утра, ночь сменилась днем. На востоке теснились сопки, увенчанные широкими и плоскими куполами. На запад уходила покрытая зеленой травой и редким кустарником долина Хары-Гол, за которой тоже виднелись мягкие очертания сопки, переходящих дальше в невысокие скалистые горы. На склонах холмов кое-где белели юрты, чернели одинокие деревья. Надо было очень внимательно взглядеться, чтобы увидеть отары овец: их желтовато-белая шерсть сливалась с желто-бурой травой и издали они похожи были на облако, медленно ползущее по земле.

На усадьбе просыпались. Первыми вышли во двор женщины, одетые в длинные, до пят, дэли, и стали растапливать во дворе огонь в печах с вмазанными в них котлами.

Я спросил одну из женщин:

— Где можно набрать воды?

Она засмеялась и ответила:

— Митикуй! (Не понимаю!)

Другая женщина догадалась и показала колодец за изгородью.

Умывшись и позавтракав, разместившись в небольших, но удобных квартирах, мы всей группой отправились на грузовике в Дархан.

Монгольское слово «дархан» значит мастер, умелец. Говорят, в этом месте когда-то, очень давно, стояла кузница и жили кузнецы. Потом не стало кузницы, название осталось.

Еще совсем недавно маленькая железнодорожная станция Дархан ничем не отличалась от многих других станций трансмонгольской магистрали: несколько небольших привокзальных служебных построек да десяток одноэтажных домиков, вот и все. Поезда здесь останавливались редко и, уходя, скрывались за поворотом зеленой речной долины. Замирал стук колес, и снова наступала тишина.

Все переменилось после того, как советские и монгольские геологи нашли в горах недалеко от Дархана уголь, железо и другие полезные ископаемые.

Оказалось, не случайно здесь в древности была кузница: поковки делались из местного железа — вероятней всего, использовали руду, имеющую выходы на поверхность.

Теперь Дархан должен был стать кузницей для всей страны.

Монгольской Народной Республике одной еще не по силам было решить такую задачу — ее правительство обратилось за помощью к социалистическим странам.

Специалисты из Советского Союза начали проектировать новый город, угольный разрез, линию электропередач и ТЭЦ, элеватор. Специалисты из Чехословакии взялись проектировать цементный завод и помогать в его постройке. Польская Народная Республика взяла на себя сооружение завода силикатного кирпича. Уже тогда, на первом этапе строительства, имелось в виду соорудить в новом промышленном районе до двадцати предприятий.

Но в первую очередь нужно было проложить железную дорогу к шарын-гольскому уголю и к будущему городу горняков.

До нашего приезда в районе Дархана уже больше года работали советские инженеры-строители, техники, механизаторы, квалифицированные рабочие и советские машины — энергопоезда, экскаваторы, автомобили, краны, бульдо-

зеры, скреперы. Сюда доставлялись рельсы и скрепления, шпалы, железобетонные конструкции, цемент, лес и многое другое, что нужно для большого строительства.

Из далеких аймаков приехали на стройку (и заодно обучаться современным способам строительства) молодые монголы.

Дархан начинал строить не на том месте, где встанет будущий город, а возле железнодорожной станции, где закладывалась производственная база. Всюду здесь вырастали остовы новых домов, прокладывались траншеи водопроводов и канализации. А вокруг расположились сотни юрт — местами редко, местами кучно, теснясь одна к одной.

Мы убедились, что, хотя здесь еще нет ни улиц, ни номеров на домах, ни каких-либо указателей, жители отлично знают, где что находится — какие где управления, учреждения, столовые, магазины, клубы, бани, парикмахерские. Все это, когда мы приехали, в Дархане уже было.

В отделе кадров управления строительства железных дорог в МНР нас уже поджидали главный инженер Р. И. Чигогидзе и начальник технического отдела А. Н. Михайлов.

Ревазу Ираклиевичу Чигогидзе — худощавому, подтянутому грузину — на вид не было и сорока лет. Нетрудно было догадаться по его репликам в телефонных переговорах, что порой он способен быть резким. Но чувствовались в нем доброта, бодрость, веселость.

Он уже давно разъезжал с семьей по железнодорожным стройкам, продвигаясь все дальше на восток. Добрался наконец с электрификацией Сибирской магистрали до Слюдянки, а потом поехал дальше, в Монголию.

На его столе не было ни одной бумажки, только на стенах висели чертежи сложных сооружений и графики. Для справки по любому вопросу он извлекал из стола одну и ту же толстую, мелко исписанную тетрадь: эта тетрадь, видимо, была «библией» главного инженера. С нею в руках он проводил ежедневные планерки, с ее записями сверялся, спрашивая о результатах работы.

Невольно завидуешь руководителю, чей стол не завален ворохами ежедневно сваливающихся отовсюду циркуляров, приказов, распоряжений, директив. Еще лучше, когда он и сам не пишет лишнего — тогда есть у него время для деловых встреч, для того, чтобы подумать над лучшей организацией производства.

Но не потому ли Чигогидзе мог здесь жить, не задавленный бумажными делами, что его строительное управление находилось в особых условиях и не всякий мог туда писать и давать «руководящие указания»? Может быть... Но как было бы хорошо оградить стройки и у нас дома от докучливого и ненужного руководства!

Анатолий Никитич Михайлов, еще молодой инженер, был больше похож на кабинетного ученого, чем на типичного организатора. Когда я познакомился с ним ближе, то узнал, что он технически хорошо образован, следит за всеми новостями техники и смело внедряет их в производство. Его всегда заваленный бумагами рабочий стол мог бы служить контрастом столу Чигогидзе. На его столе были не директивы, сводки и справки, а свежие технические журналы, между ними лежали образцы новых строительных материалов. Чигогидзе и Михайлов тем лучше дополняли друг друга, что оба были деловыми людьми. В Чигогидзе ничего не было от чиновника, который привык прятаться за акты и протоколы подрядчиков и субподрядчиков, а потом, при надобности, и за спину проектировщика.

Представясь руководителям, мы получили свободу до утра и занялись бытовым устройством. Прежде всего запаслись продовольствием — на нашей усадьбе купить его было негде, не было там и столовой, поэтому решено было организовать маленькую столовую на всю группу. Специалист по земляному полотну Софья Ивановна Успенская еще по дороге из Москвы как-то незаметно объединила весь наш женский коллектив и сейчас, вода женщины из магазина в магазин, уверенно говорила, что нужно купить. Мы же, мужчины, ходили следом лишь для того, чтобы нести покупки.

Софья Ивановна носила давно уже вышедший из моды наряд — кожаную куртку и кожаный шлем. Но в этом необычном сейчас наряде она выглядела совершенно естественно, потому что всей своей повадкой напоминала тех комсомолок двадцатых — тридцатых годов, которые, куда бы ни попали, повсюду вносили дух деятельности и коллективизма. Они и на собрания в деревнях приходили первыми и, чтобы не разбежались люди, ожидая запаздывающего оратора, запевали революционные песни, а потом выступали с критикой, невзирая на лица...

В среде своих подруг в Монголии Софье Ивановне критиковать «невзирая на лица» было некого: не тихую же и застенчивую чертежницу Антонину Васильевну, старшего техника, истинную изыскательницу, умеющую ужиться в любых условиях и с любыми людьми, Надю Горскую, инженера Елизавету Никитичну Ломскую и Светлану Сергеевну Жаткину? Начальник партии Николай Дмитриевич Бурмистров был вначале недоволен тем, что в нашей группе много женщин: «Перегрызутся бабы...» Но все ладили между собой наилучшим образом.

Возвращались мы в усадьбу на грузовике по дороге, похожей на широкий грейдер. Но машины, бегавшие в район Дархана, во многих местах превратили ее ровную когда-то поверхность в «гребенку», по зубьям которой наш грузовик трясло и подбрасывало. Это была заслуженная дорога: до 1950 года, когда построили железную дорогу, она была единственной транспортной ниточкой в северной части Монголии, соединявшей Улан-Батор с Советским Союзом...

Вечером к нам приехали рабочие, которых направил Чигогидзе, — молодые русские женщины и мужчины, местные уроженцы, никогда не бывавшие в Советском Союзе. У одной из женщин был ребенок, мальчик лет трех с чудесным круглым личиком и черными, слегка раскосыми глазами. Наши женщины наперебой угощали его сладостями, а он пугливо жался к матери. Светлане — так ее звали — было не больше двадцати лет; худенькая, высокая, с большими печальными глазами и правильными чертами лица, она была очень миловидна. Посоветовавшись, мы предложили ей остаться с маленьким Витюшкой на усадьбе — помогать нам за обычную здесь плату готовить обеды и убирать дом. Тут же условились, что она и ее сын будут есть с нами, а платить за питание будут вчетверо меньше того, что вносит каждый из нас. Светлана с радостью согласилась. Остальные же рабочие решили жить дома, в деревне, недалеко от станции Дархан. Наш шофер согласился возить их по утрам из деревни на работу и вечером отвозить обратно.

Итак, за один день было устроено все что нужно, чтобы завтра начать работу.

Утреннее солнце еще не успело показаться из-за сопки, когда приехали рабочие и погрузили в автомашину инструменты. Наши инженеры и техники уехали с ними на трассу — разбивать водоотводные сооружения.

Мы спешили с этим заданием потому, что прошедшие в июне ливни сильно размыли только что отсыпанное полотно дороги; об этом мы знали еще в Москве из тревожных сообщений Чигогидзе. Случилось это оттого, что бывший начальник строительства Смоллов, как иногда бывает, «выхватывал» основные работы по отсыпке земляного полотна по строительству труб и по укладке рельсового пути и оставлял в тени менее эффектные, но не менее важные задания — забывал, что нужно рыть водоотводные и нагорные канавы, а потом укреплять их камнем. Смоллов, конечно, знал правила производства работ: при строительстве любого сооружения вначале выполняется так называемый «нулевой цикл». В данном случае полотно будущей железной дороги нужно было оградить от воды. Но слишком уж был велик для него соблазн как можно скорее «уложить рельсовый путь до строящегося угольного разреза, и Смоллов отводил от себя мысль о возможных ливнях, приносящих к полотну дороги стремительные потоки воды. Правда, дожди в Монголии бывают довольно редко и снега выпадает мало, — может, на это и рассчитывал инженер Смоллов. Однако ливни застали строителей на полпути и жестоко отплатили за такое невнимание к их мощи.

Так бывало у нас и на тех стройках в нашей стране, которые я знал: давай объемы! «Вывать план» основных объемов — сколько ни говорится о необходимости выполнять в первую очередь «нулевой цикл». А потом? Водоотводы роют, когда уже скопилась вода и начала размывать свежие насыпи; дороги к домам строят, когда к ним уже ни пройти, ни проехать.

Сейчас нам предстояло немедленно разобраться, что происходит на аварийных участках, и пересмотреть проекты, строго требуя их осуществления. На нашу группу был возложен «авторский надзор».

Как мы условились с Чигогидзе еще накануне, он заехал за мной на «ГАЗ-69», и мы отправились вместе.

Первая выемка, которую мы осмотрели, была в воронках и вся оплыла; на откосах потоки оставили следы — глубокие овражки; конечно, никаких нагорных канав не было.

Мы стояли и думали.

— Будем исправлять, — первым нарушил молчание Чигогидзе. — Я дам распоряжение безоговорочно выполнять все указания вашей группы.

— Но качество работ должно быть отличным, — добавил я.

— Иначе и быть не должно. Строим для друзей!

И Чигогидзе с силой бросил камень в воронку, сердясь, видимо, больше всего на себя за то, что не сумел вовремя остановить неправильные действия своего начальника.

Подъехав к голове укладки рельсового пути, Чигогидзе познакомил меня с бригадиром Жамбалом и лучшими рабочими его бригады — Цэндом и Жаргалом. Вся бригада состояла из молодежи, недавно приехавшей на стройку из далеких аймаков. Путьскому делу их обучали русские мастера — Борис Михайлович Максимов и Александр Николаевич Амиров, и теперь они самостоятельно за смену собирают по семьсот метров звеньев, а в следующую смену столько же укладывают в путь. Это очень много для людей, всего полгода назад увидевших железную дорогу впервые.

Загорелые ловкие юноши пневматическими молотками забивали костыли, завинчивали ключами гайки.

— В первые три дня, — рассказывал Максимов, — бригада собрала всего одно звено — двенадцать с половиной метров. Подкладки они путали с накладками, костыли называли «хотос» — гвоздь. Не знали, как назвать рельс и шпалу. Они плохо понимали русский язык, а мы монгольский. Как тут обучать? И они мучились, и мы. Сейчас многих из них вполне можно поставить бригадирами пути.

Кран путеукладочной машины подавал звено; монголы энергично подхватили его на весу крюками, и по их команде оно легло на полотно, удлинив путь еще на двенадцать с половиной метров.

Жамбал иногда словами, иногда одним только жестом давал указания, и товарищи понимали его с полуслова. Мы пробыли всего полчаса, а укладка заметно продвинулась вперед.

Прощавшись, мы поехали дальше. Вскоре дорога вывела нас на склон долины Шарын-Гол. В глубокой долине вьется еле заметная ленточка реки, часто ее можно угадать только по зеленому кустарнику, который узкой полоской растет по берегам. Дальше — луга и пастбища; только у вершин сопков да далеко внизу, где долина зажата крутыми склонами, виднелся лес. Ниже по долине, где стояли юрты, скакали два всадника, сгоняя скот к реке.

Наша дорога резко повернула прочь от них, вправо, вверх по долине, — туда, где в неглубоком логу строилась железобетонная труба.

Я уже уверенно сказал выученное мною слово «сайнбайну»¹, и монголы мне весело ответили тем же.

Позднее я убедился, как нравится монголам, когда советские люди говорят на их языке. Чигогидзе преуспевал в его изучении, он уже мог объясняться, и это завоевало ему симпатию рабочих.

¹ Здравствуйте.

Рабочие Адьяа и Цэнд, с которыми я тут познакомился, довольно хорошо понимали русский язык и с большим удовольствием на нем говорили.

Им было не более двадцати — двадцати двух лет. По их глазам, в которых светились веселые и задорные огоньки, нетрудно было догадаться, что для них здесь, на стройке, все необычайно интересно, хотя они строили уже не первую трубу. Правда, все трубы были разных размеров и конструкций.

Адьяа и Цэнд с увлечением, перебывая друг друга, рассказывали, как они в ливень бегали за пять километров к построенной ими первой трубе — посмотреть, как по ней потечет вода и не размочит ли высокую железнодорожную насыпь. Им еще не верилось, что большую воду можно загнать в узкие отверстия трубы.

— Вода бурлила, шибко кипела, брызги летели, — объяснял Цэнд, крутя во весь мах рукой. — А потом волны, волны, и широко разлилось, — приседая и разводя руками, добавил он.

— Здесь тоже в дождь кипеть будет, — добавил Адьяа, показывая на ложе водотока, где они строили двухчочковую трубу.

Говорил он, как мне показалось, озабоченно, возможно, думая: выдержит ли их сооружение напор стихий, которые будут бушевать здесь на протяжении десятков, а может, и сотен лет, пока будет существовать эта железная дорога?

Подход к трубе и выход были выложены двойной мостовой из крупного камня и залиты бетоном. Мы с Чигогидзе тщательно осмотрели их и остались довольны качеством исполнения.

Монтировать трубы бригаду обучили строймастер Струков и комсомолец из Омска Цылов.

Монголы охотно и смело берутся за очень сложные дела, стараются быстро освоить незнакомую работу, и помогает им в этом прирожденная любознательность. Впервые я наблюдал это, когда от монтажников железнодорожной трубы мы попали к экскаваторщикам и шоферам, отсыпавшим полотно дороги.

Там я познакомился с молодым рабочим-монголом, которого все звали Вовкой. Он изучал русский язык — после работы брал книги и уходил на берег реки Шарын-Гол. Несколько овладев языком, стал настойчиво учиться технике, задумав стать экскаваторщиком. Его с охотой взялся учить этой сложной специальности механизатор Лукьянчиков, и вскоре Вовка стал помощником своего учителя, работая с ним на одной машине.

В другом забое работал экскаваторщик Евгений Новиков, приехавший в МНР из Свердловска; он научил управлять сложной машиной пятерых монгольских товарищей. Сейчас Новиков работал со своими помощниками — бывшим слесарем улан-баторских мастерских Равтонцэдом и бывшим аратом Очиром. И Вовка и Очир сами начинали уже обучать технике монгольскую молодежь.

Очень трудно было аратам и пастухам сменить кнут пастуха на гаечный ключ и рукоятку экскаватора, но они словно старались наверстать упущенное поколениями их предков.

На стройке было обучено много квалифицированных работников, способных самостоятельно возводить сложные сооружения. Позднее мне не раз приходилось слышать от монгольских товарищей, что китайцы им одно время помогали строить дома в Улан-Баторе, но никогда не учили строительному ремеслу.

Только к вечеру мы с Чигогидзе возвратились на усадьбу, где мне вручили телеграмму из Москвы: меня обязывали немедленно выехать на место размыва участка трансмонгольской железной дороги далеко на юге, в Гобийской пустыне.

Ехать в Улан-Батор решили вдвоем с Виталием Алексеевичем Чаплыгиным, инженером, который еще раньше работал на трансмонгольской магистрали и хорошо знал Улан-Батор.

На отходящий ночью из Дархана поезд мы с трудом достали билеты. Мне пришлось несколько раз ходить к дарге¹ вокзала. Перрон был буквально забит людьми — как бывает и у нас везде, где идет большое строительство...

¹ Начальник.

2

В розовом утреннем рассвете мы сперва увидели сотни юрт, раскинутых в долине Толы и по пологим склонам, за ними — горы, покрытые густым зеленым лесом. Но уже через несколько минут слева, в огромной котловине, окруженной со всех сторон горами, показался прикрытый низкой дымкой город.

Из большого вокзального здания мы вышли на пустынную в этот час привокзальную площадь, за которой стояли двухэтажные и одноэтажные дома предместья.

Сдав проекты в управление Улан-Баторской железной дороги и условившись о дне выезда на юг, мы направились в наше посольство, в противоположный конец города. Мне хотелось как следует посмотреть Улан-Батор, и я уговорил Виталия пройти пешком. То, что я увидел в центре, поразило меня своим несходством с прежним представлением о Монголии: широкие и прямые асфальтированные улицы, европейская архитектура зданий, электрические фонари вдоль тротуаров, много автомашин, автобусы разных марок и — ни одного верблюда.

Главная площадь ограничена фасадами большого здания Совета Министров, театра и гостиницы. На этой площади сходятся главные улицы города. В центре ее высятся усыпальница Сухэ-Батора и Чойбалсана и памятник Сухэ-Батору, но площадь настолько велика, что кажется еще не застроенной. Впрочем, может быть, замысел градостроителей в том и состоял, чтобы столичная площадь гармонировала с просторами страны и являлась как бы ее образом в миниатюре.

Проспект Мира пересекает город с севера на юг и служит главной транспортной магистралью. На нем расположены правительственные учреждения, кинотеатры, магазины.

Промышленные предприятия, все новые, сгруппированы вдоль железной дороги на окраине; в противоположном конце, выше по склону, стоят низкие серенькие домики старого города.

Пройдя центр, мы все же сели в автобус — до посольства было далеко.

Виталий показал место, где когда-то стояла тюрьма, и рассказал о прежних порядках: не обязательно было все время сидеть в ней самому осужденному; вместо себя он мог послать своего брата, сына или кого угодно; если приходили вдвоем, то и срок заключения сокращался вдвое.

Я усомнился в достоверности этого, но он стал с жаром доказывать, что говорит правду: в 1953 году рабочий их экспедиции был осужден на заключение, но вскоре увидели его на свободе, и он объяснил, что «уже стал хороший», а за него в тюрьме сидит его брат...

Сев в первый попавшийся автобус, мы заехали на самую окраину старого города. Здесь мы увидели глинобитные желтые домики и такие же желтые ограды. Нигде ни одного окна на улицу. По крутому склону дома разбросаны словно маленькие крепости.

Солнце палило здесь еще сильнее. От нестерпимой жары у меня во рту пересохло, но нигде не было видно ни одного колодца. Попадавшиеся по дороге маленькие магазинчики были закрыты. Побродив по широким, но кривым улицам, мы наткнулись наконец на китайскую овощную лавочку, но воды в ней тоже не оказалось.

Старик китаец на ломаном русском языке объяснил нам, что воду привозят издалека и ему привезут только завтра. Купив у него свежих огурцов, мы присели в тени забора на пожелтевшую траву и кое-как утолили жажду. Миню нас, поднимая пыль, непрерывной чередой проходили грузовики, автобусы. Рядом с нами уселись четыре монгола и стали играть в непонятную нам игру. Они показывали друг другу то один, то два, то три пальца, а иногда и кулак, другие что-то разгадывали, называя цифру. Проигравший высыпал на землю мунги — мелкую монету — или клал бумажные тугрики, в зависимости от проигрыша.

К ним подошла монголка с пустым бидоном и о чем-то заговорила. Игро-

ки не обратили на нее внимания. Рассерженная таким пренебрежением, она резко повернулась и направилась к магазину, около которого собрались монголы и китайцы. Мы пошли туда же и увидели, что там торгуют кумысом. Увы, за ним уже выстроилась очередь.

Нам, однако, повезло. В том же магазине продавали маленькие бутылочки с прохладительным напитком. Взяли по две бутылочки и, как и другие покупатели, выпили их содержимое из горлышек. Напиток оказался вкусным.

На границе центральной части города и окраины стоит буддийский храм Гандан. Он возвышается над старым городом и словно старается прикрыть своими широкими резными карнизами эти лачуги и кривые улицы — последние остатки Урги¹. Среди них храм выглядит величественно, но когда он попадет в окружение новых зданий, которые неумолимо продвигаются к нему, то, конечно, много от их близости потеряет.

Главный храм был закрыт, и около него не было ни души. Виталий объяснил, что служба бывает в нем только по праздникам. Тогда с его карниза ламы трубят в длинные трубы, внутри храма идет богослужение, а рядом горит в бочках сало, и ламы в звероподобных масках, с бубнами и пением пускаются в дикие, доходящие до исступления пляски.

Рядом с храмом Гандан, чуть ниже по склону, мы увидели крыши над высокой каменной стеной. В ворота входили люди. Вошли и мы. Это был монастырь Гандан. Перед его входом покоились на каменных постаментах фигуры двух львов. Во дворе монастыря, около нескольких небольших храмов, толпились монголы. Некоторые молились, распростершись на покатых досках перед статуей Будды. Они поминутно вставали на колени и, поднеся сложенные руки к лицу, снова ложились, вытягиваясь во всю длину. Доски были уже настолько вытерты молящимися, что в середине каждой из них образовались желоба. Слева от входа в монастырь между храмами были установлены барабаны с молитвами: если пришел человек неграмотный, ему достаточно покрутить барабан — и считается, что он молитвы прочитал.

Мы пошли дальше, где людей было больше всего. Монголы не обращали на нас внимания, но когда мы с ними заговаривали, то охотно отвечали, если могли нас понять. Девушки и молодые люди, по-видимому, пришли на прогулку, а не на молитву — у них были фотоаппараты, и они фотографировали здания.

Не успели мы осмотреть снаружи главный храм, как из другого стали стремительно выбегать люди. Мерно идя среди толпы, ламы тащили, высоко подняв над головами, большой железный противень, в котором горел огонь. Монголы хватили руками что-то горящее и отбегали в сторону, уступая место другим. Процессия поспешно удалилась к другому храму.

Ламы, вышедшие из храма, показались мне рослыми. Головы их были обриты. Поверх летних желтых халатов накинуты через оба плеча длинные красные полотнища. Концы их небрежно спускались на руки, и ламы то и дело откидывали их. Желто-красные одеяния резко отличали лам в пестро одетой толпе. Обуты были ламы в просторные сапоги без каблуков, на толстой лосевой подошве, с круто загнутыми вверх носками. Сапоги были сшиты так, чтобы носками не задевать землю, ибо в древние времена это считалось святотатством.

После богослужения ламы отдыхали, прохаживались по двору группами, беседовали между собой.

Мы с интересом рассматривали внутреннее устройство двора, резной орнамент на храмах, свирепых на вид монгольских богов или драконов, вырезанных из дерева и отлитых из бронзы.

Монголы никогда не были фанатиками, им свойственна широкая веротерпимость, и, может быть, поэтому они не обращали ни малейшего внимания на присутствие неверующих.

¹ Старое название Улан-Батора.

Прошло минут пятнадцать—двадцать, и ламы снова стали заходить в храм. Зашли в него и мы.

Внутренность храма напомнила мне большую юрту с куполообразным потолком.

Вдоль стен, обещанных легкими занавесями, стояли покрытые белой тканью длинные ряды скамеек со спинками, а перед ними — маленькие столики. Всего я насчитал шесть таких рядов. Обращены они были — по три ряда с двух сторон — к центру зала, посередине которого оставался широкий проход. У двери, в глубине, перед занавесью возвышался квадратный столик с тремя креслами. На столике стоял колокольчик и лежало нечто похожее на бунчук с пышными перьями.

Ламы долго рассаживались по своим местам, раскладывая перед собой на столиках длинные картонные карты с текстами молитв. Всего их было человек семьдесят. Те из них, что одеты победнее, разносили по рядам чай. Они молча и почтительно наливали его из медных чайников в пиалы, бесшумно передвигаясь вдоль рядов. Чаепитие продолжалось минут десять, после чего эти же ламы так же бесшумно стали разносить кумыс, наливая его каждому из сидящих по нескольку раз.

Пока ламы пили чай и кумыс, прихожане толпились у входа — другого помещения для них не было. Кое-кто посмелее старался протиснуться в зал, и там садился на пол в дозволенных пределах.

Но вот унесли чайники с кумысом, прозвенел колокольчик главного ламы, и все стихло. Нарушали тишину только летающие под куполом голуби, да врывающийся ветерок колыхал занавеску.

Все взоры устремились на главного ламу, на голове которого была надета шапочка, отделанная мехом. Как-то незаметно возникло его негромкое, на низких тонах, и прерывистое пение. После паузы то же повторили все ламы. Опять короткое, но на более высокой ноте пение главного ламы — и снова повторение всеми остальными. Голоса звучали все громче и громче, все выше, и наконец пение стало непрерывным.

От времени до времени ламы доставали новые карточки с молитвами.

Конца богослужения мы не дождались и вышли на свежий воздух.

До революции в Монголии было больше ста тысяч лам. В старину они запрещали монголам пахать землю и сеять хлеб и тому, кто совершит этот грех, прощали ниспосланное свыше наказание смертью.

Теперь лам осталось сравнительно мало, авторитет их заметно упал. Ведь в стране десятки тысяч студентов! Теперь уже экскавагорщик Вовка, и монтажник Адья, и тысячи других молодых рабочих и аратов если и придут в эти храмы, то лишь на экскурсию.

Из храма мы поспешили в краеведческий музей. Трехэтажное здание его находится неподалеку от Дома правительства.

Первое, что бросилось нам в глаза, был скелет динозавра, полностью сохранившийся. Чудовище одиннадцати метров в длину, высотой с двухэтажный дом. Найден скелет в Монголии, в песках Южного Гоби.

В одном из залов музея хранится бунчук из конских хвостов (символ власти во времена Чингисхана), походный котел (таган) монгольских войск XIV века.

Долго я стоял около картины «Фонтан ангела» — символа общения Европы с Азией. Этот фонтан был в городе Хархорине; сейчас, говорят, он вместе с городом занесен шестиметровым слоем песка. Фонтан считают творением парижского ювелира Гильома, жившего в XIII веке в столице Монгольской империи Каракоруме, при ставке великого хана Мункэ. Огромное серебряное дерево утверждено на фигурах серебряных львов, служивших чанами в пиршествах. Кумыс, мед, пиво, вино и архи (водку) поднимали до вершины дерева, и оттуда сквозз отверстие зев вызолоченных драконов напитки лились по трубам в большие сосуды. А на вершине дерева стоял крылатый ангел и трубил в трубу, когда следовало пить.

Картины рабского труда дореволюционной Монголии, орудия пыток, цепи и

деревянные колодки, выставленные в музее, производят удручающее впечатление. В других залах показаны природные ископаемые Монголии и ее животный мир.

Когда мы вышли из музея, проспект Мира был заполнен шумной толпой: рабочий день в учреждениях закончился.

Трудно определить, какая одежда чаще была на встречах — национальная монгольская или европейская.

Национальная одежда мужчин почти ничем не отличается от одежды женщин: такие же длинные, преимущественно шелковые дэли, мягкие сапожки, и только женские островерхие шапочки с лентами отличаются от войлочных шляп мужчин. И у мужчин и у женщин талии обмотаны длинными полосами шелковой материи, и чем длиннее кусок материи, тем, видимо, больше в этой опояске шика. Шуршащий шелк, блеск серег и украшений в длинных черных женских косах радуют глаз. Но очень многие монголки одеты в легкие короткие платья, много мужчин в европейских костюмах, сшитых по последней моде.

В Улан-Баторе одеваются хорошо; мне показалось, не только женщины, но и мужчины любят франтить.

По пути мы зашли в Дулгур-Улсын (центральный универмаг) — многоэтажное здание, где могут одновременно находиться тысячи покупателей. Внутри этот магазин показался мне просторным и пустынным — как центральная площадь, как сама страна. И не потому, что в нем не было товаров — товары были, но прилавок от прилавка расположился так далеко, что в залах можно было свободно разгуливать, не мешая покупателям. Строители, видимо, брали в расчет быстрый прирост населения в столице: уже в то время в Улан-Баторе жило около трехсот тысяч человек.

По дороге в гостиницу «Алтай» мы зашли в китайские торговые ряды. Маленькие покосившиеся лавочки тесно прижались одна к другой. В них торговали по одному-два китайца. Овощи, овощи и снова овощи. Китайцы — мастера выращивать капусту, огурцы, редиску, помидоры, картофель. Овощами китайцы торгуют здесь круглый год.

В ресторане «Алтай» мы заказали обед из трех блюд. В супе дают очень много мяса, на второе — целую гору баранины с макаронами. Одной порции хватило бы на троих! Пиво очень дорогое и невкусное. Зато кумыс вкуснейший и даже чуть-чуть хмельной. Видимо, каждому свое, и в Монголии лучшего напитка, чем кумыс, не найти. Острый, в меру кисловатый, он напоминает сухое вино. Теперь я понял, почему ламы в храме пили больше всего кумыс. На десерт нам подали чай в пиалах, но выпил я всего два-три глотка: чай был с молоком, крепко приправлен жиром и подсолен. К такому чаю нужно привыкнуть.

3

Железная дорога от Улан-Батора на юг, к Китаю, идет по долине реки Толы, но потом, извиваясь, споря с пересеченной местностью, прорезая отроги гор глубокими выемками, поднимается на перевал. Через двести километров гористая местность постепенно переходит в плоские безлесные долины, и дальше начинается пустыня.

Вот она, родина верблюдов и джейранов!

На просторе бродят тысячные стада диких коз, питаются скудной растительностью. Они оживляют довольно скучную и однообразную местность с сухими логгами глубоких долин, барханами, желтой травой. Правда, степные жители больше всего любят этот ландшафт, горы их давят, леса кажутся темными и мрачными... Может быть, и мне в недалеком времени сухая степь откроет свою красоту?

Иногда среди пустыни появляются невысокие скалистые горы с осыпями камней. Над пустыней знойное солнце раскаляет песок и камни и беспощадно выжигает растения. Но есть нечто захватывающее и в этом зрелище, которое заставляет почувствовать титаническую мощь нашего светила.

Несколько портило нам поездку то, что мы ехали в поезде, обслуживаемом китайской бригадой.

Тогда это было еще ново для нас, мы привыкли общаться с китайцами всегда как с друзьями, и тем более нас оскорбляло, что китайцы-проводники и китайцы-пассажиры недружелюбно относились к нам всю дорогу. Лхагвасурэн — заместитель начальника службы пути Улан-Баторской железной дороги, ехавший со мной на осмотр размытого участка, — заказал чай; но проводник в белом форменном кителе, не взглянув на него, буркнул что-то невнятное и заперся в своем купе.

Еще в управлении дороги нам рассказали о происшедшем недавно в Улан-Баторе скандале, затеянном китайцами.

Монгольские таможенники обнаружили, что уезжавшие на родину китайцы увозят сотнями метров мануфактуру, которая в Монголии очень дешева: эту низкую цену на мануфактуру монгольское правительство установило с той целью, чтобы и самые малооплачиваемые жители могли чисто и пристойно одеваться, — но на вывоз ее из страны была установлена норма. Таможенники предложили уплатить пошлину за излишки. Тогда китайцы, крича и бранясь, свалили тюки мануфактуры прямо на перроне в кучу и, облив бензином, сожгли их...

Поезд шел не быстро, и можно было хорошо рассмотреть местность. Часто встречались безводные русла рек, покрытые песком. Лхагвасурэн, показывая на одно из них, сказал:

— Год назад в июне здесь была река, но текла она всего несколько часов после сильного ливня. Это повторится, может быть, через много лет, а может, и завтра? Законов пустыни не существует, во всяком случае никто их не знает.

(Лхагвасурэн, окончив Московский институт инженеров транспорта, работал здесь начальником дистанции пути.)

В Гоби — и летом и зимой — выпадает очень мало осадков. Но вдруг после долгих месяцев ясного солнца над раскаленной землей появляется черная туча, совсем непохожая на те тучи, что бывают в Северной Монголии. Она обрушивает на землю потоки воды и вскоре, иссякнув, пропадает. А вода, охладив и пропитав землю, стекает по склонам, собирается вот в эти сухие русла и, перемешанная с песком, стремительно несется по ним, смывая все на своем пути. На Улан-Баторской железной дороге каждый год бывали десятки размывов полотна. Река смывала сотни метров насыпи, а трубы уносила вниз, раскидывая тяжелые железобетонные кольца по своим берегам.

Мы сошли с поезда на станции Улан-Уул и, не теряя времени, взяв с собой дорожного мастера и прораба, пошли к месту размыва. Наши спутники были одеты в довольно плотные халаты, головы их были покрыты войлочными шляпами, видимо, хорошо предохранявшими от палящего солнца.

Пустыня, пустыня! Вот ты какая, Гоби!

В небе ни одной птицы, на земле ни одной живой души. Все словно вымерло в этом царстве песков и камней. Чахлая жесткая трава покрывает почву отдельными пятнами...

На месте размыва трубы бригада путевых рабочих уже сделала временный обход, и нам оставалось только обмерить и зарисовать разрушения, а потом разработать проект нового искусственного сооружения. Возможно, здесь вместо трубы придется теперь строить большой мост. Как-то не укладывалось в голове, что в этой сухой пустыне может быть столько воды: ее напор разворотил бетон и снес высокую насыпь да еще навалил горы песка. На сухих водотоках вместо больших мостов построены были маленькие трубы, и вот теперь за это неуважение к ней пустыня заставляла расплачиваться.

С Лхагвасурэном мы как-то незаметно подружились. Он вспоминал Москву, рассказывал мне о Монголии и о людях, работавших сейчас на эксплуатации этой дороги.

— Ведь дороге всего десять лет, и ее строили ваши люди. А потом они уехали домой. Трудно нам было тогда, — вспоминал он 1957 год, — поездов хо-

дило много. Теперь эта дорога с каждым годом замирает. Ведь строили ее для экономических связей Монголии с Китаем и для транзита грузов, идущих из СССР в Китай и обратно. А связь с Китаем в последние годы все сокращается, и сейчас только один-два поезда в сутки проходят по рельсам через пустыню...

Билет на поезд, идущий до Наушек, мне опять удалось достать в Улан-Баторе лишь через начальника вокзала. В этот день для прохождения практики в Советском Союзе уезжало много студентов, учащихся ремесленных училищ и курсов мастеров. Тысячи провожающих заполнили перрон.

Я стоял у открытого окна и наблюдал картину радостных проводов.

Темная-темная ночь. Из окна вагона, кроме ярких звезд, ничего не видно. Я боюсь проехать свою усадьбу, где поезд простоят всего две минуты. Впереди показались огни, замелькали фары автомобилей. Значит, там Дархан и мне пора выходить. Выпрыгиваю во мрак. Глаза медленно привыкают к темноте. Наконец, различаю знакомые силуэты нашей усадьбы. Я дома!

4

В восемь утра все сидели за длинным обеденным столом. Шофер Леонид Иванович уже уехал за рабочими в русскую деревню. Софья Ивановна с Ириной помогали Светлане раскладывать по тарелкам завтрак и готовить полевикам дневную закуску на трассу.

Монгольское солнце уже успело всех позолотить загаром. У Ирины и Нади облупились носы: они в эти дни с утра до вечера «гнали» нивелировку от Дархана к Шарын-Голу. Бритая голова Николая Дмитриевича отликает красной медью. У всех от ветра потрескались губы.

Сынишка Светланы сидит с нами в столовой на стуле с подставной скамеечкой; еще не доев суп, он уже поглядывает на миску с кашей. Ест молча, с усердием, до пота.

Светлана все так же печальна. В деревне живут ее мать и брат (отец погиб на фронте), но чувствуется, что она одинока. С мужем она разошлась, и Витька остался без отца. Учиться по-настоящему ей не пришлось, и оттого она все время берется за случайно подвернувшуюся работу.

Софья Ивановна мне перед завтраком сказала по секрету:

— К Светлане повалился наш механизатор, но я узнала, что у него есть жена и сын, и отшила его и Светлане об этом сказала. Пока у нее один Витюшка, ей еще полгоря, а если еще ребенок появится, что она будет делать?

Наш завтрак обычно состоял из трех блюд — настоящий обед! Человеку, не привыкшему к щам и жаркому по утрам, было бы, наверно, тяжело все это осилить, но изыскатели уходят на целый день в поле, на трассу, и сытный завтрак им необходим.

Вечер приносил не только прохладу, а еще и тучи комаров. Но каждый вечер мы играли в волейбол. Это было заведено со дня нашего приезда. Зачинщиками, как всегда, были монголы; играют они с азартом, играют и молодые и пожилые. Только когда становилось совсем темно, игру прекращали.

Иногда к нам в усадьбу приходили играть в волейбол цырики — солдаты, — и один из них, кажется сержант, стал засматриваться на нашу Надю. Он даже раз подбросил ей под дверь записку на ломаном русском языке такого содержания: «Дивушка мне охота тобой танцевать приходи пожалуста Дархан кулубу».

Записку прочли, начали подшучивать над успехом Нади, пока она не рассердилась — больше всего на «кавалера». Он еще много раз приходил играть в волейбол, но записок больше не писал, только посматривал на Надю.

Кроме трех четырехквартирных домов, на усадьбе стояла еще юрта. В ней жила старушка монголка, теща одного из рабочих-железнодорожников. Скоро ей

должно было исполниться восемьдесят лет, и вся семья задолго готовилась к этому дню. Вся наша группа получила приглашение.

Длинный стол был уставлен множеством закусок. На почетном месте за столом сидела виновница торжества. Старушка, маленькая, худенькая, сидела в кресле, обтянутом белым ситцем, и перебирала четки. На ней был халат из синего шелка, отороченный у ворота голубой парчой. Бритая голова покрыта белым платочком. В ее выцветших глазах поблескивал радостный огонек.

Мы подходили к ней по очереди, целовали и вручали подарки. Она приподнималась в кресле и сама протягивала губы для поцелуя, смеялась, говоря нам что-то по-монгольски.

Хозяева пригласили нас за стол, где среди вареных бараньих курдюков и вокруг целого вареного барана стояли огромные тазы с горами больших прямоугольных лепешек, конфет и пряников. Все это было уложено рядами, как пирамида. Стояли бутылки с нашей «особой московской» и с монгольской водкой — архи.

И хозяева и гости-монголы наперебой угощали нас, подливали в стопки архи и подкладывали куски баранины. Вскоре приехало несколько человек верхами, потом еще — на машине. Все они, зайдя, приветствовали старушку и садились за стол. Она им точно так же улыбалась, перебирая свои четки; к съестному она не притрагивалась.

Старушка еще дня четыре сидела в кресле, и все эти дни с утра до вечера приезжали и уезжали гости. Многих из них хозяева не знали, но таков обычай: каждый в эти дни мог приехать, поздравить рожденницу, выпить, закусить и уехать. Леониду Ивановичу не раз приходилось даже ночью увозить гостей в Дархан, в соседние юрты и на усадьбы. Нас еще много раз приглашали зайти, но не было времени: работать приходилось и по вечерам.

5

На трассе много механизмов. Ручной труд при возведении земляного полотна, при рытье котлованов, водоотводов, кюветов исключен полностью. Вручную мостили только канавы и ложа водотоков у мостов. Кюветы и многие водоотводы решили укреплять железобетонными плитами. Монголы называют их корытами — и действительно, дно и откосы канав, обложенные плитами, напоминают корыта.

Бурмистров каждый день производит с техниками разбивку водоотводов и регуляционных сооружений. Их по трассе очень много. Сложный рельеф с древними конусами выносов, где очень трудно разобраться в потоках ливневой воды, заставляет нас быть внимательными. И не случайно при разработке проекта через каждый километр-два были запроектированы водораздельные и регуляционные дамбы. Все они по утвержденному проекту должны были моститься камнем.

Скреперы, бульдозеры, автомашины без конца сбивают разбивку. Николай Дмитриевич ругается, снова едет восстанавливать и узнает, что бульдозеристы вырыли канавы недостаточной глубины, а в других местах — глубже проекта; по таким канавам вода не потечет. То же самое и с дамбами: они где недосыпаны, где пересыпаны. Все время приходится восстанавливать ось трассы, иначе могут отсыпаться насыпи с недопустимыми отступлениями. Особенно сложно в Шарын-Гольском ущелье, где трасса из кривой в кривую огибает отроги и прижимы. Постоянно приходится следить за уплотнением насыпей, кладкой блоков для фундаментов под искусственные сооружения.

Работы ведутся так быстро, что картина меняется каждый день. Полотно дороги, а за ним и укладка рельсов все дальше и дальше продвигаются к будущему угольному разрезу и уже строящемуся городу горняков Шарын-Голу.

В свободные вечера мы беседовали с русскими молодыми рабочими. Рассказы о родине особенно действовали на Светлану, ее большие глаза становились еще больше. Она и ее молодые односельчане родились в Монголии, куда граждан-

ская война забросила их дедов и отцов; с русскими из Советского Союза они встречались редко, но были гражданами СССР и, затаив дыхание, слушали о неведомой им родине. Мы рассказывали о больших многолюдных городах, о заводах, о метро и электропоездах, о целине и непроходимой тайге, о Байкале, о климате, непохожем на монгольский.

Домишки в русской деревне, где жили наши рабочие, почти все были плохие, и строить лучшие они, видимо, не хотели; по всему чувствовалось, что они считают себя здесь временными жителями. Некоторые из них уже уехали в Советский Союз, где нашли себе и место и дело.

6

Как ни быстро шло строительство, а времени до открытия движения поездов оставалось слишком мало.

Чигогидзе, Михайлов, Софья Ивановна, ставшая грозой прорабов, и я, бывая на линии,— все постоянно думали, где можно, без ущерба для качества, сократить объем работ. Первое, на что мы обратили внимание, были водораздельные дамбы. Они бурно зарастали травой, особенно полынью, и на глазах создавалась хорошая корневая система, которая защитит их от размыва,— следовательно, их можно камнем и не крепить. Тут же, на линии, принимаем решение: откосы водораздельных дамб не мостить, а укреплять только струнаправляющие дамбы, вдоль которых во время паводков может устремиться вода. Михайлов и Софья Ивановна подсчитали, что мостовую можно уменьшить тысяч на двадцать квадратных метров.

Немного позднее, изучив режим реки Шарын-Гол, мы решили на ее пойме уменьшить каменные бермы в местах спрямления русла. На месте спрямления протоков отменили все дополнительные работы, так как пересыпанная насыпью и заросшая густым кустарником река опасности не представляла.

Вечером в кабинете Чигогидзе вместе с представителями Улан-Баторской железной дороги мы оформили документы на отмену проектов. Софья Ивановна с Бурмистровым срочно взяли за составление новых проектов. Экономия получилась около ста тысяч рублей, или полмиллиона тугриков.

Эти пересмотры проектов позволили, кроме денег, освободить от мощения сотни рабочих и перевести их на балластировку пути, а самосвалы, перевозившие из карьеров камень, отправить на отсыпку насыпи в долину Шарын-Гол.

Бригада Жамбала шла с укладкой по пятам землеройных снарядов, вслед за монтажниками искусственных сооружений. В работе бригады не было даже и следа былой монгольской медлительности: если раньше у монголов считалось обязательным что-то делать сегодня, потому что будет еще завтрашний день, то здесь, на строительстве железной дороги, они прониклись сознанием, что сегодняшнее нужно сделать сегодня, потому что завтра будет много других дел.

Чигогидзе отозвал Жамбала в сторону и стал ему что-то объяснять, рисуя палочкой на песке. Жамбал задумался, покивал головой; потом переспросил, видимо, не совсем понимая сказанное по-русски с грузинским акцентом, Чигогидзе повторил непонятное по-монгольски, и оба рассмеялись, радуясь тому, что хорошо поняли друг друга.

Оказывается, Жамбал сказал, что хотел сегодня уложить еще триста метров пути, а впереди не засыпана труба. Чигогидзе достал свою «библию» и удивился сообщению Жамбала:

— Ведь я еще вчера велел Дзюню засыпать трубу!

Встревоженный Чигогидзе, поговорив еще немного с бригадой, поехал искать прораба по земляным работам Дзюня.

Но Дзюнь сам уже ехал к злополучной трубе на самосвале, а следом за ним шли два скрепера. Они с ходу забрали в резерве грунт и потащили к трубе. Туда же подъехали с десяток рабочих.

— Сайнбайну! — крикнул им сразу успокоившийся Чигогидзе, и, не оставившаяся, мы поехали в город Шарын-Гол.

Выйдя из ущелья, река Шарын-Гол широко распахнула свою долину. Склоны отступили далеко от реки, принимая мягкие, плавные линии. На правом берегу строился город горняков, а на противоположной стороне огромные экскаваторы, питаемые электроэнергией, переброшенной из Дархана по высоковольтной линии, уже вскрывали угольный пласт. Река была отведена от пласта четырехкилометровым каналом.

В самом городе Шарын-Голе уже много было двухэтажных домов, производственных помещений, магазинов, учреждений, хорошая столовая. Через год с наибольшим отсюда должны пойти эшелоны с углем.

На месте будущей станции колонна автомашин отсыпала широкую площадку. Машины непрерывным потоком двигались от карьера к насыпи и обратно.

Чигогидзе потрогал меня за плечо и сказал:

— Когда я попал в эту долину год назад, то первое, что увидел, были дикие козы. А вон там, на пологом склоне, стояла одна юрта. И больше ничего. Мы поехали тогда к этому стаду коз, и они от нас долго не убегали. Настораживались и, подняв головы, смотрели, кто это пришел. И только когда подъехали совсем близко — стадо заволновалось и бросилось в сопки. Может, они приходят и теперь хоть издали посмотреть на свои родные места?..

В столовой встретили Михайлова. День был субботний, и мы все трое условились поехать с ночевкой ловить рыбу. По дороге заехали на 254-й пикет накопать червей: только в этом одном месте на пойме Шарын-Гола были черви, потому что здесь, возможно, когда-то стояли юрты и бродил скот, да к тому же почва была влажная, с мощным покровом дерна; все рыбаки Дархана запасались червями на этом пикете.

Однако, подъехав к нему, мы увидели утюживший землю бульдозер. Следом за ним двигалась толпа людей с ведрами и железными банками. Чигогидзе позеленел.

— Вы что это, изверги, механизированную копку червей устроили? — выругался Реваз Ираклиевич.

Бульдозерист оправдывался, что он «только разок скребнул». Мы его тут же отправили назад, к насыпи, а рыбакам, любителям техники, пришлось взяться за лопаты — испытанный инструмент для копки червей. Накопали червей и мы.

Получив в Дархане разрешение от самона (сельсовет) на выезд, мы захватили с собой еще одного любителя-рыболова — инженера Дарханстроля Самбу — и поехали на реку Ирѳ.

Кажется мне, никогда я не забуду тех пустынных и красивых мест.

Километрах в двадцати от Дархана, за мостом через Шарын-Гол, от тракта отходит направо полевая, хорошо наезженная дорога. Из долины Шарын-Гола она поднимается на высокое плато, занятое посевами. Мы долго ехали среди полей уже созревшей пшеницы. Дорога то спускалась в широкие лога, то поднималась на пологие водоразделы. Но вот она круто свернула влево, и за небольшим лесом перед нами открылась долина Иро.

Наша машина то и дело спугивала стаи желтых степных куропаток; они так близко подпускали нас к себе, что одна из них, взлетая, ударилась о ветровое стекло.

Мы спустились к самой реке и, отыскав широкую заводь, остановились у нее. Ниже шумел перекат быстрой реки, выше был широкий плес.

Для ловли оставалось совсем мало светлого времени. Поэтому каждый торопился поскорее размотать удочки и нацепить червяка.

В реке всплеснулась крупная рыба.

— Таймень, — взволнованно сказал Михайлов, цепляя на ходу искусственную мышь на спиннинг.

У меня резко дернуло удилище, натянулась леска. Я осторожно повел. Рыба упиралась, кидалась в сторону, но я не торопился тащить. Через несколько секунд у моих ног в траве бился крупный ленок.

Об воду ударились удиллице Чигогидзе, и он вытянул тоже ленка, килограмма на два. До темноты мы все поймали еще по два-три ленка, потом клев прекратился.

Проведя долгий день без обеда, мы смотрели на закипавшую уху: чего в воде больше — воды или рыбы? Пожалуй, рыбы было больше. Ели долго и много.

На огонь прилетела большая сова и, выпучив глаза, села на ближайшей корявой березе. Водитель машины Николай лениво потянулся к ружью Михайлова. Его остановил Чигогидзе:

— Не трать патроны — может, уток увидим.

Сова посидела немного и так же бесшумно улетела.

Расстелив у костра кошму и плащи, мы легли. Дневная жара в Монголии резко сменяется холодной ночью, и нам пришлось укрываться всем, что было с собой.

Разговор шел о запомнившихся каждому уголках с красивой природой, где вот так же приходилось побыть на свежем воздухе, поваляться у костра. Рассказывая Самбу о дальневосточной тайге, о бурных реках Сихотэ-Алиня, чем-то похожих вот на эту Иро, и о том, как мы там ловили в них таких же ленков, я спросил его:

— Есть ли в Монголии настоящая тайга?

— До тайги здесь совсем недалеко, — ответил он. — Я даже хотел сегодня предложить вам поехать на реку Худэри: там рыбалка еще лучше этой и тайга рядом. Да время было позднее, ехать на сто километров дальше, чем сюда.

Самбу свернул из тамхи¹ большую папиросу и, прикурив от уголька, продолжал:

— Там такая дремучая тайга, что, кроме зверей, в ней никто не живет. Первый раз я попал туда еще в детстве, когда возил больного отца лечиться к Магнитному камню. Помню, пробирались на двух навьюченных лошадях по тропе, которую отец плохо знал. Он говорил, что тоже ездил к Магнитному камню еще мальчишкой с больным дядей, и спустя сорок лет, конечно, с трудом вспоминал дорогу. Но ехали мы все-таки правильно, а продвигались совсем тихо, потому что у отца болели ноги и ехать надо было осторожно. Он почти всю дорогу молчал, а я рассматривал лес, удивлялся вывороченным с корнями деревьям, через которые лошади едва перебирались. Лес стоял стеной. Выше всех деревьев были лиственницы. Иногда попадались кедровые рощи, а повсюду росли сосна, ель, отдельные кедры, береза и лиственница. После степей, где мы кочевали, такой темный лес показался мне жутким. А тут еще случилось несчастье.

Рассказ Самбу был неторопливым, подробным:

— Когда мы спускались к ручью, где хотели отдохнуть и попить чая, из кустов выскочил изюбр. Конь под отцом испугался и так прыгнул, что отец вылетел из седла и вывихнул себе руку. Я поймал коня и кое-как усадил отца в седло. Мы забыли об отдыхе и чае и поспешили дальше. Лошадь отца я вел в поводу. Под вечер мы добрались. У Магнитного камня оказалось уже много народа. Жили — кто в легких палатках, кто в шалашах, а кто и в юртах. Старый лама вправил отцу руку, а я тем временем поставил палатку и постелил в ней кошму. После ужина я сидел у костра, знакомился с другими паломниками. Здесь были и больные и здоровые, провожавшие больных. Утром я пошел вверх по склону посмотреть на Магнитный камень. Это была просто черная скала. Около нее на кошме лежал старик, он приставил к скале свои голые пятки. Вокруг камня валялись сломанные костыли. Их бросали у камня те, кто выздоровел. На выступах камня и вокруг на деревьях висели разноцветные лоскутки — знак благодарности за исцеление.

Память у Самбу была хорошая. Он продолжал:

— Невдалеке из-под груди камней вытекал родничок, из него больные жидким пили воду, а другие доставали у берега грязь и обмазывались ею. На дне

¹ Сорт табака.

родника, где грязь брать не дозволялось, лежали серебряные и медные монеты — тоже благодарность от больных. Напоив отца чаем, я отвел его к камню лечиться. Я тоже пил воду из прозрачного источника. Называли источник Аршан. Прожили мы у Магнитного камня больше двух недель, и отцу стало легче. По совету ламы он много раз обмазывал ноги грязью и грелся на горячем воздухе. За это время я привык к тайге, и она меня совсем не пугала. С одним молодым человеком, который тоже привез больного, мы ходили на охоту; у него был карабин. Я был загонщиком — уходил вперед, обходя козье пастбище, а потом начинал шуметь. Смотришь, одна, а то и две козы уже бежали на охотника... Мы почти все время ели свежее мясо. Два раза натыкались на медведя, и оба раза мы разбежались в разные стороны...

Самбу умолк.

— Побывал я еще в тех местах, но только зимой. всего два года назад, — заговорил он. — Мы снова отправились туда охотиться на коз. Беззащитное это животное — куда его гонят, туда и идет, совсем не соображает, что впереди засада. Нехорошая охота...

— А сейчас люди у Магнитного камня лечатся? — спросил Анатолий Никитич.

— Старики лечатся, приезжают туда даже километров за пятьсот, а то и больше. А знают этот Магнитный камень по всей Монголии.

Мне живо вспомнился Дальний Восток, глухая тайга. После жарких дней в монгольской степи с ее сухим пыльным воздухом я был готов хоть сейчас поехать в тайгу, чтобы побродить по ее всегда прохладной и свежей земле.

Но вода на перекатах Иро шумит так же, как на перекатах Хунгари. Там такие же хариусы. Только звезды на монгольском небе ярче и небо кажется глубже, бесконечней...

— Эй, рыбаки! — разбудил меня крик Анатолия Никитича.

Светало. Над рекой стлался густой туман. Костер давно погас. Поживаясь от холода, все стали подниматься. Надо было поскорее начинать рыбалку: в этот утренний час обычно бывает хороший клев — лучше было бы сейчас даже не греть чай и не завтракать.

Пожалуй, самая счастливая минута, какая у меня была в детстве, — это когда на реке Суете я поймал первого пескаря. С тех пор я и стал заядлым рыбаком. Было, конечно, у меня еще много радостей, но этого пескаря я помню по сей день. Подходя к любой реке или озеру, я всегда невольно слежу за гладью воды в надежде увидеть всплеск рыбы и расходящиеся от него круги.

Еще не взошло солнце, когда мы, все же согревшись чаем, начали ловлю.

Я закидывал удочку без поплавка в том месте, где тихая вода залива сливалась с быстрым течением реки. Там были водовороты — рыба их любит.

Резкий рывок, леску хлестнуло по воде, удище согнулось, и я подсек крупную рыбу. Она рвалась к быстрым струям воды, чтобы порвать леску. Я тащил, не давая ей разгуляться, — и вот на берегу уже трепыхался двухкилограммовый ленок. Опять все стихло.

Чгогидзе удлинил леску, и я посоветовал ему усилить грузило и снять поплавок. Размахнувшись, он закинул тоже к самому течению, и у него почти на лету приманку схватил ленок. Реваз Ираклиевич волновался, дергал, тащил рывками, но все же благополучно вытащил резвую рыбу. Ленок заглотал крючок так, что только с моей помощью удалось освободить снасть. И как только опять стало тихо, мы одновременно с Николаем поймали еще по ленку.

Михайлов и Самбу ушли со спиннингами вниз по реке, и я пожалел, что они ушли, — здесь так хорошо клева рыба. Мы уже поймали каждый по четыре-пять ленок, когда клев прекратился. Но немного погодя стали хватать наживу крупные хариусы.

Когда пригрело солнце, клев стал ленивым и редким. Вернулись из похода Михайлов и Самбу с двумя огромными связками ленок. Они вначале ловили спиннингами, но безрезультатно, а потом, найдя заводь, переключились на удочки.

Рыбы было так много, что теперь мы опасались, как бы она не попортилась на солнце. Пора было отправляться домой.

По дороге спугнули трех рыжих лисиц. Николай даже погнался за одной из них, но хитрый зверек повернул в крутую балку, куда направить машину было уже опасно. Словно поняв, что опасность миновала, лиса остановилась, оглянулась на нас и тихо поплелась своей дорогой.

К вечеру на нашей усадьбе, как обычно, собралось много народа. Из соседних юрт приехали монголы, пришли с прорабского пункта наши механизаторы, пришли несколько цыриков. Даже самая старая жительница усадьбы, день рождения которой мы недавно отпраздновали, сидела с внучатами на скамейке и смотрела на игру в волейбол.

Пожалуй, только один человек — шофер Леонид Иванович — оставался в стороне. Он сидел на крыльчке и чинил Витюшкину коляску. Леонида Ивановича можно было без оговорок назвать человеком уравновешенным и обстоятельным. Если он что-нибудь делал, то всегда добротнo, со вкусом и старанием; если говорил, то веско, с подробными объяснениями. Даже омские частушки, которые любил, он пел умело и степенно. Последнее время он привязался к ребенку. Как человек последовательный в поступках, он стал внимательнее и к Светлане. Вот и сейчас — не успела она выйти на крыльцо с ведрами, как Леонид Иванович отодвинул в сторону коляску и, забрав у нее ведро, мерным шагом пошел к колодцу.

Софья Ивановна, как ни строга, ничего ему не говорила: хотя за границей всякие любовные увлечения не поощрялись, в данном случае «ничего такого не было».

Леонид Иванович был мужчина лет за тридцать, еще холостой и, главное, трезвенник. Человек, что называется, правильный. Он жалел Светлану, старался помочь ей, занимался ее ребенком. А в нашем коллективе, к счастью, не было сплетников.

Леонид Иванович принес воды, еще раз сходил к колодцу и, управившись с этим делом, снова сел чинить коляску. Отремонтировав ее, он пошел заводить движок. Вскоре из кирпичного сарая донеслось тарахтенье мотора. Вспыхнули электрические лампочки.

7

В конце августа в Дархане собрали строителей железной дороги: правительство Монгольской Народной Республики обратилось к нам с призывом открыть сквозное движение поездов до Шарын-Гола 8 сентября, в День строителей.

После этого настали горячие дни. Жизнь на линии начиналась с семи утра, и скрежет механизмов, движение самосвалов с землей, тяжелых грузовиков с железобетонными конструкциями прекращались, когда было уже темно.

Очир в эти дни давал самую высокую выработку на экскаваторе. Бригада укладчиков пути Жамбала прошла Шарын-Гольское ущелье и стремилась быстрее выйти на конечную станцию, чтобы к сроку проложить все станционные пути. От укладки не отставала балластировка и рихтовка.

Прибывшего недавно в нашу группу из Москвы инженера Фомина, по просьбе Чигогидзе, пришлось направить в помощь строителям, и он стал временно работать мастером по возведению земляного полотна в Шарын-Гольском ущелье.

Каждый вечер Фомин руководил технической учебой молодых монгольских мастеров, а днем они закрепляли свои знания на практической работе. Отделанные его бригадами выемки и насыпи были похожи на картинки из учебников: ровные откосы, геометрически правильные кюветы и канавы, заправленные бровки полотна и точнейшее выполнение сливной призмы.

Разбивку он делал длинными шнурами, забывая на изгибах колышки. Монголам это очень нравилось, и они с ювелирной точностью выполняли сложные — лишь на взгляд простые — работы. Когда смотришь на такое полотно — радуется сердце. Ведь это все создается на века, и пусть потомки смотрят на эти правиль-

ные линии, созданные руками недавних пастухов, впервые ставших строителями ответственных сооружений.

Вечерами мы еще подолгу сидели у себя за чертежными досками, внося на ходу изменения в проекты, подготавливая исполнительную документацию на все сооружения дороги. Софья Ивановна вычерчивала сотни поперечников земляного полотна, Надя с Ириной составляли продольный профиль железной дороги. Николай Дмитриевич с остальными сотрудниками занимались водоотводными и регуляционными сооружениями, вычерчивали планы станции и готовили чертежи по искусственным сооружениям и по линейно-путевым усадьбам.

Проделанная за день полевая работа переносилась из нивелировочных и угломерных журналов, из пикетажных книжек на миллиметровку и ватман. Антонина Васильевна мастерским печатным шрифтом переносила все на кальку. Потом — перед сдачей дороги в постоянную эксплуатацию — с кальки снимут фотокопии, которые будут храниться до тех пор, пока существует железная дорога.

О рыбалке теперь можно было только говорить по вечерам за общим столом.

В этих беседах порою поддразнивали Леонида Ивановича, который никогда не принимал участия в наших рыбацких вылазках.

Это, видимо, его задевало. И вот чудо: в одну из пятниц он сам, без просьб, привез две банки червей, удилица и стал звать нас на рыбалку.

Поднажав на вечернюю работу, мы в воскресенье отправились вверх по Хары-Голу, где, по рассказам Жамбала, жившего с нами в одном доме, водились ленки и щуки. Фомин оборудовал снасть на налимов, я — на ленков, а Леонид Иванович — на окуней. Поехал и Николай Дмитриевич — правда, не рыбачить, а варить уху.

Жамбал привез нас на небольшой приток Хары-Гола. Здесь было неглубоко, а вода настолько прозрачная, что дно просматривалось до противоположного берега. Еще сидя в кузове машины, мы увидели большие стаи мелких рыб и забарабанили по кабине.

Остановились и стали доставать снасти. Стаи рыб бегали повсюду, но, завидя нас, пугались и убегали вниз или вверх по речке. Это зрелище растроило дух рыболовов: но не гоняться же за рыбами!

Леонида Ивановича я отвел к густым кустам и посоветовал ему сидеть тихо, а удочку забрасывать в узкий просвет между кустов. То же посоветовал я и другим рыболовам. Мы с Жамбалом пошли вниз по ручью разведать более глубокие места в надежде отыскать рыбу покрупнее.

Однако и на глубине клевали одни чебаки. Я уже хотел возвращаться, как в одной из заводей, под самым кустом, у меня такхватила крупная рыбина, что я чуть не выпустил удилице. Это был ленок килограмма на три. После этого я с новым азартом стал забрасывать удочку в разных местах, — но опять, кроме чебаков, ничего не было, и мы пошли к машине.

Каково же было мое удивление, когда Леонид Иванович стал махать нам рукой, чтобы мы не подходили к нему.

«Ну, — подумал я, — значит, и он втравился».

Со всякими предосторожностями, чтобы не испугать рыбу, мы добрались до него. Рядом с ним, покрытые травой, лежали десятки чебаков и большой хариус.

— Пойдем перекусим, — предложил я рыболову.

Он даже не обернулся, а только покачал отрицательно головой и прошептал: — Вот еще парочку хариусов подстерегу, тогда можно... — И снова сосредоточился на поплавке.

— Весной в Хары-Голе много рыбы есть, — сказал Жамбал, — только потом она уходит вот в такие мелкие речки и в ручьи, где вода чистая и холодная. Однако ленки и таймени сейчас еще выше ушли...

Жамбал рассказал, что в двадцати километрах выше по Хары-Голу, недалеко от поселка Дзун-Хара, есть черная гора и на ту гору пришел с Керулена молодой Чингисхан с ордой. С черной горы его воины, завязав глаза, пустили из луков

три стрелы, и все три полетели к закату. Тогда Чингис и повел свое войско на запад.

Ту же историю я слышал потом и от других монголов. Говорили также, что перед смертью Чингис запрятал все свои сокровища на дне Орхона, а тех, кто прятал, всех убил, а потом убил всех, кто убивал первых, а потом еще тех вторых, и теперь где эти сокровища — никто не знает.

— А много было золота и серебра и всего другого... Вот сейчас бы найти это! Наверно, весь Дархан на них можно было бы построить, — помечтал Жамбал.

Другие к этой легенде добавляли, что, мол, Чингис велел отвести Орхон по другому руслу, а потом, когда дно высохло, зарыл в него сокровища и приказал снова пустить реку по старому руслу...

Побродив по берегу, я стал звать домой, но Леонид Иванович, хотя с утра не ел и не пил, все сидел у речки и молчал. Только когда Фомин распугал рыбу, бросив в речку головешки от костра, Леонид Иванович поднялся и молча стал собирать в ведро свой первый улов.

8

Подходил торжественный день забивки последнего костыля и открытия сквозного движения поездов до будущей «монгольской кочегарки».

В Дархан приехал министр обороны Монгольской Народной Республики товарищ Ж. Лхагвасурэн.

По-праздничному одетые строители Дархана и прибывшие из Улан-Батора корреспонденты и кинооператоры занимали места в вагонах. В назначенное время, в десять часов утра, первый поезд отошел от дарханского перрона.

Короткие остановки на станции Промышленная, а потом на разъезде Перевальном — и вот уже поезд спускается к реке. Глубокие выемки, двадцатиметровые насыпи, крутые закругления — и поезд вырывается из них на просторную долину. Потом долина сужается в ущелье, а там, за поворотом, и станция Шарын-Гол.

На путях, на платформе много людей. Они съехались сюда с прорабских пунктов, из соседних юрт и айлов. Многие монголы в косматых шапках сидят на косматых лошадях.

Товарищ Ж. Лхагвасурэн подходит к концу укладки. Путеукладчик подает последнее звено. Жамбал с бригадой осторожно направляют его к стыкам, быстро сбалчивают, забивают костыли, а последний, серебряный, подают министру. Два удара молотка, последний костыль забит, и начинается митинг. Исполняются гимны Советского Союза и Монгольской Народной Республики. Министр говорит о братской дружбе наших народов:

— Мы вместе сражались на Халхин-Голе и одержали там победу. Здесь мы плечом к плечу одержали замечательную победу на трудовом фронте...

Выступают руководители дарханского промышленного района, механизаторы, рабочие.

После митинга был устроен банкет. Под огромным пологом накрыты были столы с национальными монгольскими закусками.

А потом всех пригласили на стадион — посмотреть монгольскую борьбу. Боролись сразу несколько пар. Борцы в сапогах с загнутыми вверх носками, в трусах и куртках, прикрывающих только спину и руки, упирались друг в друга лбами, держа противника за одежду. Каждый выжидал удобный момент, чтобы перейти в атаку. Судьи подбадривали их и поторапливали ленивых шлепками по ягодицам.

Но вот борцы кинулись в атаку, стараясь оторвать противника от земли или, дав подножку, повалить его на спину.

Наконец одному удалось бросить соперника на спину. Судья, объявив победу, поднял вверх руку победителя, а тот после этого, раскинув в стороны руки, как крылья, исполнил очень красивый и величественный «танец орла».

Нас пригласили в юрты пить кумыс, а на улице организовали монгольскую борьбу русские. Чигогидзе положил на лопатки заместителя начальника строительства и, к великой потехе наших хозяев, попытался исполнить «танец орла» и ходил вокруг побежденного, делая зверское лицо.

Весело было!

9

В сентябре, когда началась жатва хлебов, я попросил разрешения съездить в один из госхозов республики. Самым близким был госхоз Ирò, и дорогу туда было найти нетрудно.

Выехали мы на рассвете и, проехав по тракту в сторону Сухэ-Батора, свернули за рекой Шарын-Гол вправо, на полевую дорогу. Потом поехали по старому караванному пути Кяхта — Урга.

Веками шли здесь из Китая караваны верблюдов с чаем, с монгольской шерстью и кожами, гнали в Россию отары овец, конские табуны, стада коров, быков и яков. Из России везли в Монголию мануфактуру, металлические изделия и предметы домашнего обихода. Сейчас тракт запустел; по нему проходят только случайные машины, да иногда пастухи прогонят овец — но и то только до реки Ирò. Перекинутый когда-то через реку деревянный мост за ненадобностью давно разобран. Мы посмотрели на остатки береговых свай, сгнившие толстые бревна и поехали по слабо наезженной дороге среди кустарника и высокой травы.

Через полчаса показался госхоз. На правом берегу реки раскинулась центральная усадьба. Окруженная пустынной местностью, она показалась нам очень большой. Центр ее составляли большие одноэтажные дома, длинный корпус мастерских, электростанция, контора, магазин. Вокруг стояли деревянные жилые домики. Немного на отшибе, у подножия крутого склона, возвышались скотные дворы, а рядом с ними — юрты.

Нам указали квартиру консультанта при директоре госхоза, специалиста из Советского Союза Петра Дмитриевича Кравницкого. В госхозе, кроме него, жили еще две русские семьи — механика и электрика. Они редко выезжали из госхоза и жадно расспрашивали о всех новостях.

Только за обедом настала моя очередь задавать вопросы.

Петр Дмитриевич, окончив сельскохозяйственный институт, работал в Целинном крае, а оттуда полтора года назад приехал в Монголию, тоже на освоение целины.

Еще совсем недавно по долинам рек Иро и Худэри, рассказывал он, земли пустовали, а сейчас двадцать тысяч гектаров под пшеницей. Подняли пока только темно-каштановые почвы, с большим содержанием гумуса. А если в будущем можно будет внести удобрения, тогда, конечно, площадь увеличится во много раз.

Пока собирают хлеб по десять — двенадцать центнеров; вчерашние пастухи только еще учатся выращивать урожай. Но уже семьдесят молодых монголов обучились водить тракторы, стали комбайнерами.

В госхозе есть фруктовый сад в сорок гектаров — яблоки, вишни и смородина. Этот сад вырастили монголы и теперь обрабатывают под руководством своего агронома. Агронома все зовут Галя, она еще совсем молодая девушка, окончившая плодово-ягодный факультет сельскохозяйственного техникума в Улан-Баторе. Ее учителем был член-корреспондент Монгольской академии наук Гамсурэн.

Главный доход госхоз получает и теперь от скотоводства. На его землях пасутся тридцать тысяч овец и полторы тысячи коров (дойтся, правда, только сто пятьдесят, а остальные откармливают на мясо).

— Имейте в виду, что всем сложным хозяйством управляют монголы, — предостерег меня от возможной ошибки Петр Дмитриевич. — Моя роль сводится исключительно к консультации, к передаче нашего советского опыта.

Директор совхоза Нямжаргал учился в Алма-Ате, а до этого окончил партийную школу в Улан-Баторе. В детстве он был аратом. В 1939 году воевал с японцами на Халхин-Голе.

Я попросил Петра Дмитриевича познакомить меня с директором госхоза, но Нямжаргал уехал на поля. Попросив в конторе передать ему, что вернемся вечером, мы поехали на дальние поля в долину Худэри.

Полевой дорога от госхоза проходила по такой широкой долине, что впору была бы большой реке. но по ней струилась небольшая речушка. Роскошные пастбища лишь изредка сменялись камышами и осокой вокруг небольших озер, по которым плавали дикие утки.

Потом наш путь пошел на восток. Поля исчезли. Перестали попадаться и юрты и отары овец. Всюду колыхалась пожелтевшая трава, да на сопках виднелись одинокие деревья. Убежит иногда от дороги облезлая рыжая лисица, вспорхнет стая куропаток — и снова впереди только узкая ленточка полевой дороги, окруженная зелено-желтой травой.

Перевалив небольшой водораздел, мы выехали в долину ручья, берега которого поросли кустарником и березками. У самой воды стоял одинокий беленький домик. Петр Дмитриевич сказал, что с соседних пастбищ сюда сгоняют овец для стрижки. Трава далеко вокруг домика была выщипана или вытоптана до самой земли.

Вскоре перед нами открылся вид на долину реки Худэри.

Вся долина занята была уже созревшей пшеницей. Желтые поля поднимались почти до макувок холмов и спускались до самой реки.

За рекой черно-зеленая тайга прикрывала складки гористой местности.

Я тщательно отыскивал глазами хоть какое-нибудь селение, но вся левая сторона долины покрыта была полями, а на правой стояла тайга. Наконец, приглядевшись, я увидел три юрты и небольшой деревянный амбар, приютившиеся на опушке березовой рощи. Это был полевой стан.

Там было шумно — рабочие съехались на обед. Меня познакомили с молодыми комбайнерами Мигмаром и Алтангирылом. Здесь же работали вместе с ними их жены, тоже трактористки. Каждая молодая чета вспахала весной по пятьсот гектаров целины. А в прошлом году они отличились на уборке пшеницы. Правда, на другой день после свадьбы жена Алтангирыла звала мужа уехать подальше в тихую степь, в юрту, к отарам овец, к табунам. «Даже вспомнить смешно!» — говорит она теперь.

Пока мы знакомились с членами бригады, к стану подскочил на резвом коне агроном Балдындорж. Он привязал лошадь к дереву и быстрыми шагами подошел к нам. Ему, пожалуй, не было еще и двадцати пяти, но механизаторы были еще моложе. Поздоровавшись, Балдындорж сказал что-то по-монгольски Алтангирылу и пригласил меня в юрту обедать.

Все пошли к речке умыться. Дольше всех мылись Алтангирыл и Балдындорж. Они по нескольку раз намыливались и из ведра обливали друг друга. Глядя на них, я вспомнил, что ламы учили умываться одним глотком воды — иначе смоешь счастье... Эти, видимо, искали свое счастье без помощи ламы.

Нас угостили свежими пшеничными лепешками, бараниной и зеленым чаем. Балдындорж рассказывал, как он учился в улан-баторском институте; потом сказал, что уборку всей пшеницы здесь, на его участке, закончат за пять дней.

После обеда мы, усевшись в кузове грузовика среди веселой молодежи, одетой в лоснящиеся от масла и мазута комбинезоны, поехали вверх по склону — туда, где еле виднелись комбайны.

Мы ехали среди золотистой пшеницы, колыхавшейся под легким ветром, словно приветствуя жнецов.

Один за другим прыгивали у своих комбайнов механизаторы. Мы остались в кузове втроем и проехали километров пять вниз по Худэри до конца полей. Возвращаясь, я видел, как косили пшеницу.

Маленький, еле заметный стан на берегу реки... Уберут эти поля, увезут урожай, уедут люди на Иро, — и во всей долине останется на зиму одна юрта сторожа, а рядом с ней — на приколе до весны — корабли полей, комбайны.

Мы возвращались в Дархан уже под вечер. Как ни спешил шофер, было уже совсем темно, когда мы добрались до центральной усадьбы госхоза. Прощаясь, Петр Дмитриевич советовал нам ехать в Дархан по правому берегу Иро, где, по его словам, дорога была лучше.

Светила луна, и обступившие долину Иро горы были хорошим ориентиром. Отъехав километров тридцать, мы увидели на дороге колонну автомашин. Они стояли с потушенными фарами, и около головной собрались шоферы. Николай затормозил: он всегда останавливался, готовый оказать помощь, если видел стоящую машину.

Я спросил, куда они едут. Пожилой монгол ответил:

— Москва хлеб везем. Там этот год урожай плохой, помогать надо.

— Спасибо!

Николай тут же вместе с шофером-монголом нырнул под капот. Поломка была вскоре устранена. Вместе покурили ради знакомства.

Мы отъехали от них и поднялись на перевал. Вдруг на обочине показался всадник. Его голова, покрытая меховой шапкой, была гордо закинута. Натянув поводья и приподнявшись в седле, он сдерживал резвого коня. Николай остановился — может быть, этому человеку нужно что-то от нас? Но всадник вдруг повернул и ускакал в ночную тьму.

Мы вышли из машины — отдохнуть от езды. Нигде ни огонька, ни звука, только ветер шелестел высокой травой.

Я вспомнил, что степные жители очень любопытны, и вот этот всадник, может быть, тоже, заслышав далекий звук мотора, примчался к дороге от своей юрты или от своей отары овец, только чтобы посмотреть, кто едет в столь поздний час, какая машина бежит по пустынной дороге...

10

Против нашей усадьбы на берегу Хары-Гола появилась юрта. Еще вчера поздно вечером ее там не было, а сегодня из нее вьется дымок и рядом с ней пасутся лошади. Еще вчера я думал, глядя на желтеющую густую траву, как много остается ее нескошенной на пойме, а сегодня там стрекочут сенокосилки.

Вечером я пошел посмотреть на энтузиаста, который, несмотря на поздний час, все еще работал.

— Сайнбайну, — приветствовал я молодого человека, удобно примостившегося на железном сиденье сенокосилки.

— Сайнбайну! — прокричал он мне в ответ, подгоняя лошадей. Он запел веселую монгольскую песенку и, не останавливаясь, поехал дальше.

Я ждал, когда он объедет большой круг покоса, чтобы поговорить с первым косцом, которого увидел в Монголии.

Объехав круг, он, очевидно, поняв мое желание, остановился, соскочил с сиденья и подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки. Он назвал себя: «Пунцаг», я назвал себя и объяснил, зачем пришел на его покос.

— Маленько пусть отдыхают, — сказал он, махнув рукой в сторону лошадей, и сел на скошенный луг, подогнув под себя ноги.

Я угостил его папиросой и спросил, откуда он и долго ли простоят его юрта на берегу Хары-Гола.

— Госхоз Дархан. Комбайнер, — похлопал он себя не без гордости по груди.

— Что же так поздно носишь? Ведь трава желтеть начинает, да и вечер уже? — допытывался я.

— Ничего, еще хорошая. К зиме совсем желтая будет, а скот все равно пасется всю зиму, — пояснил он.

Мы разговорились, и Пунцаг рассказал, что он в этом году отстал от своего товарища. Удонжаргал скошил и обмолотил комбайном восемьсот гектаров хлеба, а он, Пунцаг, только пятьсот четыре и теперь решил догнать своего друга по пока-

зателям. Удонжаргал сейчас работает в дарханских мастерских на ремонте машин, а он попросился косить сено.

Мой новый знакомый еще рассказал, что их госхоз молодежный, директор Санжажамц замечательный руководитель и очень грамотный человек. Окончил университет в Улан-Баторе и по призыву Народно-революционной партии приехал организовать этот госхоз, а раньше был «большой дарга» — начальник.

Я спросил еще, много ли в госхозе сеют хлеба, какие снимают урожай, как зарабатывают люди. Пунцаг посмотрел на лошадей, щипавших траву, и хотя, видимо, торопился возобновить косьбу, все же удовлетворил мое любопытство.

— У нас в госхозе, — сказал он, — земли много — сто восемьдесят тысяч. А пахотной только сорок тысяч. В этом году посеяли десять тысяч пшеницы, еще овса, да еще ячменя, да триста кукурузы — всего тринадцать тысяч. Собрали пшеницы по двенадцати центнеров, по двести тридцать зеленой кукурузы — коровы и овцы едят. На будущий год, директор говорил, сеять будем восемнадцать тысяч, так что поработать можно будет. И заработать тоже.

— Устали кони-то? — поинтересовался я.

— Ничего, много их у нас, завтра других запрягу. — С этими словами он взобрался на свою косилку.

Я еще постоял, посмотрел и пошел на усадьбу.

Стрекот сенокосилки слышен был, когда мы уже подумывали о сне. И еще много вечеров мне приходилось слышать, как до поздней ночи Пунцаг косил траву. В разных местах поймы появились невысокие стога сена.

11

Руководители Дарханстроя собрались на совещание в кабинете начальника — товарища Баву. Здесь были специалисты из Чехословакии и Польши. Чигогидзе и приехавший недавно из Москвы главный инженер проекта Горбачев, Михайлов и я представляли на этом совещании наше управление.

Баву хорошо говорил по-русски, и переводчиков на совещании не было. Высококвалифицированный инженер, Баву хорошо знал строительное дело и экономику; во время своего выступления он редко заглядывал в бумаги, и только для того, чтобы назвать точную цифру. На вид ему было не больше тридцати пяти лет.

На совещании среди других вопросов решались и дела, непосредственно относящиеся к нам.

Баву просил управление нашего строительства в спешном порядке построить подъездные железнодорожные пути к будущей ТЭЦ, к цементному заводу, который строили в Дархане с помощью Чехословакии, а также к заводу силикатного кирпича и известковому заводу, где работают товарищи из Польши. Кроме этого, Баву ознакомил участников совещания с задачами, которые поставлены партией и правительством в МНР в связи с переходом населения к оседлому образу жизни; для выполнения нужны цемент, известь, кирпич, которые будут давать и строящиеся заводы в Дархане.

Он сообщил, что правительство дало указание о приемке в постоянную эксплуатацию железной дороги Дархан — Шарын-Гол к празднику Великого Октября. Этому мы были рады, так как весь коллектив наших строителей уже взял на себя такое обязательство, и дело было только за решением правительства МНР.

После совещания мы еще обсуждали с чехословацкими и польскими товарищами проблему подъездных путей к строящимся с их помощью заводам.

Чигогидзе тут же записал в свою «библию» сроки начала и конца укладки по всем ветвям, переброску на подъездные пути землеройных машин и бригад. Мы с Горбачевым обещали в самый короткий срок сделать нужные разбивки и выдать проекты.

От станции Промышленная, в шести километрах южнее Дархана, вскоре протянулись рельсы к будущей ТЭЦ и начали расти насыпи к строящимся заводам.

12

В середине октября похолодало, но дождей все не было. Уже больше двух месяцев на небе не появлялись облака; только к вечеру, когда солнце садилось, они на короткое время надвигались с запада, словно для того, чтобы украсить закат.

Я уже соскучился о теплом дождике, скучал даже о тучах и пасмурных днях, часто надоедавших на родине, особенно в это время года. Но ярко светило солнце, а с ночного неба не исчезали звезды...

В составе приемочной комиссии, которую возглавлял Лхагвасурэн, были также специалисты из Советского Союза, работавшие в управлении Улан-Баторской железной дороги. Разбившись на бригады, комиссия начала приемку.

От Дархана все шли пешком по полотну дороги, тщательно проверяя сооружения. Но Чигогидзе, Михайлов и все мы были спокойны: свое слово коллектив сдержал. До самого последнего дня мы планировали откосы, выправляли пути. Еще раз проверяли, все ли сделано в зданиях и жилых домах железнодорожников, осматривали уклоны водоотводных канав и резервов. Несмотря на это, комиссия находила, конечно, мелкие недоделки и неисправности, и они тут же, на месте, устранялись.

На открытие постоянного движения поездов к «монгольской кочегарке» приехали 2 ноября первый секретарь Монгольской народно-революционной партии и председатель Совета Министров товарищ Ю. Цеденбал, председатель Великого народного хурала МНР Ж. Самбу и от Советского правительства председатель Президиума Верховного Совета РСФСР товарищ Н. Ф. Игнатов.

Было холодное ноябрьское утро, но на душе у меня было радостно и тепло. Комиссия управления дороги признала работу отличной и просила правительственную комиссию утвердить эту оценку.

Перед поездкой в Шарын-Гол товарищи Ю. Цеденбал и Н. Игнатов были на закладке фундамента Дарханской ТЭЦ.

По монгольским традициям, Ю. Цеденбал под первый кирпич здания ТЭЦ положил плитку прессованного чая.

Когда я пишу эти строки, корпуса ТЭЦ уже высоко поднялись к монгольскому небу и по высоковольтным линиям пошли многие тысячи киловатт электроэнергии, заработали сложные агрегаты и станки заводов, яркий свет зажегся в домах и юртах и питаемые электроэнергией экскаваторы грузят больше угля в Шарын-Голе.

После закладки ТЭЦ правительственный поезд с гостями и строителями быстро пошел в Шарын-Гол. За разъездом Перевальным остановились на двадцатипятиметровой насыпи, чтобы осмотреть проложенную под насыпью трубу для про пуска воды. Она была длиной около ста метров и походила на двойной тоннель. По крутым тропинкам, проложенным строителями, на дно глубокого ущелья спустились все члены правительственной комиссии. Ж. Самбу — самого пожилого — поддерживали под руки. Железобетонные жерла трубы поглотили всех желающих пройти под ее темными сводами.

В Шарын-Голе напротив вокзала состоялся митинг.

Товарищ Ю. Цеденбал говорил о большой помощи, оказанной Советским Союзом монгольскому народу в строительстве социализма на протяжении всех лет, и об этой дороге, построенной усилиями братских народов. Он отметил личные заслуги особо отличившихся строителей — монголов и русских, назвав среди них имена Чигогидзе, Горбачева, Михайлова.

13

Сдав дорогу в эксплуатацию 4 ноября, мы все получили отгул за проработанные выходные дни. До 9 ноября мы были свободны, и очень многие строители, в том числе и наша группа, решили ехать на охоту и на рыбалку. Кстати, Николай со своим «газиком» был теперь закреплен за нами.

Седьмого ноября мы ездили в Дархан на демонстрацию, а потом коллективно, за большим столом, отмечали праздник. Жаль было нам, что в этот день мы так далеко от родных мест, от своих семей, но до глубины души тронуло нас, советских людей, то, что своими глазами, своими сердцами мы узнали, что наш великий праздник так же велик и для монгольского народа.

Семнадцатого ноября нас снова пригласили на торжества. Из Улан-Батора приехали члены правительства — награждать строителей железной дороги Дархан — Шарын-Гол. Клуб был полон.

Софью Ивановну увидел ее старый знакомый — оператор кинохроники из Улан-Батора — и решил заснять всех нас на пленку.

Его подручные притащили свои «юпитеры» и осветили нас. Мы подшучивали над Софьей Ивановной: ведь это благодаря ей мы появимся на экранах Монголии!

14

В конце ноября морозы доходили до сорока, а снег все еще не выпал. Только в декабре землю чуть-чуть прикрыло белой пеленой. Но через неделю солнце съело ее, и сухая трава опять придала земле прежний желтый цвет.

На пастбищах скот с наступлением морозов стал лохматым и сгорбился. Верблюды до этого встречались редко, теперь они паслись у нашей усадьбы целым стадом.

Сено, поставленное в стога на пойме Хары стараниями энтузиаста Пунцага, было огорожено плетнями. Видимо, его берегли: ведь впереди еще долгая и злая зима, только запасы сена могут выручить скотоводство.

Глядя на лохматых и сгорбившихся коров и лошадей, я знал, что они в скором времени найдут себе пристанище в теплых помещениях ферм, которые будут построены; промышленный комплекс Дархана ускорит уже начатое строительство, из Дархана пойдет цемент, кирпич, известь — самые необходимые материалы для ферм...

Но заводы еще только строились.

К ним мы должны были прокладывать железнодорожные пути.

15

Мы сидели в прокуренном кабинете Чигогидзе, рассматривая полученные из Москвы чертежи Водоканалпроекта.

— Вот елки-палки! — нервничал Чигогидзе. — Картинка! А дела ни на грош. Нарисовали ограждающий заводы канал, воду из него по водосбросу выпустили к полотну железных дорог и к шоссе, запроектировали под ними длинную трубу, но дальше этой трубы ведь течь воде-то некуда.

— Нет, как же? Вот от трубы снова четырехкилометровый канал до самой реки Хары нарисован, — ткнул пальцем в чертеж прораб Кабанов.

— Вот именно что нарисован! — безрадно перебил прораба Михайлов. — Но ведь этот канал без уклона, и вода по нему не потечет: отметки лотка трубы и воды в Харе почти одинаковые... Рой этот канал сколько хочешь, а вода все равно будет топить дороги...

Вопрос с выпуском воды не был решен. А проектная организация находилась в Москве. Не решен был и вопрос, как строить огромную двухчочковую трубу под железными дорогами, по которым ходят поезда, и под действующим шоссе Наушки — Улан-Батор. Поднять трубу выше к поверхности земли не позволяла недостаточная высота насыпи железных дорог. Но, как бы там ни было, сильно заглубленную трубу нужно было поднимать на метр выше.

— Давайте ее сплуснем, — предложили мы с Горбачевым. — Уменьшим высоту, а ширину увеличим на столько, на сколько нужно для пропуска через нее двадцати кубометров воды в секунду.

Опять считали габариты трубы, прикидывали уклоны канала — наше предложение подавало надежды... Но чтобы быть уверенными, требовалось разработать новый проект в деталях и, кроме того, разработать проект организации строительства этого сооружения под действующими дорогами.

— Пишите на проект рекламацию и высылайте его авторам на переделку в Москву,— предложил Горбачев.

— Вы что? Себя без ножа зарезать предлагаете?— поднялся Чигогидзе.— На это полгода уйдет, а нам через неделю строить надо. Ваша группа и должна сама проектировать,— заключил он.

— А у нас прав нет отменять чужие проекты, да еще утвержденные,— возразил Горбачев.

— Раз дело требует — значит, право есть. Вместе отвечать будем,— отрезал Чигогидзе.

Формально мы, конечно, не имели права переделывать чужие проекты и могли от этого отказаться, но жалко было времени. Ведь пока дойдет до Водоканал-проекта рекламация, а там будут обсуждать, совещаться, искать, не видя местности, какие-то новые решения, а потом разрабатывать и печатать новые чертежи, пока выедут проектировщики согласовывать проект с управлением Улан-Баторской железной дороги, пройдет много месяцев. Мы с Горбачевым решили пойти на риск и взяли все выполнить своей группой.

Три дня мы работали, и за эти дни на усадьбу не раз приезжали Михайлов и Чигогидзе. Но когда проект был наконец готов, оказалось, что не хватает бетонных блоков для фундаментов (ведь мы вместо двух отверстий трубы запроектировали три, уменьшив их высоту).

— Возведем фундамент из монолитного бетона,— безапелляционно заявил Михайлов.

— Это при таком-то морозе, да еще под действующей железной дорогой?— удивился Горбачев.

— Да, и при таком морозе можно класть холодный бетон,— повторил Михайлов.— Я уже продумал, какую выбрать марку быстротсхватывающегося бетона. А после кладки мы утеплим его соломой.

— А инструкции?— возразил Горбачев.

— Инструкции? Практика говорит, что можно.— И Михайлов с торжеством развернул свежий технический журнал Госстроя СССР.

— Ладно, валийте!— пробежав журнальную статью, согласился Горбачев.— Только согласуйте с Улан-Баторской дорогой.

Сказав это, Горбачев согнулся над столом, держась рукой за грудь. Отведя его и уложив в постель, я хотел послать в Дархан за врачом.

— Не надо, пройдет. Это стенокардия.— слабо проговорил он и положил под язык таблетку. Через несколько минут ему стало лучше. Он встал с постели, закурил. А в двенадцать ночи к нам прибежал Бурмистров и сказал, что Горбачеву плохо.

Мы побежали вслед за Бурмистровым: я — будить Леонида, Ирина — за Софьей Ивановной. Машина на морозе заводилась плохо, хотя мы и налили в радиатор горячей воды.

Пока прогревался мотор, я еще раз забежал к Горбачеву. Он лежал бледный, губы запеклись. На вопросы не отвечал и часто стонал. Женщины давали ему какие-то сердечные капли и ставили горчичники. Я понял, что дорогá каждая минута.

В окнах больницы уже не светился огонь, я стал яростно колотить во входную дверь. Мне открыла монголка в халате. Когда я объяснил, в чем дело, она побежала за врачом. Дежурный врач-рентгенолог Слюсарь понял меня с полуслова, быстро оделся, захватил чемоданчик с медикаментами, и мы погнали машину обратно.

Двенадцать километров проехали за десять минут. Вбежали в квартиру Горбачева. Врач стал ему делать уколы, один за одним. Спустя несколько времени

Горбачев начал отвечать на вопросы более внятно, но боли у него, видимо, не прекращались. Снова кипятили шприц. Врач сделал внутривенное вливание. Наконец Горбачев как будто бы задремал.

Пробыв у нас до трех часов ночи и сказав, что больше ничего сделать нельзя, доктор уехал, а рано утром пришла машина скорой помощи. Со всей осторожностью мы перенесли в нее больного и отвезли его в больницу.

У него оказался инфаркт. Ему надо было пролежать в больнице не меньше семи-восьми недель. Мы дежурили у него все это время круглые сутки: днем женщины, а ночью мужчины.

16

На месте строительства трубы пришлось запроектировать временный обход для трансмонгольской магистрали и идущей в этом месте рядом с нею железной дороги Дархан — Шарын-Гол, отнеся их временно в сторону от места строительства. После постройки трубы надо было положить их на прежнее место; для этого следовало подготовить для обеих дорог новое полотно. Рассчитав все детально, я направился в дарханскую дистанцию пути — согласовать предварительно этот проект, так как рассматривать его без такого согласия управление дороги все равно не станет.

Я решил пройти от усадьбы до Дархана пешком — с тем чтобы посмотреть проложенную Бурмистровым трассу временного обхода.

Легкая морозная дымка повисла над долиной Хары, приглушая все звуки и шорохи. Тишину иногда нарушали лишь далекие звуки идущих от границы Советского Союза в глубь Монголии поездов да мерное постукивание молоточков путевых рабочих. Натянув поглубже меховые шапки, пряча от мороза лицо, шагают эти рабочие вдоль рельсового пути, проверяя его исправность. В Наушках они принимают эстафету от своих советских друзей, таких же путевых рабочих, бригадиров, дорожных мастеров, и несут ее дальше — через всю обширную страну, с севера на юг, через горные перевалы и пустыню Гоби, — постукивая молоточками по рельсам.

К десяти часам утра я был уже около конторы. Мне посчастливилось застать на месте ее руководителей и познакомиться с ними поближе.

Начальник дистанции Шагдарсурэн двенадцать лет назад пришел юношей на железную дорогу из далекого аймака, где вместе с отцом пас овец и лошадей. Он смело взялся за ключ и молоток. Бригадирами и дорожными мастерами были русские, а Шагдарсурэн тогда по-русски совсем не понимал. Через год он стал уже немного говорить по-русски, а русские по-монгольски, и учиться работе стало много легче.

Потом Шагдарсурэн стал бригадиром, дорожным мастером, ревизором по безопасности движения поездов, по путевому хозяйству, а с 1960 года — начальником дарханской дистанции пути. Когда я с ним познакомился, ему шел тридцать первый год.

— Дистанция ежегодно дает экономию. В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году дали двести семьдесят тысяч тугриков, — гордо заявил он. — Во всех путевых бригадах монголы. Дорожные мастера теперь тоже монголы. И ничего! Успешно справляются с делом.

На всей большой дистанции оставался только один советский специалист — главный инженер Михаил Алексеевич Бляшкин. Он рассказал откровенно, в присутствии монгольских товарищей:

— Когда я ехал из Тамбова в Монголию, я думал: нескоро удастся мне вернуться оттуда... Когда-то еще вырастут национальные кадры железнодорожников? С первых дней мне пришлось изменить свое мнение. Такую жажду знания я не всегда встречал даже у себя дома.

Начальник дистанции и главный инженер сидят в одном кабинете. Их столы разделяет только ковровая дорожка. И беседа наша была общей.

Мне хотелось продолжить ее, но я не мог отнимать много времени у моих хозяев и только попросил их рассмотреть наш проект временного обхода. К моему удивлению, проект был рассмотрен и согласован в течение трех минут. Шагдарсурэн просто сказал, что знает это дело меньше, чем мы, и нам доверяет, а инженер Бляшкин имел, видимо, большой опыт и, взглянув на крутизну закруглений обхода, без лишних слов дал свое согласие. Подписав проект, они вернули мне ватман.

«Вот, — думал я, — на наших дистанциях мне пришлось бы не раз приходиться с подобным проектом, снять копии, размножить их и оставить. Меня обязательно послали бы в технический отдел, где я должен был бы получить заключение, и не иначе, как в письменном виде, и только потом, после совещания, согласовали бы проект — без изменений, но со множеством оговорок. Здесь этого нет, потому что у руководителей и хватает времени и сил, чтобы самим учиться и чтобы вырастить таких замечательных бригадиров, как Цевэндорж и Лхамсурэн, таких рабочих, как Цэрэндамба и Сандагвжав».

17

На другой день мы с Михайловым рано утром выехали в Улан-Батор, чтобы утвердить проект в управлении дороги. Нам повезло: начальник строительства уехал в Иркутск и Чигогидзе дал для поездки «Волгу». Если бы начальник был в Дархане, пришлось бы нам трястись триста километров в холодном «газике».

В ранний час на тракте было пусто, и, хотя часто встречались высокие перевалы, машина шла быстро. В ста километрах от Улан-Батора начинался асфальт.

Главный инженер Улан-Баторской железной дороги Николай Николаевич Крутовский принял нас без проволочки. Для рассмотрения проекта он вызвал начальника службы пути Лхагвасурэна и движенцев. Лхагвасурэн не возражал против проекта, а движенцы были, правда, не совсем довольны тем, что на временном обходе придется ограничить скорость прохода поездов до тридцати километров в час, но, понимая, что другого выхода нет, с нами согласились. В течение часа проект был утвержден начальником дороги.

И опять я невольно вспомнил свой опыт согласований на наших дорогах. Главный инженер написал бы резолюцию службе движения: «На рассмотрение». От движенцев нас послали бы по всем другим службам. Мы ходили бы по кабинетам, собирали подписи, замечания с различными претензиями. Начальник или главный инженер службы сами наш проект рассматривать не стали бы, а послали в свой аппарат — а там один уехал в командировку, другой сидит на совещании, третий болен. И ходить бы нам неделю по огромному зданию, собирая «визы» и «замечания»...

Уж так издавна у нас повелось, что вышестоящий не подпишет без нижестоящего, а нижестоящий, чтобы не ударить лицом в грязь перед вышестоящим, придумывает разные претензии к проектировщикам и строителям, не считаясь с тем, во что обойдутся его претензии государству.

Занимаясь у себя дома проектированием множества железнодорожных тупиков к складам минеральных удобрений и самих складов, я натолкнулся на беззащитное, ничем не прикрытое рвачество некоторых руководящих работников железных дорог: «Ах, раз вы будете строить тупик, то постройте заодно для нас на станции маневровые пути, сделайте электрическую централизацию стрелок всей станции, удлините на станции пути», — и еще многое, что не имеет совсем никакого отношения к складу минеральных удобрений и к его тупику.

«Но позвольте, — отвечал я, — ведь на развитие станций государство отпускает вам и так немалые деньги».

Ответ на это был прост: «Не сделаете — не согласуем проект». А некоторые еще добавляли: «Сейчас на сельское хозяйство правительство отпускает много денег, почему бы и нам не воспользоваться ими? Ведь у государства один карман...»

И вот маленький тупичок длиной в триста — четыреста метров становится баснословно дорогим, во много раз дороже самих складов.

Я писал об этом в газете «Советская Россия» (статья «Тупик за сто тысяч»), писал и в газете «Гудок» (статья «Легче спроектировать, чем согласовать»), нажил множество недругов, но решил не сдаваться. И вот месяцами согласовываю эти тупики, околачиваю пороги в управлениях дорог, в Министерстве путей сообщения, в редакциях газет. Кое-чего добиваюсь в каждом случае по отдельности. И утешаюсь тем, что веду счет сэкономленным сотням тысяч рублей.

Как же тут не вспомнить с благодарностью Николая Николаевича Крутовского, который в Улан-Баторе не послал меня по всем службам, а утвердил проект за один час, тут же, в своем кабинете. Такого случая в моей жизни еще не было...

Утвердив проект, мы с Михайловым все же решили, несмотря на сорокаградусный мороз, посетить дворец Богдо-Гэгэна Жавзандамбы VIII — последнего хана Монголии.

В теплой комнате у входа мы нашли работника музея, и тот, получив с нас за осмотр по два тугрика, предупредил:

— С собой ничего не уносите.

Мы пообещали ни к чему даже и не притрагиваться, и, успокоенный нашими заверениями, смотритель музея поспешил обратно в тепло.

Уже у входа в первый внутренний двор мы были поражены огромными статуями привратников храма. В ярких одеждах, со свирепыми лицами, они сидели на скамьях, придавив к земле ногами маленьких бедно одетых людишек. Эти маленькие человечки, меньше подошвы сапога грозного привратника, видимо, представляли собой верующих, безгранично покорных церкви.

Во втором дворе расположено несколько отдельно стоящих храмов, украшенных замысловатым орнаментом.

Вход и паперть храма Оракула украшены богатой росписью. Плафон расписан изображениями врагов, сценами их гибели: отрубленные головы, ноги, распостертые тела...

Бронзовая статуя Чайджин-ламы, восседавшего на пышном троне, и грозный облик бога войны с мечом в руках говорили о несокрушимой власти. А дальше — маски четырех Духов гор, окружающих Ургу (Улан-Батор): Чингильту с длинными усами, бородой и невероятно длинными ресницами, Богдохан — зверское, злое лицо с клыками, Санчино — удивленный старец с седой бородой и Банн-Дзуринэ — с плоским, ничего не выражающим лицом. Подавляет обилие масок и символов, которые доступны лишь тем, кто посвятил их изучению свою жизнь. Меня, видящего лишь жестокие облики богов, роскошь художественной фантазии восхищала, но вместе с тем и подавляла. Даже в храме Любви бросается в глаза богиня войны с перекинутой через плечо связкой черепов, в ее руке копье, тоже унизанное черепами.

Что и говорить, древние культуры создавали великие образцы искусства, и я рад был тому, что мне выпало счастье своими глазами увидеть эти чудеса, — однако народное начало так смешано в них с извращенно-утонченными идеями деспотизма, жречества, военного насилия, рабской приниженности, что испытываешь радость при мысли, что все это ушло навсегда и бессильно остановить движение вперед.

18

Подходил Новый год. Бурмистров съездил в лес за елкой, но привез лишь маленькую сосенку. Вечером женщины делали из бумаги и кальки игрушки и раскрашивали их тушью. Целую коробку игрушек прислали из Москвы Софье Ивановне. Витюшка, глядя на них, остолбенел и ни слова не мог выговорить. На другой день он привел монгольских ребят, и те долго не отходили от елки, тихо перешептываясь, словно боясь спугнуть удивительный сон.

Софья Ивановна и Надя спрашивали детей, кому какая игрушка больше нравится, и дарили их детям. Один мальчик лет пяти долго не мог выбрать игрушку. Его звали Болт. Мы удивились такому имени. Отец ребенка объяснил: «Когда мальчику было дней десять, он махнул рукой в сторону железной дороги. Тогда мы поняли, что он будет железнодорожником, и назвали его Болт. Это лучше, чем Рельс или Костыль».

Елку приходили смотреть и женщины-монголки; они восхищались ею и говорили, что на будущий Новый год поставят такие елки у себя дома.

Новый год встречали всем коллективом. Сдружились мы между собой по-настоящему, крепко, и не верилось, что вскоре расстанемся.

Софья Ивановна уже уложила чемоданы, чтобы возвращаться в Москву, Леонид Иванович — в Алтайский край, а Светлана оформляла документы у нашего консула для выезда из Монголии; в последнее время она воспрянула духом, на ее лице иногда загоралась улыбка.

После Нового года мы должны были переехать в Дархан. Жаль было оставлять и тихую нашу усадьбу...

Узнав, что мы скоро уедем, монголы были опечалены. Мы вошли в их жизнь. Они называли нас «нахорами», мы их «товарищами» — это ведь одно и то же.

С такими мыслями сидели мы за накрытым по-праздничному столом и, ожидая полуночи, ловили передачи из Иркутска и Улан-Удэ.

Но, как назло, весь эфир был забит китайскими передачами на русском и монгольском языках, плоской агитацией в пользу «идей великого Мао» и нелепыми доказательствами бредовых притязаний на территории Монгольской Народной Республики. Но кого можно было этим обмануть? Здесь знали, как провалился «большой скачок», знали, как в Китае притесняют живущих там монголов. Вести в Монголии переходят от юрты к юрте, и весь народ знает правду.

Наконец нам удалось настроиться на иркутскую радиостанцию. Диктор говорил о достижениях за минувший год. Кончались последние минуты этого года. Наступал Новый год — год наших новых трудовых дней в Монголии.

19

Софью Ивановну, Светлану и Леонида Ивановича провожали всей группой в субботу. Софью Ивановну пришли проводить и Чигогидзе с Михайловым, а Светлану — мать и брат с женой.

Уже поезд скрылся за поворотом и затих стук его колес, а мы все еще не уходили. Хоть и хорошо нам жилось в Монголии, но тянуло домой, и отъезжающие словно увозили туда часть самого тебя.

Горбачев все еще лежал в больнице. Мы по-прежнему дежурили в его палате. Иногда случалось ему падать духом, и он просил похоронить его в Наушках, перевезя через границу. Но наконец он стал поправляться. Ему уже разрешили поворачиваться на бок, потом и сидеть.

В конце января в Дархан приехал наш посол в МНР. В клубе, переполненном советскими людьми, он рассказал о решениях ноябрьского Пленума ЦК КПСС об интенсификации сельского хозяйства. Мы, конечно, тогда не думали, что и нам придется участвовать в этом большом деле.

Эти воспоминания о годе работы в Монголии я дописываю уже в Уфе, куда приехал с проектами строительства складов минеральных удобрений. Михайлов и Чигогидзе находятся в Ростовской области: они строят там железные дороги, совхозные производственные сооружения, базы Сельхозтехники, благоустроенные поселки для сельских жителей; Чигогидзе — начальник строительного управления Минтрансстроя в городе Кропоткине, а Михайлов — главный инженер этого управления, и, наверно, они, как всегда, хорошо дополняют друг друга.

Дописывая последние строки, я вспоминаю знакомые мне сопки вблизи Дархана и котловину между ними, где один за другим растут красивые, многоэтажные, разделенные широкими улицами дома. Вырастают здания клубов, кинотеатров, школ, магазинов. В траншеи ложатся трубы водопроводов. А там, немного южнее, за высокой грядой, дымят ТЭЦ и заводы, подходят к ТЭЦ составы с шарын-гольским углем, а над ними висят провода высоковольтных линий.

Из Дархана бежит электроток в города, поселки и госхозы республики. С предприятий Дархана пойдет промышленная продукция по всей стране. Сотни умельцев отправятся из Дархана по стране искать нефть, руду, уголь, строить новые города и фермы. Здесь, в «кузнице новой Монголии», куется дружба наших народов, строивших вместе плечом к плечу прекрасный Дархан.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

С этими словами полвека назад вступило в бой с контрреволюцией, сражалось, умирало и побеждало на фронтах гражданской войны целое поколение советских людей. Революция оно отдало свою молодость, строительству социализма — свои зрелые годы, воевало и в Великую Отечественную войну. Многих уже нет в живых. Потому и дороги нам невыдуманные рассказы тех, кто был не просто наблюдателем, а активным участником событий незабываемых первых лет революции. Воспоминания двух таких участников борьбы за власть Советов мы и печатаем ниже.

Леонид Виссарионович Киселев — сын рабочего, сам рабочий, коммунист с первых дней революции, чекист, комиссар отрядов повстанческой армии Крыма, сражавшейся в тылу врангелевских войск, участник подавления Кронштадтского мятежа. В мирные годы — учеба в Свердловке, партийно-политическая работа и работа в органах просвещения. Добровольцем пошел на фронт в первые же месяцы Великой Отечественной войны. В 1943 году батальонный комиссар Л. В. Киселев погиб в бою, освобождая белорусскую землю. Страницы его воспоминаний сохранила жена — С. Е. Киселева, которая и подготовила предлагаемую публикацию.

Павел Петрович Стрелянов — член казачьего ревкома, участник вооруженной борьбы на Дону и Северном Кавказе — здравствует и поныне. Пятьдесят лет в рядах партии коммунистов и свое семидесятилетие отмечает он в юбилейном году. И почти все это пятидесятилетие он отдал партийной и советской работе — на Дону, в Туркмении, в Москве, в Таджикистане, в Смоленске, в Молдавии.

Л. КИСЕЛЕВ

★

В КРЫМУ

(1919—1920 годы)

Однадцатилетним мальчишкой начал я свою трудовую жизнь — учеником на кондитерской фабрике в Курске. А в четырнадцать в поисках «хорошего места», а скорее из желания как можно больше увидеть и узнать, я исколесил — конечно, «зайцем» — почти весь юг тогдашней России. Через два года судьба занесла меня на строительство Мурманской железной дороги. Тут к практическому знанию трудной жизни рабочего человека, к первому, еще не осознанному протесту у меня прибавилось начальное знакомство с революционной литературой, с теорией.

Февральский переворот я встретил на севере, а к осени вернулся на родину, в Курск. Октябрьский шквал пронесся над моим родным городом сравнительно спокойно, бескровно, но всколыхнул трудовую молодежь. В числе других рабочих парней я стал большевиком, вступил, когда потребовалось защищать рабочую власть, в Красную гвардию. Воевал против врагов республики на западе, потом на юге, был ранен. Поправившись, я в начале 1919 года был направлен партийной организацией на работу в курскую губчека. Был комиссаром, был уполномоченным по уездам, вел борьбу с внутренней контрреволюцией и саботажем. А лет мне тогда было всего восемнадцать. За несколько месяцев работы в чека я прошел высшую политическую школу — научился распознавать врага, закалил свое классовое чутье.

После короткой передышки, летом 1919 года, изд Советской республикой снова собрались грозные тучи: Антанта предприняла свой второй поход в поддержку рос-

сийской контрреволюции. Все вражеские силы устремились к Москве. Адмирал Колчак вышел к Волге. На западе грозил Петрограду генерал Юденич, подошедший вплотную к городу. На юге наступал широко растянувшимся фронтом генерал Деникин. У него на Дону собралось все изгнанное революцией со всей России.

Южная контрреволюция, щедро получая от империалистов военное снаряжение, успешно развивала наступление. Деникин хотел опередить Колчака, чтобы первым вступить в Москву, он перешел 12 сентября в наступление по всему Южному фронту. 20 сентября части генерала Шкуро ворвались в Курск.

Накануне вступления белых в город отошли на Орел наши последние поезда. По шоссе сплошной вереницей тянулись подводы, экипажи, пешеходы. Эвакуация длилась до поздней ночи. На рассвете через город прошли последние красноармейские части. Но отряды, обороняющие город, оставались на своих местах. Тишину солнечного сентябрьского утра вдруг разорвали орудийные залпы: бронепоезда белых начали обстрел мирного населения Курска.

Слева от участка обороны, занятого нашим отрядом, затрещали пулеметные очереди, разгорелась частая стрельба. Это шла борьба за вокзал. Вскоре беспорядочная ружейная перестрелка перенеслась к нам в тыл. Мы поняли, что город взят белыми и мы отрезаны от своих главных сил.

Большинство защитников Курска были коммунистами и комсомольцами. Попасть в плен к белым означало жестокую расправу. Пробыть с боем к своим было нам не под силу. Маленькими группами и в одиночку мы разошлись кто куда, с горестным чувством прощаясь друг с другом. Я не рискнул идти к себе домой и укрылся у родственников.

Наутро был расклеен приказ коменданта города: всем коммунистам и комиссарам, а также советским работникам, оставшимся в городе, немедленно явиться к коменданту. От населения требовалось оказывать властям содействие в поимке и выдаче советских работников.

На площади перед собором под звон колоколов всех церквей архиерей служил благодарственный молебен за избавление от большевиков. На молебствии, соперничая с блеском золотых окладов икон, поповских риз и хоругвей, ослепительно сверкали погонами генералы и офицеры. Коленопреклоненно поднесла городская буржуазия своим избавителям хлеб-соль, дамы забрасывали офицеров цветами. Снова засверкали запряжанные при советской власти регалии, мундиры и драгоценности. Рабочие во время молебствия толпились в стороне, хмуро наблюдая за происходящим.

Шкуровцы сразу же учинили еврейский погром. Лилась кровь ни в чем не повинных людей — детей, стариков, женщин. Разрушали дома, громили квартиры, грабили и уничтожали имущество. За коммунистами, комсомольцами, советскими работниками велась самая настоящая охота. Контрразведка быстро чинила над ними расправу. Большими группами арестованных выводили за город; после избиения и пыток приговоренные сами рыли себе могилы.

Оставаться в городе было опасно — многие знали меня как коммуниста и чекиста. Не хотелось подвергать опасности и родственников, укрывавших меня. Так как никаких данных об оставшихся для подпольной работы товарищах у меня не было, я решил на время покинуть Курск.

Но куда направиться? Переход через фронт к своим — дело почти невыполнимое. Выхать из Курска по железной дороге без пропуска коменданта города нельзя. Я решил пробираться пешком и на какой-нибудь отдаленной станции сесть в поезд, чтоб доехать до Киева, где жили мои близкие родственники. В потрепанном костюме, с котомкой за плечами, как будто на заработки, я отправился в путь.

Был тихий осенний вечер, я выбрался за город и зашагал вдоль линии железной дороги на запад. У разъезда Рышково на путях стоял белогвардейский эшелон. Я инстинктивно бросился в сторону от железнодорожной линии и вышел на шоссе, ведущую в Харьков. Так произвольно изменился задуманный мною план.

Погода была не по-осеннему хороша — теплая, солнечная. Уборка хлебов на полях закончилась, хотя встречалось немало некошенных смятых полос. На огородах, на гумнах копошились люди.

Настроение в деревнях было не в пользу белых. Заночевав на одном из хуторов, я разговорился с хозяином, пустившим меня к себе. Сравнивая Красную Армию и белых, он рассуждал примерно так: «Когда на хуторе стояли красные, они не тронули ни одного курочка, а пришли господа офицеры, так подавай им и кур и гусей, даже до овец добрались». В другой деревне мужики сетовали на то, что казаки повытрясли все из сундуков и теперь девок не в чем выдавать замуж. Но главной трагедией для крестьянства было возвращение в усадьбы помещиков. Они восстанавливали свои права, требовали с крестьян возмещения ущерба за разрушенные имения, реквизированный скот, отобранное имущество. Они установили непомерно высокую арендную плату за землю, которую советская власть передала в пользование крестьянам. Уводили из дворов рабочий скот, коров, свиней, птицу, вывозили хлеб и разное крестьянское имущество. Белогвардейцы и помещики вымещали на крестьянах злобу, а кулачество активно помогало им в этом. Без суда и следствия вздергивали белогвардейские каратели на виселицы всех заподозренных в сочувствии советской власти. В некоторых деревнях почти все мужское население подвергали порке.

На четвертые сутки добрался я до Белгорода. Кассир не хотел сперва давать без пропуска билет, но сунутые в окошечко кассы николаевские ассигнации возымели магическое действие, и он продал мне билет до Харькова.

Два дня бродил я как неприкаянный по Харькову. Город снова обрел дореволюционный вид. Роскошные витрины магазинов, аршинные афиши о концертах, устраиваемых в пользу добровольческой армии какими-то дамскими комитетами, сияющие огнями рестораны и кафешантаны, музыка в городском саду...

Деньги у меня иссякли, получить работу — никаких надежд и ни души знакомых.

Что делать? — ломал я голову. И вот родилась мысль пробраться в Симферополь: там, я вспомнил, жил мой товарищ Миша Белозеров, с которым я работал на кондитерской фабрике. На крыше вагона — благо составы ходили переполненные — без билета я отправился в Крым.

Длинный состав из товарных вагонов медленно тащился по украинской степи. На остановках, чтобы не попасться на глаза белогвардейскому патрулю, я слезал с крыши вагона, а после сигнала отхода вновь водворялся на свое место.

У Чонгарского моста, при переезде через Сиваш, в голубой дали передо мной открылись Крымские горы. Наконец после трехдневного тревожного и утомительного пути я слез с крыши поезда на симферопольском вокзале. Без денег, без уверенности, что найду своего товарища, я шагал по улицам Симферополя. Но все оказалось куда лучше, чем я предполагал. Вскоре я отыскал своего друга. Оказалось, он жил за вокзалом в Шестериковой слободке.

Приняли меня в его семье радушно. Пришлось рассказать всю свою историю. Оказалось, что и у моего приятеля тоже не все престо — он дезертировал из белой армии и жил теперь по подложному паспорту. Чтобы не возбуждать у соседей подозрений, меня представили как родственника.

Постоянной работы Белозеров не имел, а кустарничал — выпекал дома кондитерские изделия. На первых порах я стал ему помогать. Свои произведения кондитерского искусства мы сдавали в магазины под маркой филипповских мастеров, прибывших из Москвы. На витринах симферопольских магазинов появились объявления: «В продаже имеются кондитерские изделия мастеров Филиппова из Москвы». Эта безобидная утка увеличивала спрос на нашу продукцию и давала нам возможность безбедно существовать. Но меня постоянно мучила мысль, как найти своих, как связаться с большевистским подпольем — ведь оно должно было существовать в Крыму. Я был в этом убежден.

Настроение же пока было мрачным. Белогвардейские газеты не переставая кричали о победах добровольческой армии. Однажды вечером в витрине «Освага»¹ появилось сообщение, что в Петроград вступил генерал Юденич. У меня буквально оборвалось сердце.

В это время в Симферополе находилось довольно много солдат из бывшего экспедиционного корпуса царской армии, которые во время мировой войны были отправлены

¹ «О с в а г» — агентство печати белой армии.

во Францию. После Октябрьской революции солдаты экспедиционного корпуса потребовали вернуть их на родину и отказались воевать. Французское командование обстреляло их лагерь. Многие были убиты, а зачинщики сосланы в Африку на каторжные работы. Летом 1919 года французское правительство погрузило русских солдат на корабли и доставило их в Крым к Врангелю, рассчитывая бросить их против большевиков. Но «французы», как их называли, были настроены революционно и сражаться против Красной Армии отказались. Это использовала крымская подпольная большевистская организация и многих «французов» привлекла на свою сторону. Я вначале, конечно, ничего такого не знал, выяснилось это значительно позже.

В нашем доме жили двое таких «французов» — Петр Шкурин и Иван Валиков. Я завязал с ними знакомство. Оба они прошли французскую каторгу в Африке. Наши беседы, сначала осторожные, испытующие, постепенно стали откровенными, душевными. Я узнал, что они связаны с симферопольской подпольной организацией и Шкурин руководит одной из боевых групп, в которую входят Иван Валиков, Яша Черный и другие.

Я попросил их связать меня с подпольем и включить в их группу. Через несколько дней они мне сообщили, что моя просьба удовлетворена. Трудно представить, каким радостным чувством наполнилось мое сердце, когда я вновь очутился среди своих товарищей по партии, по борьбе и мог действовать плечом к плечу с ними.

Первое поручение, которое я получил, — распространить один из приказов подпольного Крымревкома. С волнением принял я пачку еще пахнущих типографской краской листов, спрятал их за пояс и осторожно вышел из квартиры Шкурина. Даже в пальто меня вдруг охватил озноб. Что скрывать — новизна подпольной работы вызвала невольную робость, но продолжалось это недолго. Большинство приказов я распространил в домах, населенных рабочими, и с особым злорадством опускал приказы в ящики для писем в подъездах городских властей и буржуазии.

В октябре 1919 года на Южном фронте произошел решительный перелом. После первого столкновения добровольческо-донской кавалерии с конным корпусом Буденного, принесшего блестящий успех молодой красной коннице, Красная Армия заняла Орел, в ноябре — Курск, в декабре — Харьков, в январе 1920 года — Новочеркасск. Началось ганическое отступление денкинцев. Корпус генерала Слащева, отступавший к Крыму, закрепился на перешейке.

Первое, что получили от генерала Слащева трудящиеся Крыма, был его приказ, опубликованный в газете «Таврический голос». Заканчивался приказ словами: «...мне приказано удержать Крым, и я это выполню во что бы то ни стало. И не только попрошу, но и заставлю всех помочь. Наносящим же вред борцам за Русь святую говорю заранее — к добру это не поведет. Пока берегитесь, а не послушаетесь, не упрекайте за преждевременную смерть». Все последующие приказы Слащева неизменно заканчивались словами «кого надо — повешу, кого нужно — расстреляю». И надо сказать, свои обещания он сдержал. В Джанкое, где находился его штаб, были возведены десятки виселиц, и тысячи коммунистов, комсомольцев, рабочих и крестьян нашли там свою преждевременную смерть.

В конце января 1920 года поползли слухи, что на Перекопе началось наступление красных. В Симферополь стали прибывать раненые и штабеля смерзшихся трупов солдат добровольческой армии. Но январская попытка Красной Армии ворваться в Крым окончилась неудачей. Белые сумели удержаться на перешейке.

Вместе с отступившими в Крым белогвардейскими частями в Симферополь были доставлены узники харьковской тюрьмы. Здешняя тюрьма и без того была переполнена. Для харьковских заключенных приспособили здание одной из школ. Их держали под усиленной охраной. Подпольный областной комитет дал задание освободить арестованных, отправить их в лес и организовать из них партизанский оград. Участники налета на тюрьму собрались на квартире Петра Шкурина. Когда все уже было подготовлено для осуществления плана, из областного комитета пришла связная и передала распоряжение: операцию отложить, так как в городе спокойно и выводить арестованных опасно.

Сказывается, в этот момент в добровольческих частях начался мятеж, возглавляемый капитаном Орловым. Часть офицерства взбунтовалась против карьеристов и шкурников-генералов, гонящихся за чинами, орденами, салон-вагонами.

Крымский комитет партии вступил через поручика Гетмана в переговоры с капитаном Орловым. Однако Орлов не принял условий, выставленных большевиками. А обком не сумел воспользоваться выступлением молодого офицерства. Попытка сменить обанкротившийся белогвардейский генералитет окончилась крахом — Слащев подавил мятеж.

Через несколько дней операция по освобождению харьковских заключенных была все же осуществлена. Мы добыли форму добровольческой армии, построились и во главе с «офицером» строем подошли к зданию, где они находились. Караул был взят и обезоружен без единого выстрела. Мы связали и уложили охрану на полу караульного помещения, затем освободили более ста заключенных. Некоторые, правда, были настолько истощены и больны, что их так и не удалось увести. Остальные организованной группой двинулись из города к покрытым лесами горам: пресбирались глухими проселочными дорогами и на следующий день к полудню разбитые, усталые от трудной дороги, изнуренные долгим тюремным заключением, освобожденные нами узники добрались вместе с нашей боевой группой до деревни Тав-Бодрак. Здесь у подножия горы Мараман и началось формирование нашего Альминского партизанского отряда, действовавшего в тылу у белых.

Три низенькие землянки с железными печурками и трубой в крыше. В землянках от печурок и от курева всегда висит густая серо-желтая завеса. Людей в каждой землянке — до отказа. Среди освобожденных товарищей много больных, опухших от долгой голодовки в тюрьме. Большинство буквально разуты и раздеты. Но что особенно досаждало — так это вши, принесенные ими из тюрьмы и заедавшие всех нас.

Но никто не унывал. Напротив — настроение у всех было бодрое, веселое. У нас крымских коммунистов, — Петра Шкурина, Ивана Валикова, которого все мы звали в лесу Африканцем, Демьяна, Яши Черного, Г. Юсимова, он был известен у нас как Жорж, Матвея Егеревы и других товарищей, направленных областным комитетом партии в лес, — дел невпроворот.

В первые же дни мы принялись собирать оружие и патроны у окрестного крестьянства. В селении Базарчук совершили налет на участок государственной стражи и забрали все имевшееся у них оружие и обмундирование. В имениях, расположенных по реке Альме и под Алуштой, произвели реквизицию продовольствия и одежды у помещиков.

Скоро отряд окреп. Больных подлечили. Все приоделись, хотя и очень пестро. Бойцы в военных шинелях английского образца стояли попеременно с одетыми в барские шубы и модные пальто-реглан. Да и вооружились мы неплохо. У нас появились винтовки, револьверы, ручные гранаты. Кое-кто щеголял при шпорах и шашке, хотя в отряде пока не было ни одного коня.

Душой отряда был наш командир Шкурин. Высокий, плечистый, с хорошей военной выправкой, он не знал усталости, на походе за ним никто не мог угнаться. Он был еще молод, но преждевременные морщины избороздили его лоб.

Нашей первой серьезной боевой операцией был взрыв железнодорожного моста через реку Альму. Вечером отряд, построившись цепочкой, вышел из лагеря, к ночи достиг моста. Его охранял белогвардейский добровольческий отряд. Вокруг моста тянулись окопы и провололочные заграждения.

Пользуясь темнотой, мы бесшумно подползли по полотну железной дороги к часовым. Трех удалось обезоружить без сопротивления, четвертый сделал попытку открыть стрельбу. Но Шкурин, не растерявшись, быстрым прыжком и ударом в грудь сбил часового с ног. Одновременно так же осторожно было захвачено караульное помещение и обезоружен весь отряд. Приготовления к взрыву закончены. Подрывники во главе с Алешей Булановым (его настоящее имя Александр Петрович Улановский) — человеком храбрости необычайной — заложили пироксилиновый заряд, зажгли бикфордов шнур. Ночную тишину разорвал оглушительный взрыв. Дело сделано — железнодорожное сообщение прервано, и восстановить его будет не так уж просто.

Несколько позднее группа подрывников отряда взорвала входные стрелки на станции Альма.

В марте обком начал готовить вооруженное восстание. К нам в лес пришли товарищи из обкома, и я впервые познакомился с руководителями подпольной организации. Прежде, работая в городе, я, как и другие подпольщики, знал очень ограниченный круг людей, и те, кто стоял во главе организации, были мне неизвестны. На наш отряд обком возлагал задачу подойти к Симферополю, захватить вокзал, солдатские казармы и в случае надобности прикрывать отступление в лес. Но восстание это сорвалось из-за провокаторов, пробравшихся в подполье.

Наш отряд продолжал расти, расширялась зона его боевой деятельности. В апреле мне пришлось вместе с членом областного комитета товарищем Моисеем Гореликом направиться в Симферополь за подкреплением для отряда.

Лагерь мы покинули вечером. Шли всю ночь. Луна хорошо освещала нам путь. Ранним утром мы вошли в город.

Через несколько дней следом за нами из леса пришли командир отряда Шкурин и Африканец. Мы остановились у себя на квартирах. В это время из-за провокатора Акима Ахтырского крымскую организацию вновь постигла волна провалов. Многие подпольщики были арестованы и без суда повешены. В их числе оказался и член обкома товарищ Моисей, с которым я незадолго до этого расстался.

Чудом не разделили их судьбы и мы с Африканцем. Незадолго до часа, назначенного для возвращения в лес, к нам в дом нагрянула контрразведка — три офицера и один штатский. Завязалась перестрелка, во время которой был убит Шкурин. Воспользовавшись минутным замешательством контрразведчиков, мы с Африканцем успели выскользнуть. Контрразведчики перерыли весь дом, арестовали хозяев квартиры. Мой приятель Белозеров за укрывательство большевиков был арестован и просидел в тюрьме вплоть до освобождения Крыма.

На следующий день белогвардейские газеты сообщили: городская контрразведка настигла большевиков-бандитов, пришедших с гор. Один из них убит, двоим удалось бежать, меры к задержанию приняты.

В отряд мы вернулись с печальной вестью. Партийная организация отряда до устаковления связи с обкомом выдвинула командиром вместо убитого Шкурина партизана из местных крестьян Сергея Захарченко. Это был человек несколько анархистского склада, но смелый и смекалистый. В горах он скрывался от военной службы еще со времен царской армии. Быстрый в движениях, ловкий, подвижной, казалось, он был рожден для жизни в горах. Под его командованием наш отряд развил энергичную деятельность. Мы совершали налеты на белых сегодня здесь, завтра там, придерживаясь подвижной тактики. Белые зачастую не могли разобраться, сколько же на самом деле действует отрядов.

В конце марта Красная Армия заняла Новороссийск. В Крым ринулись еще тысячи сорок ярых врагов рабоче-крестьянской власти. Они перебрались сюда на судах.

Теперь города и села небольшого Крымского полуострова были буквально наводнены белогвардейцами. Они уже открыто грабили, насильничали, издевались над местными жителями. Особенно свирепствовала контрразведка белых.

Однажды доведенные до крайности крестьяне деревни Русский Бодрак прислали к нам в отряд своих представителей и попросили выбить из деревни белых, которые вконец разорили их. Они доставили нам подробные сведения о количестве врангелевцев, их вооружении и расположении.

Просьбу крестьян мы выполнили. Отряд незаметно подошел к деревне и окружил ее цепью. Для белых это было неожиданностью. Они залегли в огородах и первыми открыли ружейный и пулеметный огонь. После короткого боя мы выбили врангелевцев из деревни, и они стали отходить по дороге к селению Бешуй, где стоял их второй отряд. Пробираясь лесными тропами, мы перерезали отступавшим дорогу и встретили их дружным огнем; окончательно рассеяв их, мы захватили снаряжение.

Нам надо было пополнить запасы продовольствия. Мы снарядили небольшую группу под Бахчисарай. Там находилось большое имение богатого помещика Сеферова. Вечером, когда в барском доме шел бал и гремела музыка, мы безо всякого шума захватили поместье. Созвали рабочих, организовали короткий митинг, объяснили цель нашего прихода. Рабочие быстро погрузили все необходимые нам продукты на подводы и ли-

нейки. Поблагодарив за помощь и простившись с рабочими, мы вошли в помещичий дом. Ну и переполох же поднялся тут! Мы предупредили помещика, что, если он допустит какие-либо репрессии против рабочих, помогавших нам в реквизиции продуктов, мы вернемся, и тогда ему несдобровать.

Отряд погрузился на линейки, добрые помещичьи кони рванули вперед, и мы быстро покатали по длинной аллее под сенью высоких пирамидальных тополей и кипарисов на большую дорогу.

Между деревнями Мангуши и Бодрак мы невзначай столкнулись с небольшим отрядом белых. Завязалась перестрелка, победа была на нашей стороне, в плен захватили двух офицеров.

Изо дня в день наш отряд не давал врангелевцам покоя. Уж как только не честили нас белые власти — и «шайка зеленых», и «бандиты»! Но во всех их донесениях сквозила серьезная тревога. Они понимали, что это организованные действия их классового противника у них в тылу.

К июню 1920 года, помимо нашего Альминского отряда, начали действовать новые партизанские части: отряд Ословского под Ялтой, отряд Павла Макарова под Севастополем, два отряда под Феодосией — Надолинского и Петра Глямжо, и Тавельский отряд под командой Фирсова; в последний отряд входила группа казаков полковника Пономарева, ушедшая от белых в горы.

Подпольная же работа в городах в это время терпела один за другим крупные провалы — в организацию пробрались провокаторы. Когда в Коктебеле собрался съезд коммунистов Крыма, туда нагрянула контрразведка. Произошла перестрелка, во время которой был убит член Феодосийского горкома Леваковский и ранена делегатка Катя Григорович; несколько человек были арестованы. Из всего состава обкома остались только двое — Николай Бабахан и Тоня Федорова. Крымский ревком вынужден был перебраться в лес в расположение Тавельского отряда.

Чтобы координировать действия всех партизанских отрядов, создали главный штаб. Главкомом назначили Николая Бабахана, а начальником штаба — бывшего полковника Александровского (впоследствии он был пойман и повешен Врангелем).

Главштаб выбрал временную стоянку в районе деревни Биясалы по реке Марта. В отряды были посланы связные, передавшие приказ подтянуться в расположение главного штаба.

Лагерь повстанцев раскинулся в лесной чаще. Меж деревьев поставили шалаши, натянули палатки. Походная кухня расположилась у пересохшей речонки, для выпечки хлеба из камней сложили печь. Шум и гомон стояли в лагере. Лишь наступавшая ночь вносила успокоение.

Штаб провел реформирование, были созданы четыре боевые единицы: Симферопольский полк под командой Павла Макарова, отряд Петра Глямжо, Альминский отряд под командой Сергея Захарченко и военкома Африканца, конная сотня Галько с военкомом Леонидом Киселевым. На всю жизнь запомнилась мне картина: на лесной поляне построены отряды. Легкий ветерок играет листвой, прозрачный воздух напоен ароматом трав и цветов, мирно щебечут птицы, солнце яркое и веселое. Величаво плывут облака над отрогами Чатыр-Дага. Главком Бабахан вручает каждому отряду от имени обкома и Крымревкома красное знамя. Знамена принимают старейшие из партизан. Они коротко, как клятву, говорят о своей готовности идти под этим знаменем до полной победы над контрреволюцией.

Подавляющее большинство партизан с членами партии и комсомольцами во главе представляли собой сплоченное ядро. Словом и делом их было — «победить или погибнуть в борьбе», но были и такие, которые считали, что жить надо по правилу «не тронь меня — и я тебя не трону». Попадались и самые настоящие авантюристы, любители легкой наживы. Их привел к нам случай, возможность вольно пожить. Помню, однажды небольшая группа их не пожелала подчиниться требованиям штаба. Они заявили, что уходят из отряда, и действительно ушли. Но через несколько дней пришли обратно с повинной.

Прошло немного времени, и белые установили наше месторасположение. Они двинули против нас значительные силы. Получив донесение разведки о движении белых,

наши отряды выступили им навстречу, чтобы принять бой подалеже от лагеря. Мы предполагали, что встретимся с врангелевцами у деревни Бодрики. Я шел с разведкой. Неожиданно на повороте лесной дороги мы столкнулись лицом к лицу с головной группой белых. Первыми шли два офицера и татарин-проводник. Секунда колебания. Они и мы вскинули винтовки, на какое-то мгновение замерли друг перед другом и одновременно спустили курки. Расстояние, разделявшее нас, измерялось несколькими шагами. Как сейчас вижу побледневшие лица офицеров и блеск их погон.

Завязался бой. В мглистой духоте, задыхаясь от жары, мы полукольцом охватили белых. Нам удалось отбросить их назад лишь через несколько часов. Белые отступили, оставив убитых и раненых. Их вылазка в лес против партизан крупным соединением кончилась ничем. Потерь с нашей стороны почти не было — легкое ранение получил один боец.

Но врангелевцы не успокоились, они сняли с фронта воинские части и начали серьезную операцию по окружению партизанского лагеря. Белогвардейские части продвигались с разных направлений, их силы во много раз превышали наши. Штаб решил выйти из кольца, не принимая боя. Навьючив на лошадей амуницию, имущество, продовольствие и соблюдая все меры предосторожности, мы выступили из лагеря. В шалашах и на деревьях мы оставили обращения к врангелевским солдатам, призывающие переходить на нашу сторону.

Партизаны из местных крестьян повели отряды оленьими тропинками. Кругом крутые обрывы и скалы. Мы двигались с большой осторожностью, карабкаясь по отвесным скалам. Если бы белые знали, что мы рискуем пройти по этим местам, они могли бы нас уничтожить в два счета. Но догадались они об этом слишком поздно. Они успели обстрелять только небольшую группу наших бойцов, прикрывавшую отход, но безрезультатно — та уже находилась на недосыгаемой высоте.

Все последующие попытки белых проникнуть в расположение лагерей партизанских отрядов были также неудачны. Белогвардейская часть под командованием полковника Козинцева, пытавшаяся атаковать наш Тавельский отряд, была окружена партизанами и разгромлена. Этот бой на Узун-Кране длился пять часов. Белые раз десять ходили в атаку, стремясь прорваться, но тавельцы каждый раз, близко подпустив их к себе, дружным залпом отбрасывали назад. Белые понесли тогда большой урон.

Правда, перед прорывом из кольца белых мы тоже понесли немалые потери. Погибли такие дорогие нам люди, как партизаны-коммунисты Жорж и Демьян. Посланные на разведку, они были схвачены карательным отрядом на лесном кордоне. Белогвардейцы зверски истязали наших товарищей — кололи штыками, несколько раз вешали на деревьях и, не дав окончательно задохнуться, приводили в чувство, вновь избивали, пытаясь о силах и планах повстанческой армии. Не добившись ни слова от них, они Демьяна живым посадили на кол, а Жоржа (Юсимова) повесили. Нелепо погиб командир отряда Петр Глямжо, бывший чекист, боевой партизан. В разведке ему жеребец перебил коленную чашечку, на носилках его вынесли из окружения белых. И уже будучи вне опасности, находясь в лесном госпитале, однажды утром при приближении к шалашу нашего конного отряда, который он и санитары приняли за белых, Глямжо выстрелом из револьвера покончил с собой. Несколько позднее погибла группа партизан с начальником штаба Александровским и Бродским, которых белые повесили. Не стало Карнова и Луки Гоя (Гая), лучшего разведчика и боевика. Это были тяжелые утраты.

Штаб и Симферопольский полк обосновались в районе деревни Тавель. Алюминцы ушли под Черную гору, отряд, которым прежде командовал Петр Глямжо, теперь его командиром стал товарищ Жеребцов, направился в Карасу-Базарский район, а конная сотня — в район деревень Улу-Узень и Кучук-Узень.

Лагерь конного отряда мы разбили на демерджинской яйле, покрытой сочной густой травой, на которой татары выпасали огромные отары овец. Тут же, как нам стало известно, ходило несколько табунов лошадей, они были выпущены на выпас татарскими мурзаками. Иные табуны ходили уже по нескольку лет, выросли за счет приплода и совершенно отвыкли от людей.

В нашей конной сотне были казаки с Дона, они стали выслуживать и охотиться за

крепкими, выносливыми горными лошадками, копыта которых привыкли к скалам и не требовали ковки. С большим трудом заарканили они несколько лошадей. Но еще большего труда стоило их оседлать и сесть всаднику в седло. Твердостью, настойчивостью и лаской мы их покорили. Отобрали лучших чистокровок. Так постепенно росла горная партизанская конница.

Обком дал задание нескольким товарищам из нашего отряда вступить в переговоры с представителями татарской национальной партии — «Милли-фирка». Цель переговоров — поднять татарское население горных районов на активную борьбу против белых. Среди татарского населения было много дезертиров. Карательные экспедиции белых часто совершали налеты на горно-лесные татарские деревушки, население которых иногда оказывало им вооруженное сопротивление. Обком предполагал, что удастся организованным путем использовать недовольство татарского крестьянства.

Встречу назначили в деревне Кучук-Узень, в доме братьев Муслюмовых. Партизаны Владимир Васильев, Александр Улановский, Ибраим и я облачились в татарскую одежду, на всякий случай захватили по паре револьверов и спустились с гор к морю.

Мы шли по неширокой долине мимо татар, работающих в садах и на виноградниках. Была пора сбора фруктов и ранних сортов винограда. Татарки в пестрых шароварах несли на плечах корзины с плодами и виноградом и осторожно укладывали их на линейки для отправки в город на рынок.

Заходило солнце. Вдали синело море, на горизонте дымили корабли.

Мы вошли в деревню. Над плоскокрыхими саклями тонкими струйками вился дымок. По пыльной улице бегали, шумели ребяташки.

Сакля Муслюмовых — самая большая и богатая в деревне. Нас встретили хозяева и пригласили войти. Мы оказались в комнате, убранной по-восточному. На стенах и на полу — ковры и подушки для сидения. Женщины с поклонами подали нам на низком столике чебуреки, шашлык, каймак и вино из собственных подвалов. После угощения начались переговоры. В ответ на наше предложение усилить борьбу татарского населения и организовать татарский партизанский отряд, снабжать повстанческую армию лошадьми, седлами и продовольствием Хаким Муслюмов принялся путано и пространно разглагольствовать насчет того, что татарское население к такой борьбе не подготовлено, «не созрело». Он предложил в свою очередь создать комиссию для взаимной информации, а затем раскрыл перед нами и свою программу. Она в основном сводилась к культурничеству и созданию буржуазно-национальной автономии в рамках капиталистического строя. Стало понятно, что с вожаками этой националистической и по сути дела контрреволюционной организации нам не по пути. Прощаясь с ним, мы сказали, что попытаемся найти другой путь к татарским трудящимся массам.

И этот путь был найден. В скором времени в составе Симферопольского полка был сформирован татарский взвод, а несколько позднее организовали самостоятельный татарский отряд.

Вскоре штаб отозвал меня из конного отряда и вновь назначил военкомом к альминцам. Они стояли лагерем на Черной горе. Вечером со связным отряда направился я к своим старым боевым товарищам. У подножия Черной горы от речки Альма в лагерь поднималась зигзагами тропа, временами терявшаяся на лесных полянах и в молодых порослях леса. Как хорошо надо было знать эти места, каким чутьем надо обладать, чтобы не потерять под ногами тропу, особенно ночью.

Когда мы подходили к лагерю, расположившемуся на краю лесной поляны, уже светало.

Лагерь еще спал. Только отрядный повар Кузьма, дородный донской казак, суетился возле полыхавших пламенем костров — готовил завтрак. За то время, что я отсутствовал, отряд пополнился новыми людьми, провел немало удачных операций. Настроены все были бодро.

В первой половине августа мы предприняли дерзкую операцию — поход на южный берег, в ялтинское лесничество, расположенное в трех-четыре километрах от города. В лесничестве мы рассчитывали захватить двух контрразведчиков, пополнить кассу отряда деньгами и — самое главное — вызвать панику в стане белых и у ялтинской

буржуазии, поскольку в такой близости от города наши отряды еще никогда не действовали.

Отряд выступил из лагеря в английской военной форме, а командир и я — в форме офицеров, с крестами Анны и Владимира. Миновав горный Косьмодемьяновский женский монастырь, поднялись на яйлу. На горном плато Красный Камень мы сделали привал.

Отсюда, как с капитанского мостика, открывались широкие дали. Впереди сверкало море, на горизонте сливавшееся с небом. Под нами внизу, окутанная легкой дымкой облаков, нежась под лучами солнца, лежала красавица Ялта. Влево от нас вырисовывались в дымке очертания Феодосии, правее на запад насколько хватал глаз тянулись плодородные долины рек Альмы, Качи, Бельбека.

Воздух на яйле, как всегда, чистый, прозрачный, ни пылинки. Мы отдыхали и любовались великолепным видом. С отарой овец прошли мимо нас чабаны-татары. Они приняли нас за белых, смотрели исподлобья, неприветливо отвечали на наши вопросы. Стоило больших трудов убедить их, что мы красные партизаны.

Спуск к лесничеству был крутой. Мы шли и по шоссе, и по еле заметным тропинкам. Они пролегли через хвойные леса, покрывавшие южный склон. Над головами у нас — величавые кроны сосен, под ногами шелестели и похрустывали опавшие иголки. Было жарко, душно.

К двум часам дня мы окружили лесничество. Лениво раскачивался в гамаке лесничий, служащие сидели в канцелярии, расположенной на застекленной веранде. Гудел с равномерными отхлопами мотор на лесопилке. Наше неожиданное появление вызвало полную растерянность.

В одном из домов мы захватили унтер-офицера ялтинской комендантской команды — того, кто приводил в исполнение приговоры над нашими осужденными товарищами. Его мы тут же судили и расстреляли. У лесной стражи отобрали все оружие, конфисковали пишущую машинку и почтовых лошадей, на которых погрузили конфискованное имущество. Лесной страже, служащим и рабочим мы рассказали о цели нашей борьбы, поговорили, что называется, по душам, нашли у них искренний отклик и дружески распростились. Когда все было готово к отходу, мы вызвали к телефону коменданта города. Командир отряда сообщил ему, что уже в течение нескольких часов лесничество находится в наших руках, что захвачен и казнен один из его приспешников, и заявил, что такая же участь ждет в ближайшие дни и самого коменданта.

Затем мы прервали связь и ушли в горы. Только через сутки белые рискнули появиться на территории лесничества.

Однажды вечером наша передовая застава дала сигнал о приближении к лагерю неизвестных людей. Отряд был поднят по боевой тревоге, дежурный срочно направился на заставу. Вскоре он вернулся в сопровождении двух незнакомых нам людей. Оказалось, это были партизаны-связные, присланные из главного штаба со срочным пакетом. Из приказа штаба мы узнали о том, что к нам из Советской России прибыл новый главком Алексей Васильевич Мокроусов. Командиру или военкому нашего отряда приказано было срочно прибыть в штаб. Вместе с приказом штаба мы получили и последний, прощальный приказ-обращение нашего прежнего главкома Николая Бабахана. «Уходя от работы по непосредственному руководству повстанцами Крыма, — писал он, — я считаю нужным принести свою сердечную благодарность соратникам и сподвижникам по работе, которая протекала в тяжелой обстановке боев, переходов, недоений, недосыпаний. Несмотря на все невероятные трудности и чрезвычайные препятствия, мы вышли с честью из положения, в результате имеются организованные и дисциплинированные повстанческие части, которые никогда лицом в грязь не ударили, и в нужный для революции момент как рядовые партизаны, так и весь командный состав покажут свою сознательность, храбрость, преданность делу рабоче-крестьянской революции. Еще раз братское спасибо всем моим боевым друзьям и товарищам! Николай Б.»

Новый наш главком прибыл не один. С ним было еще одиннадцать товарищей (Иван Дмитриевич Папанин, Григорьев, Дмитрий Соколов, Микола Кулиш и другие). С большим риском они на катере перебрались по морю с советского берега в белогвардейский

Крым, ускользнув от сторожевых судов врангелевского флота. Они доставили пулеметы, бомбы и деньги, столь необходимые крымским партизанам. А как смеялись наши ребята, когда после смелого рейда Мокроусова они прочитали в белогвардейских газетах, что 7 сентября генерал Врангель объявил в приказе благодарности адмиралу Саблину за бдительную охрану черноморского побережья! А ведь не только Мокроусов, но и другие подпольщики и партизаны по заданиям обкома и штаба, хотя и с большими трудностями и риском, не раз перебирались на советский берег и обратно. Конечно, в этом нам очень помогали крымские рыбаки.

В лагерь Симферопольского полка, где расположился со своим штабом Мокроусов, я добрался поздно ночью. Еще издали потянуло дымком. Лагерь еще не спал — горели костры, вокруг них сидели бойцы, чистили оружие, разговаривали, сражались в шахматы и шашки.

У одного из костров я нашел А. В. Мокроусова. Его многие у нас знали и раньше как боевого командира отряда матросов-черноморцев. Невысокого роста, хорошо сложенный, со смуглым лицом и пронзительными глазами. Говорил с людьми он всегда спокойно, неторопливо, вдумчиво и в движениях был медлителен, но точен. Что говорить, человек он был рассудительный и боевое дело знал хорошо. Партизаны к нему относились с большим уважением.

Мокроусов выслушал мое сообщение о состоянии Альминского отряда и объявил, что в связи с реформированием повстанческой армии Альминский отряд волеется в другие отряды.

Боевая деятельность Мокроусова в Крыму началась взрывом Бешуйских копей. Они по приказу Врангеля разрабатывались тогда всюду — это был один из главных источников снабжения углем железной дороги. Шахты находились в горах. Их охранял сильный отряд белых. Мокроусов с Симферопольским полком прибыл в лагерь нашего отряда. Решено было напасть на копи объединенными силами и взорвать их. Подойти мы должны были со стороны труднодоступной местности, где, по данным нашей разведки, белые не выставляли застав.

Стояла лунная ночь, мы осторожно подходили все ближе к шахтам. Шли в сосредоточенном молчании. Еще не было видно шахтных построек, как наша головная часть была остановлена окриком: «Стой, кто идет?» Мы неожиданно напоролась на заставу белых. Мгновенно мы замерли, наступила жуткая, пугающая тишина. И вдруг раздалась звонкая команда Мокроусова: «Партизаны, вперед!» С мощным многоголосым «ура» цепи ринулись вперед. Застава белых была смята.

Черная лесная чаща, черное звездное небо, яркая луна. По склону холма разбросаны служебные и жилые здания копей. Причудливые тени и очертания строений скрывают бегущих людей. Мы лавиной, с непрекращающимся криком «ура, ура, ура-а-а!» мчимся что есть сил вперед, навстречу застрекотавшим пулеметам и вспышкам ружейных залпов врангелевцев. Их пули с визгом ложатся вокруг, пролетают над нашими головами. Горное эхо усиливает крики «ура-а-а» и грохот пулеметной и ружейной стрельбы, шум сотен движущихся ног. Похоже, что горный обвал скатывается в бездну. Врангелевцы залегли за строениями и естественными укрытиями. Наши цепи и цепи противника разделяли теперь лишь десятки шагов.

Рядом со мной лежал партизан Скрипниченко. Он то и дело переругивался с белыми; приглашая в свидетели мать, он предлагал им сдать. В ответ ему неслось: «Корниловцы не сдаются», подкрепленное в свою очередь отборной бранью.

За темными верхушками леса уже показалась белая полоса зари. С флангов до нас донеслась пулеметная стрельба — это наша команда разведчиков обошла белых. В поддержку им поднялись и мы. Двинулись. По всему участку разгорелся бой. Белые не выдержали натиска и начали поспешно отходить. Отстоять шахты им не удалось. Партизаны Папанин и Григорьев подготовили взрыв шахт. По цепям передали команду: «Отходить!» Через короткое время раздался страшной силы взрыв. Под ногами заколебалась земля. В воздух взлетели груды камней, горящие головни, туча дыма и пыли застлала все перед нами. Взрыв уничтожил шахту № 1, склады взрывчатых веществ и материальный, мастерские и другие здания. Командование белых бросило в район шахт несколько своих полков, часть которых была снята с фронта. Контрразведка произвела

массовые аресты среди рабочих шахт, лесной стражи и личного состава отряда, охранявшего шахты. Врангель расстрелял нескольких офицеров и рядовых за то, что они отступили, не отстаивая шахты.

Только у Чатыр-Дага отряды получили возможность передохнуть. Но тут же Мокроусов отдал приказ о походе на восточное побережье. Спуск с Чатыр-Дага продолжался долго. Ночь была темная, безлунная, тучи сплошь окутывали небо. По обрывистым крутым скалам осторожно продвигались наши отряды, растянувшись длинной цепочкой. Внизу под нами белой лентой вилось шоссе, окаймленное лесом и садами. Несколько раз мы пересекали горные речушки, торопливо бежавшие к морю. Шоссейная дорога Симферополь—Ялта круто изгибалась спиралью вокруг гор. И вот уже замелькали в дымке тумана огни—это Алушта.

Утро наступило солнечное, яркое, с чистым, светло-голубым небом. С развернутыми красными знаменами, с песнями двигались партизаны береговой шоссейной дорогой, ведущей на Феодосию.

Показалось татарское селение Куру-Узень. Здесь у самого берега моря на лучших землях раскинулось имение помещика Козловского. Когда-то эта прибрежная полоса плодородной земли принадлежала крестьянам-татарам. Но постепенно они были отеснены в горы, на каменистую, бесплодную почву. Мы заняли имение и расположились на отдых. Наш приход нарушил течение жизни многочисленных обитателей помещичьего дома. Все семейство и гости только собрались было сесть за обеденный стол, как нагрянули мы. Нетрудно представить себе их физиономии, всеобщую растерянность и панику. Комендантская команда штаба произвела реквизицию продовольствия, рабочие в имении указали, где у помещика спрятаны белая мука, копчености, одежда, мануфактура. Часть отобранного оставили для нужд отряда, остальное роздали рабочим и крестьянам деревни. Созвали митинг. Когда выступил с речью партизан Скрипниченко, крестьяне-татары, улыбаясь и кивая головой в знак одобрения, говорили: «Якши большевик, якши товарищи».

Перед вечером отряды подошли к деревне Кучук-Узень. Начальник государственной стражи капитан Голиков, как только заметил наши головные части, построил своих людей, поставил в козла ружья, сложил боеприпасы и приготовился к сдаче. Подойдя к нашему командиру Мокроусову, он отрапортовал о количестве людей, вооружении и снаряжении, которое он передавал повстанческой армии. Голиков работал в нашем штабе до выхода из леса.

Дальше отряды прошли через деревни Туак и Ускут. Татарское население тепло и радостно встречало нас, щедро угощало. За время этого перехода в наш отряд влилось много татарской молодежи.

В районе деревни Сартаны к нам присоединился конный отряд и отряд Жеребцова, которые перед этим лихо разгромили карательный отряд белых. Дело в том, что в Сартанах в помещичьем имении стояла большая врангелевская часть. Главный штаб принял решение разбить ее. Было назначено время для проведения этой операции. Отряды еще до рассвета выступили в поход. Белые обнаружили наше движение, только когда мы подошли к имению. Они укрылись в двухэтажном каменном доме. Наступление мы повели с трех сторон. Дом зловеще молчал. Но мы знали, что в нем засели белогвардейцы, хотя снаружи он казался вымершим. Потом из амбразур второго этажа выставили дула пулеметов, в окнах замелькали бегущие люди. Шагах в семидесяти от здания цепь Симферопольского полка и Альминского отряда пошла в атаку. Знаменосец Сапожников, высоко подняв древко со знаменем, бежал впереди цепи. Белые дали сперва мощный залп, а затем открыли беглый пулеметный и ружейный огонь. На мгновение наша цепь словно бы качнулась на месте, но тут же с криком «ура» ускорила бег. Сильный огонь отбросил нас назад. Мы залегли. Несколько часов обе стороны вели ожесточенный обстрел.

Наши бойцы Поцелуев, Гой, Лешенко и другие под градом пуль проскочили к дому. Прижимаясь вплотную к стене, они удачно бросили в окна нижнего этажа несколько ручных гранат. Но ворваться в здание нам так и не удалось. Новая попытка взять здание штурмом была отбита—сильнейший ураганный огонь вынудил нас откатиться назад.

Вскоре со стороны Карасу-Базара показался крупный отряд белых, опешивших на выручку осажденным. Мокроусов отдал приказ отойти. Мы ушли в лес. Эта операция стоила нескольким партизанам жизни. Были и раненые.

Дня через два мы были вознаграждены неожиданной удачей — наша разведка почти на глазах у нескольких сотен белогвардейцев захватила в плен генштабиста полковника Божсковского. Он возглавлял штаб по борьбе с повстанцами северо-восточного района Крыма.

С большим отрядом полковник Божсковский двигался по шоссе. Скакун полковника вынес его несколько вперед отряда, и на одном из поворотов он неожиданно напоролся на нашу разведку. Наши ребята были в английской форме. Приняв их за своих солдат, полковник заорал: «Почему без повязок?» — и покрыл шестизначным матом.

Чтобы в лесной обстановке легче распознавать своих, Божсковский требовал носить на левой руке выше локтя белую повязку. Это был отличительный знак.

Командир нашей разведки Поцелуев молниеносно накинулся на полковника, стащил его с лошади и зажал ему рот. Тот буквально и пикнуть не успел, как оказался в наших руках. Другие ребята ухватили за уздечку его лошадь и увели.

Через несколько часов пленный полковник был доставлен в наш штаб. При обыске у Божсковского обнаружили секретные документы, шифр и план очередной операции. Белое командование намеревалось окружить нас значительными силами и уничтожить во что бы то ни стало.

Мокроусов издал приказ, в котором, сославшись на то, что белые бросают против партизан значительные силы, поставил задачу выскользнуть из окружения и, заняв город Судак, нанести Врангелю новый чувствительный удар.

Бодро, с приподнятым настроением шли партизаны. В полдень спустились в долину. Перед нами лежал Судак.

Высланная вперед конная группа прервала его телефонную связь с другими городами. Тремя колоннами повстанцы вошли с разных сторон в Судак.

Городок раскинулся на берегу моря, среди небольших, покатых возвышенностей. В разных направлениях бежали кривые, узкие улочки с низенькими, как бы прижатыми к земле татарскими домиками с плоскими земляными крышами и маленькими окнами, прикрытыми деревянными решетками. То тут, то там вздымались вверх башенки миниретов. У лавчонок и кофеен, которых здесь было превеликое множество, сидели и стояли татары, мирно курили, пили кофе, играли в кости. В этом царстве Востока странно выглядели солидные европейские виллы со львами у подъездов, окруженные вечнозелеными растениями.

Никто из жителей и в мыслях не имел, что мы партизаны. Английская форма ничем не отличала нас от белых. Население поняло, какие войска вошли в город, лишь тогда, когда в центре Судака развернулись красные полотнища наших знамен.

Комендантская команда и городская стража сложили оружие без сопротивления. В бой вступили только пограничники из чехословаков и находившееся здесь в резерве офицерство. Местная буржуазия в панике кинулась к шлюпкам, пытаясь уйти подальше от берега. Партизаны легко брали их на мушку.

На некоторых улицах завязалась перестрелка. Белые, засев за укрытиями и в домах, пытались оказать нам сопротивление. Но мы решительно подавляли эти попытки.

Город был в наших руках. Комендантская команда грузила на подводы захваченное оружие, вьюки с обмундированием и продовольствием. В плену у нас оказалась довольно большая группа офицеров, гардемаринов и контрразведчиков. Поздно вечером по приказу Мокроусова мы покинули Судак. Ушли обратно в горы.

После этой операции мы стали лагерем за деревней Таракташ, неподалеку от имения Суук-Су. Дерзкое нападение партизан на Судак заставило белых бросить в этот район значительные силы, которые они снимали прямо с фронта.

Наша разведка установила приближение неприятеля с разных направлений. Силы его явно намного превосходили наши, и Мокроусов принял решение не принимать боя. Он отдал приказ об уходе из Судакского района.

Перед уходом Альминский отряд был окончательно расформирован. Часть его

бойцов влилась в Симферопольский полк и в конный полк, а часть осталась при штабе. Так закончилось существование первенца крымского повстанческого движения.

Сквозь лесные чащи, по оленьим тропам, через яйлу мы удачно ускользнули от столкновения с превосходящими силами противника.

Штаб наш обосновался в пещерах Бурульчи. Боевые же единицы — конный полк, Феодосийский, Карасу-Базарский, Симферопольский и татарский полки, получив задание штаба, выступили в разных направлениях и развернули боевые операции в тылу белых

Павел Макаров со своим Симферопольским полком предпринял смелый и продолжительный рейд. Из-под горы Чатыр-Даг — места своей стоянки — полк прошел через Симферопольский, Бахчисарайский, Севастопольский и Ялтинский районы, захватив десятки деревень, имений, экономий. Во время своих рейдов партизанский полк громил отряды белых и государственной стражи. Мы нарушали телеграфную и телефонную связь, вынудили прекратить работы по постройке узкоколейки, соединявшей шахты с основной линией железной дороги. В деревнях мы собирали крестьянские сходы, на которых коммунисты выступали с разъяснениями задач партизан и призывали на борьбу с белогвардейцами.

После походов по горно-лесным районам наш конный полк совершил один из самых смелых и дальних рейдов — в степной Евпаторийский район. Спустившись с гор, мы пересекли линию железной дороги. Одна за другой надвигались и вскоре остались позади цепи обнаженных холмов, и вот наконец перед глазами развернулось широкое приволье крымской степи. Правда, многие бойцы после привычной горно-лесной обстановки почувствовали себя здесь как-то неуверенно, степь давила своей тишиной и незащищенностью.

Пустились рысью. Легкий ветер свежит лицо, поднимает столбы песчаной пыли. Пыль забирается в нос, в уши, засыпает глаза. Лошади похрапывают, фыркают, пугливо прядают ушами. Пыль на дороге глушит топот копыт. Двигаясь от деревни к деревне, отряд дошел до села Ивановка. Дальше решили не идти, чтоб не слишком отрываться от своих. Повернули обратно.

Нам было известно, что в имении Шнейдера расположился карательный отряд. Мы решили выбить его оттуда. Галопом поскакали мы туда и, размахивая шашками, с криками «ура» ворвались в усадьбу. На скаку мы забросали карателей ручными гранатами. Но они, укрепившись за невысокой каменной стеной и в доме, открыли сильный ружейный и пулеметный огонь. Нам пришлось отойти.

Через несколько дней на рассвете мы добрались до гор. Это было неподалеку от Бахчисарая. На лесной поляне полк расположился на отдых, степь далеко позади.

Теплая южная осень кончилась. В горах оголился лиственный лес, выпал снег. Ударил первый морозы. Мы жгли большие костры, чтоб согреться. В конце октября из сводок, публикуемых штабом белого командования, стало ясно, что Красная Армия успешно развивает боевые действия. В Северной Таврии шли упорные бои. Конница Буденного, подкрепленная пехотой, заходила глубоко в тыл врагелевских войск. Но главным силам Врангеля все же удалось прорваться сквозь линию окружения Красной Армии. При прорыве 1-я и 2-я армии Врангеля потеряли более половины своего личного состава. Врагелевские войска пытались закрепиться на сивашских позициях.

В печати запестрели обнадеживающие интервью генералов. В газете «Время», например, генерал Слащев сделал 24 октября 1920 года заявление: «Население полуострова может быть вполне спокойно. Армия наша настолько велика, что одной пятой ее состава хватило бы для защиты Крыма. Укрепления Сиваша и Перекопа настолько прочны, что у красного командования не хватит ни живой силы, ни технических средств для их преодоления. Войска всей красной совдепии не страшны Крыму».

Господа генералы предполагали спокойно отдохнуть в Крыму и за зиму набраться новых сил. Но, несмотря на все заверения белых в неприступности Перекопа, в стратегических талантах Врангеля и его генералов, в их стане царил тревога и беспокойство.

Партизанские отряды стояли в это время лагерем в расположении штаба. Временами мы улавливали отзвуки далекой артиллерийской канонады.

Мокроусов принял решение идти на деревню Баксан, там погрузиться на подводы и ударить по тылам белых. Поздней ночью мы вступили в селение, а к рассвету двинулись дальше, к шоссе Симферополь — Феодосия. У захваченного нашими конными разведчиками языка мы узнали, что на Феодосию отступают части конного корпуса генерала Барбовича. Развернутыми цепями мы подошли к шоссе. Густой туман был надежным прикрытием, и мы стремительным ударом врезались в колонну отступающего врага.

Наше нападение было для врангелевцев полной неожиданностью. Сопротивление пытались оказать лишь пулеметные команды. Но безуспешно, их в панике сметали свои же. Только какая-то батарея успела дать один залп.

Мы расчленили надвое отступающую колонну белых. Меньшая часть повернула на Симферополь, а другая устремилась к Феодосии.

Белогвардейцы отступали панически, бросали орудия, пулеметы, двуколки, военное и награбленное ранее у населения имущество.

Поздно вечером мы вступили вслед за ними в Карасу-Базар. Нашим глазам представилась картина страшного разрушения. Магазины разграблены, на улицах трупы расстрелянных жителей, в винных подвалах выпущено из бочек вино и валяются бесчувственно пьяные белогвардейцы.

Мы продолжали преследовать врангелевцев.

На стоянке в деревне Салы в ночной темноте наша застава услышала приближение небольшой группы всадников. Предполагая, что это белые, наши бойцы подпустили их на близкое расстояние и только потом окликнули: «Что за часть?» С противной стороны посыпались ответные вопросы. Оказалось, что всадники эти — разведка головных частей Красной Армии.

Сияющий бежал начальник заставы Павел Лешенко в бедняцкую хатенку, где при свете тускло мерцающей керосиновой лампочки заседал со своим штабом Мокроусов. Скороговоркой, взволнованно доложил он командиру радостное сообщение и представил красных разведчиков. Через несколько минут весть эта облетела весь партизанский лагерь.

С частями Красной Армии мы соединились в Старом Крыму и дальше продвигались вперед уже вместе.

Когда же мы подошли к Феодосии, сопротивление белых было совсем слабым. Шла паническая посадка на суда, стоящие у причалов и на рейде. Остатки разбитых защитников «единой и неделимой» озверело рвались к пароходам. К поручням трапов тянулись руки раненых, которых безжалостно отталкивали, давили, затапывали здоровые, более сильные. Со сдвинутыми на затылок шляпами, с чемоданами, неистово работая локтями, кулаками, полные животного страха, протискивались на корабли помещики и фабриканты со своими семьями, попы, сестры милосердия.

А феодосийская подпольная организация готовилась в это время к захвату власти. Были освобождены из тюрьмы политические заключенные, создан ревком.

Утром 14 ноября наш конный отряд первым вступил в город. Вслед за нами после полудня вошли части Красной Армии и партизанские отряды.

Войдя в город, мы увидели далеко на горизонте все уменьшающиеся точки — это уходили от берегов Крыма, последнего оплота врагов республики Советов, вольные и невольные приверженцы старого мира.

А в это время телеграф на станции Джанкой выстукивал дегешу в Москву:

«Предсовнаркома Ленину. Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован.

Командующий Южфронтом Фрунзе».

Падение Врангеля знаменовало собой окончание трехлетней гражданской войны. «Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии — есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась ликвидированной» — так Владимир Ильич Ленин с трибуны VIII съезда Советов оценил значение разгрома и ликвидации врангелевцев.

В историю борьбы с Врангелем и освобождения Крыма вместе с героями, штурмовавшими Перекоп, крымские партизаны вписали и свои яркие страницы.

Горстка людей, окруженная со всех сторон неприятелем — кругом фронт, тыла нет, — заставляла в течение десяти месяцев считаться с собой властителей Крыма. Воевали мы тогда поистине не числом, а умением.

На всю жизнь остались в моей памяти лесные лагеря, где крышей было звездное небо, и наши землянки — долгие беседы и жаркие споры у костра о мировой революции, о нашей будущей жизни — какой она будет для нас, эта новая жизнь?!

П. СТРЕЛЯНОВ

★

НА ДОНУ

(1917—1918 годы)

СЯ — донской, но не казак, а «иногородний». Мой отец Петр Павлович Стрелянов — потомственный рабочий, наборщик, потом переплетчик харьковской губернской типографии — был связан с харьковскими народовольцами, вел пропаганду среди рабочих, а по воскресным дням отправлялся в окрестные села просвещать крестьян. В 1883 году он был арестован и приговорен к трем годам заключения в Петропавловской крепости. После отсидки был выслан под надзор полиции в глухую тогда станицу Вешенскую Донской области. Там, естественно, не было ни типографии, ни переплетной — значит, не было и работы, и ему приходилось чуть ли не голодать. По его ходатайству ему разрешили выехать в Новочеркасск. Там он нашел работу и женился на молодой казачке, работавшей в швейной мастерской.

Отец и здесь был связан с подпольной революционной организацией. Когда повсюду в крупных городах начались провалы и аресты в связи с готовившимся покушением на Александра III, отцу принесли чемодан с оружием. Не миновал обыск и отца, чемодан был обнаружен. Отец на допросе отказался назвать «соучастников», и защитник предупредил, что ему грозит смертная казнь. Отца спасла моя мать. В то время в Новочеркасске наказным атаманом «всевеликого» войска донского был князь Святополк-Мирский, человек светский, слышавший либералом. Он действительно проявлял своеобразный демократизм и установил систематические приемы «простого народа», главным образом казаков. Адвокат отца предупредил мою мать: никаких оправданий, глаза должны быть наполнены слезами, но ни в коем случае не плакать. Спросит, зачем пришли — надо произнести одну фразу: «Взываем к великодушью, ваша светлость!» Он заставил мать раз десять воспроизвести этот театральный жест. Старик отец ее должен был произнести тоже только одну фразу: «Милость ваша озарит раскаянием душу заблудшего».

И вот перед атаманом предстала молодая, красивая казачка на сносях и старик казак, еще бравый бородач, с тремя Георгиями, герой русско-турецкой войны. Отец был помилован с высылкой из столицы войска донского.

Так отец стал жителем самой большой станицы Донской области — Каменской (ныне город Каменск). Здесь он поступил переплетчиком к владельцу типографии Н. С. Попову.

Но и тут, уже на моих глазах, отец снова нарвался на арест. Пристав Жужнев приходил с двумя полицейскими к отцу на квартиру как к поднадзорному, рассматривал книги — нет ли запрещенных. Однажды он грубо прикрикнул на отца, но отец был очень самолюбив и не выносил полицию. Он вспылил и потребовал вежливого обращения. Пристав расхохотался и сказал полицейским:

— Заберите его... да повежливее.

Отца увели, но для суда повода не было. Его посадили в арестный дом. Когда мать пришла в окружное правление с прошением, случилось так, что в канцелярию, где была она, вошел пристав. На вопрос чиновника пристав заявил:

— Этот переплетчик требует от меня вежливости. А я человек грубый. Я его продержу, пока не научусь вежливости, и тогда вежливо выпущу.

Изнервничавшаяся мать не выдержала и заплакала. Насладившись самовластием, пристав здесь же написал распоряжение об освобождении отца.

Отец мой был человек очень начитанный — всю жизнь он имел дело с книгой, много рассказывал нам в детстве о Великой французской революции, о Парижской коммуне, о героической борьбе русских революционеров, о том, как царское правительство преследовало революционных писателей — Чернышевского, Добролюбова, Белинского, Герцена... Отец был на голову выше людей своего круга. Нам он с детства проторил дорогу к знанию, самоуважению и свободе.

Учился я сперва в церковно-приходской школе, а затем в городском четырехклассном училище. Тогда это училище давало право быть народным учителем — преподавать в сельских школах.

Станица Каменская не только самая крупная в Донской области, но и единственная из донских станиц, расположенная на крупной магистрали — юго-восточной железной дороге Москва — Ростов. Это преимущество в основном и предопределило ее роль в революционных событиях на Дону в октябре 1917 года. Помимо того, она была и самым крупным торгово-промышленным и культурным центром Донской области. Реальное училище, гимназия, коммерческое училище, две женские гимназии, женское и мужское четырехклассные училища — для тех времен это было необычайно много даже для Центральной России. Можно себе представить внушительность отряда станичной интеллигенции — одних учителей сколько!

Но здесь же, в окрестностях Каменской, мне еще мальчишкой довелось быть свидетелем жестокой расправы черносотенных темных казаков с «тилигентами», «сицилистами» — тремя студентами из местных же. Мы с товарищем были на рыбалке на противоположном, левом, берегу Донца. Вдруг вдали показались три бегущих фигуры, на значительном расстоянии их преследовала толпа — кричащая, размахивающая палками.

Беглецы направлялись к берегу Донца, чтобы, бросившись в воду, переплыть в Каменскую или же перебежать туда по деревянному мосту. Но все произошло неожиданным образом. Женщины, которые на берегу окучивали картошку, видимо, приняв бегущих людей за грабителей, бросились наперерез им. На плечо первого обрушился удар тяпки. Бежавшие заметались среди строя женщин. Беглецов окружили. Казаки, разгоряченные погоней, орали: «Бей сицилистов, ишь, тилигенты окаянные, царевубицы!» — и били кулаками прямо с разбегу. Женщины с криком отбежали в сторону, некоторые закрывали лицо руками. Не прошло и трех минут, как окровавленные беглецы беспомощно лежали на земле, их били и топтали сапогами.

Вечером к отцу пришла библиотекаря из Публичной библиотеки. Она принесла связку новых книг для переплета. Это была Глафира Яковлевна Акатнова, сестра вечного студента Александра Акатнова, основавшего в 1900 году в Каменской организацию социал-демократической партии. Сама она тоже отбывала тюремное заключение за революционную деятельность. От нее отец узнал, что жертвами расправы были Михаил и Иван Бирюстиковы и Иван Дерюгин — члены каменской организации РСДРП. Состояние пострадавших тяжелое.

В 1915 году, после окончания училища, мне предстояло ехать учительствовать на хутор Красный, в десяти километрах от станицы, а мне так хотелось продолжать учение в Москве, где уже учился в университете брат Леонид. Но семье нужен был заработок, а не еще один студент.

Сцена избиения «сицилистов», с которыми я уже был знаком через брата, научила меня осторожности. Однако я убедился, что казаки на хуторах уже не те. Были, конечно, и оголтелые черносотенцы, но казачья масса утратила былую веру в монархию и

пытливо искала ответов на вопросы, которые ставила жизнь. Еще большему расстройству и отрезвлению казачества послужила война. На хутора прибывали раненые, приезжали на краткую побывку фронтовые казаки. Приходили сообщения о гибели сына, отца, мужа. Часто улицы хутора оглашались душераздирающими воплями, плачем и причитаниями несчастных женщин, проклятиями войне.

В те годы народный учитель пользовался в казачьих хуторах большим уважением, если только он каким-либо неосмотрительным поступком не подрывал свой авторитет. Степенные старики первыми снимали на улице шапку, приветствуя учителя.

По вечерам, хоть сам я был еще довольно зеленым юнцом, приходили ко мне на огонек пожилые казаки. На хуторе не было керосина, не было и многих других, необходимых даже для самой скромной жизни вещей. Мои намеки о бессмысленности продолжения войны, о лживости призывов воевать до победного конца воспринимались охотно, хотя чувствовалось и враждебное, а подчас и озлобленное ко мне отношение со стороны некоторых «верноподданных». Я старался выявить казаков, которые в случае надобности могли бы составить опору большевистской организации, противопоставить их оголтелым черносотенцам.

В январе 1917 года меня призвали в армию и направили в Москву в школу прапорщиков.

В Москву я приехал не впервые. Здесь учился мой брат Леонид, и я несколько раз бывал у него в 1912—1917 годах. Подростком принимал участие в читках, проводившихся в студенческой квартире брата. У него собирались рабочие и студенты. Я просто преклонялся перед студентом-медиком Петром Васильевичем Смирновым — большевиком, лучше других подкованным теоретически. Читки были нелегальными, хотя квартира находилась почти рядом с печально знаменитыми Бутырками — тюрьмой для политических.

Школа прапорщиков — Александровское военное училище, — куда я теперь прибыл, находилась на Арбатской площади, в здании, в котором впоследствии помещался Реввоенсовет республики, а затем Министерство обороны СССР. Здесь меня застала февральская революция.

У меня уже был небольшой опыт подпольной работы, я присматривался к курсантам и вскоре обратил внимание на двух из них. Я не ошибся. Это были латыши — Карл Стрикис и Ян Кадике. Они называли себя большевиками, снабжали меня газетой «Социал-демократ», позже «Солдатской правдой», читали газету «Циня» (в переводе на русский — «Правда»). Я систематически старался добывать «Социал-демократа». В нем я прочитал «Апрельские тезисы» Ленина, которые произвели на меня огромное впечатление.

Московские улицы и площади представляли собой тогда бурлящий котел. Получив однажды увольнительную, я вскоре оказался на теперешней площади Пушкина, у памятника поэту, где стояла густая пестрая толпа, а возле самого памятника, немного возвышаясь над толпой, ораторствовал интеллигентного вида человек. Я прислушался и с удивлением убедился, что оратор ловко и убедительно обосновывает свою речь ленинскими «Апрельскими тезисами». В толпе время от времени раздавались злобные выкрики. Во время короткой паузы я зааплодировал ему и громко воскликнул:

— Правильно!

Вскоре я снова повторил свой возглас, но на меня тотчас же набросились трое стоявших рядом:

— Ты чего позоришь военное звание? Ах ты шенок! Ты еще молодой понимать такие вещи!

Меня толкали, тузили кулаками. Потеряв самообладание, я изо всех сил двинул в грудь одного из нападавших. Меня поддержало несколько человек — с виду рабочие. Началась потасовка, воспользовавшись ею, я ретировался.

Об «Апрельских тезисах», о лозунге «Война до победного конца!» я заводил беседы с курсантами. Одни соглашались, но другие упрекали меня в отсутствии патриотизма. Кое-кто докладывал о моих беседах поручику — командиру роты. Тот вызвал меня и сделал строгое внушение.

В апреле в связи с праздником пасхи курсантам давали увольнительные на пять

дней для посещения родных. Я выехал с братом в Каменскую. Мой брат Леонид был тогда агитатором агитколлегии большевистского МК и водил меня на митинги. Возвращаясь с одного из них, брат захватил меня с собой в МК, который помещался тогда в Гнездниковском переулке. Здесь мы встретили участника студенческого кружка П. В. Смирнова, о котором я уже говорил. Услышав от брата, что мы едем на Дон, Смирнов потащил нас к председателю агитколлегии МК. Это была Розалия Самойловна Землячка.

— До сих пор я не знала, что вы казак,— сказала она брату.

Брат разъяснил, что он «иногородний», но у нас есть друзья из казаков-студентов в станицах и на хуторах, и что в каменской подпольной организации РСДРП есть потомственный казак с настоящим чубом, лампасами и шашкой — Кудинов Семен Иванович. Руководители нашей старой подпольной организации Акатнов и Щаденко с успехом использовали его для большевистской пропаганды среди казаков.

Товарищ Землячка через час вручила брату удостоверение на право организовывать собрания и митинги и выступать от имени МК РСДРП (большевиков). И что самое интересное, Р. С. Землячка вручила брату десять чистых листов бумаги с печатью Московского комитета — чтобы в них заносить имена вступающих в партию. Затем мы получили двести экземпляров Программы РСДРП (большевиков). Это были книжечки размером немного более одной восьмой писчего листа, в розовой обложке. С этим вооружением мы отбыли в Каменскую.

Сразу по приезде мы с огорчением узнали, что старая подпольная интеллигентская организация в станице практически распалась. Зато крепки и формировались новые силы — трудового казачества, рабочих, беднейшего крестьянства.

Незадолго до октября 1917 года на Дону сложилась довольно напряженная политическая обстановка. Трехмиллионное население Дона (территория нынешних Ростовской, частично Волгоградской областей) ходом исторических событий все более и более вовлекалось в политическую борьбу.

После победы Октября в Петрограде и Москве большая часть генералитета царской армии и офицерства бежала на Дон. Российская контрреволюция видела в казачьем Доне русскую Вандею, с помощью донского казачества она рассчитывала свалить власть Советов и превратить Дон в оплот всех контрреволюционных сил для будущего военного похода на большевистские столицы — Москву и Петроград.

Генерал Каледин, став военным диктатором на Дону, не призвал Советское правительство, объявил об автономии Донского края и повел жестокую борьбу с его революционными силами.

Еще после февральского переворота революционное движение на Дону охватило широкие слои беднейшего крестьянства и казачества области и рабочее население Ростова, Таганрога, Сулина, Луганска, станицы Каменской и особенно на шахтах и рудниках области. Им руководили большевики. В Каменской деятельную работу по созданию большевистских организаций на шахтах и в рудничных поселках развернул Донецкий комитет социал-демократов большевиков. Во главе Каменского комитета стоял Е. А. Щаденко, будущий командир частей Красной Армии, отличившийся в боях на Дону, Украине и под Царицыном. Членами и активными работниками Каменского комитета большевиков были Н. Мусин — наборщик, М. Бувин — солдат царской армии, рабочие Колесников, Ананьев, Шинкарев, Босов, Шурупов и другие. Активную работу среди казачества вел казак-большевик С. И. Кудинов. Атмосфера на Дону была предгрозовая.

Как я ни рвался в Каменскую, но попасть туда мне удалось только в конце октября. По окончании курсов прапорщиков меня назначили взводным командиром 243-го пехотного полка, стоявшего близ города Камышина. Оттуда в начале октября с маршевой ротой нас отправили на Западный фронт. Я осторожно начал вести среди солдат агитацию. Солдаты дружно поддерживали лозунг «Долой войну!». Весть о взятии Зимнего и победе пролетарской революции в Питере застала нас в пути. В Минске наша рота «растаяла». Наконец я могу ехать на родину. Я добрался до Каменской в последний день октября.

Вскоре после приезда я встретил на бульваре учителя Полякова, друга нашей семьи. Он спросил, есть ли у меня увольнительная из армии. Я сказал, что нет.

— Так знайте, что сегодня же вас арестуют как дезертира. Мой родственник работает в управлении воинского начальника. Составлены списки, назначена облава. Уже арестовали четверых.

Я тут же выехал в Туапсе.

Вернулся я снова в Каменскую в начале января 1918 года. В это время Каледин стремился завершить разгром революционного движения на Дону. Рабочие и красногвардейские отряды Ростова, Шахт, Сулина, Таганрога героически сражались против верных Каледину казачьих частей. Коммунисты Дона частью ушли в подполье, частью выехали за пределы области, чтобы с помощью возвращавшихся с фронта на Дон большевистски настроенных воинских частей организовать борьбу против донской контрреволюции. В Воронеже, на других пограничных с Донской областью железнодорожных станциях группа большевиков, в числе которых были товарищи Сырцов, Дорошев, Френкель, Турло, Щаденко, Кудинов, вели пропагандистскую и агитационную работу среди возвращавшихся казачьих полков. В результате их агитации большинство казачьих частей, включая средний и младший командный состав, было настроено против борьбы с большевиками, высказывалось за «нейтралитет».

Тогда возникла мысль о съезде представителей казачьих фронтовых частей, которые могли бы преградить путь контрреволюционной калединской армии и нанести ей удар. Каменская большевистская организация сумела привлечь к организации съезда немало казаков. Подготовку к созыву съезда, кроме товарищей, находившихся в Каменской, вели в Воронеже товарищи Щаденко, Сырцов, Френкель, Турло, офицер 10-го казачьего полка большевик Ипполит Дорошев, прапорщик Михаил Кривошлыков, батарея Федор Подтелков, хорунжий Ермилов и большевик-казак Шурупов.

Хотя станция Каменская и находилась под властью Каледина, но именно она была выбрана местом проведения съезда потому, что местная казачья команда находилась под влиянием большевиков.

Всех нас, устроителей съезда, очень волновало чувство огромной ответственности, как держаться с делегатами фронтовых казачьих частей. Кто они? Ведь им предстоит решить судьбу революционного движения не только в станице Каменской, но и всего Дона — быть ему под сапогом Каледина или же здесь установится советская власть? Мы понимали, что нельзя допустить самотека, надо обеспечить влияние на съезд рабочих, шахтеров. Однако нельзя было и уязвлять самолюбие казаков — ведь они хозяева съезда. Все, с кем мне приходилось беседовать в эти дни, отлично сознавали огромную ответственность за подготовку съезда. Насколько я помню, в район шахт Белокалитвенской станицы выехал товарищ Мусин. Бувин, Тетеревятников и другие товарищи обеспечивали присутствие на съезде профсоюзных активистов.

Съезд решили устроить в здании церковно-приходской школы, где я когда-то получил свое первое образование.

Открытие съезда назначено на 10 января (по старому стилю). Прибывают делегаты — казаки-фронтовики. Кто они? Конечно, не большевики. Но они и против расправы с рабочими и большевиками. Наша задача — повернуть их на путь борьбы с Калединым. Фронтовики беседуют с местной казачьей командой, которая встала на сторону большевиков.

Пришло и много гостей: члены большевистской организации, рабочие, шахтеры, казаки местных казачьих частей, не избранные на съезд. Один наш товарищ даже сказал с иронией:

— Сколько гостей! И все непрощенные...

Но как бы там ни было, все получилось хорошо — на съезде хозяева и гости сдружились.

Здание церковно-приходской школы вмещало более пятисот человек. Зал был заполнен до отказа. Люди стояли в проходах, некоторые сидели и полулежали на полу. Крутили сигарки, в воздухе стоял крепкий запах махорки. Приступили к избранию президиума съезда. Выбрали Федора Подтелкова, Михаила Кривошлыкова, Ипполита Дорошева и других. Пригласили в президиум и меня как военного. Вскоре появился толь-

ко что приехавший из Воронежа товарищ Щаденко с представителями из Москвы товарищами А. В. Мандельштамом и С. И. Сырцовым. Товарищ Щаденко сообщил мне, что каменские большевики решили выдвинуть меня в состав казачьего военно-революционного комитета как человека военного, представителя неказачьего населения Дона и коренного жителя Каменской.

Вся предшествующая съезду работа и присутствие огромного количества гостей, несомненно, оказали влияние на настроение и выступление делегатов. Гости, хоть их было очень много, вели себя организованно, всячески подчеркивая, что истинные хозяева съезда — фронтовые казаки.

Делегаты съезда, представители казачьих фронтовых частей, говорили о необходимости создания на Дону подлинно народной власти, которая покончит с войной и контрреволюцией. Некоторые делегаты — правда, их было немного — не верили в возможность объявить на этом съезде Каледина низложенным и взять власть на Дону в свои руки.

— Мы выберем ревком, а признают ли нас все казаки? Опять же будет кровопролитие, — говорили осторожные, а может быть, и враждебные.

И вот после выступления одного из таких «осторожных» поднялся в зале неизвестный мне старый шахтер и с подчеркнутым спокойствием стал пробираться к трибуне. Ему давали дорогу. Подойдя к президиуму, он так же степенно проговорил:

— Товарищи делегаты, дозвольте мне, старому шахтеру, сказать слово.

Кривошлыков ответил:

— Пожалуйста. Никто не возражает.

Старик поднялся на эстраду. Трудно передать точно его выступление...

— Вот некоторые товарищи сомневаются, что надо свергнуть Каледина, — говорил он. — А чего же нам, рабочим, ждать? Каледин посылает свои отряды, они окружают наши рудники, расправляются с теми, кто говорит правду, хозяева не платят нам зарплату, некоторые закрывают шахты, душат нас голодом. Наши семьи голодают, а мы не бросаем работу, добываем стране уголек. Если надо, возьмем в руки оружие, может, погибнем, но не оставим до конца рабочего дела... Так думают наши шахтеры. И мы обращаемся к вам. Вы, фронтовики, были нашими защитниками. Защитите же нас от наших угнетателей. Если останется Каледин, вас снова погонят на войну. Возьмите власть на Дону в свои трудовые руки.

Выступление его произвело впечатление, старику долго и истоиво хлопали. Часа четыре выступали делегаты, говорили почти все — кто коротко, односложно, кто закатывая цветистую речугу на несколько минут. Приняли решение избрать ревком. Внимательно обсуждали каждую кандидатуру, голосовали поднятием рук.

Поздно вечером съезд закончил свою работу.

В эту же ночь мне как члену ревкома пришлось принять участие в аресте представителей калединской власти. При аресте начальник Каменского гарнизона оказал вооруженное сопротивление и ранил казака местной команды. Он был расстрелян на месте.

Утром арестованные белогвардейцы были отправлены в Луганск.

С этого дня началась упорная кровавая борьба против донской контрреволюции. Когда я читаю шолоховский «Тихий Дон», я снова переношусь в годы своей молодости — так правдиво, ярко и живо передал Михаил Шолохов картины жизни и беспощадной борьбы того времени на моем родном Дону. Как живые встают передо мной товарищи по борьбе.

В первые же часы своего существования донской ревком, обращаясь к казакам и всему населению Донской области, заявил, что отныне Военный революционный казачий комитет — единственно законная народная власть на Дону и что правительство Каледина объявляется свергнутым и более не правомочным.

На следующее утро на площади у ревкома, который занял здание почты, состоялась большой митинг. С горячими речами выступали председатель ревкома Федор Подтелков, Ефим Щаденко, представители из Москвы товарищи Сырцов и Мандельштам, рабочие и казаки.

Донревком сразу же занялся первоочередными делами, вызванными потребо-

стями экономической и политической жизни края. Было отпечатано и опубликовано несколько постановлений и воззваний. Лично я составил по поручению Донревкома декрет о национализации казначейства и банков в Донецком округе и о порядке выдачи вкладов из банка. Этот декрет был опубликован в «Известиях Донревкома».

В каменской типографии работал наборщиком большевик Мусин Николай. Он и обеспечивал быстрое печатание всех воззваний, приказов и постановлений Донревкома.

На меня при распределении обязанностей между членами ревкома были возложены все финансовые дела. Уже в первый день своей деятельности Донревком столкнулся с финансовыми затруднениями. Не было средств на оплату жалованья и приобретение довольствия для бойцов казачьих полков.

Двенадцатого января я вместе с членом ревкома И. И. Ковалевым — он был назначен казначеем — явился в каменское окружное казначейство. Я вызвал начальника казначейства и потребовал у него ключи от касс. Старик чиновник от неожиданности страшно растерялся, нам долго не удавалось ему втолковать, чего мы от него требуем. Когда же я чуть ли не в десятый раз разъяснил что и как, он сказал, что не может дать ни копейки без разрешения новочеркасской казенной палаты. Я сказал ему, что теперь он подчиняется не новочеркасской казенной палате, а Донскому ревкому и поэтому должен немедленно выполнять его приказы. Старый чиновник, проработавший всю жизнь в казначействе, окончательно потерял голову и совершенно не мог понять новой обстановки, как мы ему это ни втемншили. Пришлось самому подробно выяснять, какие срочные выплаты должно производить в ближайшие дни казначейство и поступление каких денежных сумм оно ожидает. Я предложил казначею оставить денег столько, сколько требуется на очередную выплату жалованья учителям и на довольствие больных, а всю остальную наличность передать казначею ревкома. Чиновник продолжал артачиться и выдал деньги лишь после того, как в кассу вошли два вооруженных казака. Это для казначея символизировало новую власть, и в последующем все необходимые средства он выдавал уже без разговоров.

Все же он немедленно телеграфировал в Новочеркасск о случившемся, и в одном из воззваний генерала Каледина к казакам говорилось, что член ревкома прапорщик-недоучка Стрелянов ограбил каменское казначейство. А когда впоследствии революционные части с боями взяли Новочеркасск и Донревком обосновался временно, до переезда в Ростов, в здании судебных установлений, то кто-то из членов ревкома принес и показал мне найденное в делах бежавшего калединского суда заведенное на меня дело. Постановлением этого суда я был заочно объявлен вне закона. Полная победа революции помешала калединским судьям осуществить их приговор.

Узнав о восстании в Каменской, атаман Каледин немедленно командировал туда членов донского войскового правительства. Он рассчитывал уговорить непокорные ему казачьи части. Ревком принял делегацию Каледина. Переговоры происходили в здании каменской почты. Перед началом переговоров Щаденко, Сырцов и я держали совет с Подтелковым и Кривошлыковым. Решено было не соглашаться ни на какие условия Каледина, а требовать немедленной передачи власти казачьему революционному комитету. Подтелков сказал, что Щаденко и мне, как иногородним и большевикам, не следует присутствовать при переговорах, а то каледины распусят слухи, что в казначее ревкома всем заправляют иногородние большевики. Мы согласились с ним. Все время переговоров мы находились в соседней комнате. Переговоры не дали никаких результатов. Тогда Каледин предложил Подтелкову возглавить делегацию ревкома и прибыть в Новочеркасск для продолжения переговоров. Помню, как, получив это приглашение, ревком долго обсуждал, стоит ли ехать руководству ревкома в Новочеркасск, не ловушка ли это. Лично я возражал против посылки делегации ревкома. Подтелков и Кривошлыков, не желая сразу развязывать военные действия против казачьих частей, находившихся в Новочеркасске, решили еще раз попытаться использовать мирные переговоры, рассчитывая таким образом облегчить захват власти на Дону. Они выехали в Новочеркасск.

Расчет на сговорчивость руководства ревкома не оправдался. Но пользуясь отсутствием Подтелкова и Кривошлыкова, генерал Каледин тайно в ночь на 16 января напра-

вил в Каменскую большую, хорошо вооруженный офицерский отряд под командованием полковника Чернецова. У него была одна задача — разгромить восставших.

Уже к утру 17 января отряд Чернецова занял станции Звереве и Лихую, разбив внезапным ударом красновардейские отряды, которыми командовал Саблин. Днем каледины подошли к разъезду Северный Донец. От станции Каменской их отделяло всего семь километров. Оставшиеся в Каменской члены Донревкома растерялись и не сумели сразу организовать сопротивление. Энергичными мерами Каменский комитет большевиков сумел вооружить рабочих и поднять для отпора чернецовскому отряду местную казачью команду. Благодаря этому ревкому удалось сравнительно организованно эвакуироваться на станцию Миллерово.

В последние часы эвакуации в Каменскую пешком возвратились из Новочеркаска Подтелков, Кривошлыков и другие члены ревкома. Буквально чудом они не попали в руки Чернецова, уже находившегося с отрядом на подступах к Каменской.

Заняв станцию, Чернецов объявил мобилизацию молодежи в свой отряд — шли к нему с охотой, разумеется, сынки местной буржуазии. Одновременно он начал расправу с рабочими и казаками, которые хоть косвенно были причастны к революционному движению и к Донревкому. Каменская тюрьма была набита до отказа.

Обосновавшись на станции Миллерово, Донревком сразу же стал готовиться к решающим боям с частями Каледина. Еще во время эвакуации из Каменской к С. И. Кудинову обратился казачий подполковник Н. М. Голубов с предложением принять участие в разгроме зарвавшегося Чернецова, если ему дадут возможность собрать хотя бы часть 27-го казачьего полка, которым он командовал на германском фронте. К счастью, оказалось, что некоторые сотни этого полка находились недалеко от станции Чеботовки.

Когда поезд со снаряжением, членами ревкома и каменскими большевиками был уже в пути, направляясь на север, в Миллерово, в купе классного вагона, где находились я и казначей ревкома И. Ковалев, зашел Голубов и представился как командир 27-го полка. Он сказал, что едет в полк и выступит с ним против Чернецова.

Поезд шел очень медленно, ехали мы почти всю ночь. Я с Голубовым долго беседовал о политических событиях в России, об Октябрьской революции. Голубову в то время было примерно лет сорок; он только что приехал из Новочеркаска, где он резко разошелся в политических взглядах с окружением генерала Каледина. Зная Голубова как храброго, волевого офицера (Голубов имел золотое оружие за храбрость), Каледин предложил ему службу в своем штабе. Но Голубов поставил Каледину условие — изменить политику. Он выступил на одном из заседаний войскового круга за прекращение формирования добровольческих частей из бежавших на Дон офицеров, за роспуск таких частей, за прекращение враждебной политики по отношению к Советскому правительству. Голубова обвинили в большевизме, хотя он никогда большевиком не был. Каледины даже арестовали его, но вскоре по настоянию Каледина его отпустили. Узнав о восстании в Каменской, Голубов решил перейти на сторону Донревкома. В разговоре со мной Голубов попросил разъяснить ему цели большевиков и что следовало бы делать в создавшейся политической обстановке русскому офицеру-казаку.

— Вас я понимаю, — сказал Голубов. — Вы молодой человек из рабочей семьи, прапорщик военного времени, пришедший в армию по мобилизации. Вполне понятно, что вы примкнули к большевикам. Я же потомственный вояка, казак-офицер, в армии служу двадцать лет. Я знаю, что старому строю нет возврата и что так жить народу, как он жил до революции, уже нельзя. Я раньше сочувствовал социал-революционерам, но для меня стало ясно, что народ их не поддерживает. Но чего хотят большевики, я не знаю. Знаю только, что большинство простого народа, даже казаки, особенно молодежь, идет за большевиками. Я фронтвик, не раз смотрел смерти в глаза, — продолжал Голубов, — и меня меньше всего беспокоит, что случится со мною. Но я хочу ясно знать, с кем мне идти, за что бороться, а воевать я умею и смогу пригодиться для дела революции.

Я изложил ему программу большевиков и необходимость борьбы против предательских буржуазных партий. Моя горячая речь и вера в правое дело большевиков, по видимому, произвели впечатление на Голубова, и он, подумав немного, сказал:

— Да, сейчас нет другого выбора — либо с народом, либо против него.

Этой же ночью мы расстались, Голубов отправился на станцию Чеботовку, где находились части 27-го полка.

Восторженно встреченный своими казаками, Голубов за сутки собрал полк и 20 января появился с ним у станции Глубокой, в двадцати пяти километрах от Каменской, где закрепился небольшой отряд красногвардейцев под командованием товарища Петрова (из Воронежа).

Двадцать первого января под станцией Глубокой сводный отряд Чернецова был наголову разбит соединенными отрядами красногвардейцев и казачьих частей Донревкома. В бою под Глубокой особенную смелость и стойкость проявили казаки 27-го Донского полка под командованием войскового старшины Н. М. Голубова. Ему принадлежит честь окружения и взятия в плен полковника Чернецова. Во время последовавшего затем наступления на Новочеркасск соединенных сил отряда товарища Сиверса и казачьих частей 27-й полк во главе с Голубовым первым ворвался в город.

Члены Донского ревкома отдавали себе отчет, что предстоит тяжелая и упорная борьба. Что с генералом Калединым силами одной только каменской казачьей команды и оставшейся при ревкоме небольшой части казаков-фронтовиков, которые еще не разъехались по домам, добиться победы не удастся. На первом же заседании Донревкома в Миллере по предложению Е. А. Щаденко было принято решение послать телеграмму о событиях на Дону Председателю Совнаркома товарищу Ленину.

Вот текст этой телеграммы:

«Харьков, 19 января 1918 года. Из Луганска, № 449, 18 ч. 20 мин. Харьков, комиссару Антонову. Донской казачий военно-революционный комитет просит вас передать Петроград Совет Народных Комиссаров следующую резолюцию Донской области:

казачий военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил:

1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный исполнительный комитет съезда Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет Народных Комиссаров.

2. Создать краевую власть Донской области из съезда Советов казачьих, крестьянских, рабочих депутатов.

Примечание: Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным съездом.

За председателя прапорщик Кривошлыков.

Секретарь Дорошев.

Члены: прапорщик Стрелянов, Ковалев, Кривушев, Черноусов, Ерохин».

Кроме того, ревком принял решение командировать меня как члена ревкома в ставку командующего вооруженными силами Совета Народных Комиссаров на юге России товарища Антонова-Овсеенко для установления связи и координации действий с советскими войсками, выступающими против Каледина на границе Донбасса и Дона. Просить товарища Антонова-Овсеенко выделить в распоряжение Донревкома денежные средства, необходимые для формирования отрядов из крестьян Донской области.

Ревком поручил Е. А. Щаденко приступить к формированию полков из крестьян Донецкого и Второго Донского округов.

Я немедленно выехал в Харьков.

Прибыв туда, я вместе со своими спутниками-казаками отправился в штаб товарища Антонова-Овсеенко, находившийся в поезде, стоявшем на путях недалеко от станции «Южная Бавария».

После долгих переговоров со штабными, не пропускавшими нас к командующему, меня принял начальник штаба и попросил подождать, так как командующий находится в городе на заседании Харьковского Совета депутатов. Вскоре приехал товарищ Антонов-Овсеенко. Он подробно расспросил меня о положении на Дону и в Донревкоме. Командующий просил передать Донревкому, что необходимо немедленно переходить в наступление с севера вместе с воронежским отрядом под командованием Петрова, а он поддержит это наступление группой войск, находящихся под командованием товарища

Сиверса. Антонов-Овсеенко указал при этом на важность того, чтобы казачество на Дону знало, что на Каледина наступают сами казаки.

— Надо оповестить об этом население в воззваниях ревкома, а мы поддержим ревком красногвардейскими отрядами. Там прекрасные боевые ребята из донбасских шахтеров,— сказал главнокомандующий.

Свои обещания товарищ Антонов-Овсеенко выполнил точно. При наступлении на Новочеркасск и Ростов успешно действовали красногвардейские отряды Сиверса и Саблина. Щаденко успешно выполнил план создания воинских частей из крестьян — бывших солдат-фронтовиков. Сформированные им отряды были основой прославившегося в гражданскую войну Титовского партизанского крестьянского полка.

Возвратившись после разгрома Чернецова в Каменскую, Донревком разместился в единственной станичной гостинице, на Донецком проспекте. Здесь шла энергичная жизнь. Толпились люди, пришедшие решать и выяснять важные для них вопросы, здесь заседали, спорили, искали пути, как организовать жизнь по-новому, здесь составлялись воззвания, приказы и постановления, издавались «Известия Донревкома», в которых все эти воззвания и постановления печатались. Редактором «Известий» был студент новочеркасского политехнического института Полотебнев, а автором — составителем многих воззваний и других опубликованных в «Известиях» материалов член Ростовского комитета партии большевиков А. Френкель.

Е. А. Щаденко в то время разъезжал по шахтерским поселкам, агитировал и организовывал население, создавал рудничные советы, партийные ячейки, шахтерские красногвардейские отряды. Приступил к формированию отрядов Красной гвардии из каменных рабочих солдат коммунист с 1917 года М. Д. Бувин. Впоследствии в боях с белогвардейцами под Царицыном он отличился и был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Многие бойцы сформированного им красногвардейского отряда стали в годы гражданской войны членами Коммунистической партии. Многие из них героически сложили свои головы за дело революции. Оставшиеся в живых по окончании гражданской войны столь же самоотверженно бились на хозяйственных фронтах, борясь с разрухой, а затем участвовали в социалистическом строительстве.

Освободив Каменскую, 27-й казачий полк Голубова и отряды Красной гвардии продолжали наступление в направлении Новочеркасска. Казачий революционный комитет готовился к переезду в Новочеркасск. В Каменской власть передавалась организованному там Совету рабочих, казачьих и крестьянских депутатов.

Был образован революционный трибунал, который рассматривал дела тех, кто состоял в отряде Чернецова. Председателем ревтрибунала был назначен член ревкома товарищ Шурупов, а членами я и М. Д. Бувин. Других членов ревтрибунала я не помню. Большинство обвиняемых, представителей калединского офицерства и торговой буржуазии, а также их деятельность в стане контрреволюции были хорошо известны и мне и Бувину — коренным каменским жителям. Поэтому разбор дел в трибунале не представлял особых трудностей. Учитывая, что большинство обвиняемых были молоды, трибунал выносил довольно мягкие приговоры в надежде на исправление провинившихся.

Двадцать седьмого января Донревком выехал в только что освобожденный Новочеркасск. В город прибыл поздно ночью. Красногвардейские отряды под командованием товарища Сиверса продолжали продвигаться к Ростову, и станция Новочеркасск была забита эшелонами. Уставшие, мы направились в атаманский дворец генерала Каледина. Дворец был пуст. В одной из комнат стояла кушетка с большим кровавым пятном на ней. Здесь сутки назад застрелился претендент в диктаторы юга России генерал Каледин. Добровольческая армия отступила на Кубань.

При взятии Новочеркасска Голубов захватил в плен членов донского казачьего правительства и нового назначенного атамана (вместо застрелившегося Каледина) генерала Назарова. Их доставили в Донревком, и здесь же они предстали перед революционным судом. В этом заседании суда принимали участие все члены Донревкома во главе с Подтелковым и Кривошлыковым. Присутствовали также товарищи Сырцов, Щаденко, Френкель и другие. Каждому обвиняемому было предоставлено право высказаться в свое оправдание. Генерал Усачев и полковник Грузинов, бежавшие на Дон

для борьбы против Советов, злбно, с ненавистью говорили о революции. Более сдержанно вел себя новый наказный атаман генерал Назаров. Товарищ Сырцов спросил его:

— Генерал, если мы отпустим вас на свободу, дадите вы честное слово не выступать больше с оружием против советской власти?

Назаров задумался и ответил, что он не может дать такого обещания — ведь он казак, и если казаки призовут его, то он снова возьмется за оружие. Суд единогласно вынес приговор всем главарям донской контрреволюции — расстрелять.

На следующее утро Донревком переехал в здание судебных установлений. Я, как мне и надлежало, занялся налаживанием финансовых дел в городе, назначением комиссаров в банки и казначейство.

На другой день под влиянием рабочих организаций Донревком принял постановление перенести центр области в Ростов. В тот же день мы переехали туда. Вначале ревком разместился в гостинице «Отель-Палас». Теперь он действовал уже на правах Совета народных комиссаров Донской Советской республики. Я был назначен народным комиссаром финансов.

В то время обязанности комиссара финансов города исполнял член Ростовского Совета большевик Дунаевский. Вместе с ним мне пришлось национализировать ростовские банки, бороться с саботажем банковских служащих и организовывать советский финансовый аппарат. Вскоре я убедился, что Дунаевский куда лучше меня разбирается в вопросах финансов, и поставил вопрос об освобождении меня от обязанностей народного комиссара финансов и назначении на этот пост Дунаевского.

Донской Совнарком удовлетворил мою просьбу.

Я выехал в Туапсе, где осенью 1917 года я работал в Совете рабочих депутатов и где тогда же вступил в партию. Гражданская война на юге России продолжалась. Я принимал в ней участие уже как начальник штаба частей Красной гвардии, действовавших на Черноморье в районе Туапсе.

Члены ревкома не только дружно вместе работали, но и жили, питались, отдыхали вместе — в тех же гостиничных номерах, где размещался ревком (и в Каменской, и первое время в Ростове). У меня с Михаилом Кривошлыковым, секретарем ревкома, была крохотная комнатуха, в которой, кроме стола и стульев, умещалась только одна жесткая кровать, и мы с Михаилом спали на ней поочередно, укрывшись шинелями. Работа, а нередко и горячие споры о будущей жизни затягивались на всю ночь, да и засыпали мы на рассвете. Кривошлыков был молод, как и большинство из нас, горяч, беззаветно предан делу революции. Он сказал мне как-то:

— Знаешь, товарищ Стрелянов, вот скоро кончится гражданская война. Мы победим безусловно, ведь с нами весь народ. Вот тогда начнем по-настоящему работать для себя — для народа. Я ведь агроном из Еланской станицы. У нас в станичном юрту много песков, неудобных земель, пустырей. Сколько можно будет насадить садов и лесов! Устраним тем самым суховеи и заставим землю хорошо послужить на благо народа

К Кривошлыкову часто заходил по вечерам председатель ревкома Федор Подтелков. Это был волевой, с виду несколько суровый человек, выходец из бедной казачьей семьи станицы Усть-Хоперской. Хоть и малограмотный, он был прекрасным агитатором, умел задеть за живое казачье сердце. До войны он несколько лет гнул спину на кулаков и хорошо знал, что такое капиталистическая эксплуатация. Горячо ненавидел он буржуазию и не доверял казачьим офицерам. Подтелков твердо верил в победу советской власти. В беседах с нами он, ссылаясь на прошлое казачества, на движение Степана Разина, говорил, что Советы — вполне приемлемая форма власти для трудящихся казаков, что трудовым казакам надо идти и они пойдут за советской властью. Федор Подтелков очень любил Кривошлыкова и по-братски заботился о нем. По всем важным делам он непременно советовался с ним, прислушивался к его мнению и поступал так, как советовал Кривошлыков. При этом он говорил обычно:

— Тебе, Миша, виднее, ты человек образованный.

С большим уважением и доверием относился Подтелков к руководителю каменских большевиков Е. А. Щаденко. Как-то он сказал Кривошлыкову:

— У этого хохла-рабочего светлая голова. Нам, казакам, он желает только хорошего.

Убежденный революционер, полностью принимавший основные положения пролетарской революции, Федор Подтелков не понимал одного — классового расслоения донского казачества. Он делил всех казаков на молодых фронтовиков, настроенных, по его мнению, революционно и готовых поддержать ревком, и на стариков и других тыловых казаков, которые не сражались на фронтах кровавой империалистической войны. Их Подтелков считал опорой Каледина. Социальному, имущественному положению как тех, так и других Подтелков не придавал большого значения. Он утверждал, что все казаки-фронтовики поддержат ревком в борьбе против контрреволюции. Нечеткость классового сознания побудила его сделать неправильный и роковой шаг. Когда под напором частей кайзеровской армии и белогвардейцев Донской ревком вынужден был покинуть Ростов, Подтелков решил предпринять поход в Верхне-Донские станицы и организовать там революционные отряды из казаков-фронтовиков. На станции Грачи произошла встреча Донревкома с отрядом Е. А. Щаденко. Долго доказывал Подтелкову Щаденко, что продвижение в Верхне-Донские станицы с отрядом в восемьдесят человек слишком рискованно. Михаил Кривошлыков в это время был гяжелю болэн (малярией) и не участвовал в решении вопроса, идти ли отряду Донревкома вместе с красноармейскими частями Ворошилова к Царицыну или же самостоятельно направиться в Верхне-Донские станицы. Подтелков не согласился с доводами Щаденко и направился в станицы Верхнего Дона.

Попав в окружение крупных сил белых казаков, отряд Подтелкова был зверски уничтожен.

Революционные бои на Дону в январе—марте 1918 года имели большое значение для молодой Советской республики. Мужественно сражавшиеся рабочие, крестьяне и казаки Дона преградили путь на Москву и Петроград контрреволюционному офицерству, внесли свой вклад в победу Октябрьской революции и создание нашего социалистического государства.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Полвека советской литературы

А. ТВАРДОВСКИЙ

*

ПОЭЗИЯ МИХАИЛА ИСАКОВСКОГО

Огромное большинство людей, вовсе не чуждых навыкам общения с книгой, лишь в редких и особых случаях являются читателями стихов. Речь не о Западе, где стихотворная поэзия для многих давно уже старомодный род литературы и отношение к ней чаще всего снисходительно-насмешливое. Речь идет о нашей читательской аудитории с ее общепризнанным повышенным интересом к искусству поэзии, с нашими неслыханными тиражами стихотворных книг, с переполненными залами литературных вечеров и невозможным в иных странах количеством литераторов, зарабатывающих на жизнь стихами. Так необъятно велика читательская армия в нашем обществе, что постоянные читатели, любители поэзии, именно стихов, при всем том, что уже сказано, составляют лишь малую отдельную часть этой армии.

И первым опознавательным признаком значительного поэтического явления, приобретающего характер явления общественного, можно смело считать тот показатель, когда такие-то стихи читают уже и люди, обычно стихов не читающие. Приводя здесь это давнее мое определение, я вовсе не утверждаю, что такой показатель непременно означает и подлинную поэтическую ценность стихов. Бывает по-всякому, и не редкость, когда более или менее длительное внимание читателей, включая тех, что обычно стихов не читают, в силу моды завоевывают стихотворные изделия сомнительного качества. Точно так же, как перевозосимые узким кругом знатоков, но не переступающие черты, за которой читатель, обычно стихов не читающий, мастера для че-

многих, поэты для поэтов далеко не всегда в результате проверки временем удерживают за собой даже это признание. Я говорю о первой примете значительности поэтического явления, при отсутствии которой разговор может иметь скорее лишь внутрилитературный, специальный характер, не затрагивающий интересов и настроений больших общественных слоев. Такая примета сопутствует явлениям поэзии самого различного толка — от Д. Бедного до Евтушенко, как бы мы ни относились к тому или другому.

Поэзия Михаила Исаковского, бесспорно, обладает этим опознавательным признаком, хотя она никогда не была тем, что называется модой. Более того, она не вызвала особых литературных споров, столкновений мнений и не являлась предметом хотя бы кратковременного исключительного внимания к ней критики, как это нередко случается в поэтических биографиях. Разве что был в самом начале ее сознательного пути один жесткий порожец, который ей посчастливилось успешно переступить. Это — когда по выходе первой книги стихов Исаковского «Провода в соломе» она была раскритикована А. Лежневым, но вслед за тем решительно поддержана М. Горьким в его «Рецензии», которой с тех пор не минует ни одна большая или малая работа, посвященная этому поэту. Словом, эта поэтическая судьба складывалась без особых эксцессов. И тем не менее, повторяю, стихи Исаковского — несомненный образец поэзии не для одних любителей и знатоков, но для всех читателей, даже весьма далеких от развитых литературных интересов, и в нее стоит всмотреться попристальнее.

Примерно с середины двадцатых годов в смоленской газете «Рабочий путь» одно за другим стали появляться стихотворения

Статья является предисловием к четырехтомному собранию сочинений М. В. Исаковского, которое выйдет в издательстве «Художественная литература».

Исаковского, составившие потом основной цикл книги «Провода в соломе». Это были «Докладная записка», «Ореховые палки», «Хутора», «Радиомост» и другие образцы его, так сказать, повествовательной лирики, которая с газетной страницы нашла кратчайший путь к читателю, хотя бы еще только к читателю-земляку. Интерес к этим стихам отнюдь не ограничивался только кругом людей, имеющих какие-нибудь литературные притязания, пробовавших свои силы в стихах и прозе, — хотя таких было уже и в ту пору немало. Это был куда более широкий круг провинциальной интеллигенции — учителей, местного студенчества, комсомольских активистов и культпросветчиков города и деревни. Стихи Исаковского звучали для них чем-то очень знакомым и даже своим, что, может быть, в первую очередь располагало к себе земляческие чувства читателей.

Так или иначе, еще до выхода в Госиздате его первой книги Исаковский в своих краях пользовался завидной известностью. Это читательское признание поэта счастливым образом опережало суждения и оценки в литературных сферах. И хотя жил он тогда в Смоленске и работал в редакции той самой газеты, где печатались его стихи, он не считался смоленским поэтом в отличие от нас, местной литературной молодежи. Пусть стихи его, лишь изредка появлявшиеся в московских газетах и журналах, самой литературной Москвой еще почти не замечались, — у читающей провинции были на этот счет свои понятия: «И Москва печатает». Это была, как после выразался сам Исаковский, слава в губернском масштабе, но слава, с которой могла бы равняться далеко не всякая приезжая знаменитость, выступавшая на вечерах в нашем городе.

В «Рабочем пути» были напечатаны почти все стихи молодого М. Исаковского, ныне известные по многократным переизданиям, сборникам, хрестоматиям, листкам календарей и в изустном песенном обиходе. Именно со страниц «Рабочего пути» пошел Исаковский, какого мы все теперь знаем. Его первым читателям были знакомы имена виднейших поэтов тех лет, но ни тематикой, ни самым строем стиха поэзия Исаковского не напоминала ни Д. Бедного, ни Маяковского, ни Безыменского, ни Жарова или Уткина. Смыкалась она очевидным образом лишь с некоторыми мотивами есе-

нинской музыки, и об этом нужно сказать с самого начала.

Лирика Сергея Есенина в свое время была огромным общественным явлением именно в смысле всеобщности охвата ею самых разнообразных читательских кругов и слоев. У нее были почитатели, которые даже и не читали ее сами с печатного листа, а знали со слуха в изустной передаче, нередко под баян или гитару. Его читали, переписывали и знали наизусть представители самой разнородной социальной принадлежности — от людей искусства, научной интеллигенции до нэпманских дочерей и квартирных хозяек, произносивших имя поэта для пушкого шика через «э» обратное — Есенин.

Явления поэзии иногда приобретают характер явлений моды, обладающей немалой силой притяжения к себе симпатий, но настоящему значительная поэзия в моде не растворяется и ею не исчерпывается.

Лирика Есенина, помимо того, что делало ее модой, нередко вызывающего, антиобщественного духа, несла в себе общезначимые ценности поэзии — покоряющую искренность выражения человеческих чувств: любви, утрат возраста, с особой остротой переживаемых в молодости, память детства, чувства природы, сыновней привязанности к родной земле.

Непринужденное изящество формы, во многом обязанный открытиям Блока, музыкальность, рискованная близость к жестокому романсу — все это и многое другое сообщало поэзии Есенина общедоступность и вместе импонирующую читателю исключительность. Стихи его были распространены широчайшим образом и в самой передовой части нового общества — студенчества, комсомольских работников и всех тех, кого я уже называл, говоря о читателях Исаковского. Только в одних случаях Есенина превозносили и объявляли его своим знаменем; в других его читали и перечитывали, но делали это несколько потаенно (вроде выпивки, считавшейся делом «несовместимым» и даже запретным); в третьих — он отлично уживался рядом со стихами популярных комсомольских поэтов, многие из которых, кстати сказать, не избежали его влияния. Вообще влияние есенинской поэзии на литературную молодежь было почти повальным, — оно до сих пор еще отзывается в стихах многих начинающих. Но в те годы оно приобретало нередко формы психоза: среди подражателей Есенина были

следовавшие его примеру даже в выборе трагического конца, были настроения — и не только среди литературной молодежи, — получившие название «есенинщины». Но не об этих крайностях идет речь, когда мы говорим о поистине феноменальной популярности Есенина, которая может быть объяснена особыми обстоятельствами нашего развития и, конечно, больше обязана своей исключительностью этим обстоятельствам, чем ему самому, хотя бы и с его редкостным лирическим даром.

Она находила живейший отклик в разных пореволюционных прослойках и группах, главным образом городских, среди людей потрясенной или ущемленной судьбы, потерявших привычные жизненные связи и видевших в будничных заботах и призывах времени лишь эту будничность, «прозу». Такие настроения, осложненные житейской неустроенностью всякого рода, приходили для многих на смену романтическому подъему периода гражданской войны и вместе были обращены к идеализированному миру тишины и успокоения, каким чаще всего представляется усталой или надорванной душе горожанина мир деревни, хотя бы по воспоминаниям детства.

Под влиянием Есенина в поэзии двадцатых годов валом шла лирика деревни — как милой и чем-то обиженной обители с ее серыми избушками, подсвеченными белизной березок. Это был мир в порядочной степени условный.

Пореволюционная деревня, поделившая помещичьи луга и земли, почти заново отстроившаяся за счет самовольных порубок в «лесах местного значения», была охвачена жизнедеятельным порывом, шедшим, правда, не в одном направлении. Тут и хуторизация, имевшая особо широкое развитие на Смоленщине, и опытное интенсивное хозяйствование читателей и подписчиков журнала «Сам себе агроном». Но были и успехи сельскохозяйственной кооперации, были товарищества по совместной обработке земли, прививавшие начальные навыки артельной жизни и служившие предвестием будущей коренной перестройки деревни на основе коллективизации, об особом характере и темпах которой тогда, правда, еще не было предположений.

Деревня была полна молодежи, привлекаемой комсомолом, школой, сетью изб. Читален ко всякого рода культурным начинаниям — самодеятельным спектаклям, кон-

цертам и иным затеям, к чтению книг и газет. Молодежь эта не только не чуралась города, но всячески тянулась к нему, стремясь по возможности подражать ему и в одежде, и в оборотах речи, и в приемах ухаживания.

Все это представляется мало соответствующим лирике, настойчиво вызывавшей умиленно-меланхолические представления о неизменных в своем идеализированном убожестве сельских краях. Но именно такая лирика олеографической деревни была очень распространенной в двадцатых годах под влиянием есенинских мотивов.

Все это говорится к тому, что заявить о себе в ту пору новому поэту, вплотную занятому деревенской темой и разрабатывающему ее в духе противоположном, хотя и с очевидным усвоением некоторых приемов и интонаций есенинского стиха, и не просто заявить, а обрести успех у читателей было под силу во всяком случае таланту крупному и самобытному.

Одно из самых памятных и дорогих для меня впечатлений ранней юности — выступление Исаковского со своими стихами на губернском съезде селькоров, где я был делегатом.

Исаковского я не только знал уже по стихам, но и был наслышан о нем как об уроженце соседнего Ельнинского уезда, выходяще из простой крестьянской семьи, и эта литературная судьба земляка волновала меня чрезвычайно. И нынче, говоря о нем, мне трудно полностью отстраниться от собственной биографии, — таким значительным влиянием для меня была поэзия, да и личность Исаковского.

На вечернем заседании вдруг было объявлено, что выступает поэт Михаил Исаковский со стихами, посвященными съезду. Откуда-то из задних рядов мимо меня, сидевшего близко к проходу, прошел к трибуне высокий, узкоплечий и чуть сутулый человек в очках, державший коротко остриженную темноволосую голову как-то немного набок. Почти всякая слава или известность сопровождается отличительными чертами индивидуальной внешности, даже одеждой, становящейся образцом для подражания. В Исаковском решительно ничего не было похожего на женственную и чуть-чуть прядничную русокудрость есенинского типа, подчеркнутую элегантною манишкой и галстуком. Была на нем не то суконная, не то шерстяная, как и брюки, темно-синяя гим-

настерка или блуза с глухим отложным воротничком и свободным пояском из той же материи. Высокий, очень белый лоб и узкая белая кисть руки, поднятая к очкам с некоторым даже изяществом привычного жеста, как-то неожиданно сочетались с простецкими крупными чертами смуглого лица и были совсем не крестьянскими. Но все это вместе представлялось мне таким, каким и должно быть, и даже большие, в роговой оправе очки казались мне тогда решающей принадлежностью облика поэта.

Поднявшись на трибуну, Исаковский, вопреки торжественности момента, сказал, что стихов, посвященных нашему съезду, у него нет, он прочтет просто стихи, какие у него есть, — эта неподкупная точность, даже до педантичности, отвержение всякой претенциозности во всем, даже в мелочах, за годы знакомства, а затем дружбы с поэтом раскрылись мне как одна из характерных его особенностей.

Не стану описывать, как было встречено чтение Исаковским своих стихов, чтобы не впасть в преувеличение, вызывая в себе вновь тот жар мальчишеского обожания, с каким я слушал тогда поэта. Правда, там был не только я с моими порывами, там был полный зал делегатов — тот самый актив читателей-земляков: учителя, политпросветчики, избачи — была такая должность, — комсомольские работники, письменосцы; виднелись и живописные бороды сельских грамотеев и законников от сохи, выступавших в смоленских газетах главным образом с обличительными материалами.

Негромким, в меру напевным голосом, произнося, однако, все слова с подчеркнутой правильностью, Исаковский начал известное мне и, должно быть, многим другим в зале стихотворение «Матери»:

Не думай, мать, об убежавшем сыне.—
Я лучших дней у жизни не прошу.
Всегда, всегда к Октябрьской годовщине
Я благодарные стихи пишу.

Пишу про те скрипучие пологи,
Где по ночам ворочалась нужда.
Пишу о том, что к нашей низкой хате
Плывут огни по медным проводам..

Сама по себе октябрьская тема в стихах тех лет уже была привычной и обычной в праздничных номерах газет и журналов, не выходя из штампов испытанной лозунговой «словесности». Стихи эти уже воспринимались как дань заведенному порядку. Были и в Смоленске мастера такой дежурной па-

теттики, даже не скрывавшие, что это «служба», заработок, — газетные, как тогда говорилось, стихи, — а «для души» слагающие нечто весьма далекое от темы революции и не имевшее сбыта на страницах провинциальной печати.

Новизна и не шумливая оригинальность поэзии Исаковского, сразу принятая читателем, заключалась в том, что его печатавшиеся в газете стихи были в то же время стихами «для души», для себя, были тем заветным и главным лирическим словом поэта, за которым не может таиться в запасе слово иное, не имеющее выхода к читателю лишь по внешним условиям.

Бесспорно, что стихотворение «Матери» вызвано к жизни появившимся ранее знаменитым есенинским «Письмом матери» («Ты жива еще, моя старушка?»). Нельзя преуменьшать силу лирического звучания этих едва ли не самых популярных в те годы строк Есенина.

Но какое наглядное различие в выражении сыновних чувств, во всем настроении того и другого послания. Сердечность и теплота сыновнего чувства у Есенина безусловна, хотя при позднейшем прочтении нельзя уклониться от впечатления некоторого налета нарочитой жалостливости и самолюбования.

Исаковский гоже не доклад читает своей матери, не говорит слов, к которым мать, старая крестьянка, могла бы отнестись с холодком или недоверием, хотя нельзя не заметить здесь извлекать из данности агитационного порядка. Но один крестьянский сын обращается к матери со своей усталостью от жизни, ищет у нее прибежища от своей душевной опустошенности и разочарований; тут нет речи о том, что в материнской избушке могли быть «скрипучие пологи, где по ночам ворочалась нужда», и «вечерний несказанный свет» несовместим с тем светом, что «по медным проводам» течет к «низким хатам».

У другого крестьянского сына ничего общего с пропащей долей, забубенной надорванностью. У него чувство глубокой удовлетворенности человека, обязанного революции достойной судьбой, и матери он хочет открыть глаза на то новое и светлое, что коснулось уже ее собственной жизни.

Родная мать, молящаяся небу,
Родная мать, покорная судьбе
Скажи, не ты ль приклеивала хлебом
Портреты Ленина в своей избе?

И вечерами, примостившись к свету,
 Не ты ль стыдливо просишь у снохи
 Прочсть тебе ту самую газету,
 В когорой сын печатает стихи?..

Мне уже приходилось говорить в моей «Автобиографии», что я не испытал в юности того повального увлечения поэзией Есенина, какое было в те годы. Я познакомился с ней, будучи жителем деревни, и ее печаль об уходящей, во многом идеализированной деревенской жизни, какую она представлялась поэту за временем, расстоянием и особыми обстоятельствами его биографии,— не могла найти непосредственного отклика в сердцах моего поколения сельской молодежи. Нельзя сказать, чтобы мы не любили деревню и уже тогда питали пренебрежение к сельскохозяйственному труду или томилась там скукой, как это случилось с позднейшими поколениями. Но мы всей душой стремились к ученью, к городской жизни, отсвет которой ложился и на наш сельский быт. Я и мои литературные сверстники рвались к той городской жизни, с высот которой, пожалуй, готовы были и попечалиться о прелестях деревни, растроганно вспоминать о «вечернем несказанном свете», курящемся над ее избушками. Но живя в избушках, где еще не был забыт предмет домашней утвари и светец для лучины, мы не могли не видеть куда большей поэзии в огнях, проникающих в наши избушки «по медным проводам», что было в те годы еще редким чудом деревенского быта.

Есенинское опозитивирование старой деревенской Рязанщины адресовалось не к этой Рязанщине,— оно имело в виду восприятие другой читательской среды, по крайней мере утратившей связь с деревней и хранящей о ней сентиментальные воспоминания.

Весьма сдержанный и скупой на полемические изъяснения в стихах, Исаковский в 1927 году обрушивает на богемствующих в духе моды поэтов «подъесенинского» толка суровое обличительное слово:

Тянут где-то песенку одну:
 Дескать, мир тебе, родная хата;
 Дескать, мы у города в плену
 И в поля не может быть возврата;

Дескать, жизнь — полнейший кавардак.
 А душа безрадостна и мглиста..
 И поэты шествуют в кабак,
 Чтоб всю ночь рыдать под гармониста

В позднейшие годы этот распространенный тип «подъесенинского» стихотворца по-

лучил известную пародийную характеристику:

Ох, сглодал меня, парня, город..

М. Горький в своей «Рецензии», вполне основательно сопоставляя поэзию Исаковского с поэзией С. Есенина, не имеет в виду прямой зависимости или подражания младшего современника старшему. Он говорит об Исаковском как о певце новой, советской деревни, не противостоящей городу, а идущей на «смычку» с ним.

Действительно, первоначальная тема и материал основного цикла «Проводов в соломе» — новые черты в жизни пореволюционной деревни, закрепление в образном слове неоспоримых ее примет, будь то «доклад из Совнаркома» и «невидимые скрипки», впервые услышанные людьми захолустной деревушки («Радиомэт»), или стук молотилки «на вновь отстроенном общественном гумне», или столбы электропровода, шагающие «вдоль деревни», «чтоб у каждого — звезда под потолком»... Это явилось подлинным открытием Исаковского в русской поэзии, которая после Некрасова не выдвигала крупных талантов, обращенных преимущественно к деревенской теме,— поэзия Есенина в этом смысле нуждается во многих оговорках.

Суриковско-дрожжинская муза осталась далеко за чертой войн и революций, хотя поэт-пахарь Спиридон Дрожжин еще жил в своей деревне Низовке и слагал свои незамысловатые песенки.

Имя Демьяна Бедного — самое популярное в солдатских и крестьянских массах поэтическое имя первых лет революции — к середине двадцатых годов не только в городе, но и в деревне тускнеет. Материал новых отношений в деревне не породил в его поэзии ни песен, ни басен, ни фельетонов, которые бы, как некогда, были у всех на памяти.

Виднейшие поэты начала века касались этой темы мимоходом, лишь по связи со своими, у каждого особыми решениями «темы России». Это диво, что у молодой Ахматовой как-то вырвались — такие неожиданные и отдельные в ее мире любовных переживаний и раздумий о поэтическом искусстве — строки о «тверской скудной земле» и «осуждающих взорах спокойных загорелых баб».

Невозможно представить, кто из ее современников, кроме разве Блока и Цветаевой, мог почувствовать на себе эти «осуждающие взоры». Это был для них мир далекий и неинтересный.

В двадцатых годах, когда Исаковский выходил на свою дорогу, понятие «крестьянский поэт» было по справедливости не в чести, если иметь в виду, например, такие издания, как журнал «Жернов», собиравший в своем особом закутке не вырвавшихся из безвестности крестьянских, точнее сказать крестьянствующих, поэтов. Занятные опыты П. Радимова — он более известен как художник, воспевавший в гекзаметрах натуральность сельского быта, не тронутого никакими историческими потрясениями, — были заведомо обречены на крайне узкий читательский интерес.

Иван Доронин, пришедший, по его много раз цитированным строчкам, «машину примирить с нежными степными васильками», был провозглашен одно время певцом именно смычки города с деревней, но пел ее «утомительно и длинно» и, точно поверженный этими словами Маяковского, к началу тридцатых годов замолк.

Для самого Маяковского, выросшего и встретившего революцию в огромной, крестьянской по преимуществу стране, где сложнейшей исторической задачей этой революции была как раз перестройка мелко-собственнического хозяйства и сознания мужика в социалистическом духе, деревенская жизнь не была тем материалом, которым поэт владел бы с уверенностью и свободой.

Неправомерно было бы ставить в упрек большому поэту то, чего он не охватил своим душевным зрением, — по тем или иным, объективным или субъективным, причинам, — но и не отметить этой неполноты нельзя.

Остается удивиться, что деревня, откуда революция вербовала в ряды строителей нового общества самый многочисленный контингент и индустриальных рабочих, и воинов своей армии, и новой интеллигенции, долго оставалась вне сосредоточенного внимания виднейших поэтов, тогда как советская проза имела уже многие значительные произведения, посвященные этой теме.

Яркие и своеобразные таланты Пастернака, Асеева, Светлова и многих других поэтов обладали исключительно зрением интеллигентных горожан на ту часть мира, что

носила название деревни и не была для них, как и для Маяковского, хотя бы предметом воспоминаний детства.

Для них она была той стороной действительности, которая лишь по мере ее сближения с городом и растворения в нем могла представить собственно поэтический интерес. Даже тонкое и проникновенное чувство природы у Пастернака нигде не выходит за черту созерцательного отношения к ней, ни одним краем не соприкасается с поэзией труда на земле, ни одной нотой не переключается с отголосками полевой песни. Его поэзия, как и поэзия многих его современников, не была задета и величайшим, полным трагических коллизий переворотом в жизни деревни, отразившимся многообразными последствиями на жизни всего общества.

Багрицкий в своей «Думе про Оланаса» коснулся сложных борений крестьянской души на ее драматических распутьях в годы гражданской войны. Эта замечательная поэма, формой своей отдавшая известную дань увлечению неповторимым стихом Шевченко, стала одним из тех случаев, когда за названием произведения само собой живет имя автора, хотя бы оно и не было названо, и точно как же за именем автора тотчас подразумевается его произведение, вышедшее за пределы внутрилитературного счета. Но между этой поэмой и существенными мотивами позднейшей жизни пореволюционной деревни была еще дорога нехоженная и, как это ни странно, малопривлекательная для большинства талантов советской поэзии.

На эту дорогу и вступил — вернее, проложил ее — Михаил Исаковский своими «Проводами в соломе».

И дело не в том, что Исаковский избрал преимущественным предметом поэтического изображения только что обозначившиеся черты новой сельской действительности, — хотя он и здесь почти никем не был предугадан.

Деревня жадно тянулась ко всему, что хоть какой-то частью приобщало ее к городу, культурным началам труда и быта, быстро привыкала к новинкам, несмотря на скепсис и опасливое недоверие людей отсталых или танвших своекорыстные мечтания, враждебных новому — сельскохозяйственным орудиям заводского чзделия, электросвету, радио, газете и книге, разнообразным формам культурно-просветительной

самодетельности, освобождалась, хоть и в наивных порой и грубых формах, от духовного гнета церкви. Все это становилось реальным днем деревенской жизни. Но для поэзии, как бы по инерции, нерушимой оставалась деревня вчерашняя с одними ее «пригорками и ручейками», «ветхими крышами», «кипенью черемух» и прочим условно-поэтическим реквизитом старозаветности. И чем более очевидно вживались на селе начала «непоэтической» новизны, тем милее и дороже для поэтического видения были черги «Руси уходящей». В этом смысле очень показательна эволюция такого поэта, как старший современник Есенина Петр Орешин, в первые годы после Октября выступавший с огненно-красными песнопениями революции, а к середине двадцатых годов плодотворно развивавший минорно-идиллические мотивы деревни, далекой от современности. Такими же мотивами, в основном есенинского толка, отзывались и стихи более молодых и более чутких к новшествам формы В. Наседкина и Н. Зарудина, которому принадлежало много раз цитированное в печати позднейших лет двустишие:

Хорошо это счастье — поплакать
Над могилкою русской души...

Но обратимся к Исаковскому. Повторяю, не сам по себе жизненный материал новой деревни заключал в себе новизну и оригинальность его поэзии. Главное было в том, что нозшества, причудливо и непривычно, а то и вовсе грубо и аляповато вторгавшиеся в жизнь деревни, взламывая ее вековечный уклад, традиции и навыки, отнюдь не оглушали его, сына старой деревни, но были ему милы и дороги, и он с истинным душевным волнением отмечал их, вводил, как сказать, в поэтический обиход.

«Ореховые палки». Вспоминаю, какую необычайной свежестью возведения буднично-прозаической подробности в поэтическое достоинство веяло от самого этого заглавия и от неторопливой, простой, будто бы совсем и не стихотворной интонации:

Когда июль раскидывал навес
И золотилась рожь от солнечной закалки.
Отец мой шел по воскресеньям в лес
И вырубал ореховые палки...

Или стихи о «радиомостах», протянувшихся «к деревням и селам из столицы», в край, что был «от мира отгорожен сум-

рачным безмолвием болот». Или «Вдоль деревни» — песня еще об одном невиданном чуде, пришедшем в мужицкие избы.

Искренняя радость восприятия деревенской новизны как неуклонного осуществления революции в каждодневной жизни открыло слуху поэта и новизну в языке народа, принесенную в его строй и лексику годами невиданных исторических потрясений и перемен. Может быть, за целые столетия не впитывал язык такого количества новых слов и фразеологических оборотов, как за эти годы, когда взрослая мужская деревня побывала бог весть на каких фронтах, в каких городах, наслушалась митинговых ораторов, агитаторов, докладчиков и сама уже не могла обходиться без тех словесных формул, что усвоила со слуха, с газетной страницы, с плакатов, листовок, воззваний, из директив новой власти и практики бурно развивавшихся на местах различных форм общественной жизни.

В стихотворении 1925 года «Докладная записка», одним из самых первых произведений ленинской темы в нашей поэзии, речь идет о том, как в глухом селе, где «творили богачи свои особые законы», «сельсовет у мужика забрал последнюю корову» и как отчаявшегося в беде этого мужика наставляет солдат, пришедший «с передовых позиций».

— Я,— говорит он,— научу,
Где правду отыскать людскую.
Ты,— говорит он.— Ильичу
Пиши записку докладную...

Не жалобу, не просьбу или прошение, не просто письмо, наконец, а докладную записку. Солдат, может быть, ротный писарь, во всяком случае грамотей из своих — не чиновник, извечно отделенный от мужика казенным барьером.— внушает попавшему в беду мужику, что он в советской республике не тот жалкий проситель, что робел и унижался перед всяким «присутствием», не личность, гражданин, которому невозбранно сноситься с главой своего государства в порядке деловой переписки. Речь солдата не лишена известного шегольства выражениями канцелярского обихода. Но эти слова и выражения идут у него вперемежку с исконными ходовыми словами народной речи.

Товарищ Ленин разберет
И в долгий ящик не положит...

И далее:

А если сам ты не горазд,
 Пера не брал, быть может, в руки,
 Так я тебе составлю враз,
 Как полагается в науке.

Мужик еще обходится своим деревенским запасом речевых средств, принимая как должное превосходство «писучего» человека, и, однако, позволяет себе что-то заметить и простодушно подсказать ему в процессе совместного сочинения «докладной записки»:

— Ты не мельчи... Пиши крупной,
 Чтоб Ленин все увидел сразу...

Для мужика и для самого солдата неуловим тот отчасти комический характер «научного» составления докладной записки на имя Ленина по столь житейской и личной надобности, который очевиден для автора, представителя новой, народной интеллигенции. Слух автора настроен против наивной неразборчивости, с которой народная речь тех лет неизбежно перегружалась вторгавшимися в нее неологизмами, политическими терминами, часто иностранной корневой основы, канцеляризмами, сокращенно-сложными словами—названиями бесчисленных организаций и учреждений, штампами агитационно-пропагандистского обихода. Революция не чуралась новых слов, заключавших в себе новые, неизмеримо расширявшиеся понятия и представления. И народ, даже, может быть, не понимая значения иного, отдельно взятого слова декретов, докладов, газетных статей, отлично разбирался, куда клонится речь в целом, чей она бережет интерес.

Не удивительно и наивное стремление сельских грамотеев выразиться, особенно в письменном виде, звончее и значительнее обиходной речи («докладная записка!»). Самой фамилией в нынешнем ее виде Исаковский обязан инициативе старшего брата, причастного одно время к исполкомовскому делопроизводству и добавившего к простецкой фамилии Исаков окончание — «ский».

Широкое бытование в народной речи слов и выражений, ранее неслыханных, порой трудно произносимых, объясняется только тем, что слова эти несли в себе подлинно большое содержание небывалых перемен в народной жизни. Они отражали и всеобъемлющую («в мировом масштабе») обширность ближайших перспектив нашей рево-

люции, которые воодушевляли юность нынешних пенсионеров

Шли годы, переходящие элементы речи, слова-временки отпадали, входили в обиход на более или менее длительный срок другие слова и фразеологические затвердения. Но в пору, когда устанавливался поэтический голос Исаковского, было в новинку и очень импониовало растущему читателю то обезоруживающее и незлобивое пародирование поэтом языковых штампов, которое началось у него именно с «Докладной записки». Вообще это едва ли не первое в нашей поэзии стихотворение о Ленине, в котором в отличие от общепринятой в то время патетической или торжественно-ораторийной интонации появляются строки, способные оттенком простодушно-претенциозного изъяснения в прямой речи вызвать улыбку. Юмор исподволь и безо всякого искусственного напряжения проступает в основной лирико-повествовательной манере Исаковского, и это одна из подкупающих черт его поэзии. Нет нужды иллюстрировать это положение специально подобранными цитатами — юмор не любит такой фиксации.

Но сейчас я говорю о юморе, более обнаженном и отчасти заданном, в стихах, построенных на пародировании тех причудливых и оборачивающихся комическим эффектом словосочетаний, когда язык газетных передовиц, докладов, директив и т. п. выступает в сочетании с элементами речи совсем другого обихода.

Тут и письмо влюбленной девушки секретарю комсомольского комитета, где строки о «дальнейших директивах» и «живом руководстве» перемежаются строчками о том, что

У нас теперь по перелескам
 Такой хороший листопад...

И любовные признания парня:

Ой, понравилась ты мне
 Целиком и полностью...

И «соловьи—поэты сельского масштаба»; и «чайный стакан социального зла», выпиваемый к случаю председателем сельсовета; и история о том, как комсомолец, увлекшийся дочерью мельника,

...в июньскую полночь синюю
 Искривил комсомольскую
 линию...

В пародийной окраске этих и многих других примеров использования Исаковским протокольно-газетных оборотов в языке не содержится сатирических оттенков. Это мягко-иронический, ни для кого не обидный тон, подрывающий, однако, магическую, заклинательную силу претенциозно-казенных штампов речи, выводящий их из строя. Сатира же вообще чужда поэзии Исаковского. Сходные, но совершенно иной природы и самостоятельного развития интонации присущи лирике Светлова. Кстати сказать, другого примера сближения этой стороны Исаковского в советской поэзии, по-моему, не находится, если не считать младших современников, развивающих позднее именно эти приемы его поэтического письма, когда сам Исаковский уже все реже обращался к ним.

Только изредка эти приемы еще вплетаются в поэтическую ткань совсем другой природы и ведут к нарушению цельности ее лирической или патетической основы, как, например, выражение «цепные собаки довоенного качества» в «Поэме ухода».

Процитированные выше строки, разумеется, у нынешнего читателя, особенно молодого, уже не вызовут того оживления, какое они вызывали в свое время. Дело просто в том, что с развитием культуры и образованности многие перлы официально-протокольной лексики и фразеологии былых годов вышли из употребления. Лирико-юмористические стихи Исаковского отразили процесс преодоления или изживания этих элементов речи,— процесс столь же длительный и многослойный, как и повышение общекультурного уровня в стране. Остаточные, но все еще живучие образцы языковых причуд и новейших «блестков» питают в наше время лишь раздел «Нарочно не придумаешь» в «Крокодиле», просматриваемый читателем, однако, едва ли не в первую очередь.

Эта, так сказать, побочная и недолговременная линия Исаковского интересна главным образом не сама по себе, а в смысле сближения стихотворной речи с различными слоями живого языка современности. С годами поэт все реже пользуется однозными случаями неправомерных словосочетаний, характерных для малограмотной, но претенциозной речи, перестановок ударений в словах («география жизни», «романы» вместо «романы» и т. п.). Исаковский все свобод-

нее в освоении и подчинении строю стиха оборотов прозаической деловой речи, приобретающих у него непринужденность лирического выражения:

Без всяких планов и программ
Я, бывший деревенский житель,
Люблю бродить по вечерам
У закипевших общежитий...

Но, «бывший деревенский житель», он опирается на толщу развитого в веках богатейшего кресгьянского языка, к которому умели прислушиваться величайшие мастера отечественной литературы. Исаковский знает цену этому богатству, но слух его, сына своей эпохи, не закрыт и для звучащих в исконном народном языке, привнесенных временем, порой неожиданных публицистических построений.

Две подряд строфы одного стихотворения, но какой различной словесной фактуры и самой тональности — не в ущерб единству содержания:

Я целый год живу в такой глуши,
Где даже песни бойкой не услышишь.
Болото. Лес. Речные камыши
Да серые соломенные крыши.
Порой медведь, как закадычный друг.
Придет, в калитку постучит от скуки...
У нас считали самодельный плуг
Последним достижением науки...

Замечательно в этом смысле и стихотворение «Хутора», написанное не по отвлеченному побуждению, а как отклик на актуальное явление деревенской жизни, приобретшее особую остроту к середине двадцатых годов именно на Смоленщине,— массовые выходы крестьян на хутора по образцу столыпинских.

Помню, с каким щемящим и вместе радостным чувством читалось тогда это стихотворение — написанное точно специально для нас, хуторян. И теперь я распознаю в нем многие отличительные особенности стиха Исаковского, его неторопливый, основательный, как бы вовсе и не стихотворный, но такой емкий и выразительный лад:

Проплывали дни и вечера
Без больших забот и без тревоги.
Было в общем сорок три двора
По обеим сторонам дороги.
Жили вместе. Было все с руки.
Только вдруг — скандал из-за покоса.
И тогда решили мужики
Каждый двор поставить на колеса...

Сколько нужно слов и подробностей, чтобы сказать то, что выражено одной этой

строкой о решении мужиков «каждый двор поставить на колеса», то есть разбиться деревне на хутора, разметить плотничьим мелком и разобрать строения по бревнышку, уложить их на двухосные «раскаты» и вывезти в открытое поле или кустарниковые заросли, где тебе отведен участок!

Здесь и плачь и радуйся один.
Что ни делай — сам себе вояка...
Здесь у каждого земли свой клин
И своя сердитая собака.

На угрюмой и недоброй басовой струне
звучат дальше строчки:

Дескать, нас не беспокоит, не тронь —
Нам плевать на суету мирскую..

И вдруг ее сменяет другая струна, звучащая по-иному, печально вопрошающая:

Отчего ж вечерняя гармонь
О широкой улице тоскует?..

Мы привыкли к этим стихам или забыли их, а кто и вовсе не слышал и не читал за шумом и звоном самоновейших лир, столько раз уже сменившихся. Но это факт, что до Исаковского наша поэзия не говорила на таком внятном и полнокровном языке реализма о болях и тяготах деревенской жизни, не впадая ни в традиционную жалостливость, ни в бездумное бодрчество голых призывов.

Дореволюционная поэзия не успела коснуться такого значительного и сложного явления деревенской жизни, как размежевание по хуторской (или отрубной) системе. В этой форме землепользования реакционные правители страны стремились обрести для себя опору в борьбе против волнений и бунтов крестьян, связанных еще «мирской» круговой порукой, интересами сельской общинности. Исаковский говорит по поводу хуторизации в советский период, но имеет в виду, конечно, старые хутора, «застывшие», «как стога несвезенного сена», то есть уже с потемневшими от времени крышами, и причину размежевания, более характерную для прежней деревни, — «скандал из-за покоса».

Освоение темы новой деревни обогрило у Исаковского художественное видение всех мрачных сторон деревни старой, уходящей, но еще не ушедшей. Поэт свободен от иллюзий памяти, приукрашивающей прошлое, — у него с ним свои суровые счеты. Детство и ранняя юность его прошли в та-

кой безнадежной скудости бедняцкого дома, что нужен был еще исключительно счастливый случай, почти чудо, чтобы природные задатки поэтического его призвания смогли осуществиться. Нужно было так случиться, чтобы на выпускном экзамене в сельской школе, где отлично отвечавший близорукий, болезненного вида мальчик прочел по предложению учителя стихи своего сочинения и обратил на себя внимание присутствовавшего там члена уездной управы, интеллигентного и просто доброго человека М. Н. Погодина, который взял на себя хлопоты о его дальнейшей судьбе.

Про Исаковского нельзя сказать, чтобы он питал отвращение и ненависть к деревне и видел одни ее темные стороны, как это бывало с выходцами из той же среды.

Но у него нет в поэтической памяти отзвуков хотя бы относительного довольства, благообразия в быту крестьянского двора среднего достатка.

Даже о поре детства, оставляющей на всю жизнь память радостей, возможных и в самом бедном деревенском быту, много лет спустя он рассказывает с горечью и невольным возражением Некрасову — на его строки из «Крестьянских детей», взятые эпиграфом к своему «Детству»:

Играйте же, дети, растите на воле,
На то вам и красное детство дано...

Безнадежно пересказывать своими словами эти строфы грустного поэтического рассказа о напрасных призывах к мальчику его Детства погулять, позабавиться с одноклассниками: он бы так хотел, но ему то свиной пасти, то братишку нянчить, то просто не в чем выйти из хаты на зимнюю улицу.

Исаковский обладает и глубоким чувством родной природы и поэзии сельского труда, и бесповоротный отрыв от деревни для него не «как с гуся вода».

Все та же даль, все та же синева,
Но болен я утрагою вчерашней:
Я потерял крестьянские права
И на луга родные, и на пашни...

Это одно из лучших стихотворений Исаковского, впервые напечатанное в 1926 году, считалось тогда в критике слишком близким мотивам есенинской поэзии. Но теперь, через сорок с лишним лет, оно представляется мне по существу своему свободным от этого упрека. В нем выражено настроение, присущее множеству людей, при-

несших в город, куда привела судьба их этого поколения революции, впечатления жизни, какую жили отцы, деды и прадеды. И подобно тому, как почти любой человек не может не испытывать грусти, прощаясь даже с плохой старой квартирой — там безвозвратно осталась часть его жизни, — в душе людей, сменивших деревенское житье на городское и лучшее, остается место для грустного чувства какой-то утраты.

Мне говорил на сходке бородач:
— Тебе не быть уж больше деревенским,
Без черного труда и неудач
Ты проживешь, Васильич, и в Смоленске...

Здесь, может быть, слышится и еще одна, особая нота, звучащая независимо от намерений автора. Практически-житейская оценка судьбы «без черного труда» не совпадает с более высоким чувством сыновней привязанности к родным местам и чувством некоторого смущения преимуществом «писчей должности» перед долей деревенского жителя.

Но при всей душевной привязанности к деревенскому миру, при этой светлой памяти его картин, звуков и отголосков, Исаковский, как уже сказано, чужд идиллически-умильным представлениям о нем. Мысль поэта реалистична, она углубляется в прошлое, вновь и вновь обращается к старой деревне с ее историческими бедами и нуждами, безземельем, малоземельем и худоземельем. — может быть, затем, чтобы подчеркнуть значение того, что принесла революция в крестьянскую жизнь и что за нынешними неурядицами и несовершенствами не всегда ценится людьми.

Тема земли как основы основ крестьянского бытия во всех ее разветвлениях и подробностях занимает поэта и в самый канун коллективизации, и в ходе потрясений и новшеств, пришедших с нею в деревню.

В цикле «Минувшее» предметом поэтического освоения становятся разнообразные и, казалось бы, доступные лишь прозе стороны горького сельского быта предреволюционной поры: разорение и запустение крестьянских дворов, откуда «уходят все, кому уйти возможно», переселенческие мечтания о Сибири, где

...жизнь совсем иного рода:
Там не народ страдает без земли,
А там земля тоскует без народа...

Мне очень памятны эти порывы и моего отца, и родни, и соседей податься на вольные земли, — отец даже выезжал однажды на «смотрины» этих земель, хотя местность, где я рос, не страдала таким уж крайним малоземельем и заболоченностью, как ельнинские края Исаковского. И памятно, как читались в нашей семье его «Переселенцы», когда эти планы и намерения были оставлены и переживались уже как едва не совершившаяся непоправимая ошибка. Мать плакала от этих стихов — она отличалась необыкновенной привязанностью к родным местам.

Скрипит и плачет на ходу
Обоз по выбитой дороге, —
Вся жизнь сегодня на виду,
Вся жизнь положена на дроги...

Совершенно не тронутый поэзией бытовой и словесный слой облекает Исаковский в полные горькой иронии, четкие, запоминающиеся с первого чтения строфы о судьбе и тех пасынков «земли-мачехи» «безродной», что покинули ее в чайнии городских зароботков.

Оттого и вечера глухи,
И не льются бойкие припевки.
В города сбежали женихи,
И тоскуют одиноко девки.
Денег ждут суровые отцы.
Ждут подарков матери родные,
Но везут почтовые гонцы
Только письма, письма доплатные...

А те, от кого ждут «подмоги», сообщают, что, может быть, вскоре двинется домой «почитать несчитанные шпалы», то есть пешим образом.

В скобках заметить: образ этого унылого деревенского малолюдья и девичьего одиночества как-то неожиданно смыкается с той картиной, что рисуют недавние материалы газет об убыли сельского населения на Смоленщине. Тут, однако, та разница, что ныне сбежавшие в города женихи не только не намерены «читать шпалы» в направлении к дому, но заражают своим примером и невест, а то и суровых отцов и матерей родных, вслед за детьми подающихся на городские хлеба. А если уж нынче беглецы навевываются в родные места, то, как правило, по-городскому экипированными гостями — погулять, покрасоваться перед односельчанами. Времена иные, и как все по-разному, в сущности, при внешней похожести явлений.

Тема переселенчества получает еще один поворот в стихах о конечном «переселении» со скупой на урожай земли в ее же лоно, то есть на погост.

Жизнь не всех лелеет под луной.
И, глаза закрывши полотенцем,
Каждый год — и летом и зимой —
Шли и шли сюда переселенцы.
Каждый год без зависти и зла
Отмерялись новые усадьбы
И всегда сходилась полсела
Провожать безрадостные свадьбы.
И земля, раскрыв свои пласты,
Им приют давала благосклонно...

Но не «без зависти и зла» шли споры за землю, которая «пришла», наконец, с революцией. Правда, та же тема земли, представлявшей всю вкуче неразрешимую сложность и муку крестьянского бытия в прошлом, теперь уже проецируется и в плане новых суждений и предположений пооктябрьской деревни:

Земля! Да нету с ней порядка,
И нет, и не слышать...
А может, правда, в том разгадка,
Чтоб сообща пахать?

Поэт еще неоднократно и настойчиво будет обращаться к этой теме, казалось бы, уже заслоненной материалом новой действительности, и эта настойчивость, некогда смущавшая даже благожелательных критиков Исаковского, теперь представляется вполне оправданной и органичной. Это была внутренняя необходимость для певца новой деревни досконального сведения счетов с прошлым на пороге нешуточного поворота уклада жизни, традиций, вековых привычек и навыков. Поэт взыскательно всматривается в минувшее, призывая память пережитого им вместе с народом, чтобы убедиться окончательно перед неясным еще и тревожным будущим, что во всяком случае оставшегося позади жалеть нечего и цепляться там не за что. Но, как почти всякое прощание, и прощание с отжившим и безрадостным миром старой деревни не может быть легким. Где-то еще в Библии сказано, что и пепелище костра, у которого путник провел ночь, он покидает с грустью, но это чувство не может остановить его в намеченном пути.

Мотивы прощанья с прошлым в поэзии Исаковского не ограничиваются стихами с заголовками и подзаголовками «Минувшее», «Из прошлого», «Из старых тетра-

дей» — они живут и в его вещах, посвященных самому разрыву крестьянской души с этим прошлым. И нет ничего странного в том, что музыка и здесь не плясовая, хотя прощание здесь с «хуторской Россией», оставляемой навсегда ради лучшей жизни.

В этой сумрачной хате
для меня ничего не осталось,
Для моей головы
эта темная хата низка...
Здесь у каждой стены
приютились нужда и усталость,
В каждой щели шуршит
тараканья тоска...

И естественно, что в цитируемой «Поэме ухода» куда сильнее и безусловнее выражено то, с чем человек прощается, чем то, ради чего он прощается. Для выражения безысходной мужицкой тоски поэт располагает неограниченным запасом непосредственных впечатлений собственного детства и юности, а также всеми мощными средствами самой народной поэзии и языка, несущих в себе врубившиеся в память лаконичные и неотразимые формулы, добытые многовековым опытом страданий и поисков.

Но когда сн подходит в этой поэме к рубежу, за которым — новая, сулящая свет и радость жизнь на родной земле, новизна эта, еще не взрастившая в народном сознании таких доводов, таких формул в пользу ее, которые бы не уступали по силе выражения прежним, — новизна эта иногда предстает в некотором напряжении и декларативности.

Точно как же и в «Разговоре с лошадей», датированном уже 1932 годом, покамест он касается древней трудовой дружбы мужика и коня со всеми положенными на их долю испытаниями, — тут и незаменимость слов, и верность интонации:

Сколько лет мы тащили свой воз неуклюжий
В стороне от прямого пути!
И, всегда, понимаешь возвращались
к тому же,
От чего собирались уйти...
Трудно было забыть свой соломенный
остров,
Трудно было с мужицкою спорить
судьбой,
Если, кроме церквей, кабаков и погостов,
Ничего мы не знали с тобой...

А когда речь доходит до «колхозной конюшни», тут не обходится без декларативности, доводов и утверждений, близких газетной передовице: «высокое солнце», «про-

сторный, прославленный век, о котором все лучше люди мечтали», и т. п.

В поэме «Четыре желания», самой крупной по объему вещи Исаковского, где рассказывается о не исполненных при жизни батрака Степана Тимофеевича его мечтах купить сапоги, прокатиться по железной дороге, жениться на любимой девушке и выучиться грамоте, чтобы прочесть «справедливую книгу», — горечь этой судьбы, обманутых надежд забитого жизнью человека выражены в стиле своеобразной народной притчи. Здесь получает наиболее полное выражение давняя тема Исаковского, исподволь пробивавшаяся во многих отдельных стихотворениях («На смерть соседа», «Разговор с лошадью», «На реке», «Об отце»). Это тема непримиримости поэта с мыслью о бесследности, безгласности жизни на земле поколений ее тружеников, низведенных бесправием, невежеством и нуждой до уровня бессознательных существ, ничем не отмечающих свой срок пребывания в мире. Судьба отцов и дедов предстает здесь уже не только в плане социальных претензий и счетов народа, но и неисчислимых духовных потерь, понесенных им в условиях многовекового пребывания вне исторической жизни. И слово поэта, обращенное к памяти поколений людей труда, безгласно ушедших из мира, неждавшихся светлой поры, когда найдена «справедливая книга» о правах тружеников земли на счастье, приобретает силу скорбно-торжественного призывного заклинания:

Вставай же, Степан Тимофеевич!
Вставайте, раздетые, босые,
Чьи годы погибли бесследно,
чьи жизни погасли во мгле,
Чьи русые кудри не чесаны,
чьи темные хаты не тесаны,
Чьи белые кости разбросаны
по всей необъятной земле...

Правда, пафос утверждения нового, что пришло к нынешним труженикам колхозных полей — наследникам всех тех бесследно ушедших поколений, — носит более словесный характер, близкий ораторской речи с присущими ей приемами несколько стилизованной образности.

Но и самые привычные, «обкатанные» лозунговые слова можно произносить по-разному: и не затрачивая на них, как говорится, ни синь-пороха собственного душевного тепла, и, наоборот, наполняя их и вновь оживляя собственной убежденностью и ве-

рой. И мы не вправе пенять поэту, что он не обходится без таких слов: он и здесь не оставляет сомнений в своей глубокой искренности, и эти слова призыва к живым и мертвым идти «последним походом в последний решительный бой» — для него не просто слова, — за ними и глубокая вера в правоту нашего дела, и священная память ушедших, и, главное, любовь к живущим и горячее желание им счастья.

Да и кто из нас так-таки и обходился без таких обязательных слов, если не просто стоял в стороне в созерцательном ожидании менее требовательных времен, а был, как говорится, призванным решать те же задачи, что стояли перед народом, перед первым его поколением интеллигенции! Это было время, требовавшее и от поэзии напряженных усилий и нередко жертвы неукоснительным совершенством формы в стремлении ближайшим образом отозваться на то воодушевление и энтузиазм, которыми были охвачены люди, шедшие на не меньшие жертвы во имя великой идеи.

Поэт, если только речь идет о подлинном поэте, далеко не так волен в своих темах и мотивах, как это иным кажется, и он бывает органически не в состоянии спеть ту песню, которую подсказывают ему извне, не закончив той, что необходимо должна быть допета. Снова и снова подходит Исаковский к актуальной теме дня с глубокими его тылов, расправляясь с минувшим, которое противостоит этому нынешнему дню.

В 1941 году, перед самой войной, он как бы подводит итог своим затянувшимся счетам с прошлым:

Я вырос в захолустной стороне,
Где мужики невесело шутили,
Что ехало к ним счастье на коне,
Да богачи его перехватили...
Я вырос там, среди скупых полей,
Где все пути терялись в тумане,
Где матери, баюкая детей,
О горькой доле пели им заране...
Я думаю о прожитых годах,
О юности глухой и непогожей,
И все, что нынче держим мы в руках,
Мне с каждым днем становится дороже.

Как я уже говорил, новая быль советской деревни широко открыла глаза поэту на уходящий мир деревни старой, которая теперь представлялась со всей своей натуральной предметностью, бытовым обликом, традициями и понятиями отчасти уже какой-то небылью. Недаром и стихи о дет-

стве с их шемящими подробностями безрадостной доли деревенского мальчика из бедной многодетной семьи, мимо которого проходило все, чем красна эта пора жизни, заканчиваются словами сомнения в реальности минувшего:

Ушло мое детство, исчезло, пропало —
 Давно это было, давно...
 А может, и вовсе его не бывало
 И только приснилось оно.

Нужна была революция со всеми ее решающими последствиями, чтобы и дореволюционная деревня отразилась в русской поэзии с той скорбной ее неприглядностью и доскональной верностью жизненной правде, с какими она не могла быть отражена, когда представляла собой не прошлое, а настоящее, не отдаленную временем небыль, а самую натуральную быль.

Я имею в виду поэзию стихотворную. Русская проза издавна с особой пристальностью изучала деревню и живописала ее, по крайней мере со второй половины прошлого века до самого Октября, можно сказать, день за днем вела ее сложную и суровую, пусть не всегда и не во всем достоверную летопись. Но в стихотворной и песенной поэзии после Некрасова пореформенная деревня не обозначается произведениями, которые могли бы хоть приближенно равняться общезвестностью со стихами и песнями великого поэта.

Иван Бунин, видевший глазами прозаик деревню конца прошлого и начала нынешнего века во всей ее, так сказать, подноготности, с не меньшей зоркостью, чем даже такие писатели из крестьян, как Ив. Вольнов и С. Подъячев, в стихах своих касался жизни мужицкого двора крайне редко и как бы только издали. Еще молодым он написал, например, рассказ «На край света», посвященный переселенческой трагедии,— это почти стихи по сгущенности лирического настроения, подчеркнутой музыкальности. Но трудно представить, чтобы такая или подобная тема деревенской жизни была поднята им в стихах. Стихотворная поэзия, так или иначе касаясь деревни, все более отклонялась от существенности, социальности и «постановки вопросов».

Наступившая в молодые годы Исаковского быль пореволюционной деревни открыла в нем своего поэта, дала ему тот

особый, как бы не существовавший до него мир образов и мотивов, каким отмечается приход в литературу подлинного поэта. Годы шли, и вслед за предвестьем, предположениями и первоначальным, разрозненным опытом («А может, правда, в том разгадка, чтоб сообща пахать?») грянула на село (куда более резкая быль коренных перемен всей крестьянской жизни. Коллективизация во всем переплетении ее сложностей, разнородных настроений крестьянства — от небывалого воодушевления и энтузиазма сельских активистов всех возрастов, особенно молодежи, до растерянности, недоумений, отчаяния и озлобленного сопротивления новому,— эта великая историческая пора не могла не сказаться на литературе и искусстве. В поэзии — одних она заставила умолкнуть с их «подъесенинскими» и иными мотивами идеализации деревни («Дескать, мир тебе, родная хата!..»); других не зевая перестроиться соответствующим образом и наскоро сочинять хотя бы частушки, узурпируя эту привилегию самой деревни; третьих повзала к сосредоточенному осознанию новых явлений и серьезным поискам средств для их выражения.

Между 1928 и 1937 годами Исаковский, никогда не отличавшийся особой плодовитостью, пишет и печатает больше обычного. Темами его стихов этих лет становятся по преимуществу факты и явления, выдвинутые на передний край жизни колхозной эпохой.

В эти годы написана поэма «Четыре желания» и многие другие стихотворения того же тематического круга, а также песни, занимающие в тридцатых годах все большее место в творчестве Исаковского.

О стихах этого периода, посвященных наиболее значительным темам и почти совсем свободных от «пережиточных» пародийных приемов формы, можно сказать, что они, как принято выражаться, не равноценны, но там есть немало строф, полных неподдельного лирического пафоса.

Наши звезды плывут,
 непогожую ночь сокрушая,
 Разгоняя осеннюю черную тьму.
 Наша жизнь поднялась,
 словно песня большая большая,—
 Та, которую хочется слушать
 и хочется петь самому.

(«Догорай, моя лучина...»)

Начиная со стихотворения «Подпаски», которым открывалась его первая книга стихов, Исаковский с особой охотой прибегает к образам старости, колхозных и доколхозных, живых и покойных «дедов» с их умудренным немногословием, раздумьями о жизни, взыскательными оценками ее. Их множество на страницах книг Исаковского, этих носителей «веселого лукавства ума и живописного способа выражаться». Это пристрастие к старикам, отмеченное, впрочем, не у одного только Исаковского, можно объяснить той выгодой для художника, что старикам у нас издавна позволяется бо́льшая, чем молодым, свобода суждений, иногда самых критических и независимых: что невозбранно Щукарю, то решительно заказано Давыдову, да и самому Шолохову. Но, пожалуй, вернее будет видеть в этом пристрастии ту выгоду для поэта и прозаика, что в образах стариков с наибольшей наглядностью выступают «оба пола времени» — прошлого и настоящего, взаимно оттеняющие свои характерные черты.

Старики Исаковского — неизменно симпатичные, лояльные характеры, выявляемые поэтом с сыновней любовью, чуткостью и терпимостью к их слабостям. В доколхозных стихах лишь изредка слышится голос отчужденной и не приемлющей новшеств старости вроде того «хуторского»: «Нас не беспокоит, не тронь, нам плевать на суету мирскую»... Но в стихотворении «Враг» поэт «предоставляет трибуну», как некогда принято было в критике говорить о таких случаях, непримиримому врагу колхозного строя со всеми его библейскими пророчествами конца света и практикой открытой борьбы, не остановившими, конечно, хода истории.

Ты говорил, что в мир идет невзгода:
Земля не будет ничего родить,
Скоты и звери не дадут приплода
И птицы гнезда перестанут вить:
Народ не выйдет ни пахать, ни сеять,
И зарастут поля польнью и тоской;
По всем дорогам матушка Расея
Пойдет к Москве с протянутой рукой;
Ты ожидал — погаснет пламя горнов,
Замрут машины, станут корабли,
И вся страна пойдет к тебе покорно
И свой поклон отвесит до земли...
Своих друзей ты созовешь на праздник,
Своих врагов согнешь ты, как тростник...
Готвя нам египетские казни,
Ты просчитался здорово, старик!..

Стихотворение написано в 1935 году, когда победа колхозного строя окончательно утвердилась, стала очевидной несостоятельность всех вражеских пророчеств о «конечной гибели России». Процесс это был трудный и сложный, и, конечно же, нет нужды отрицать, что иные из злорадных вражеских пророчеств хотя бы в частностях и на известный срок могли иметь соответствия в действительности. Были же и неурожай, и гибель скота, и невыходы колхозников на работу, и зараставшие польнью поля, и паломничество деревенских жителей в города за хлебом, и многое другое. Не могло великое дело обойтись и без ошибок, усугубленных воздействием самовластной воли. Однако просчет вражеских предсказаний и упований был не в частностях и деталях, а в основном и главном, в победительной силе идей, воспринятых народными массами, и в историческом трудовом творчестве этих масс, вдохновленных и руководимых Коммунистической партией.

Но как ни выразителен закрепленный в приведенных стихах портрет врага, — пафос обличения, ненависти, отрицания не относится к сильнейшим сторонам поэзии Исаковского. Вообще он не то что откровенно избегает резких и противоречивых моментов действительности, но особенностью его таланта является способность и призвание отзываться на светлые стороны жизни, воспевать лучшие черты народных характеров.

Может, например, возникнуть вопрос: с чего вдруг поэту понадобилось перелгать в стихи «старинную народную сказку» про царя, попа и мельника? Здесь мельник, не имеющий, конечно, ничего общего с той социальной характеристикой, какая в годы ликвидации кулачества как класса присваивалась владельцам сельских мельниц, — просто человек труда, в отличие от живущего по соседству попа проявляет, подобно пушкинскому Балде, недюжинный ум с оттенком именно «веселого лукавства», выручая благодаря этому из большой беды зарвавшегося в тщеславии батю и поставив в тупик самого царя. Никакой особой нагрузки вещь эта не несет, но в ней автор попросту любителюется отвагой, сообразительностью и остроумием мельника. Конечно, лучше бы этой вещице появиться хоть лет на двадцать раньше. Но как часто это бывает, что иные поэтические произведе-

дня выходят в свет не в тот самый час, когда они произвели бы наивыгоднейшее впечатление на читателя.

И более того: несомненно, что, появившись такие стихи, как цикл Исаковского, посвященный дореволюционной деревне, не в двадцатых, а в девятисотых или десятых годах, они имели бы куда более острую непосредственную актуальность. Но дело в том, что они не смогли появиться не только по субъективным, но и по объективным обстоятельствам, о которых уже отчасти сказано.

Во многих случаях поэтические произведения, как сказать, не синхронны явлениям жизни, которые отражены в них. Это не закон, исключаящий примеры счастливых совпадений, каких немало и в советской поэзии вообще, и у Исаковского в частности.

Но сколько примеров того, как поэзия, в нарушение календаря политической жизни, сдвигает с места его числа или объединяет их с другими, предшествующими или позднейшими числами и при этом бывает награждена несомненной удачей.

Широко известное стихотворение Исаковского «Русской женщине» появилось в год победного окончания Отечественной войны, и в нем речь поэта пользуется формой прошедшего времени.

...Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Образ русской женщины всегда привлекал Исаковского, что легко увидеть по многим его стихам и песням, и это один из мотивов, связующих его поэзию с некрасовской традицией. И в тридцатых годах появляются «Юбка (Рассказ колхозницы Маруши)», «Как вошла в приемный зал (Случай на призывном пункте)», «В лесном поселке (Письмо девушки)», «Спой мне, спой, Прокошина (Памяти моей матери)», «В гости приехала дочь...». Все это о советских матерях, дочерях и невестах. Среди них большой горечью и нежностью трогает стихотворение, посвященное памяти матери поэта. Во всех стихотворениях воспевается женщина-труженица, колхозница или работница, ее не всегда заметный и не всегда в полной мере ценимый самоотверженный труд, хотя именно в эти годы повторялись известные слова о том, что «женщина в

колхозе — большая сила». И если бывает, что читатель ждет от поэтов стихов на определенную, затрагивающую его тему, то стихов, которые бы подняли героический, подвижнический образ русской женщины-колхозницы, уже и в тридцатые годы ждали, и такой счет среди многих других предъявлялся нашей поэзии.

Но этот обобщенный образ русской женщины в стихотворении Исаковского, посвященном ее беспримерному трудовому подвигу в годы войны, явился, когда уже суровейшие испытания этих лет миновали, уступив, может быть, место другим, но уже не таким безмерным. Непосредственно эти стихи поют славу женщине-солдатке, ее неоценимому вкладу в дело победы. Но нельзя не видеть в этом образе опыта и выучки, приобретенных женщиной в годы первых пятилеток на стройке колхозов, заводов, у станка и дома в заботах о семье, о детях, в напряжении повседневного быта, в тяготах и лишениях, всегда в первую голову выпадавших на ее долю. Только здесь уже она

.. со своею судьбою
Осталась один на один.

Это стихи из таких, которые цитируются не столько в подтверждение каких-то положений, сколько просто из желания дать им самим по себе прозвучать, лишний раз попасться на глаза читателю, — так они поразительно живы и сегодня.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим...
За все ты бралася без страха,
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой.
Умела — иглой и пилой,
Рубила, возила, копала,—
Да разве же все перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву шептал, как молитву,
Далекое имя твоё...

Поразительное дело: привычные слуху слова газетно-пропагандистского обихода вступают здесь в соединение со словами гайкой сердечности, точно обращены они к

родной матери, любимой жене или сестренке. И вместе с тем этот образ сам собой выходит за рамки портрета жены, матери или сестры такого-то солдата и приобретает обобщенно-символическую монументальность образа матери, подруги и сестры советских воинов, чье имя для них было поистине клятвой и молитвой. Прошло более четверти века со времени появления этих стихов в печати, но они в полной мере сохранили свой лирический жар, и я уверен, что читатель не посетует на меня за приведенные здесь почти полностью строки этого маленького шедевра.

Я начал эту статью о поэзии Исаковского с замечания о том, что показателем значительности стихов является интерес к ним со стороны того большинства читателей, которые, как правило, стихов не читают.

Но есть и еще показатель — с другой совсем стороны. Если заядлый стихолоб, знаток тонкостей формы, утрачивает в отношении взволновавших его стихов профессиональную способность тотчас заметить в них наличие глагольных и других банальных рифм или, скажем, слов и оборотов прозаически-газетного порядка и т. п., — это тоже очевидная победа поэзии, не рассчитанной на вкусы знатоков и сладкоежек формы.

Легко было представить, как воспринимались приведенные стихи людьми большого читательского круга, в том числе теми, что обычно стихов не читают. Но я имел возможность неоднократно убедиться, что и на людей, как говорится, хлеб приевших по части анализа формы, они производили впечатление, исключавшее отдельное рассмотрение формальных особенностей. Что же это — результат полного безразличия поэта, озабоченного лишь содержанием, к форме? Нет, это просто случай того единства формы и содержания, когда они порознь не существуют. Однако это полное слияние обеих сторон происходит именно из первоочередной и преимущественной озабоченности поэта тем, о чем он хочет сказать, из необходимости выразить словами серьезную мысль и глубокое непритворное чувство, которым он не может не поделиться с читателем.

Соотношение этих сторон, вообще говоря, близко тому, о котором сказано у Л. Толстого в замечании о том, как пел дядюшка молодых Ростовых в незабываемой картине вечера у него в Михайловке после охоты.

«Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для склада. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош».

Разумеется, у поэта предпочтение содержания форме не может быть таким наивным или бессознательным, но что «отдельного напева не бывает» — это верно в отношении формы стиха так же, как и то, что не бывает отдельного содержания.

Форму поэзии Исаковского чаще всего называют простой, традиционной. Но понятия простоты и традиционности весьма условны, и когда они относятся к конкретному явлению искусства, здесь не должно быть недоговоренности, скольжения мимо существа дела. Простоту и традиционность стихов Исаковского нельзя характеризовать теми же расхожими понятиями, что и стихи, скажем, Д. Бедного. Здесь иная природа, иное качество.

Простота стиля Исаковского не результат его приспособления к некоей «простоте» читательского восприятия. Это избранный поэтом, наиболее соответствующий содержанию способ и характер выражения, достигнутый в сознательных поисках и усилиях. Мало кому известно, что в своей юности Исаковский не избежал и нарочитой усложненности, и вычурности, и иных дешевых эффектов в духе литературных поветрий, по счастью, быстро и безвозвратно преодоленных. Недаром он в титульном обозначении «Проводов в солдате» назвал их «первой книгой стихов», как бы отграничиваясь от всего, что было написано за десяток лет со времени первого, опубликованного в 1914 году ребяческого стихотворения «Просьба солдата».

Он обрел свой строй, свой склад поэтической речи, смело черпающей слова и обороты современного разговорного языка, в том числе заведомые «прозаизмы», в сочетании с музыкальной основой, идущей по преимуществу от народной песни.

И когда голос его окреп, поэт упорно и последовательно развивал его самобытную силу, чураясь, как стыда, чуждых ему всех разновидностей формализма, влияний быстротекущей моды. Но и в образцах классической поэзии он видел именно образцы,

высокие создания поэтической мысли, а не образчики, по которым можно кроить и шивать их подобия.

Иные критики Исаковского, всячески одобряя содержательную сторону его поэзии, куда как более сдержанны и опасливы, когда касаются мастерства его формы. Между тем она, будучи действительно простой и даже традиционной, обладает своеобразной цельностью, позволяющей распознать голос автора с двух—четырёх строк, и вместе неожиданными и смелыми нарушениями «простоты и традиционности».

Когда же в ночь над городом луна
Гудит широким полевым набатом,
Меня зовет родная сторона,
Опять зовет к дымящимся закатам.
И сердце жадно ловит этот зов,
И у смоленских каменных порогов
Я слышу звон косы и дальний скрип
возов

По запоздалым луговым дорогам...
(«Все та же даль...»)

Исаковский может самую лирическую интонацию перебить вдруг грубоватым народным выражением, почти ругательством, передающим, однако, тоску деревенского одиночества и заброшенности с особой силой:

Выйдешь в поле,
а в поле — ни сукина сына,
Хочешь пой, хочешь вой.
хочешь бей гсловой ворота...
(«Поэма ухода»)

Известно, что лучшие стихи заставляют читать их только так, как они должны бы звучать из уст автора, и попробуйте прочесть эти строфы «Запева» к «Четырем желаниям», лишив их грустной напевной замедленности, раздельности слов в строке:

Весной на заре
гармонисты играли страдание,
Сады задыхались
от яблонь, черемух и слив.
И в теплые ночи
нарядные девушки шли на свидание
По темным задворкам
под лунный разлив.
Сходились, встречались с любимыми на поле,
Где тропы безлюдны,
а зори весной широки.
От счастья смеялись и пели,
от горя молчали и плакали,
И грустно на память
дарили платки...

«Детство», написанное размером «Крестьянских детей» Некрасова и, как сказано,

вносящее свою поправку в наблюдения классика, поражает, между прочим, деталью, немислимой в классической поэзии:

И, палочкой белой взмахнув
на прощанье,
Ушло мое детство опять.

Белая палочка — неизменная принадлежность летних забав деревенского детства, очищенная от коры орешина или ивовый пруттик, — не было в русской поэзии такой трогательной и милой подробности.

Но не дико привести строчки и строфы — их нашлось бы сколько угодно, — и приведенных по разным поводам уже немало, но никакие цитаты не могут заменить целостного впечатления, какое складывается в течение многих лет у читателя, встречающего своего поэта всякий раз как старого друга.

До сих пор речь шла об Исаковском — авторе стихов, существующих как стихи, то есть на печатных страницах газет, журналов, книг, сборников, в исполнении профессиональных артистов и чтецов из коллективов самодеятельности, эстрады, по радио и телевидению, а изредка и в записях чтения этих стихов самим автором. Популярность поэзии Исаковского, неотрывная от его имени, весьма широка и устойчива на протяжении трех-четырёх десятилетий, хотя и предполагает известный уровень специальных интересов читателей и слушателей. Но эта популярность не может идти в сравнение с повсеместным распространением песен, написанных советскими композиторами на стихи Исаковского. Там уж поистине его поэзия доходит не только до тех, что обычно стихов не читают, но и до тех, что вообще-то редко что-нибудь читают. Но эта популярность особого рода — безымянная.

Трудно представить себе человека, который бы не знал, не слышал и даже не мог бы при случае сам подтянуть хоть как-нибудь из таких современных песен, как «Катюша», «На закате ходит парень», «Дал приказ — ему на запад...», «В прифронтовом лесу», «Враги сожгли родную хату» или «Одинокая гармонь», «Летят перелетные птицы».

Однако чем лучше песня, чем чаще и охотнее ее поют и слушают, тем менее приходит на ум, что она кем-нибудь написана, — она для большинства знающих слова и поющих ее просто есть на свете, родилась и живет как бы сама по себе.

Если говорить о песнях, дошедших до нас из далекого прошлого, распевавшихся нашими отцами и дедами, как, например, песня о Ермаке («Ревела буря, дождь шумел...»), «Славное море, священный Байкал...», «Есть на Волге утес...», «Из-за острова на стрежень...», то о них только из специальных источников можно дознаться, что слова первой написаны поэтом-декабристом Рылеевым, второй — сибирским ученым и поэтом первой половины XIX века Давыдовым, третьей и четвертой — поэтами Навроцким и Садовниковым. Причем нередко бывает, как в трех последних случаях, что широко известная и столь долговечная песня — вообще единственное уцелевшее в памяти народной произведение поэта, имени которого память эта сохранит не смогла, да и не была этим озабочена, считая любимую песню просто своей. И такая «узурпация» авторских прав народом, может быть, и есть самая завидная судьба поэтического произведения. Такова уж особенность песенного жанра: наиболее удачная песня поэта всегда как бы стремится оторваться от имени своего автора, утратить эту свою «частную» принадлежность и приобрести несравненно большую и значительную, а именно стать тем, что мы называем народной песней.

Песни Исаковского — в ряду самых распространенных и любимых в народе. Для их исполнения не нужно ни особого торжественного случая, ни специального собрания людей, ни особой обстановки. Их поют в праздники и в будни, поют в городе и в деревне, поют со сцены концертного зала и в скромной домашней обстановке, поют на гулянье и напевают за работой, в пути, на прогулке, на людях и в одиночку.

Но особой примечательностью поэтической судьбы Исаковского, выделяющей его среди поэтов, пишущих песни, или «авторов текстов», является то, что песни его, при всей их неслыханной распространенности, вовсе не обязательно утрачивают имя автора. Многие не менее известные песни советских поэтов достигают того предела популярности, когда имя автора еще при жизни его не связывается с данной песней, — мало ли кому она может принадлежать. Но песни Исаковского более прочно прикреплены к его поэтическому имени. Недаром и Андрей Малышко в своих заграничных стихах, рассказывая о том, как где-то в Оклахоме

негры пели славную «Катюшу», не забывает подчеркнуть:

Ту, что Исаковский написал...

Конечно, эту особенность бытования песен Исаковского следует прежде всего отнести на счет всеобщей грамотности, возросшей культуры, широчайшего внедрения в жизнь печатного слова, но вместе с тем и благодаря тому, пожалуй, что есть здесь и доля признательности народа любимому поэту.

Конечно, и у песен пора их самого цветения бывает различной длительности, для немногих она повторяется через какие-то сроки, и только в единичных, исключительных случаях длится без перерывов; ближайшие примеры — «Ревела буря» и «Славное море», обаяние которых, кажется, неподвластно времени со всеми его переменами общественных вкусов и настроений.

Не будем гадать, какой из песен Исаковского, вышедших за черту одного сезонного цветения, суждено вновь и вновь возрождаться, но неоспоримый факт, что уже в течение более трех десятков лет многие из них — непреходящая часть народно-песенного репертуара. Они входят в соприкосновение с поэтической энергией самих народных масс, служат объектом подражаний, переложений (одних «Катюш» зафиксировано свыше сотни), строки их становятся «крылатыми», то есть используются в фразеологическом обиходе современного языка, широко цитируются, иногда и без указания имени автора.

Но нет оснований рассматривать порознь или противопоставлять один другому эти, так сказать, два вида поэтического существования Исаковского в литературе — собственно стихотворный и песенный. Все дело в том, что эти стороны неразрывны, они — одно поэтическое целое. И секрет необычайного, покоряющего успеха песен Исаковского, как это приходилось уже отмечать, в том, что в большинстве случаев это — истинно поэтические создания, они живут не только в слиянии с написанной композитором музыкой, но оставляют еще возможность произнести, повторить их строки или строфы просто так, как стихи, как слова, сами по себе обладающие впечатляющей силой. Это не подтекстовка к готовой мелодии, как это сплошь и рядом бывает с песнями. Само по себе написание стихов и для готовой музыки дело не пре-

досудительное, но стоит попробовать прочесть слова иной популярной песни, чтобы увидеть, какой невзыскательный и бессодержательный набор слов может скрываться за хорошей музыкой песни.

Слова песен Исаковского — это, за немногими исключениями, стихи, имеющие самостоятельное содержание и звучание, живой поэтический организм, сам собой как бы предполагающий ту мелодию, с которой ему суждено слиться и существовать вместе. Исаковский — не «автор текстов» и не «поэт-песенник», а поэт, стихам которого органически присуще начало песенности, что, кстати сказать, всегда было одной из характернейших черт русской лирики.

Эта черта сближает Исаковского как автора популярнейших песен с классиками русской поэзии Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, стихи которых поются, что называется, «через страницу». Среди них столько вещей, ставших широко известными народными песнями (тоже часто утратившими принадлежность именам своих великих авторов). Это поэтические произведения, созданные без обязательной их песенной предназначенности, но потом призвавшие к себе и музыкальную их интерпретацию.

И удачи авторов песен на стихи Исаковского — композиторов Захарова, Мокроусова или Блантера — в том, что они, при всем различии их музыкального письма, обладают умением угадать мелодию, которая таится в строчках поэта, «прочесть» и передать ее нам уже на языке своего искусства.

Вспомним еще раз, теперь уже по прямому поводу, замечание Л. Толстого о том, что в народе песня поется с «убеждением, что в песне все значение заключается в словах». Но это убеждение может держаться только на том, что в словах имеется содержание, они говорят о чем-то значительном и волнующем. Именно волнение, происходящее от «слов», обязывает их петь, а не просто произносить.

Ермак тонет в Иртыше, и эта трагическая гибель мужественного воина никогда не перестанет вызывать в нас сочувствие и пробуждать в нас через слова песни те высокие чувства, которые становятся доступными даже людям, обычно не слишком отзывчивым в этом отношении.

То же и «Славное море» — история человека, бегущего с каторги, — там тоже слова полны содержания, драматического напря-

жения, буйной радости человека, охваченного порывом к свободе.

Потому-то и видит народ все значение песни в словах, что слова народной песни не бывают пустопорожними, — они о чем-то повествуют, о чем-то вещают, чего-то хотят, чего-то просят — попросту они содержательны.

Слова лучших песен Исаковского содержательны, пусть даже это содержание забавное, шуточное, что, между прочим, не редкость и в народной песне, или раздумчиво-лирическое и трогательное. Но вершинные его вещи этого жанра, приобретшие широчайшую известность, поражают значительностью, сосредоточенностью и глубиной гражданской, патристической мысли.

Каким неподдельным достоинством мужества звучат эти такие негромогласные слова солдатской готовности ко всему:

Пусть свет и радость прежних встреч
 Нам светят в трудный час.
 А коль придется в землю лечь,
 Так это ж только раз...
 Настал черед, пришла пора.—
 Идем, друзья, идем!
 За все, чем жили мы вчера,
 За все, что завтра ждем...

Это из стихотворения «В прифронтовом лесу», ставшего песней еще во время войны.

А вот послевоенная песня «Летят перелетные птицы», форма ее, выразительные средства предельно просты и, кажется, без труда явились сами по себе.

Летят перелетные птицы
 В осенней дали голубой.
 Летят они в жаркие страны.
 А я остаюсь с тобой.

Из каких, кажется, незамысловатых, простых слов возникает эта строфа. А смотрите — последняя строка этой первой строфы становится первой строкой следующей строфы-куплета:

А я остаюсь с тобою...

Всего только, что «с тобою» вместо «с тобой». Но это неожиданно и так по-песенному непринужденно дает развитие и подтверждение сказанному в предыдущей строфе:

А я остаюсь с тобою,
 Родная навеки страна!
 Не нужен мне берег турецкий
 И Африка мне не нужна.

Без всякого видимого усилия расположены слова и строки, говорящие о нежном чувстве привязанности к родной земле и вместе с тем выражающие и более широкое историческое содержание:

Немало я стран перевидал,
Шагая с винтовкой в руке,
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.

Следующая строфа построением строк как бы целиком повторяет эту, но содержание уже куда значительнее.

Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю,
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

И подобные словам клятвы или воинской присяги заключительные слова, связанные внутренними повторами:

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду.

Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой...

При всей уже профессиональной наметанности глаза и натренированности слуха, не вдруг отмечаешь, что зарифмованы эти строки через строчку, то есть рифмуются только вторая с четвертой. А когда отмечаешь, то видишь, как это в данном случае хорошо, какую свободу дает нужным словам и как, в сущности, усиливает роль рифмы.

Удивительно послевоенное стихотворение Исаковского, тоже ставшее широко известной песней «Враги сожгли родную хату», сочетанием в нем традиционно-песенных, даже стилизованных приемов с остро современным трагическим содержанием. С какой немногословной и опять-таки негромогласной силой передана здесь в образе горького солдатского сиротства великая мера страданий и жертв народа-победителя в его правой войне против вражеского нашествия.

И каким знаком исторического времени и невиданных подвигов народа — освободителя народов от фашистского ига отмечена эта бесконечно печальная тризна война на могиле жены:

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слезка несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

В 1932 году в статье о Маяковском и Пастернаке «Эпос и лирика современной России», дающей восторженную оценку обоим этим поэтам, Марина Цветаева отмечает у них «одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский, — говорит она, — на песню не способен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен... Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, одиноличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор на Руси «вакантно». Певучее начало России, расстроенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло...

Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь под великий российский шумок растет. Будем жить».

Разумеется, я не пытаюсь зачислить Исаковского на указанное Цветаевой «вакантное» место — могу только отметить, что это сказано ею, когда еще ни одно его стихотворение не было положено на музыку и просто не были еще написаны те стихи, что стали потом всенародно популярными, известными и за пределами родины песнями. Так или иначе, для меня несомненно, что «певучее начало России» обрело в Исаковском в эти сложные, грозные и великие десятилетия слишком заметное русло, чтобы назвать его «небольшим ручейком». Но об истинных размерах этого русла и его долговечности гадать нечего — «будем жить».

Со времени «Рецензии» М. Горького об Исаковском написано много — эта библиография заняла бы несколько страниц. Среди этих книг, статей и рецензий выделяются работы В. Александрова, А. Дементьева, А. Македонова, Н. Рыленкова, рассматривающие поэзию Исаковского не только в русле его главной темы, но в русле советской поэзии, куда он давно вошел со своей темой и самобытными средствами стиха. Но до сих пор остается в силе немного-

словный и сдержанный отзыв М. Горького. «Стихи у него простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью». Выше уже говорилось насчет условности понятия «простоты», но горьковская «Рецензия», написанная более сорока лет назад, имела в виду лишь первую книгу Исаковского «Провода в соломе».

«Искренность» — это слово, казалось бы, не требующее особых истолкований, еще не так давно в нашей критике было мишенью опасных и настороженных суждений как понятие абстрактно-моральное, в котором таится то ли объективизм и аполитичность, то ли еще что-то не менее предвзвешенное. Впрочем, и другое слово — «правда» — применительно к художественной литературе совсем еще недавно вызывало столь же опасливые суждения.

Грустно вспоминать об этом, потому что такие суждения вольно или невольно заслоняли от читателя ту несомненную истину, что все лучшее в полувековом развитии нашей литературы обязано именно этим исходным принципам художнического отношения к действительности — искренности и правдивости.

Михаил Исаковский — один из самых наглядных примеров верности этим принципам.

Он искренен и правдив, приветствуя радостной песней советскую новь деревни еще на самой заре этой новь, еще в самых первоначальных ее осуществлениях, так же как искренен и правдив, показывая прежнюю деревенскую жизнь во всей ее тоскливой неприглядности. На старую деревню он смотрит непрощающим взглядом своего детства и юности, с особой остротой переживавших все ущемления и унижения бедняцкой доли.

Он правдив и искренен, когда в заглавном стихотворении книги «Мастера земли» от страстного желания видеть родную, скупую на урожай землю преобразенной трудом ее мастеров поет славу их золотым рукам, их радости при виде картины, которая в годы создания колхозов была, конечно, больше поэтической проекцией будущего, чем непосредственным отражением настоящего.

Он искренен и правдив в своей неизменной любви к людям как старой, так и новой деревни, старым и молодым, — обо всех у него находятся добрые слова, иногда оттененные незлобивой шуткой.

Бывают стихи более или менее совершенные по так называемому мастерству — стихи как стихи, все на месте. Но они как бы не принадлежат исключительно их автору, не дают представления о его подлинной личности, морально-этическом его, как говорится, кодексе. Дело не в том, что читателю непременно нужно знать, что за человек этот автор в житейском смысле, а в том, что ведь личность автора в ее главных и решающих чертах обязательно скрывается в его творениях, и читатель обязательно это чувствует. В поэзии нельзя притвориться взволнованным, если не взволнован по-настоящему, чувствующим так-то, если не чувствуешь так на самом деле. Такие чудеса невозможны, чтобы заставить других через посредство построенных тобой в известном порядке слов и строчек испытать те чувства, которые ты сам не испытал.

Лирика Исаковского свидетельствует о цельности его душевного склада, о скромности и достоинстве, о добром, отзывчивом сердце, не склонном, однако, к сентиментальности, вернее, защищенном от нее врожденным чувством юмора. Личный облик поэта представляется в органическом единстве с его творчеством. И поэтому голос его всегда искренен, даже тогда, когда он служит преходящему, газетно-публицистическому назначению.

Об Исаковском можно сказать, что у него есть слабые стихи. Он говорит иногда слова готовые, взятые из привычного слуху лексикона газет, но о нем никогда нельзя сказать, что он говорит слова, в которые сам не верит. Может быть, в этом заключается редкостное обаяние его поэзии в целом.

Целостный дух и склад его поэзии, характеристические черты ее формы как нельзя более близки духу и складу народного труженического характера, чуждого горлопанству и красноречию, более способного выказаться на деле, чем на словах, отнюдь не лишеного, однако, чувства юмора.

Мне как-то трудно представить себе мир, запечатленный в созданиях поэта, без того, чтобы в том, всякий раз особом мире были и «географические» отпечатления этой особенности — свой край, город, село, река, дорога. У Исаковского все это налицо: и село Оселье, и город Ельня, и река Угра.

Мне кажется свидетельством какой-то неполноты освоения поэзией действитель-

ности, когда она обходит такие, всякий раз обладающие свежестью и неповторимостью, явления мирового кругооборота, в котором проходит жизнь, как смена времен года, многоликий и неисчерпаемо прекрасный мир природы

И для меня немалую долю обаяния поэзии Исаковского составляет то, что в ней, как в памятных с детства хрестоматийных стихах классиков, есть свои весны и зимы, свои дымящиеся загаги сенокосной поры и спелые нивы лета, свои цвета, звуки и запахи осени.

Я касался в этой статье стихов, составляющих главную тему поэзии Исаковского, но у него есть немало стихов, и отличных стихов, другого плана, где более выступают описательно-пейзажная сторона или мотивы лирики личного чувства («В глуши», «В заштатном городе», лирика последних лет). Немало писал Исаковский стихотворных фельетонов для газеты, ныне утративших свою актуальность, но в свое время привлекавших внимание читателей опять-таки его своеобразным решением и этих задач. Исаковский — мастер и просто шуточных, «домашнего» предназначения стихов, литературных эпиграмм, пародий и т. п.

Ограниченный в своей творческой активности давней и тяжелой болезнью глаз и вообще не отличающийся крепким здоровьем, поэт в последние годы редко выступает с новыми стихами. Но делу поэзии он продолжает служить с большой пользой и своими статьями и письмами по вопросам поэтического мастерства, составляющими уже книгу, неоднократно переизданную. В ней многолетний опыт мастера реализуется в добрых советах и критике моло-

дых (и не только молодых!) поэтов. С неизменной верностью своему, как говорится, эстетическому кодексу, ставящему на первое место существенность, правдивость и искренность содержания, выступает как вдумчивый и взыскательный наставник по праву не только возраста, но и бесспорного творческого авторитета. Эта сторона деятельности поэта еще ждет подробного рассмотрения и достойной оценки в нашей критике.

Большое место в литературной работе М. В. Исаковского занимает поэтический перевод. Он переводил с украинского, белорусского, венгерского, итальянского и других языков. Хочется особо отметить мастерство его переводов из Т. Шевченко и Леси Украинки («Лесная песня»), а также многих стихотворений венгерского классика Шандора Петефи.

Говоря об Исаковском, я, надеюсь, избежал претенциозных эпитетов — самый характер его таланта и личности не позволяет и в этом отношении даже дружеских преувеличений. То, что давно сказано мною об особом влиянии поэзии Михаила Исаковского на меня в пору литературной юности, я могу здесь лишь повторить с еще большей объективностью нынешнего своего возраста.

Но главное, эта большая объективность позволяет мне думать, что поэзия Исаковского, какая она есть, независимо от того, позволят ли ему его нынешние недуги добавить к ней что-нибудь новое, была и будет одним из самых безусловных, общепризнанных достижений нашей поэзии в полувековом пути ее развития.

1967.



В. ЛАКШИН

★

ПУТИ ЖУРНАЛЬНЫЕ

(Заметки о книгах по истории журналистики)

Среди великих достижений и открытий, какие принесла миру русская литература прошлого века, есть одно, редко вспоминаемое в ряду других ее заслуг, — создание самой литературной трибуны, центра собиранья наличных литературных сил, а проще сказать, «толстого» литературно-общественного журнала. Явление сугубо русское, не имевшее себе прямых аналогий в европейской журналистике, где «толстый» журнал издавна тяготел к академизму и специализации, а массового читателя обслуживали летучие иллюстрированные издания, этот тип журнала возник на особом перекрестке интересов отечественной художественной литературы и общественности.

Какое значение имеет для нашей литературной истории изучение такого рода изданий, напомнили нам недавно две книги. Одна — написанная известным писателем В. А. Кавериним около сорока лет назад, но явившаяся ныне в обновленном и исправленном виде. Другая — принадлежащая перу историка литературы М. В. Теплинского и изданная на другом конце страны, в Южно-Сахалинске, в количестве одной тысячи экземпляров, то есть тиражом, рассчитанным лишь на ученых-коллег и друзей автора.

И по своему характеру, и по предмету книги эти весьма различны, однако чтение их подряд, одна за другой, наталкивает на неожиданные сопоставления и вызывает мысли, которыми хочется поделиться.

I

Книга В. Каверина рассказывает об Осипе Сенковском, легендарном Бароне Брамбусе, создателе и редакторе первого массового «толстого» журнала в России «Библиотека для чтения».

Работа В. Каверина может во многих отношениях почитаться образцовой. Прекрасно написанная, она соединяет достоинства литературной биографии и богатого фактами исследования. Автор знакомит нас со множеством новых или прочно забытых старых материалов, занимательными эпизодами журнальной борьбы тридцатых — сороковых годов. Умелое расположение материала, аккуратное обращение с источниками, наконец почти тридцать страниц убористого гекста комментариев и библиографических ссылок говорят о солидности исследования В. Каверина, достойного представителя ленинградской филологической школы двадцатых годов.

Однако сразу же бросается в глаза, что если Каверин-ученый стремится к строгой объективности, то Каверин-писатель субъективен и неравнодушен. Что поделаешь, ему нравится его герой, он огорчен обычной нелестной репутацией его в потомстве, он хочет за него заступиться и отчасти успевает в этом.

Мы готовы признать в Сенковском незаурядного для своего времени востоковеда, популяризатора ориенталистики, человека изобретательного, острого. Жизнь и колкость его ума в союзе с деловой предприимчивостью принесут успех его главному детищу — «Библиотеке для чтения». Затевая этот журнал, соединивший на своих страницах науку и беллетристику, политику и торговлю, моды и критику, Сенковский имел в виду приохотить к постоянному чтению широкие круги читателей, в том числе провинцию, и ему это удалось. Надо отдать ему должное и в другом смысле — Сенковский умел поставить дело на широкую европейскую ногу: он впервые ввел полист-

ную плату за литературный труд и выплачивал гонорары авторам с непривычной прежде регулярностью; он выпускал очередные книжки журнала точно в срок и вообще придавал журналу черты четко функционирующего хозяйства. Сенковский был едва ли не первым нашим профессионалом-журналистом, профессионалом-редактором, изгнавшим из журнального дела прежний его наивный дилетантизм. Да и в самом содержании журнала Барон Брамбеус держался того сочетания благодушной занимательности с практическими сведениями и легкого блеска образованности с едкой насмешливостью, которое так импонирует читателю. Правда, особая выгода положения «Библиотеки для чтения» на первых порах заключалась еще и в том, что ее не с чем было сравнивать. При ее рождении рядом с ней не было таких, скажем, конкурентов, как «Современник» или «Отечественные записки»: успех журнала был гарантирован неким духовным вакуумом, и этого нельзя не принять в расчет. Рядом с откровенно ретроградными «Сыном отечества» и «Северной пчелой» журнал Сенковского выигрывал и занимательностью и разнообразием материалов. Понятно, что для читателей николаевской эпохи «Библиотека для чтения» долгое время была единственным привлекательным журнальным чтением.

В. Каверин, однако, не ограничивается указанием на эти обстоятельства. Он ставит своей целью хотя бы отчасти реабилитировать своего героя с общественно-гражданской стороны и во всяком случае вывести его имя из «круга однозвучных имен Булгарина и Греча», восстановить «истинное представление о Сенковском, как о тонком критике и эссеисте». А эта добровольно взятая на себя автором задача и труднее и неблагодарнее.

Говорят, что искусство требует от писателя такого погружения в психологию действующих лиц, что порою способно возбудить у него в процессе творчества невольную симпатию к герою даже отрицательному. Вживаясь в его поступки, влезая в его кожу, автор по-своему увлекается им, даже когда разумом признает всю его нравственную неприглядность. Художественное внушение от цветистой фигуры язвительного европейца в восточном халате и с чубуком в руках было, возможно, так сильно, что В. Каверин полюбил Барона Брамбеуса, увлекся им и незаметно для себя стал его прикрашивать.

И не то чтобы он скрывал что-то нехорошее за своим героем. Как добросовестный биограф и верный истине писатель, он считал необходимым привести порочащие Сенковского сведения, документы и цитаты. И однако же сохранил по отношению к нему тот добродушный, снисходительный тон, который резко не согласен порою с впечатлением от самого материала, собранного исследователем.

В. Каверин подробно и интересно рассказывает о «польском» периоде биографии Сенковского, о его участии в обществе молодых насмешников и вольнодумцев — «шубравцев». Но рядом с этим находят себе место факты иного рода. Так, например, мы узнаем, что в 1826 году, еще в раннюю пору своей деятельности, Сенковский был послан из Петербурга для ревизии белорусских школ, в которых была обнаружена опасная крамола. В. Каверин находит, что в этих деликатных обстоятельствах молодой Сенковский вел себя достаточно благородно и во всяком случае не раздувал опасного дела. Однако из сообщенных автором сведений явствует, что Сенковский довольно энергично расследовал историю о «пасквильных стихах», не брезговал дознанием и обыском на квартирах учителей и даже проявил в этом отношении некоторое доброхотное усердие, ибо «произвел, как опытный филолог, сравнительное изучение текстов». Понятно, чем могли грозить провинившимся эти филологические занятия Сенковского.

Или другой случай. Вероятно, чтобы набросить легкий флер вольномыслия на деятельность Сенковского, В. Каверин цитирует донос на него некоего Новосельцева, пересланный в 1824 году Аракчееву. Однако, как добросовестный ученый, автор указывает и на то, что в доносе этом рядом с именем Сенковского были упомянуты и другие «опасные имена», в том числе... Греч и Булгарин. Вряд ли из этого домашнего недоразумения в среде друзей и сотрудников III отделения можно сделать вывод, что «доверять Сенковскому или поощрять его служебную карьеру правительство Николая I не имело объективных данных». Скорее приходится верить более раннему заявлению министра Шишкова, что Сенковский «поступками своими до сего времени не показал ничего противного верноподданнической обязанности».

Все это относится к начальной поре биографии Сенковского. Но с теми же при-

мерно нравственными и политическими основаниями приступил Сенковский к изданию своего знаменитого журнала «Библиотека для чтения». Нельзя сказать, чтобы журнал этот был задуман как реакционное, охранительное издание. Казенное сукно никогда не было в большой цене среди публики. Чтобы приобрести себе читателей и подписчиков, «Библиотека» должна была выглядеть журналом передовым, но в рамках общей благонамеренности и без всякого риска для своего благополучия.

Сенковский нашел блестящий выход. Он придал своему изданию соблазнительный, но не слишком опасный налет внешнего западничества. При этом ему удалось избежать тяжеловесной серьезности прежнего «Вестника Европы». Его читатель не должен был скучать. Он избрал веселую и слегка загадочную маску Барона Брамбеуса, который принес с собою легкий дух литературного скандала, шума, острой сенсации. Журнал не для публики, а на публику не боялся упреков в пестроты и неразборчивости содержания. Он не мог позволить себе лишь одного — показаться пресным.

Белинский нашел в свое время разгадку неслыханного успеха Сенковского в том, что его журнал был журналом провинциальным¹. Критик живо вообразил и описал, как семья степного помещика, скучающая в глуши, с нетерпением ожидает очередную «жирную» книгу «Библиотеки для чтения», где каждый найдет себе что-то по душе: дочка — чувствительные стихи и легкие повести, отец семейства — статьи о трехпольной системе земледелия, матушка — советы, как лечить чахотку и красить нитки. Но слово «провинция» надо отнести не только к географии, но и к уровню духовных потребностей. Сенковский умел приносившись ко вкусам толпы, умел занять ее и развлечь, а к стати, и польстить ее самолюбию. Говорить обо всем на свете с чувством превосходства и всезнания — о Кювье и Шамполлоне, Гегеле и магнетизме — значит вернее всего завоевать популярность в полубразованной среде. Сенковский же к каждому своему слову

прибавлял изрядную долю иронии и так свободно обходился с научными и литературными авторитетами, что это импонировало «провинциальному» читателю, которого словно приглашали подняться над столичными умами и иноземными светилами. Диво ли, что журнал Сенковского набрал рекордное число подписчиков и удерживал этот успех довольно долго, пока более чуткая часть публики не пресытилась начитанностью и остроумием Барона Брамбеуса и не отхлынула от его журнала в поисках новых кумиров.

Иногда я начинаю понимать биографа Сенковского: острословы, мистификаторы и озорники в литературе, нарушающие казенное благообразие и чинность, вызывают невольную симпатию. Сенковскому как нельзя более подходило это амплу, потому что он представлял собой тип литератора, напряженно желающего отличиться — падением ли на общие места, легким эпатированием публики, поруганием литературных святых, бессовестной саморекламой, колкостями и дерзостью. Ему следует отдать должное — он ловко издевался над литературной посредственностью, третьесортными салонными повестями. Worse, что столь же охотно он делал мишенью своих насмешек Гоголя, со злорадством набросился на случайную оплошность Пушкина, называл «Героя нашего времени» «ученическим эскизом» и в то же время был мастером создания дутых, фальшивых репутаций, в которые, похоже, сам не верил. Не рассчитывая всеерьезно убедить кого-либо, он сравнивал «великого Кукольника» с Гёте, а Пушкина со стихотворцем Тимофеевым, хвалил «Черную женщину» Греча и «Мазепу» Булгарина, впрочем, по погоде и обстоятельствам, так же легко отрекаясь от своих похвал.

Справедливости ради заметим, что порою своей насмешливостью, манерой язвить по поводу и без повода Сенковский шокировал бюрократическую солидность: камергеру шутить не полагается, в любой шутке есть нечто двусмысленное и беспокоящее. Но цели Сенковского при этом были самые личные, а значит, благонамеренные. И разве что самому заскорузлomu николаевскому чиновнику этот внешний европеизм, легкая скептическая усмешка, видимость смелости могли показаться опасными.

Знаменем журнала Сенковского была, как мы сказали бы теперь, сознательная безы-

¹ В. Г. Белинский. Ничто о ничем... Полное собрание сочинений. М., 1953, т. 2, стр. 15—41. См. также статьи Белинского «Литературные мечтания», «Речь о критике», «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» и др.

действие, направлением — отсутствие направления. Сам издатель, понятно, не захотел бы в этом признаться и объяснял свою позицию так: «...Не должно ли правительство быть мне благодарно за направление, которое я дал своему журналу и понятиям публики? Но чтоб мне верили в публике, надобно, чтобы все видели, что я не имею связей с правительством и что я не льстец. Булгарин потерял свою популярность от этого». Сенковский хочет себе выговорить право на некоторую необычность формы, заверяя в полной благонадежности содержания. И я не вижу, почему бы не верить искренности этого высказывания, которое сам характер журнала способен скорее подтвердить, чем опровергнуть.

В. Каверин обращает наше внимание на одну любопытную черту редакторской политики Сенковского. Будучи острым памфлетистом и язвительным пасквильантом, он как бы сам связал себе руки, демонстративно отвергнув всякую возможность прямой полемики и антикритики в журнале. Это встретило высочайшее одобрение Николая I, утверждавшего программу издания. Понятно, что самовластно был неприятен всякий разнобой во мнениях, хотя бы и чисто литературных, а тем более упрямые несогласия, споры и «антикритики». Но как это могло устроить Сенковского? Нападая на своих противников исподтишка, Сенковский избегал боя в открытом поле — и для нас это еще одно свидетельство не в его пользу. Ибо понятно желание иной раз промолчать, презирая оппонента, понятно молчание по необходимости, но ставить себе это в правило и гордиться этим — либо пошлое высокомерие, либо расчетливый цинизм. А здесь, кажется, в достатке и того и другого. Тем не менее автор биографии и в этом находит добрую сторону: «...Можно смело сказать, что запрещение полемизировать выработало в нем настоящего журналиста».

Но если принять этот ход рассуждений, тогда, пожалуй, надо сказать, что настоящего редактора выработала в Сенковском его уверенность, что нет такого писателя, исключая разве самого Барона Брамбеуса, который писал бы так хорошо, чтобы нельзя было его еще улучшить и поправить. За честь помещать свои произведения в «Библиотеке для чтения» писатели должны были платить полным отказом от авторского самолюбия. Избыточная, подгоняющая все под себя графоманская редакция Сенковского отпугнула от журнала всех мало-

мальски значительных литераторов. Зато в рукописях остальных авторов Сенковский чувствовал себя полноправным хозяином. В. Каверин справедливо говорит, что Барон Брамбеус как бы сам писал весь свой журнал от первой строки до последней. Только вот похвала ли это?

Давно замечено, что те или иные человеческие свойства получают разное значение в зависимости даже от едва заметного перемещения точки зрения, с какой мы их наблюдаем. Где грань, разделяющая требовательность — и произвол, гибкость — и беспринципность, покладистость — и холуйство? Если не судить строго, можно сказать, что такой требовательный к своим авторам Сенковский проявил себя виртуозом журнальной гибкости в отношениях с цензурой. Его готовность переделывать все и вся ради того, чтобы угодить Никитенко и не задерживать очередной книжки, просто поразительна. Чаще всего он даже не ждет от цензора прямых указаний, а забегает вперед, берет на себя лишку и даже тщеславится своим мастерством перекраивания рукописей. «...Я сам принялся за дело, — успокаивает он цензора. — Переделано все на славу. Все устроено. Окончание романа такое нравственное, что, право, совестно. Не станут верить... Все сцены предрассудительные и даже только сомнительные просто уничтожены». «Сто лет читая, не найдете ни одного слова для красных чернил», — с гордостью восклицает он по другому случаю. И почтительно молит, спасая задержанную статью: «Скажите, бога ради, что нужно сделать, в чем сомнение; я изменю ее так, что не только Загоскин, но и сам черт ее не узнает».

Как видим, для Сенковского, когда он держал в руках чужую рукопись, не существовало трудностей и препятствий: он лихо сокращал и правил Бальзака и Гюго, Диккенса и Теккерея, не говоря уж об отечественных романистах. Что, однако, доказал нам всем этим автор? Что Сенковский — незаурядно способный, энергичный, деятельный литератор? В этом трудно сомневаться. Но не важнее ли узнать, во что уходили эти способности, чему была подчинена его деятельность? Однако как раз содержание деятельности Сенковского, направление его журнала все время как бы протекают меж пальцами, ускользают от определения. И это, видимо, потому, что Барона Брамбеуса отличает не просто стихийная беззаботность относительно своих взглядов, мнений и оценок, но беспринципность, возведенная в

принцип, так сказать, принципиальная беспринципность. Оттого проще обсуждать сами формы его журнальной деятельности, хозяйственную организацию дела, редактуру, отношения с цензурой, наконец жанры и формы публикаций, но только не саму позицию журнала, не убеждения издателя.

Возможно, втайне он и сочувствует материализму, возможно, ему претят порой варварские формы русского самодержавия, только его читателю трудно об этом догадаться. Что угодно, но «разглядеть черты последовательного мировоззрения» у Сенковского решительно невозможно. Легкий скепсис, пряное остроумие, направленное на случайные цели и предметы, восточная пышность и витиеватость слога могли приятно беречь читателя «Библиотеки для чтения», но не сообщали ему сколько-нибудь сознательных идей и эмоций.

Должна ли нас в таком случае увлекать личная одаренность Брамбеуса, скептическое расположение его ума?

Булгарин, имя которого В. Каверин не хотел бы слышать рядом с именем своего героя, был тоже человеком не без способностей. Его романами зачитывались, ему заранее отводили место в пантеоне русской словесности, но это не помешало ему прослыть палачом русской поэзии, символом фискала и наушника в нашей литературе. Да и Греч был человеком начитанным, солидным, даже с некоторым налетом академизма, но тем не менее остался в памяти потомства как литературный ретроград и прихлебатель самодержавия. Глубокое заблуждение думать при этом, что сами они и их среда считали себя разбойниками пера, душеителями литературы. Напротив, они казались себе не только достойными сынами отечества, обороняющими его от дерзкого вольнодумства, но и благородными, добродетельными людьми. В. Каверин приводит замечательный психологический документ — письмо Булгарина Гречу: «Фаддей никогда не изменит тебе. Скорее солнце переменит течение, нежели я изменюсь в моих к тебе чувствах. В нужде постой за тебя жизнью и именем, ибо я знаю тебя и люблю тебя со всеми твоими слабостями. Все мы люди, исключая подлецов».

Остановимся, чтобы перевести дух и медленно перечитать последнюю фразу. «Все мы люди, исключая подлецов». Это кто пишет и кому?! Булгарин — Гречу!! Нет, видно, и впрямь слова ничего не стоят. Видно, и

впрямь самые лучшие, самые избранные слова в иных устах становятся словами-трухой, словами-перевертнями, и надо хорошенько слушать, кто их произносит, надо оценивать людей, не оглядываясь на их самохарактеристики, не обольщаясь их видимым благородством, а судя их по их делам, и только по ним.

Брамбеуса трудно отделить от других членов знаменитого реакционного «триумвирата», как бы убедительно ни старался обосновать это автор его биографии. Таково объективно место, занимаемое Сенковским в истории нашей литературы¹.

В «злопамятности» потомства часто есть своя логика. Правда, личные отношения «триумвиров» не всегда были равными. В молодые годы Сенковский неизменно отзывался о Булгарине как о «весьма честном», «весьма добром», но «слабохарактерном человеке». Позднее они враждуют и, случается, нелестно говорят друг о друге, но враждуют как конкуренты по коммерческому предприятию, не более. Ради того, чтобы переманить подписчиков и ослабить влияние соперника, бывшие приятели подсиживают друг друга с помощью доносов в III отделение, ссорятся и плетут взаимные интриги. Но все это обычные черты продажной, безыдейной среды, способные вызвать одну брезгливость.

В 1843 году, то есть уже на излете успеха своего журнала, Сенковский пытался более энергично отгородить себя от Булгарина и Греча, писал, что не хочет, чтобы его «смешивали» с такими людьми. Но почему этому настроению, возникшему по конкретным обстоятельствам журнальной вражды, мы должны верить больше, чем фразе Булгарина «Все мы люди, исключая подлецов»? Ведь вне зависимости от временных ссор, конъюнктурных телодвижений и эволюций все они по существу оставались людьми без

¹ «Сенковский был буржуазно мыслящим человеком и принадлежал к той категории литераторов 1830-х годов, которые делали ставку на преуспевание.— пишет современный историк литературы.— А в эту эпоху путь к преуспеванию на журнальном поприще шел только через сервиллизм и служение правительственным видам. Поэтому Сенковский всячески подчеркивал свои верноподданнические чувства» (Л. Я. Гинзбург. «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. «Очерки по истории русской журналистики и критики». Издательство ЛГУ, Л. 1950, т. 1, стр. 327.)

убеждений, людьми с выжженным нутром и потерянной совестью.

Булгарин, правда, приспособлялся и служил грубее, откровеннее Сенковского. Барон Брамбеус сохранял в глазах публики тень достоинства, независимости, точнее, того поверхностного скепсиса и внешней остроты, которые часто принимают за независимость.

О скептицизме и его роли в общественно-литературной истории у нас в последнее время много толкуют, трактуя его то в категорически отрицательном, то в безусловно положительном смысле. Но, вероятно, скептицизм ценен и плодотворен тогда, когда он серьезен, выстрадан и знаменует собой поиски твердой почвы новых убеждений, коли старые оказались негодными. Это переходное состояние человеческого духа, временная остановка для очистки себя от ветхих догм, перепутье меж двумя дорогами, от которого в одну сторону — к истине, в другую — к цинизму. Перестоявший скептицизм так же трудно сохранить, как молоко в жаркую погоду. Скепсис Барона Брамбеуса легко застаивался, быстро скисал и превращался в самое ничинное приспособление к обстоятельствам.

Так отчего же В. Каверин оказался стольнисходителен к своему герою? Выше я уже искал объяснений этому, но и до сих пор остается тут для меня нечто неразгаданное: что это — увлечение, наваждение, гипноз? Так хорошо узнать своего героя — и все-таки простить его?

Надо, конечно, учитывать, что в главных своих чертах работа В. Каверина написана давно, написана молодым филологом, невольно ищущим в своем предмете больше, чем он может дать. Всякое переосмысление устоявшейся репутации несет в себе большой соблазн. Да и личность Сенковского, своеобразная, богатая внешними красками, по-своему яркая, могла заслонить отчасти суть дела. К тому же пером В. Каверина водила обычная для этого автора благожелательность, благородная терпимость, но эти свойства в данном случае были направлены не на самый лучший объект — и оттого столь противоречиво впечатление от этой оригинальной по замыслу, талантливой рукой написанной книги.

Характерно, что автор почти без внимания оставил известные статьи Белинского и Гоголя о деятельности Сенковского. Блистательный памфлет Гоголя против литератур-

ного торгашества и беспринципности «Библиотеки для чтения» В. Каверин даже склонен трактовать как «тактическую ошибку», «неудавшуюся полемику». Зато он находит авторитетную поддержку своей трактовке Барона Брамбеуса в некоторых высказываниях о нем Герцена.

Герцен в самом деле оставил яркую и парадоксальную характеристику деятельности Сенковского. Он считал, что, «поднимая на смех все самое святое для человека, Сенковский невольно разрушал в умах идею монархии». Отмечая полнейшую беспринципность Сенковского, его «глубокое презрение к людям и событиям, к убеждениям и теориям», Герцен находил отчасти оправдание этому в условиях «свинцовой эпохи», которая его породила¹.

Слов нет, Сенковский — продукт николаевской эпохи. Но и Лермонтов — продукт той же эпохи, и Белинский, и Чаадаев. И то, что мы знаем ныне о Сенковском и людях его времени, дает нам возможность поспорить с Герценом. Сенковский не был Мефистофелем своей эпохи, эту роль справедливее было бы отдать автору «Философических писем». Барон же Брамбеус был скорее ее мелким бесом — язвил, развлекал, подсвистывал, не слишком заботясь о том, в кого попадают отравленные стрелы его пряного остроумия. К тому же насмешничество его враз пропадало, как только шуточки его заставляли поморщиться правительство.

«Свинцовая эпоха» искажала характер деятельности такого одаренного человека, каким был Сенковский. Более того, она сводила его в круг неразборчивой бездарности. Но может ли это служить ему хоть сколько-нибудь извинением? Каждый, кто держит в руках перо, ответствен за многое, но прежде всего за себя. И хотя, холодно рассуждая, мы можем объяснить «эпохой» все на свете, и даже Булгарин в конечном счете — продукт своей эпохи, но найти оправдание для человека, продавшего свой ум, изменившего своему таланту, мы не в силах.

Не надо оправдывать таких людей. Не надо искать извиняющих их мотивов, входить в их обстоятельства и т. п. Не надо хотя бы из уважения к памяти лучших сынов русской литературы, живших в одно время с ними и на себе испытавших всю

¹ См. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. VII, стр. 219 и т. XIV, стр. 219—220.

меру подлости их презрительной насмешки или циничного равнодушия.

Конечно, при всем том «Библиотека для чтения» сыграла свою роль в литературе тридцатых — сороковых годов прошлого века. Портя вкус своей беллетристикой и сея беспринципность в критике, она давала известную пищу уму научно-просветительными статьями и развлекала в часы досуга. Иногда кажется, что и это неплохо в застегнутом на все пуговицы, мундирном николаевском государстве. Исподволь формировался новый тип журнала, энциклопедического по интересам, обращенного к широкой публике. Новое, обширное поле деятельности захвачено было русской журналистикой, но ждуть и желать нужно было на нем совсем иных всходов.

Если бы В. Каверин, рассказывая о «Библиотеке для чтения», держал в памяти будущую деятельность некрасовского «Современника» и «Отечественных записок», его книга, вероятно, оказалась бы несколько иной. Это была бы биография журнального дельца, талантливого от природы человека с выгоревшим нутром, эпикурейца и остролова, русского мурзы в восточном халате, презрительная гримаса которого маскирует тщеславие и беспринципность. В этом своем качестве, я думаю, биография Сенковского была бы нравственно справедливее и точнее по исторической перспективе.

II

Когда после книги о Бароне Брамбеусе открываешь исследование М. В. Теплинского, посвященное «Отечественным запискам» 1868—1884 годов, поражает, хоть и не может быть неожиданностью, резкий контраст этих двух явлений нашей журналистики. И дело не только в том, что время другое: семидесятые годы, их заботы и задачи мало похожи на тридцатые. Перед нами как будто сходные проблемы: характер и позиция журналов, побудительные мотивы деятельности их издателей, отношения с читающей публикой и цензурой. Но идеи и люди, уровень их интересов, исторический масштаб, да и сама атмосфера, окружающая «Отечественные записки», совсем иные, чем те, что могли нас занимать в биографии Барона Брамбеуса.

Однако, прежде чем начать говорить об этом, я хочу представить лежащую передо мной книгу. Написанная, понятно, не с той литературной свободой и стилевым изяще-

ством, как работа В. Каверина, монография М. Теплинского не уступает ей по своей серьезности, филологической культуре. Автор в изобилии привлекает новые документы, знакомит с архивными разысканиями, ставит в неожиданную связь прежде известные факты. Публикация этого труда, родившегося в стенах периферийного вуза и вышедшего в свет на самой дальней окраине страны, сделала бы честь любому столичному издательству.

Трудно анализировать журнал такого значения и объема деятельности, как «Отечественные записки» 1868—1884 годов. За шестнадцать лет под редакцией Некрасова и Щедрина вышло в свет почти двести журнальных книжек. Изучить их сполна — значило бы говорить о целом периоде в русской литературе и общественной мысли¹. Разумно ограничив себя, М. Теплинский выбрал лишь два вопроса: то, что он назвал «внешней историей» журнала, то есть принципы его организации, отношения с обществом и цензурой, выяснение обстоятельств, в каких началась деятельность журнала и в каких она была оборвана, и особенности литературной критики «Отечественных записок».

Хотя эти две стороны дела дают как будто далеко не полную характеристику журнала — ведь за порогом остается, к примеру, вся беллетристика, — они определяют в нем нечто очень существенное, то, что можно назвать его направлением. Это направление журнала изучается по двум важным координатам: по тому, как воспринимают и реагируют на него извне — общество, правительство, цензура, — и по тому, как журнал сам осознает себя и свои задачи в разделе литературной критики.

«Отечественные записки», которые Некрасов взял из рук Краевского, имели репутацию журнала без направления, и в этом

¹ Отдельным этапам деятельности журнала Некрасова и Щедрина посвящено несколько кандидатских диссертаций. Назовем, в частности, серьезные работы Г. А. Шпеера «Журнал «Отечественные записки» Некрасова (1868—1870)» (М. 1949) и Н. П. Емельянова «Журнал «Отечественные записки» в период второй революционной ситуации (1878—1881)» (Л. 1959). Диссертация А. Г. Белоцерковского «Журнал «Отечественные записки» конца 60-х — начала 70-х годов и его литературно-критическая позиция» (Воронеж, 1955) не имеет самостоятельного научного значения, некоторые ее страницы непосредственно заимствованы из упомянутой выше работы Г. А. Шпеера.

смысле вполне напоминали старую «Библиотеку для чтения», разве что лишенную той яркой экстравагантности, какую придавала ей фигура Сенковского. Трансформация скучнейшего журнала, безнадежно падавшего в глазах публики, была поразительна. Как только читатели смогли обнаружить, что всего через два года после разгрома «Современника» появилось издание, вновь объединившее вокруг себя большинство прежних его сотрудников и достаточно определенно обозначившее продолжение его программы, журнал стал быстро набирать успех.

Некрасов пошел на то, чтобы взять «Отечественные записки» в трудных и стесняющих его обстоятельствах. Он арендовал журнал у равнодушного торгаша Краевского, но недавний глава «С~~о~~временника» не мог рассчитывать стать официально ответственным редактором, и тогда он согласился быть им фактически, чтобы номинально в этой должности числился Краевский. Разыскания М. Теплинского позволяют осветить прежде неясный во всей этой истории момент: почему Некрасов не захотел просто купить журнал у Краевского и предпочел арендовать его? Автор книги цитирует отрывок из неизданных воспоминаний Елисеева: «Некрасов хорошо понимал, что из последствий закрытия «Современника» по высочайшему повелению имя его будет в вечном подозрении у правительства, журнал с его именем, если ему и <суждено> было сделаться издателем, будет вяще преследуем и цензурою официальною и добровольными сыщиками по литературе из лиц высокопоставленных, которые сыском литературным стремятся доказать свою преданность престолу и тем устроить или обеспечить себе карьеру...»

Однако эта предосторожность, облегчившая переход журнала в руки Некрасова, лишь на недолгий срок могла оградить его от доносов и преследований. Только первые год-полтора «Отечественные записки» под новой редакцией прожили сравнительно спокойно: цензура вела себя выжидающе и словно бы колебалась в определении позиции журнала. Но уже в 1870 году впервые прозвучали слова о «вредном направлении» «Отечественных записок». Цензор Шидловский определил направление журнала как «проводящее отрицательные и материалистические начала, и возбуждающее вопросы, способные поддержать враждебные отноше-

ния сословий», и с той поры «Отечественные записки» владели за собою эту репутацию до самого дня их закрытия.

Скорейшему и четкому формулированию этого обвинения немало помогла и реакционная печать. «Тяжелое положение передового журнала,— констатирует М. Теплинский,— выражалось и в том, что в печать проникали преимущественно отрицательные отзывы о нем и его руководителях». Цензура широко пользовалась в своих целях литературными доносами вроде пасквильной книжки князя Мещерского «Десять лет из жизни редактора журнала» или памфлетов «слева» против Некрасова, принадлежавших перу бывших сотрудников «Современника» и крайних «радикалов» Антоновича и Жуковского (последний, кстати сказать, быстро эволюционировал и, что случается с крайними «радикалами», вполне нашел себя на новом поприще, став сенатором и управляющим государственным банком).

Реакционная критика не могла повредить журналу в глазах читателей и все же наносила ему ущерб, так как запугивала правительство, разжигала аппетиты цензуры и создавала вокруг журнала Некрасова такую атмосферу, что гимназическое начальство даже запретило выписывать «Отечественные записки» для ученических библиотек.

Направление журнала, которое по-своему трактовалось и квалифицировалось «охранителями», сама редакция определяла, коротко говоря, как защиту интересов народа. М. Теплинский верно пишет об этом, передавая в таких словах принципы литературной критики «Отечественных записок»: «Народ как главный предмет повествования, интересы народа как критерий оценок и основная тенденция, счастье народа как конечная цель общественной борьбы...»

«Отечественные записки» автор рассматривает как орган «старого русского народничества». Это определение можно принять с той необходимой оговоркой, что направление это не было привнесено извне, а постепенно росло из революционного демократизма «шестидесятников», явившись как бы новым этапом этого идейного движения в условиях семидесятых годов.

Вместе с тем «Отечественные записки» — это не просто продолжение «Современника» под другим названием. Надо вообще заметить, что аналогии даже с близкими по

времени и духу изданиями хотя и соблазнительны, но редко справедливы и глубоки. Как ни важна идейная традиция, но время, живой поток литературы, конкретные обстоятельства духовной жизни в первую очередь определяют облик журнала, который неизбежно окажется новым, как бы ни желал он следовать прежнему образцу. «Отечественные записки» были все-таки именно «Отечественными записками», а не «Современником» в новом издании: у них нашлись свои сильные стороны и обнаружались свои потери, недостатки.

«Отечественные записки» как журнал революционной крестьянской демократии разделили и чистоту идейного порыва, и беспомощный утопизм, какие были свойственны всему движению семидесятых годов. Но мы оказались бы близоруки, если бы упустили из виду, что журнал рассчитывал вовсе не на один лишь тесный круг своих политических единомышленников. Он ставил перед собой широкие общественно-просветительные и литературные задачи, заглядывая порой не только в ближайшее, но и в отдаленное будущее¹.

Было бы наивно искать полное и исчерпывающее кредо журнала в каких-то отдельных статьях Михайловского, Скабичевского или пусть даже самого Щедрина. Журнал — сложный, развивающийся, живой организм, и, каким бы цельным по замыслу он ни был, всегда найдется немало противоречий и несогласий между теми или иными его страницами. Но если исключить явные промахи и неудачи, можно сказать, что вернее всего общественно-литературная программа журнала выражается всем существенным его содержанием вне зависимости от жанров и форм высказывания. В «Отечественных записках» стихотворения Некрасова дополняли беллетристику Г. Успенского и Решетникова, сатирические обозрения Щедрина приносили с собой новые темы, а иной раз развивали, досказывали или поправляли то, что не удалось или удалось лишь отчасти в статьях Михайловского или Цибриковой. А все в целом это и создавало единое направление журнала, или, как ча-

ще тогда гоэзрили, его «физиономию». В одном из писем 1884 года, говоря о прекращении «Отечественных записок», Щедрин сказал так: «Поистине, это был единственный журнал, имевший физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно».⁶

Подобное признание тем более ценно, что редакторы «Отечественных записок» никогда не страдали чрезмерной амбицией. Щедрин не раз весьма скептически отзывался о романах или статьях, напечатанных в журнале при его же участии и под его редакцией (так было, например, с лекциями Боборыкина о французском романе, которые Щедрин сам редактировал), скромно оценивал воздействие журнала на публику, зная, как опасно здесь впасть в преувеличение и самообман. И однако он хорошо знал цену делу, которое делал, и не сомневался в общественно-литературном значении журнала.

В этом, как и во многих других отношениях, Барон Брамбеус, казалось бы, тоже так любивший свое детище — «Библиотеку для чтения», был полной противоположностью деятелям «Отечественных записок». «У него нашлось достаточно мужества, чтобы заявить, — пишет В. Каверин о Сенковском, — что журнал, не только его журнал, но любой, во все времена, у всех народов — не имеет на общество ни малейшего влияния, и в лучшем случае является безвредной затеей авторского самолюбия».

Что скажешь на это? Таков всегда циничский, перестоявший скептицизм: свое отчаяние он хочет разделить со всем миром, а свою неудачу, свою слабость или ошибку навязать человечеству в качестве общего закона.

Скептическая трезвость Щедрина по отношению к своему читателю, его неудовлетворенность журналом — иной природы. Его скептицизм исходит из неутоленного чувства совершенства, огорчения не до конца выясненной и высказанной мыслью, невыполненной художественной задачей, из невозможности влиять на общество более энергично и убедить сразу всех, к кому обращаешься.

Чтобы не впасть в напрасный дидактизм, можно было бы лишний раз не повторять, что отсутствие направления в издании Брамбеуса и революционно-демократические убеждения Щедрина — вещи полярно противоположные: даже само сравнение их

¹ Следует в этом отношении обратить внимание на мысль Ленина, высказанную им в статье «Две утопии», что ложный в формально-экономическом смысле народнический демократизм может рассматриваться как истина в историческом смысле (см. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 120).

может показаться неловким. Но мы не имеем права покинуть эту тему, прежде чем не попробуем объяснить, почему, не находя извинений беспринципности Сенковского, мы в то же время так снисходительны к иным слабостям и противоречиям «Отечественных записок» и их издателей.

В самом деле, разве Некрасов и Щедрин не шли на уступки, на компромиссы и как редакторы, и как авторы «Отечественных записок»?

Провожая в 1875 году большого Щедрина за границу, Некрасов написал ему на прощанье несколько строк, горький и высокий смысл которых был всего понятнее им двоим:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.
Трудом — и бескорыстной целью...
Да! Будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

Читая книгу М. Теплинского, мы можем лучше понять, что имел в виду Некрасов под «бескорыстной целью». Но не только это. Мы имеем возможность представить себе и то, что такое были эти «сделки с совестью», которые так мучили Некрасова и к которым приходилось ему прибегать едва ли не на каждом шагу издания журнала.

Некрасов кормит цензоров роскошными обедами у Дюссо, с одним из них охотится, играет в карты с другим. Щедрин удерживает своих сотрудников от неосторожных выходок и даже сам берет на себя отчасти обязанности цензора — редактирует журнал «не только с точки зрения идейно-художественной, но и цензурной». Случается, издатели «Отечественных записок» идут и на более прискорбные компромиссы. «Наблюдающий» за журналом Ф. Толстой регулярно рекомендует Некрасову романы и повести своих светских знакомых, и они — увы! — находят себе иной раз место на страницах лучшего русского журнала.

Нельзя не пожалеть обо всем этом. Странно было бы хвалить за это Салтыкова и Некрасова, — такие поступки не вызывают сочувствия потомства, даже если они оправданы тактическими соображениями и совер-

шаются в крайних обстоятельствах. Но безразлично осудить их можно, лишь если взглянуть на них отчужденно, со стороны, вставши на точку зрения абстрактного морализма, гордого своим неучастием в «грязной» действительности. Быть может, им надо было быть все же чуть менее «гибкими», чуть более непреклонными? Но кто посмеет сейчас решить это за них? Для этого надо было по меньшей мере жить в одно время с ними. Главное, что они трезво и сурово смотрели на себя, без самообольщения оценивали свою деятельность, но знали, чего они хотят, на что надеются, и верили в будущее. Оттого за бегом времени, уже из следующего столетия, все растут и очищаются в своем значении яркие и сильные, лишенные всякой двусмысленности фигуры этих людей, хлопотавших не о своем успехе, рыцарски любивших литературу, отдавших себя служению родному народу. Их не надо извинять условиями, говорить об «эпохе», исказившей характер их деятельности. Если такие оправдания не годятся для Сенковского, то для Некрасова и Щедрина они просто унижительны.

И однако, несмотря на то, что «свинцовая» николаевская эпоха осталась в прошлом, издавать «Отечественные записки» было куда как сложнее, чем когда-то «Библиотеку для чтения». В своей монографии М. Теплинский много места уделяет взаимоотношениям редакции журнала с царской цензурой, и это тоже помогает нам лучше понять Некрасова и Щедрина¹.

«Отечественные записки», как и другие периодические издания в эту пору, были, как известно, освобождены от предварительной цензуры. Но оставалась цензура карательная: после трех предупреждений за серьезные провинности журнал мог быть закрыт. Редакция должна была считаться с этим и практиковала консультации с чинами цензурного ведомства относительно содержания очередных книжек, чтобы предотвратить позднейшие карательные меры.

Надо ли говорить, что, несмотря на свой неофициальный, «домашний», так сказать, характер, цензура эта была в достаточной мере тяжелой. Цензор не подлежал ответст-

¹ Впервые эти вопросы были широко освещены в работе В. Папковского и С. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» («Литературное наследство», М. 1949, т. 49—50).

венности, так как не подписывал номер к печати, но тотчас по выходе журнал обсуждался в главном управлении по делам печати и таким образом находился под несуслышным присмотром. В результате, как справедливо отмечает М. Теплинский, «Отечественные записки» фактически испытывали гнет двойной цензуры — и предварительной и карательной. Журнал постоянно получал внушения и предупреждения весьма грозного свойства, многие номера его задерживались, из готовых книжек вырезались статьи, а майская книжка 1874 года была целиком сожжена.

Перед читателем, знакомящимся с цензурными злоключениями «Отечественных записок», проходит галерея щедринских типов, и это не образное преувеличение, а точный историко-литературный факт, поскольку логику цензоров, их понятия и склад мысли мы найдем запечатленными на страницах книг Щедрина. Фединька Кротиков, например, дружески поучает автора (в очерках «Круглый год»):

«Моп опсе! Не будем увлекаться в сторону и воротимся к «направлению». Я сказал уже вам, что разумею под этим подбор статей. Зачем эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом со статьей, трактующей о явлениях неутешительных (я сам соглашаюсь, что в жизни нашей не все утешительно), не поместить другой, которая предвещала бы скорый и вожделенный конец этой неутешительности? зачем забивать мысль читателя все будничными да будничными представлениями, а не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих парение? Зачем пригибать человека все к земле да к земле — ведь у него есть небо, топ опсе!»

Позвольте, да разве это придуманный Щедриным Фединька Кротиков говорит? А не вполне реальный гофмейстер Ф. Толстой? Тот самый либеральный цензор Ф. Толстой, письмо которого Некрасову мы только что прочли в исследовании М. Теплинского? Огорчаясь «грязным реализмом» таких писателей, как Глеб Успенский, Решетников, он дружески внушает редактору «Отечественных записок»:

«Оставьте для других отделов этнографические и другого рода изыскания, будьте строги к неурядицам, карайте пороки и больших и малых, но в отделе изящной сло-

венности дайте вздохнуть, дайте душе и воображению хоть несколько открыться».

Как наивно порою мнение о чрезмерной желчности, преувеличениях в сатире Щедрина! Читая речи Фединьки Кротикова и смеясь над ними, я никогда прежде не подзревал, как верен здесь реальности Щедрин, верен почти до «протоколизма». Но точно так же, даже не проводя специальных разысканий, можно сказать, что в полной мере «щедринскими» персонажами были и многие другие цензоры «Отечественных записок», о которых подробно говорится в монографии М. Теплинского.

...Шидловский, крайний ретроград, испытывавший к тому же «органическое отвращение к литературе» и в провокационных целях предлагавший не предостерегать журнал, а, напротив, дать ему напечатать подряд несколько крамольных статей, чтобы скорее отдать под суд редактора.. Фукс, наблюдавший за журналом с таким пристрастием, что запрещал самый безвинный рассказ, цинично объясняя при этом: «Если бы он был помещен в другом издании, то мог бы пройти незамеченным, но в ряду других подобных статей журнала «Отечественных записок» он принимает другое значение...» Наконец, Феоктистов, бывший соучастником сговора департамента полиции и цензуры, приведшего к закрытию «Отечественных записок»...

В свете цензурных преследований, каким подвергался журнал Некрасова и Щедрина, совсем пустыми и комичными кажутся те недоразумения с цензурой, какие в свое время переживал Сенковский. Его главной оплошностью долго считалось помещение в разделе «Смесь» статейки о «светящихся червячках», где говорилось, что, по наблюдениям французского натуралиста, червячок-самец находит в темноте светящуюся самку «с той же целью, для какой, по словам печатной программы, учреждено и С.-Петербургское дворянское собрание, т. е. для с о е д и н е н и я л и ц о б о и х п о л о в».

Это невинное зубоскальство над двусмысленным текстом официального документа показывает как меру «смелости» Барона Брамбеуса и сорт его остроумия, так и причины, по каким «Библиотека для чтения» сталкивалась с цензурными ущемлениями. Слов нет, хотя в «Отечественных записках» царская цензура и не нашла бы таких выходов, она имела здесь куда большее основание быть настоюще. И все же

слишком многие ее требования и санкции были беспричинным порождением столь очевидной трусости, недомыслия и подозрительности, что, казалось, не только крамольная и оппозиционная, но и всякая сознательная мысль должна была чувствовать себя вне закона и под запретом. Временами, особенно в последние годы, это буквально выводило из себя Щедрина.

Как же, однако, в таком случае опальный журнал, испытывавший такие трудности уже при самом своем возникновении, мог просуществовать целых шестнадцать лет? Отвечая на этот вопрос, автор книги среди других обстоятельств обращает наше внимание на то, что журнал, в особенности в первое время, при Некрасове, находил себе в правящих сферах и в цензурном ведомстве не только врагов, но, как это ни покажется странным, тайных защитников и покровителей, быть может, и не разделявших вполне убеждений Некрасова и Щедрина, но понимавших значение их дела. Вообще М. Теплинский отмечает, и это делает честь его научной объективности, что при наличии таких персонажей, как Шидловский или Фукс, общий профессиональный уровень цензуры был не так уж низок. Среди цензоров мы встречаем имена университетских профессоров, известных писателей и публицистов того времени. Понятно, что не все среди них были настроены к журналу предвзято или непримиримо враждебно.

На заседаниях цензурного комитета в течение многих лет подряд защитником «Отечественных записок» выступал тайный советник В. Лазаревский. Трудно сказать, каковы были подлинные мотивы этого влиятельного царского чиновника: скорее всего он хотя и не был сторонником, как говорилось тогда, «простора печати», но сознавал бесполезность, да и невозможность крайних ее стеснений. Временами эта точка зрения преобладала даже официально. Еще при начале «Отечественных записок» под новой редакцией министр Валуев, сознавая, что одна лишь тактика запугивания не приносит ожидаемых плодов и что продажная печать начисто лишена кредита у публики, предлагал проводить в этой области более гибкую политику. Он находил, в частности, «более удобным сосредоточить бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном журнале, полагая, что в противном случае они разбредутся по другим изданиям, что поставит еще в большее за-

труднение цензурное ведомство»¹. Такова же была позиция и уже упоминавшегося гофмейстера Ф. Толстого, в течение ряда лет официально «наблюдавшего» за журналом. К этому последнему Некрасов, правда, со своей стороны проявлял особые знаки внимания и даже, обнаружив у него страсть к оперной сцене, пригласил его печатать в «Отечественных записках» свои музыкальные обозрения. Надо сказать, что Ф. Толстой не оказался человеком бесчувственным и неблагодарным. Иначе как расценить его заявление в цензурном ведомстве: «Удерживать «Отечественные записки» в пределах благоразумия возможно еще, так как редакция подчиняется иногда советам и указаниям, чему служат свидетельством десятки статей, выключенных из заготовленных уже номеров журнала, но обесцветить совершенно «Отечественные записки» невозможно и даже, можно сказать, не совсем политично...»

М. Теплинский подробно и интересно пишет о всех хитросплетениях ставшей лишь ныне известной в своих подробностях закулисной борьбы вокруг журнала, о которой в свое время не только не догадывались читатели «Отечественных записок», но не всегда были осведомлены и его редакторы. И однако я не склонен придавать решающего значения в судьбе журнала тем или иным департаментским веяниям, внутренним интригам, доброму или предвзятому отношению к журналу конкретных лиц, «наблюдавших» за «Отечественными записками». Так же, как, понимая все значение умной и осторожной тактики Некрасова вплоть до его знаменитого способа «прикармливания зверя», я не желал бы приписывать лишь этому обстоятельству необъяснимую в условиях царского самодержавия длительную и плодотворную деятельность «Отечественных записок».

Главную роль, вероятно, играло тут иное, то, что определялось подспудно зрелищами переменами в обществе, давлением революционного движения. Журнал находил поддержку в такой внешне незаметной, но осязаемой силе, какой является общественное мнение, та неофициальная мера вещей, которая, возникнув среди наиболее просвещенных и передовых слоев общества, постепенно становится достоянием всех. Ре-

¹ «Литературное наследство». М. 1949, т. 49—50, стр. 446.

волюционная молодежь, народническая интеллигенция семидесятых годов считали журнал Некрасова и Щедрина «своим». Но даже те из читателей, кто не разделял убеждений «Отечественных записок» в части их социальной программы, отдавали должное этому журналу, так как находили в нем настоящую пищу уму и сердцу, острую современность взгляда, правдивое, честное освещение самых разных сторон жизни России и Европы — это неизмеримо расширяло круг приверженцев «Отечественных записок». Авторитет правдивого слова среди читающей публики был так высок, что с ним должны были считаться, а отчасти даже испытывать на себе его воздействие и царские чиновники и цензура. Все это и создавало неожиданную устойчивость этого колеблемого всеми ветрами и подвластного всем стихиям журнального судна — «Отечественных записок» Некрасова и Щедрина.

III

Мы говорим об «Отечественных записках»: «журнал Некрасова и Щедрина». Но, может быть, справедливее было бы добавить — «а также Елисеева, Михайловского, Цебриковой, Кривенко, Скабичевского...».

Журнал вообще дело коллективное, и тем более коллективное дело литературная критика журнала. Это лишь журнал Барона Брамбеуса представлял собой довольно редкий феномен издания, всецело поглощенного личностью редактора. Не удивительно, что в критике Сенковский видел не более чем «картину личных ощущений» и, будучи по существу единственным критиком «Библиотеки для чтения», не сумел помирить себя хотя бы с самим собой: одни его мнения воевали с другими и легко менялись через короткий срок.

Литературная критика «Отечественных записок» создавалась усилиями многих людей, весьма различных по силе таланта, вкусу, склонностям, темпераменту, но сходно мыслящих в главном. Заслуга М. Теплинского в том, что он впервые изучил литературную критику журнала как единое целое, не пренебрегая именами, которые мало говорят современному читателю. именами литературных «подмастерьев и чернорабочих», которые были не случайными гостями, а постоянными сотрудниками

ми «Отечественных записок». Специальные разделы посвящены автором исследования Писареву, Михайловскому, Скабичевскому, Цебриковой.

Надо ли говорить, что критике «Отечественных записок» были свойственны определенность и последовательность в защите народности литературы, идейности, реализма, и естественно, что даже оценки конкретных литературных явлений у разных критиков журнала были обычно сходными. Причиной тому была не узко понятая журнальная солидарность, желание прийти к ко двору, но общность идейной почвы.

«Отечественные записки» унаследовали традиции «Современника», критики Чернышевского и Добролюбова. Но М. Теплинский, не ограничиваясь общими декларациями, пытается установить, что нового принесла с собой критика и эстетика «Отечественных записок» в сравнении с прославленной критикой «Современника».

Новые моменты или, лучше сказать, акценты в революционно-демократической эстетике автор обнаруживает в статьях и рецензиях Щедрина 1868—1871 годов, и прежде всего в его программной статье «Напрасные опасения». Выдвинутые здесь Щедриным положения мы встречаем позднее в разных преломлениях и вариациях у других критиков журнала.

Это относится прежде всего к тому, что автор книги несколько торжественно называет «учением Щедрина о сознательной тенденциозности». Не знаю, следует ли именовать эти мысли Щедрина «учением», но во всяком случае неоспоримо, что в отделе критики «Отечественных записок» Щедрин упрямо подчеркивал значение позиции писателя, цельности и сознательности его мировоззрения.

Его легко понять. Щедрина удручало то, что общественная мысль пореформенной поры как бы начинает топтаться на месте, что общество, столько раз обольщавшееся надеждами и обескураженное новыми приступами реакции, впадает в апатию и тяготеет к элементарной «азбучности» и что литература в свои движениях протеста остается большей частью при прежних своих завоеваниях, не делает решительного шага вперед. Между тем время дает повод для новых раздумий и художественных обобщений. Появились «новые люди», молодая разночинная интеллигенция, революционно настроенная, жаждущая практиче-

ского дела, желающая помочь своему народу. Как может обойти все это своим вниманием литература?

Именно с поисками нового демократического героя, «типов положительных и деятельных», связывал Щедрина прогресс сознательности, тенденциозность писателя, широту осмысления захваченных им явлений жизни. Эти мысли Щедрина имели серьезное значение для определения позиции журнала и были тем плодотворнее для литературы, что редактор «Отечественных записок» старался смотреть на дело не узко сектантски: положительными в его понимании типами были Пила и Сысойка в «Подлиповцах» Решетникова, но и князь Мышкин Достоевского.

М. Теплинский решил, однако, еще сильнее подчеркнуть значение деятельности Щедрина-критика, противопоставив с этой целью его «учение о тенденциозности» «реальной критике» Добролюбова. И тут нам придется не согласиться с автором монографии об «Отечественных записках».

Удивительно, как трудно бывает даже вполне объективному исследователю избежать соблазна расхвалить одного мыслителя за счет другого, не менее его достойного, или отдать должное одному верному взгляду, не унизив другой, не менее справедливый.

М. Теплинский с легкой укоризной говорит о том, что Добролюбов, рассматривая объективный смысл произведения, оставлял субъективный замысел писателя «как бы в тени». С уважением цитирует автор мнение об этом другого своего коллеги: «... Добролюбов и Чернышевский не смогли раскрыть во всем ее богатстве и сложности диалектику отношений объективного и субъективного элементов в художественном творчестве... Чернышевский и Добролюбов абстрагировали объективный элемент в художественных произведениях от общественных позиций и взглядов их авторов, от эстетических принципов, которые они исповедуют». Приведя это высказывание и поспешив согласиться с ним, автор удовлетворенно замечает: «Щедрина же занимал в этом вопросе более определенную и правильную позицию». Он: «не удовлетворялся только требованием правильного изображения жизни» и выдвинул уже знакомое нам «учение» о сознательной тенденциозности. В свете этого «реальная критика» «Современника» кажется М. Теп-

линскому настолько превзойденной и отсталой, что, встретившись с ее рецидивами на страницах «Отечественных записок» в статьях Писарева или Щедриковой, он всякий раз мягко упрекает за это авторов.

Впрочем, странно, что М. Теплинский не видит в таком случае досадной непоследовательности и у самого Щедрина. Критикуя вполне тенденциозный и благородный по замыслу роман Шеллера-Михайлова, Щедрина писал о благих намерениях автора: «Мы нимало не сомневаемся в этой благонамеренности и даже уважаем ее, но не можем же смешивать это отличное качество с талантливостью, особенно после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умалется». Не оставляет ли здесь Щедрина «как бы в тени» субъективный замысел писателя?

Хочется заступиться за деятелей «Современника». Они никогда не были, думается, так просты, чтобы не придавать значения мировоззрению писателя, его идейным симпатиям и антипатиям. И если Добролюбов, выдвинув тезис «реальной критики», требовал от писателя прежде всего безусловной правдивости, то это не потому, что он забыл о «диалектике объективного и субъективного элементов» и пренебрегал авторской тенденцией. Слава богу, и им и Чернышевским написано на этот счет немало страниц. Сошлемся хотя бы на рецензию Чернышевского, посвященную пьесе «Бедность — не порок», или на рассуждение Добролюбова о том, что верность правде жизни не есть еще достоинство, но необходимое условие художественного произведения, — достоинство же определяется широтой взгляда автора и т. п. Тем не менее Добролюбов верно расценил, что как раз этого-то «необходимого условия» слишком не хватает в современной литературе, что общество еще не сыто правдой, и всюду, где мог, находил и поддерживал эту правду — у Островского, Гончарова, Тургенева, какова бы ни была их сознательная тенденция. Это помогло ему сделать важное эстетическое открытие: правда — в природе искусства, искусство не может лгать, а как только солжет, становится не-искусством, ремеслом, фальшью. Оттого большой художник правдивым миром своих образов способен рассказать о жизни глубже и вернее, чем на то можно было рассчитывать, исходя из его теоретических понятий.

Щедрин не отказался от этих положений критики «Современника» и вопреки суждению М. Теплинского не «превзошел» их своим «учением о тенденциозности». Он понимал, что и верность правде, и сознательное мировоззрение равно важны для художника. Но иногда сами обстоятельства, состояние литературы и общества заставляют выдвинуть на передний план одну задачу, иногда — другую. Или, как объясняет рассказчик Феденьке Кротикову, негодующему на литературу, зачем она забивает мысль читателя будничными представлениями, а не обратится к предметам возвышенным: «Зачем? да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы для выражения этой задачи».

Возможность и необходимость обращения литературы к поискам положительных типов, в которых некогда потерпел такую неудачу Гоголь, Щедрин обосновывает «расширением арены правды, арены реализма». В статье «Напрасные опасения» он говорит, что служением правде проникнута вся «молодая литература». Таким образом, не надо понимать Щедрина так, будто кончилось время, когда от писателя потребна была правда жизни, и началось другое время, когда понадобился положительный герой и сознательная тенденция. Нет, именно победа реализма, признание правды жизни в качестве неперемennого условия искусства делает возможным появление нового героя, который лишь в этом случае будет неходячей тенденцией, а живым лицом.

Щедрин-критик не нуждается в том, чтобы его оправдывать или возвышать, принимая значение других деятелей революционной демократии. В немногочисленных его статьях и рецензиях все выражено сильно, ярко, резко, все связано с конкретными обстоятельствами живой литературной борьбы, но никогда — в ущерб истине. Выступая за положительные начала жизни, он не даст повода упрекнуть себя в ложной идеализации или примирении с действительностью, а критикуя натурализм, не позволит ударить за его счет по реализму.

Однако справедливо будет сказать, что в отношениях с живой литературой умная критика Щедрина не всегда была так счастлива, как «реальная критика» Добролюбова. Беллетристика «Отечественных записок», при отдельных крупных достижениях, не оказалась все же в таком ладу с критикой, как когда-то художественный раздел «Со-

временника». Литературные советы и прогнозы Щедрина не находили себе адекватного отзвука в литературе семидесятых годов. Это выразилось и в досадном несоответствии некоторых критических оценок и высказываний Щедрина. Так, он поддерживал за честную тенденцию Ожигину и Омурлевского, хотя и видел все их художественные недостатки, но резко критически отнесся к «Анне Карениной» Толстого, воздержавшись, правда, от публичной с ним полемики.

Вероятно, исследователю не надо было обходить вопроса о том, почему в оценке этих книг Щедрин оказался не прав перед судом времени, и тогда автор, отдавая должное замечательной критике Щедрина, не стал бы, возможно, унижать за ее счет «реальную критику» Добролюбова.

В чем Щедрин-критик оказался действительно неопровержим и чем он активно влиял на литературу — это своей борьбой за трезвый реализм и враждебным отношением ко всякой бессознательности, хаосу подробностей, натурализму. Поистине он уязвлял слепой натурализм, неосмысленное воспроизведение жизни с не меньшей силой и ядом, чем высокопарное идеальничанье ретроградных беллетристов.

Своей недолгой критической работой Щедрин оказал большое влияние на других критиков «Отечественных записок», прежде всего на Михайловского и Скабичевского. Лучшими своими статьями они обязаны тем основаниям, какие заложил Щедрин в отделе критики в первые годы существования журнала. Но в деятельности младших товарищей Щедрина сильнее сказывались слабые стороны социологии народничества, иллюзии, будто законам истории можно противопоставить субъективную волю личности.

Особенно проявилось это в деятельности Скабичевского. Желая похвалить его на современный манер, М. Теплинский говорит, что Скабичевский выступал «против натуралистической приземленности, за яркие, героические характеры в литературе», против «натуралистического бытописательства и мелкотемья». Едва заметный «пережим», осовременивание фразеологии делают Скабичевского как бы участником нынешних литературных споров, и так и ждешь увидеть двумя строками ниже слова «очернительство» и «лакировка».

Однако Скабичевский — не лучшая опора в нашем критическом наследии, и автор то и дело вынужден это оговаривать. Во многом Скабичевский оказался эпигоном революционных демократов, эпигоном Щедрина. А эпигоны опасны тем, что, хватаясь без разбора за положения, выдвинутые учителями, способны скомпрометировать самую верную мысль, доведя ее до абсурда. Скабичевский, скажем, с таким напором и яростью атаковал натурализм, что не заметил, как стал противником правдивого искусства вообще.

В своих «Беседах о русской словесности» Скабичевский писал: «...Искусство должно воспроизводить действительность не в том виде, как она есть сама по себе, а как она нам представляется». Он считал необходимым переместить искусство «с прежней почвы тщетной погони за верностью действительности на почву верности нашим представлениям».

Приведя эти слова, М. Теплинский правильно говорит об идеалистическом характере положений Скабичевского, о том, что отказ от критерия правды жизни стирал всякое различие между прогрессивной и реакционной литературой. «Но вина критика все же не так велика...» — спешит автор ему на выручку. Дело, оказывается, лишь в том, что Скабичевский воспринял «учение о реализме, созданное классиками революционно-демократической критики, как оправдание и обоснование натурализма...». Это всего-то!

Осуждая субъективно-идеалистические формулировки Скабичевского, М. Теплинский призывает не просмотреть за ними некое «рациональное зерно». «Зерно» это состоит в том, что действительность, по мнению Скабичевского, должна выступать в искусстве «отнюдь не в виде фотографической копии», но «в измененном, трансформированном виде».

Сколько раз эта ложная дилемма служила лазейкой для неправды в искусстве! Как будто художнику нельзя изобразить жизнь, оставшись верным ей, не «изменяя» и не «трансформируя» ее, но в то же время не скатываясь и к «фотографии»? Как будто искусство фатально обречено на эти две невыгодные возможности?

Впрочем, все это теоретические восклицания и вздохи, а права или неправота общих суждений критика лучше всего проверяется его отношением к литературной

практике. В чем именно, в каких произведениях искусства находит он полезную «трансформацию» жизни и какие отвергает, пользуясь клеймом «фотографизма»?

В своих воспоминаниях Горький передает слова Чехова о том, что за двадцать пять лет он не прочитал ни одного дельного отзыва о своих рассказах, и лишь Скабичевский произвел на него однажды впечатление, написавши, что он, Чехов, умрет в пьяном виде под забором.

Прославляя народническую беллетристику «с тенденцией», ни Михайловский, ни Скабичевский долго не могли простить Чехову его объективности, которая казалась им безыдейностью и равнодушием, его «натурализма» и «протоколизма». Насколько же шире и глубже оказался Щедрин, который уже на склоне лет так горячо приветствовал новый талант, прочтя чеховскую «Степь»!

Все это говорится не для того, чтобы хоть сколько-то принизить значение критики «Отечественных записок» — явления в своем роде замечательного, — но чтобы дать понятие о реальной сложности, о живых противоречиях, в каких развивалась деятельность демократического журнала. Можно было бы, вслед за М. Теплинским, подробнее рассказать о содержательных критических работах Михайловского, нашумевшей статье Протопопова, ярких обзорах Цебриковой. Да и у Скабичевского были свои удачи, о которых я не стал упоминать, считая более полезным поспорить с автором исследования там, где он ошибается.

«Отечественные записки», при всей их пестроте, были единым целым, были журналом с направлением. Каковы бы ни были ошибки и увлечения сотрудников журнала, руководимого Некрасовым и Щедриным, у них была одна цель, одно стремление — народные интересы, благо народа. Этой цельности облика журнала, определенности его «физиономии» немало способствовал литературный и личный авторитет Некрасова, а после его смерти — Щедрина. Сотрудники Щедрина по журналу хорошо знали его и верили ему, а он — при многих частных разногласиях — всегда чувствовал их товарищество. Потому такой бесстыдной ложью прозвучало правительственное сообщение 20 апреля 1884 года о закрытии журнала, где, учитывая огромный авторитет Щедрина, его изображали редактором. «не знавшим, что делается у него в журнале,

одиначкой, не связанным со своими сотрудниками».

В отличие от «Библиотеки для чтения», которая при шумном и краткосрочном своем успехе была все же частной антрепризой Барона Брамбеуса, сделавшего журнал аренной самовыявления, зеркальным отражением самого себя, «Отечественные записки» всей своей судьбой были связаны с широким общественным и литературным движением в России той поры.

Рассказывая о последних днях журнала, задушенного полицией и цензурой, М. Теплинский говорит о волне сочувствия к журналу, поднявшейся в демократических слоях общества, о мужественных и трогательных выражениях солидарности с ним, о чувстве большой потери, овладевшем многими читателями «Отечественных записок». Короче и лучше других сказал об этом

И. Ясинский: «С прекращением журнала погибала какая-то духовная родина...»

Но, как это обычно бывает, влияние «Отечественных записок» не исчезло без следа в день запрещения журнала. Память о нем еще долго сохранялась в передовой части русского общества, образуя ту духовную традицию, которая не могла быть прервана и следы которой мы обнаружим не столько даже в народническом «Русском богатстве», сколько в возникшей на рубеже нового столетия марксистской нелегальной и подцензурной печати. Напомним, что в 1912 году Ленин писал в редакцию «Правды»: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии».

Как еще мало и редко пользуемся мы этим добрым советом!



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Р. Мишин. Сердце «ничейного брата». — **Н. Реформатская.** Книга о книгах поэтов. — **А. Горбунов.** Хемингуэй — человек и писатель. — **Б. Шнайдер.** Современный эпос.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ф. Кедров. Книга об академике И. В. Курчатове. — **И. Карпенко.** НОТ вчера и сегодня. — **А. Кондратов.** Взята ли этрусская Бастилия? — **А. Гуревич.** Наследие византийской цивилизации.

Литература и искусство

СЕРДЦЕ «НИЧЕЙНОГО БРАТА»

Р. Грачев. Где твой дом. Рассказы. «Советский писатель». М.—Л. 1967. 123 стр.

В последние годы заметно прибавилось молодых прозаиков, первые же произведения которых сразу обратили на себя внимание, создали об их авторах мнение как о людях талантливых, обещающих. Мы узнали (назову хотя бы несколько имен) живущего в Вологде В. Белова, ростовчанина В. Семина, алтайца В. Шукшина, краснодарца В. Лихоносова, пермяка В. Астафьева, москвичей Ф. Горенштейна, А. Макарова, Ф. Искандера, Г. Семенова. И казалось несколько тревожным и странным, что в этой «географии» молодой прозы совсем или почти совсем не отражен рост молодых литературных сил Ленинграда: город великой литературной традиции долго представляли в этом плане лишь Виктор Конецкий и Глеб Горышин, которых уже и неловко как-то называть молодыми. Разумеется, в Ленинграде были и есть и другие прозаики, но, к сожалению, читатель их не знал. Теперь положение несколько изменилось. Стали появляться интересные рассказы Андрея Битова, вышла заслуживающая внимания книга Майи

Данини «Живые деньги» и других авторов. И вот сейчас — сборник рассказов «Где твой дом», первая книга Рида Грачева.

Книга небольшая, в ней всего восемь рассказов, причем неравноценных. Но рассказы сборника датированы, и видно, как год от года они становятся лучше, глубже, серьезнее.

Хочется начать с одной цитаты из маленького рассказа «Дом стоит на окраине» — она даст сразу представление и о манере письма Грачева, и о предмете внимания писателя: «В полуподвале живет дворничиха. Худенькая, немолодая, она кажется воплощением обиды и на самом деле обижена тем, что живет без мужа, что занимает полуподвал, что ей нужно кормить двоих детей. Она так остро чувствует свою обделенность, так неутомимо живет обидой, что и не улыбается никогда... Зимой она скальвает лед с крыльца, обижаясь на крыльцо и на лед, весной сжигает мусор и листья, неутомимо орудуя кочергой. Ее лопаты, совки и метлы жестоко блюдут чистоту, двигаясь в суетливом ритме досады».

Другие портреты этого маленького рассказа написаны столь же лаконично и выразительно, но я не случайно выбрал дворничиху, потому что мотивы, которые слышатся в этом отрывке, довольно характерны для Грачева: писатель внимательно всматривается в течение жизни таких вот простых людей, он ищет, как помочь им, остро наблюдает за тем, как человек защищается сам и какими средствами защищается. Дворничиха мало симпатична автору, но тем не менее мы испытываем сочувствие и жалость к ней, понимаем причины ее злой досады. А за табельщицу Пашу из рассказа «Частные дрова» Грачеву самому обидно: Паша не знает, что попросить, когда уходит на пенсию, и когда ей предлагают награду, все, что она могла придумать, это чтобы накрыли ей, сохранили от дождя и снега поленичку дров...

Или, например, продавщица Мария из одноименного рассказа, «из всех продавщиц самая толстая и старая». В обеденный перерыв она вдруг рассказывает грузчику Петровичу содержание прочитанной когда-то в детстве книжки «из графской жизни», где фигурируют коварная графиня Фанни, чахоточный писатель и т. п. Мария рассказывает и, чтобы понятней было Петровичу, поясняет рассказ примерами из своей жизни. И по нескольким фразам узнается изломанная ее судьба: вернувшийся с войны парализованным муж, так и не вернувшийся сын. «А она ему хоть бы слово в ответ написала... Как мой Боречка. Сначала писал, а потом нет и нет, нет и нет... И ни слуху ни духу, ни в мертвых, ни в живых... Сильный у меня Боречка был, спортсмен... Веселый. Поднимет меня, бывало, одной рукой. Теперь бы не поднял... Я писем ждала, ждала... В позапрошлом году написали: помер, пишут, ваш сын в Карельской республике от сердечной болезни...»

Грачев находит эпизод самый обыденный, почти пустяковый — обеденный перерыв, старая книжка, — но, может быть, тем сильнее действует на нас этот рассказ, что мы понимаем: Мария всегда помнит своего Боречку, непроходяща боль ее сердца. Будничный, незначительный эпизод раскрывает нам целую судьбу, заражает читателя жалостью и действенным состраданием к человеку.

Но еще более волнует Грачева тема несправедливо обиженного подростка, ребенка, маленького человека, которому защи-

щаться труднее всего. Рассказы «Одно лето», «Зуб болит», «Подозрение», «Ничей брат» посвящены именно этой теме, причем их объединяет не только идея, но и фон, обстановка, место действия, герои. Это рассказы о детдомовской жизни, о детдомовских ребятах, о тяжелых послевоенных годах. И надо сказать, что лучшие из них принадлежат и к лучшим в сборнике.

...Девочка Натка и мальчик Сенька убежали в лес, бегали там счастливые, по-детски влюбленные. Потом им попало от воспитательницы. Сеньку наказали, посадили в изолятор. «Сидит Сенька в углу на своих ногах и чувствует, как ему плохо живется на свете». А потом становится еще обиднее: мальчишки начинают дразнить Сеньку Наткой...

Судя по дате, рассказ этот ранний, давний, он несколько наивен, стилизован, но тем более интересно проследить — в связи с другим рассказом, о «ничейном брате», о котором речь впереди, — как действует на Сеньку обида, как он защищается, вернее, как не может защититься. Чтобы угодить мальчишкам, не осрамиться перед ними, он предает Натку, подходит и у всех на глазах дергает ее за косичку. И Натка, еще несколько минут назад счастливая, не может понять, что случилось, и плачет горько, и как знать, чем отзовется в жизни эта первая незаслуженная обида.

В другом рассказе — «Подозрение» — мальчишки крадут из учительской тетради и карандаши. Украл кто-то один, а подозревают всех. «Аннушка», директриса, вызывает Вальку Мартынова и učinяет ему долгий откровенный допрос («Смотри мне в глаза!»; «Почему ты покраснел?»; «Все будут знать, что ты не брал, а мне ты расскажешь все, как было»; «Ну, так не знаешь?.. Я расскажу тебе то, чего ты не хочешь рассказать сам». И так далее). Валька не крал тетрадей, но под конец этого допроса он не может не краснеть, не чувствовать себя преступником, подозрение становится невыносимым, и мальчишка не находит ничего лучшего, как побежать в магазин, купить там тетради и карандаши на свои деньги и принести их Аннушке. Причем денег не хватает, и ему приходится мошенничать. А когда Валька приносит эти тетради Аннушке, она называет его молодцом и радостно говорит, что не ошиблась в нем. «И поцеловала меня в лоб. Это показалось мне страшным. «И все остается

между нами,— сказала она.— Я верила в тебя!»

Аннушку Грачев рисует нам подробно и точно, во всем ее иезуитском облике. Вот Аннушка страдает, волнуется из-за кражи: «Анна Семеновна ходила взад и вперед по столовой и хрустела пальцами. Было слышно, как она хрустит пальцами, потому что все перестали есть и смотрели потихоньку, как она переживает. А переживала она здорово. Я подумал, что так можно все пальцы переломать». Аннушка считает свой провокационный метод дознания верным и педагогичным, она и других мальчишек допрашивала, подозревала, улещала точно так же: сознайся, мол, и никто ничего не узнает, а не сознаешься — хуже будет. И ей неважно, крал ты или не крал, потому что она подозревает всех. И мы понимаем, что эта «принципиальная» дама, случись что-то с самым чистым и честным из ее учеников, никогда бы не сказала: нет, за него я ручаюсь, жизнью клянусь... Подозрительность и шантаж на наших глазах калечат, растлевают ребячью душу. И если чистый мальчишка Валька краснеет и мучается от подозрения, то другие уже и не мучаются. «Ко мне подошел Шурка Озеров, и за ним Толька Яковлев. «Дурак, что признался,— сказал Шурка Озеров тихо.— Мы с Толькой не признались».— «А я и не признавался, я на свои купил».— «Ну и дурак!» — сказал Толька. «Она к нам так и этак приставала»,— сказал Шурка.— «А ты не краснел?» — спросил я Тольку. «Нет»,— сказал он. «А ты?» — спросил я Шурку. «И я нет»,— сказал Шурка. «А я краснел»,— сказал я. «Ну и дурак!» — сказал Шурка».

Рид Грачев пишет этот рассказ с болью и волнением, потому что он понимает, чем чревата такая обида и подозрение: уродством души, ожесточением, ненавистью к людям. Подросток Толька из рассказа «Зуб болит», едущий зайцем в поезде, рассказывает самодовольному, счастливому попутчику, демобилизованному парню, свою историю. Толька говорит о зубе, который его мучает: «И каждый раз, как сделают со мной какую несправедливость, так он у меня и заболит... Сразу обиду чувствует». Толька взъерошен, недоверчив, одинок, ему плохо, и он «черебрикает в душе все обиды, сколько запомнил». «Их уже накопилось так много, что уже не больно, кажется, полудчат новые...» Но зуб у Тольки все-таки

болит, чувство справедливости и гордость еще остались у него, и мы понимаем, что Толька мог бы отозваться на тепло и ласку, на все доброе. Но его попутчик «напряженно вглядывается в нескладную Толькину фигуру и никак не может понять, чем же недоволен этот парень. Ведь сам себе жизнь затрудняет!».

Да, конечно, как бы говорит нам автор, Толька затрудняет себе жизнь, но что делаешь, если уж он такой?

И Сенька, и Валька, и Толька — это мальчишки со сходной биографией, испытывающие на себе похожие то мелкие, вроде бы незначительные обиды, то тяжелое подозрение, то символическую зубную, а в сущности сердечную боль. Эти герои Грачева, как видим, по-разному защищаются, по-разному отстаивают свое достоинство, но в конце концов автор нас приводит к тому, к чему пришел мальчик, носящий прозвище Мясник (рассказ «Ничей брат»).

Маленький тощий Мясник — философ и поэт. Он мудрец, этот Мясник, у которого падают штаны, течет из носа, которого обижает всякий, кому не лень, и который мечтает о новенькой трешнице — ее давно уже ему должны, да не торопятся отдать. Кораблев должен отдать, Большой Корабль, брат Маленького Корабля. «Вот был бы я кораблевским братом», — думает Мясник. — Странно как: брат. Ничего такого особенного, просто брат, а ему дают деньги. Толька называется: брат. Большой Корабль играет со мной больше, чем с Маленьким, а деньги ему дает просто так. А мне он, может быть, совсем не отдаст, потому что я ничей не брат. Ничей брат. Как это понять: ничей брат? Это будет считаться, что я ничей брат специально, а всехный будто бы брат. Будто брат всех, надо правильно говорить!» И вот этот маленький философ придумывает, что он брат всем и всему вокруг — так ему легче. Это от тоски по братству, от трагического детского сиротского одиночества. «Ну, что, брат брюки,— обращается он к своим падающим штанам,— опять не держитесь?.. Вам нужен брат ремень...» Мясник идет к ребятам во двор. «Встав на углу, Мясник окинул взглядом освещенную стену барака и всех-всех-всех, кто играл вдоль этой стены. Близко играли девчонки, вдали — мальчишки. «Здравствуйте, братья и сестры! — подумал Мясник. — Если бы у меня была стипендия, я бы всем вам дал по три рубля...

Здравствуй, сестра болгарка Анька,— подумал Мясник, глядя, как она прыгает через веревочку, придерживая ладонями короткую юбку...» И Мясник идет по двору, всех любя и называя братьями и сестрами, хотя иные «братья и сестры» колотят его, смеются над ним, обманывают. Но они не могут сбить маленького Дон-Кихота с его мысли, которая ему самому кажется «интересной-интересной, приятной».

Когда дочитываешь этот последний рассказ сборника и возвращаешься потом к общему названию книги — «Где твой дом», то понимаешь, что писатель приводит своего героя через одиночество и обиду к мысли о доброте, о человеческом братстве, к общему человеческому дому, в котором человеку может быть трудно, тяжело, но не должно быть трагически одиноко, «пото-

му что надо быть чьим-нибудь братом», «всехным братом». У маленького, нелегко живущего человечка оказывается большое и доброе сердце, потому что он способен ощутить свою связь сразу со всеми людьми. И поняв однажды, что надо быть чьим-нибудь братом, он уже сумеет защитить это чувство, не отдать его на растерзание мелким обидам.

Еще раз хочется повторить, что в сборнике Грачева, пожалуй, самое сильное и запоминающееся — это общий, любимый автором образ детдомовского мальчишки, которому нелегко живется, но у которого (в отличие от Сеньки, предавшего Натку, или тех, кто не краснел) сердце остается добрым и открытым для любви и зубы болят от всякой несправедливости.

Р. МИШИН.



КНИГА О КНИГАХ ПОЭТОВ

А. н. Тарасенков. Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография. «Советский писатель». М. 1966. 486 стр.

О существовании богатейшей библиотеки русской поэзии двадцатого века, собранной известным советским критиком А. К. Тарасенковым, знали и знают многие. Но вряд ли кто представляет себе объем библиографических изысканий, произведенных Тарасенковым в этой области и составивших его уникальную по своей ценности картотеку книжной поэтической литературы за 1900—1955 годы.

Итогом этого многолетнего библиографического труда, оборванного преждевременной смертью автора, и явилась его посмертно изданная книга «Русские поэты XX века». Это та самая его «главная книга», о которой еще до выхода ее в свет рассказала М. Белкина в очерке, напечатанном под тем же названием в одиннадцатом номере журнала «Новый мир» за 1966 год. Несмотря на свой «неходовой» жанр — библиографический указатель,— книга вызвала широкий интерес и быстро исчезла с прилавков.

В указателе представлено в алфавитной последовательности свыше трех тысяч авторов с полной библиографией их произведений (оригинальных и переводных), вышедших отдельными изданиями. Здесь все крупнейшие поэты нашего века, поэты большие и малые, более известные и менее известные, писатели-прозаики, отдавшие дань

поэзии (В. Гиляровский, В. Катаев, А. Куприн, Ю. Олеша (Зубило), А. Ремизов, С. Сергеев-Ценский и другие), музыканты (А. Скрябин), а также множество тех, кто после выхода своей первой и единственной книжки стихов навсегда ушел с поэтической арены. Такими поэтами особенно богата была дореволюционная поэзия в лице эпигонов декадентской лирики — авторов сборников стихов с однообразно повторяющимися эстетскими названиями: «Тихие грезы», «Грезы теней», «Струны души», «Струны дрожащие», «Скорбные аккорды», «Аккорды любви» и т. д. и т. п.

Весь этот ассортимент уныло-изысканных названий исчезает из поэзии вместе с их авторами в первые же годы революции, и только как запоздалые отголоски их и курьезы изредка появляются сборники стихов вроде «Садов дофина» В. Королевича, «Эоловой арфы» И. Мадробурского.

Справедливо считая, что «в общем поэтическом хозяйстве страны должно быть учтено все, написанное стихом», А. Тарасенков собрал значительный материал из области «прикладной», утилитарной поэзии. Здесь и стихи о правилах правописания буквы «Ъ», и различные виды «воспитательной» поэзии для народа на темы религии, морали, быта, военно-исторических собы-

тий, с которыми выступали по заданию царского правительства и благотворительных обществ лица самых разнообразных профессий (иеромонах, ротмистр, солдат, крестьянин-самоучка, агроном и пр.); здесь и агитстихи советских лет, написанные для Санпросвета, Добролета, «Охраны материнства и младенчества» и многих других организаций.

В итоге бесстрастных библиографических описаний книг поэтов перед читателем разворачивается своеобразная летопись поэзии предреволюционной поры и послеоктябрьских лет. В названиях произведений, которыми она представлена, в их содержании, тематических и стилевых приметах отражен общий ход ее развития, особенности поэтической тематики, жанров, литературных направлений и группировок, характерных для того или другого исторического периода.

В выпрєнных, мистико-философских названиях произведений символистов, в предметных, ясных — акмеистов, в эпатирующих общественный вкус футуристических названиях отражена последовательная смена трех основных дореволюционных течений. По характерным особенностям названий мы узнаем поэтов Пролеткульта, произведения группы крестьянских поэтов, комсомольских и других литературных объединений двадцатых годов. Рядом бросается в глаза своими экстравагантными, подчеркнуто отрешенными от современности заглавиями группа поэтов-имажинистов, печатавших свои произведения под маркой издательства «Чихи-Пихи».

Очень жаль, что библиографический материал по каждому из поэтов расположен в указателе в алфавитной последовательности, так, как это было в рабочей картотеке А. Тарасенкова. Придерживаться этой системы при публикации библиографии мне не представляется целесообразным. Алфавит в отличие от хронологии лишает читателя возможности проследить по названиям произведений последовательный путь того или иного поэта. В отношении таких поэтов, как Блок, Брюсов, Маяковский и другие, начавших свою сложную литературную биографию еще до революции, это особенно

важно и интересно. В хронологическом показе произведений нуждаются и поэты, оказавшиеся после революции за рубежом, и даже такие, в общем, мало изменявшиеся поэты, как И. Северянин, который начал в 1904 году свой путь поэта с оды «К предстоящему выходу порт-артурской эскадры» и прочих стихов о русско-японской войне. В алфавитном потоке его произведений этот интересный факт теряется.

Хронологический принцип дал бы возможность наглядно показать удивительный расцвет в советские годы детской поэзии. Попутно заметим, что наиболее популярные детские стихи С. Маршака и К. Чуковского выдержали (только до 1955 года) более десятка отдельных изданий. «Мойдодыр» — сорок шесть! Из взрослых книг в этом с ними могут сравниться только две: «Василий Теркин» А. Твардовского — двадцать два издания и поэма «Двенадцать» А. Блока — девятнадцать изданий.

Какие-то упущения всегда возможны и в самой полной библиографии. Обидны, однако, некоторые недогляды, которых могло бы не быть и которые надо, видимо, отнести к редакторам книги. Спутаны два поэта — однофамильцы и тезки: Чичерин-конструктивист и Чичерин — известный литературовед, в прошлом автор сборника стихов «Крутой подъем» (1927). Книга эта приписана другому Чичерину, а ее настоящий автор не упоминается вовсе. А. Кудрейко и А. Кудрейко-Зеленяк фигурируют в именном указателе книги как два разных поэта. Одно и то же произведение названо в перечне книг С. Городецкого и И. М. Городецкого. Много непоследовательности в раскрытии псевдонимов. Требуется более тщательная редакция библиографического текста, освобождение его от опечаток в именах, к сожалению, не редких.

Ценнейший труд А. Тарасенкова по составлению библиографии русской поэзии XX века должен быть продолжен силами наших библиографов и литературоведов — и чем скорее, тем лучше. Нужда в таком указателе растет вместе с общим ростом интереса к поэзии и ее изучению.

Н. РЕФОРМАТСКАЯ.

ХЕМИНГУЭЙ — ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ

И. А. Кашкин. Хемингуэй. «Прометей». «Молодая гвардия». М. 1966. Стр. 72—170.
И. А. Кашкин. Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк. «Художественная литература». М. 1966. 296 стр.

«П риятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо» — так писал Хемингуэй своему русскому критику и переводчику Ивану Александровичу Кашкину более тридцати лет тому назад. И снова, через четыре года: «Дорогой Кашкин. Право, я очень рад Вашему письму. И особенно тому, что переводы моих вещей в СССР в руках того, кто писал на мои книги лучшие и наиболее поучительные для меня критические оценки из всех, какие я когда-либо читал, и кто, вероятно, знает о моих книгах больше, чем знаю я сам».

Для всех нас память о И. Кашкине неразрывно связана с именем Хемингуэя. Ведь И. Кашкин был первооткрывателем таланта и постоянным спутником «русского Хемингуэя». В начале тридцатых годов Кашкин перевел рассказы тогда еще неизвестного у нас молодого американца, о котором совсем недавно заговорили на его родине. С тех самых пор Кашкин постоянно вновь и вновь обращался к Хемингуэю. Он переводил его книги, составлял и редактировал сборники его произведений, писал о нем статьи.

Последние работы Кашкина, увидевшие свет уже после его смерти, тоже посвящены Хемингуэю. Эти две книги о писателе как бы подводят итог поискам и труду Кашкина — переводчика Хемингуэя, ученого-филолога и критика.

Писать биографию Хемингуэя трудно. Трудно не потому, что мы мало знаем о нем, а потому, что мы знаем слишком много. В Америке есть люди, никогда не читавшие книг Хемингуэя, но, пожалуй, нелегко будет найти человека, который бы не слышал о разнообразнейших приключениях «мистера Папы».

В середине двадцатых годов «великий Хем» «потерянного поколения» сразу стал частым гостем на страницах американских и европейских газет. Уже тогда у Хемингуэя имелось много сторонников, восхищавшихся его книгами, стремившихся подражать ему самому и его героям. Были у него и противники, даже такие могущественные, как Олдос Хаксли, которые обвиняли Хемингуэя в позерстве и сознательном

антиинтеллектуализме. С годами слава писателя росла. Рос и интерес к человеку, ищущему свой путь в жизни и искусстве. О Хемингуэе писали все: люди, хорошо его знавшие, и те, кто видел его день или два. И каждый из них считал своим долгом дать портрет Хемингуэя-человека.

Так постепенно сложилась легенда о Хемингуэе. С течением времени она видоизменялась, обогащалась новыми литературными анекдотами, все больше и больше угрожая скрыть под маской настоящее лицо писателя. Да и сам Хемингуэй отчасти тоже способствовал этому. Бравада юности, скрывающая легкую ранимость и душевную тонкость, осталась с ним до конца жизни. В последние годы «Папа», как любил называть себя стареющий Хемингуэй, нередко подыгрывал легковерным журналистам, давая пищу для новых сенсаций. Кто не читал о неустрашимом охотнике на крупную дичь, будто бы погибшем в африканских джунглях, и о боксере-любителе, который может, если надо, нокаутировать заведшего его критика, об отважном рыбакове в водах Гольфстрима и неутомимом глоб-троттере, побывавшем в разнообразнейших уголках мира.

Другой Хемингуэй, знакомый читателям по его книгам, в такие моменты отступал как бы на второй план. А между тем он-то и был фигурой гораздо более привлекательной и интересной. Застенчивый мальчик с Запада Америки, добровольцем пошедший на итальянский фронт. Молодой лейтенант, «тененте» Эрнесто, долгие недели лежавший в миланском госпитале после ранения. Скромный труженик, начинающий писатель, который жил в Париже во время «праздника» двадцатых годов, на всю жизнь оставшегося с ним. Автор «Фиесты» и «Прощай, оружие!» — книг, отразивших настроение целого поколения. Участник гражданской войны в Испании, продолжавший сражаться с фашистами на воде, в воздухе и на суше во время второй мировой войны. Один из лучших американских прозаиков нашего столетия, живущий отшельником на Кубе. Взыскательный мастер, в момент откровенности признавшийся: «Я переписывал конец романа «Прощай, оружие!», последнюю его

страницу, тридцать девять раз, до тех пор, пока я не был удовлетворен достигнутым — раз уж творчество стало твоим главным пороком и лучшим удовольствием, только смерть сможет оборвать его».

Конечно, писатель, видящий смысл жизни в своем искусстве, и Хемингуэй легенды — одно лицо. Наверное, один был бы невозможен без другого. Но все-таки второй только дополняет первого. И. Кашкин давно понял это. Еще в тридцатые годы он писал о противоречии между «Хемом великим» и «Хемом трагическим». Из огромного количества фактов биографа Хемингуэя привлекали только те, которые были непосредственно связаны с творчеством писателя. К сожалению, биографическая работа Кашкина осталась незавершенной. Рассказ о жизни Хемингуэя обрывается примерно на половине, где-то в середине тридцатых годов, в тот момент, когда он писал «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Снега Килиманджаро». Но насколько можно судить по первой части очерка, Кашкин стремился свести романтику легенды в жизни Хемингуэя к необходимому минимуму, оставив только ту «легендарную правду», которая помогла бы читателям полнее представить себе героев его книг и сами эти книги. Быть может, портрет Хемингуэя и потерял часть своих ярких тонов, известных по многочисленным мемуарам, вышедшим в США. Зато глубина перспективы осталась точной и неискаженной.

Хемингуэй — писатель, «жизнь которого была в творчестве, а творчество возникало из его собственной жизни», — читаем мы в книге Кашкина. Описывать непосредственно пережитое и увиденное стало для Хемингуэя одним из основных принципов его искусства. «Вымысла не существует. Все, что мы пишем, почерпнуто из пережитого нами, или мы наблюдаем, как это пережили другие», — сказал он известному автору биографических романов Ирвингу Стоуну.

Поэтому теория о том, что герои лучших книг Хемингуэя — в некотором роде двойники писателя, совсем не так уж неосновательна. Каждому из них было суждено испытать то же, что и их автору. Все они возникли из его жизни и имеют с ним много общих черт. Этим-то они и помогают любому биографу писателя. И по этой же самой причине биография Хемингуэя необходима для понимания его книг. Незавершенная работа И. Кашкина как раз и написана с та-

кой целью. Хемингуэй, однако, не был одним из тех прозаиков, которые во всех своих произведениях описывают только себя. Полностью отождествлять его с его героями никому и не придет в голову. Тонкое чутье художника помогало Хемингуэю найти и отобрать необходимое в его опыте, а фантазия порой до неузнаваемости преображала этот опыт, который писатель мог подолгу вынашивать в себе, по нескольку раз возвращаясь к нему в своих книгах.

«Есть вещи, которым нельзя выучиться быстро, и в таких случаях мы дорого платим за учение, потому что время — единственное наше достояние. Это самые простые вещи, и на познание их уходит вся жизнь, а потому те крупницы нового, которые каждый человек добывает из жизни, драгоценны, и это единственное наследство, которое остается после него. Каждая правдиво написанная книга — это вклад в общий фонд знаний», — писал Хемингуэй в книге «Смерть после полудня».

Этот интерес к новому, неизведанному, возможно, и придал книгам Хемингуэя своеобразный романтический колорит, о котором столь часто пишут у него на родине. Быть может, поэтому действие всех его романов и большинства рассказов вынесено за пределы Америки и многие из его героев — тореадоры, контрабандисты, африканские охотники, кубинские рыбаки и испанские крестьяне — так необычны для американской литературы. Эта романтическая окраска — неотъемлемая часть книг Хемингуэя, придающая им неповторимое своеобразие. И это совсем не делает их ни поверхностными, ни даже менее национально американскими. Пожалуй, как раз наоборот.

Репортерская закваска осталась у Хемингуэя до конца его дней. Он не только путешествовал по странам послевоенной Европы, охотился на львов в джунглях и ловил большую рыбу в океане, но и брал интервью у Муссолини, описывал выступления Ллойд Джорджа и Литвина, ездил во Флориду, где трагически погибли ветераны первой мировой войны, работал в осажденном франкистами Мадриде и сражался на фронтах обеих мировых войн. Быть на месте происшествия, самому увидеть и пережить его и в то же время постараться понять его смысл, сказать о нем свою, еще никем не открытую правду. Идя к достижению этой цели, Хемингуэй попадает в самую гущу важнейших событий эпохи, ста-

новится их непосредственным свидетелем и участником. А кто мог написать о них правднее, чем человек, сам все видевший и знавший?

Так наметились две противоположные и вместе с тем дополняющие друг друга стороны таланта писателя. Хемингуэй — газетчик, «художник в пути», стремящийся сам увидеть происходящее, постоянно ищущий новизны и интенсивности переживаемого, и Хемингуэй — философ, пытающийся осмыслить увиденное, достичь широты обобщений, пусть даже прямо не выраженных и остающихся частью подтекста. Именно это сочетание непосредственности наблюдений и широты их понимания и помогло Хемингуэю создать книги, отразившие жизнь и мироощущение целого поколения.

После смерти Хемингуэя прошло уже достаточно времени, и все второстепенное в его жизни и творчестве начало отходить в сторону и стираться из памяти. Новая правда, которую Хемингуэй стремился найти и выразить в своих книгах, утратила свою необычность и новизну. Она стала неотъемлемой частью нашего «общего фонда знаний», помогая людям старшего поколения полнее осознать прошлое, а молодежи — составить о нем свое представление. На этой своеобразной «историчности» Хемингуэя и делает Кашкин основной упор, подробно рассказывая биографию писателя.

Свою вторую книгу И. Кашкин назвал «Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк». Она не носит узкоспециального характера и написана в расчете на широкий круг читателей. И здесь постоянно присутствует Хемингуэй-человек. Но в центре внимания автора теперь уже Хемингуэй-писатель, его книги и их судьба. Маленькая по объему, скромно и со вкусом изданная монография Кашкина — как бы взгляд назад, в прошлое, попытка осмыслить все творчество писателя в целом, понять, как возникали его герои и посвященные им книги, как и почему менялся их автор и вместе с ним менялось его творчество.

Сам Хемингуэй незадолго до смерти говорил о своих книгах: «Время от времени я читаю их для бодрости духа, когда мне трудно писать, и тогда вспоминаю, что мне всегда было трудно, и иногда эти трудности бывали почти непреодолимы». И творческий путь писателя представляется Кашкину как неотступное движение вперед, как постоян-

ная борьба с трудностями, в которой талант Хемингуэя мужал и совершенствовался, становясь, по меткому выражению критика, «крепче на изломе».

«Кризис», «Выход из тупика», «Опять на отшибе» — уже сами эти названия глав книги подчеркивают сложность и неоднозначность развития писателя. Кашкину интересен не только Хемингуэй моментов его наивысшего творческого подъема, но и Хемингуэй периодов неудач и напрасных поисков, когда трудности казались «почти непреодолимыми». Как писатель находил «выход из тупика» и что приносили ему его победы? Кашкин не дает однозначных ответов на эти вопросы, пытается связать их с литературно-историческим образом эпохи, личной жизнью и особенностями дарования Хемингуэя. Эта попытка принять и оценить большой талант писателя со всеми его неровностями и противоречиями отличает монографию Кашкина от работ многих американских критиков, часто склонных или безоговорочно преклоняться перед книгами Хемингуэя, или сильно преуменьшать их значение. Кашкин не впадает ни в одну из этих крайностей. Тема роста, развития творчества писателя — главная для критика. Она связывает между собой разнообразные по характеру наблюдения Кашкина и придает всей работе законченность единого целого.

Заключительная глава монографии, посвященная анализу стиля Хемингуэя от ранней «немой» (сознательно невыразительной, намеренно бесстрастной) прозы вплоть до последних книг писателя, — лучшая в работе Кашкина. Здесь ему пришлось на помощь не только искусство исследователя, но и опыт переводчика, чутко откликавшегося на каждое слово Хемингуэя.

Подобно многим своим ровесникам, Хемингуэй прошел через юношеский период протеста, рвущий связи с прошлым. Старая правда «отцов» больше не имела для них смысла, и молодой Хемингуэй пытался заново открыть послевоенный мир, сказав о нем свое слово художника. Извечный конфликт поколений еще никогда так не обострялся в Америке. Для молодежи весь неустрашенный мир двадцатых годов «тонул в фарисействе». Возвышенные идеалы, внушаемые с детства, обесценивались, не выдержав испытаний военного времени, и внешне такая благополучная жизнь процветающей Америки только сильнее оттеня-

ла тоску и разочарованность «потерянного поколения».

Сам Хемингуэй очень точно выразил это настроение эпохи, сказав однажды: «Все наши слова потеряли смысл из-за небрежного обращения с ними». Вместе со словами потеряли смысл понятия и чувства, ими выражаемые. И вся жизнь в ее разнообразии казалась лишь бессмысленной, бесцельной суетой, пустым томлением духа. Поэтому открытие мира для Хемингуэя-художника было, как верно заметил известный американский критик Гарри Левин, прежде всего открытием простых фактов, возвращением смысла словам и чувствам. И уже на основе этого как бы подспудно вырос сложнейший хемингуэевский «айсберг» подтекста.

Непрекращающиеся поиски правды в искусстве — программное положение эстетики Хемингуэя — пронизывают собою и форму всех его книг. Простота и экономность ранней прозы писателя, ее поэтичность и чистота подчинены стремлению вернуть слову его первозданный, стертый временем смысл. За этим стоит точность изображения факта и действия. А за ними — попытка добиться максимальной правдивости описываемых чувств, их освобождения от ложноромантического пафоса и позы. И если стиль раннего Хемингуэя грешит «немотой» (в чем упрекали писателя его противники), то это тот род немоты, о котором наш поэт писал: «Да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста».

Взрослея, менялись герои Хемингуэя. Менялись темы его книг и сами книги. Менялся и стиль писателя. Трудно не согласиться с выводом И. Кашкина о том, что нет абстрактной, как бы извне данной формулы стиля Хемингуэя, «рубленого или пространно-

го, сдержанного или явно ироничного». Нет, потому что форма книг писателя менялась со временем и всегда была подчинена их художественным задачам. И в этом смысле стиль «Фиесты» не похож на стиль романа «По ком звонит колокол», а нервная пульсация ранней прозы так сильно отличается от эпического спокойствия «Старика и моря».

С годами подтекст, стоящий за описанием простых фактов и действий в книгах Хемингуэя, становился все шире и глубже. Жизнь все сильнее вторгалась в мир героев писателя. И постепенно в нашем восприятии Хемингуэя произошла интересная метаморфоза. Борец с ложноромантическим пафосом и позой, стремившийся к объективной правдивости искусства, оказался писателем, прославившим романтику больших чувств — дружбы, мужской солидарности, верной любви и наконец подвига во имя идеи. Героическая тема «непобежденного» (человека можно уничтожить, но нельзя победить) прошла через все творчество Хемингуэя, достигнув кульминации в повести «Старик и море», рассказавшей о мужестве несдавшегося рыбака Сантьяго. И без этой романтики больших чувств мы не могли бы, пожалуй, представить себе сейчас книги Хемингуэя.

В конце монографии Кашкин приводит известные слова Хемингуэя о том, что при чтении всех хороших книг возникает ощущение, будто все описанное в них случилось именно с вами. И для писателя нет ничего труднее, чем добиться этого. Нельзя не присоединиться к И. Кашкину, открывшему для нас талант Хемингуэя, и не сказать вместе с ним: «Это, действительно, трудно. Но Хемингуэю удалось стать именно таким писателем».

А. ГОРБУНОВ.



СОВРЕМЕННЫЙ ЭПОС

Я. Ивашкевич. *Хвала и слава. Роман в трех томах. Перевод с польского. Т. 1, 508 стр.; т. 2, 416 стр.; т. 3, 359 стр. «Прогресс». М. 1965.*

Советский читатель получил возможность познакомиться в полном переводе с одним из значительнейших произведений современной польской литературы — романом Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава».

Когда свыше десяти лет тому назад в Варшаве появился первый том широко

задуманного романа Ивашкевича, к тому же, как оказалось, законченный еще в 1949 году и в течение семи лет пролежавший в письменном столе автора, он сразу же вызвал значительный интерес и весьма обширную прессу. Но любопытно, что заголовки, замелькавшие на страницах различных пе-

риодических изданий, были схожими: «Об эпическом призвании Ярослава Ивашкевича», «Эпика, эпика...», «Эпос Ивашкевича» и т. д.

Это далеко не случайное совпадение.

Один из крупнейших писателей современной Польши — поэт, прозаик, драматург, эссеист Ивашкевич доселе был известен как художник, так сказать, «камерного» характера. За некоторым исключением он скорее тяготел к произведениям эмоционально-лирического склада, к небольшим формам (новелла, рассказ, очерк, небольшая повесть).

И вот этот писатель, да еще в годы бурных споров о романе, когда, как известно, не было недостатка в отрицании актуальности классических его форм, начинает издавать обширное эпическое произведение, к тому же на первый взгляд довольно традиционного типа, напоминающее хорошие старые образцы европейского романа. Для польской литературы тех лет появление подобного произведения было необычным. Широкие эпические полотна были тогда не в особой моде, преобладали, как правило, вещи небольшие. Критика могла их называть то нервными, беспокойными, то поверхностными и даже убогими, но они представлялись, во всяком случае, более современными.

Но так ли уж было необычно появление романа Ивашкевича? И в какой степени правомерно здесь было неоднократное обращение критиков к теням великих эпиков прошлого?

Эпичность последнего романа Ивашкевича несомненна. Истинно эпична прежде всего широта охвата материала. Роман включает в себя бурные события стремительного и беспокойного нашего века — первая мировая война, революция и гражданские битвы на Украине, буржуазная национальная Польша, ее распад, последняя война, сопротивление фашистскому нашествию, первые послевоенные годы.

Украинское село и польская деревня, Одесса и Варшава, Париж и Рим, Испания и Германия... Помещики, аристократы, финансисты, маклеры, крестьяне, актеры, певцы, музыканты, композиторы, художники, писатели, дипломаты, революционеры, заключенные, солдаты, офицеры, слуги, торговцы... Поляки, украинцы, русские, евреи, немцы, испанцы, французы... Девочкой вступает в роман одна из героинь его — Оля; на

последних страницах — это надломленная горем седая женщина, потерявшая всех своих детей. Дочь одесского дворника красавица девочка Ганя Вольская превращается со временем в солидную американскую миллионершу миссис Доус, а революционерка Ариадна Тарло — в парижского декоратора. Скромный варшавский кондитер Франтишек Голембек оказывается в Южной Америке...

Громадный, пестрый, многообразный и многоликий мир, десятки человеческих судеб, радости и горести, жизнь, борьба, смерть.

Эпичность романа, однако, не только, так сказать, «горизонтальная», лежащая на поверхности, но и внутренняя, она не только в разливе жизненного моря, но и в его глубинах, в самой философии книги.

Один из центральных персонажей романа, если вообще не главный, наиболее, кажется, любимый автором герой (а может, в какой-то мере и alter ego самого писателя) — Януш Мышинский после долгих скитаний и исканий приходит в конце первого тома к душевному успокоению в первоначальной простоте бытия. Что вся суeta мира перед первородной и неистребимой правдой обыкновенного человеческого бытия, перед извечной и неизменной человеческой радостью — земля, дом, семья? Завершают книгу говорящие сами за себя раздумья Януша о том, что «вся будущая жизнь представилась простой и обыкновенной: Коморов (хозяйство Мышинских. — Б. Ш.), жена, ребенок, быть может, стихи, выращивание цветов, фруктов».

Так же, по существу, заканчивается и вся эпопея. После таких трагических событий и судеб на последней странице романа мы опять оказываемся в хозяйстве Януша (теперь уже умершего), и опять на нас нисходит спокойствие среди чудесных цветов и растений, свидетельствующих о неистребимости и красоте жизни. Племянник Януша Алек Билинский, только что вернувшийся из Англии, увидел «длинный зеленый луг, ярко-изумрудный, с полоской голубой воды, убегающей к горизонту», ослепительно освещенный солнцем, пасущихся спокойно лошадей и «почувствовал, что жить сможет только здесь». Алек принимает в наследство хозяйство Януша, и ему суждено продолжить его дело.

Сам Ивашкевич, говоря о своем творчестве, счел необходимым выделить именно этот эпизод, придать финалу особое зна-

чение в утверждении светлого, оптимистического колорита своего мироощущения. «Януш Мышинский в «Хвале и славе», — говорил писатель, — тоже погибает, но его оранжевая остается. Я не люблю символов в искусстве, но это, несомненно, своеобразный символ».

Итак, какие бы смерчи ни бушевали над землей, жизнь не может остановиться. Приходят новые люди, новые поколения, они снова и снова возделывают эту многострадальную землю, они выращивают цветы, оставленные ушедшими, они сеют и сажают новые. Жизнь продолжается...

Эпическая простота и извечность этой мысли, лежащей в основе романа, посвященного столь сложным, столь тяжелым и трагическим годам, дает как бы исход трагизму и вместе с тем определяет и эпический характер самого повествования.

И, конечно же, это повествование связано с подлинно классической эпической традицией. В статьях, посвященных роману Ивашкевича, как уже говорилось, не было недостатка в аналогиях и сопоставлениях. В первую очередь назывался Лев Толстой: граф Януш Мышинский невольно вызывает в памяти не то князя Андрея Болконского, не то Пьера Безухова с их напряженной внутренней жизнью, упорными духовными исканиями, интеллектуализмом, благородством и чистотой, а глава «Квартет ре минор», скрупулезнейшим образом описывающая смерть композитора Эдгара Шиллера, напоминает «Смерть Ивана Ильича». Далее назывались Прус («Кукла») и Ромен Роллан («Жан-Кристоф»), Томас Манн («Доктор Фаустус») и даже Сартр (трилогия «Дорогами свободы»). Список этот можно и удлинить, потому что — при всей условности аналогий вообще, при возражениях, которые вызывают отдельные сопоставления, в частности, — все эти параллели в целом достаточно естественны, ибо перед нами действительно эпика, связанная с лучшими традициями мировой литературы.

Но главное, однако, не в установлении сходства, а в выяснении того, что же здесь характеризует эпос именно Ивашкевича. В этом смысле замечание польского критика Рышарда Матушевского о том, что «роман Ивашкевича не похож на образцы, созданные великими мастерами эпического жанра», и что Ивашкевич здесь вообще «не терпит ни одной из черт своей уже сложив-

шейся индивидуальности», выглядит существенно важным.

В чем же непохожесть и в чем эта индивидуальность ивашкевичского эпоса? И другое, не менее важное: в чем сегодняшний характер его?

Эпос Ивашкевича — это прежде всего эпос поэта, лирика и музыканта. Это, если можно так сказать, лирический эпос, лишенный эпического спокойствия, основательной детализированной описательности, плавности, связности, последовательности повествования.

Выше шла речь об охвате исторических событий, о войнах и революциях. Но сами эти события проходят как бы пунктиром и узнаются лишь отраженно — через судьбы героев.

Уже в первой главе романа вспыхивает мировая война — лето 1914 года. Но мы видим ее лишь косвенно, наблюдая ту железнодорожную сутолоку, в которую попал Спыхала, и через его ощущения воспринимаем случившееся. Вторая глава сразу же переносит действие на три года вперед — в осень 1917-го. Бушует гражданская война по украинским селам и городам. Но дана она только через разговоры, встречи, переживания Шиллеров, Мышинских, Билинских, Ройских, Тарло. А если автор иногда и прибегает к традиционным эпическим описаниям внешних событий, то это, как правило, краткие и весьма общие исторические справки в начале раздела, имеющие целью сообщить обстановку, наметить фон для изображения конкретных судеб и переживаний героев, которым и отдает главное свое внимание автор.

Такие ведущие герои романа, как Януш или композитор Эдгар Шиллер, разработаны с особенной психологической тщательностью. Оба персонажа далеки от непосредственного участия в событиях. Большую часть времени в романе Януш проводит в своем Коморове, отдаваясь внешне обычному ежедневному течению бытия. Его путь — это прежде всего путь внутренней эволюции, «долгий, тяжкий путь познания», или, как говорит о Януше Эдгар, «непрерывная внутренняя борьба».

Изображение изнутри в той или иной мере преобладает и в обрисовке других основных персонажей трилогии. Создание какой-то системы событий в их последовательной связи теряет у Ивашкевича то свое значение, которое оно имело в былые времена в

традиционной эпике. Художественная ткань его повествования не представляется цельной и единой. Автор пропускает целые периоды в судьбах своих главных героев, порой надолго оставляет их, вводит новых персонажей, затем и их оставляет, иногда даже и совсем не возвращается к ним. Те три с лишним десятилетия, которым посвящена книга, с их невиданными потрясениями и катаклизмами, все рваными и все меняющимися, вызывают потребность у писателя передать эту внутреннюю напряженность и средствами композиции. Отсюда у Ивашкевича стремление писать, условно говоря, «кадрами», связывая их по принципу монтажа...

Выше отмечалась уже близость Ивашкевича к Л. Толстому. Это подтверждают, в частности, и в чем-то толстовский характер основной эпической мысли, и тяготение к толстовской простоте, ясности, «обыкновенности» ее выражения.

Но вот что важно: корни этой мысли, ее основа — иные, далекие от Толстого. Я имею в виду тот трагизм мироощущения, который вообще свойствен вещам Ивашкевича, а здесь, в романе, бесспорно связан со временем, описываемым автором.

В романе много смертей: гибнут почти все основные герои, и среди них самые любимые — Януш, Эдгар, Анджей; много мыслей и рассуждений о смерти, подробнейших ее изображений. Откуда это все?

Вероятно, за этим стоит немало личных переживаний и впечатлений писателя. Но и объективно у этого трагизма есть своя историческая основа: невиданно жестокая и беспощадная последняя война, когда на карту буквально было поставлено существование Польши, судьба нации. А в наше время — опасность уничтожения всего человечества разрушительнейшими силами, открытыми наукой.

В этих обстоятельствах мысль о нестремимости жизни, о постоянно обновляющемся ее течении давала выход, вселяла веру в будущее и тот оптимизм, без которого невозможно и само творчество. Об этом свидетельствует, в частности, и характер решения темы смерти в «Хвале и славе». Это не страх, не отчаяние, не крик бессилия перед неизбежностью вечного небытия. Перед нами мысль умудренного жизнью человека, понимающего жизнь и смерть как диалектический процесс извечного обновления жизни, извечного ее движения.

Об этом думает умирающий композитор Эдгар Шиллер, вспоминая о второй части «Фауста» и понимая, что жизнь никогда не прекращается, ибо люди продолжают жить в том, что создано их творчеством, их трудом.

Именно эта фаустовская мысль приводит и мятущегося Януша, которому жизнь часто казалась бессмысленной, к осознанию необходимости творчества и борьбы как единственному смыслу человеческого бытия.

Эпическая мысль романа, при всем ее, казалось, не новом характере, выросла тем не менее на современной основе, теснейшим образом связана с борениями человека нашего времени, его борьбой за жизнь в сложнейших условиях века, исполненного грандиозных и трагических потрясений.

Эта тревожность времени отразилась в романе и в том, что в нем живет и пульсирует лирическая стихия, нарушая строгие представления об объективном течении эпоса.

При большом охвате исторических событий, «Хвала и слава» очень личная книга. Автобиографизм ее бесспорен. Достаточно хотя бы обратиться к украинско-одесским мотивам, проходящим, по существу, через все три тома. Каждый раз, когда они вспыхивают, страницы неизменно согревает мягкое тепло, автор-эпик как бы отступает и его место занимает Ивашкевич — поэт, лирик. С неизменным восхищением пишет он украинские пейзажи: безоблачное голубое небо, солнечное сияние над подольской равниной, чудесное весеннее утро и гладкие, будто из стекла, воды Буга, белое цветение ярко-зеленой черемухи и иссиня-зеленый луг... Его героям жаль покидать эти места. Эти воспоминания в последующем не угасают, они как-то обязывают героев. Теплая улыбка, «детская и далекая», возникает вдруг у Ариадны, Януша и Эдгара, когда в далеком Риме они увидели Петрушку, «совсем как в Одессе»...

Неизменно звучат «одесские ноты» в чудесных музыкальных сценах. То в какой-нибудь квартире у Эдгара «было что-то от зноя и пыли Одессы, от цокота лошадей полицмейстера Тарло и от разбивающегося о скалы моря. Потом море уже нигде и никогда так не разбивалось, превращаясь в пенистые косы, в игру квартал, в солнечный свет, как тогда на Среднем Фонтане». То на концерте Эльжбеты Шиллер в оккупированной Варшаве профессор Рыневич вспо-

минает с певицей далекие одесские времена и грустно вздыхает: «Нашей Одессы уже нет...»

Много личного вложено в раздумья и метания Януша Мышинского, глубоко личным, поэтическим колоритом окрашены страницы, посвященные музыке, что, конечно, естественно для автора книг о Бахе, Шопене и Шимановском.

И в этой особой «личности» романа есть также своя примета времени. Конечно, личный элемент всегда в той или иной степени присутствует в любом эпическом произведении. Без него в конце концов нет искусства. Но степень этой «личности» сейчас заметно возросла. Хорошо известное, скажем, вторжение публицистики в роман XX века отражает одну из сторон этого процесса.

Лиричность трилогии Ивашкевича от-

ражает, таким образом, и особенности автора, и особенности современных литературных тенденций вообще.

И это лишний раз убеждает, насколько порой бесплодными бывают споры о том, какой жанр более современен, какой лучше подходит для выражения нашей эпохи, нужен ли сейчас роман или не нужен роман и т. д. и т. п.

Ведь в конце концов сам по себе жанр мало еще что определяет. Без писателя он мертв. Только художник дает ему жизнь. Можно быть традиционалистом и консерватором в самом наисовременнейшем коротком рассказе. И быть сегодняшним, актуальным и злободневным в большом романе. Настоящий художник всегда современен.

Б. ШНАЙДЕР.

Рига.



Политика и наука

КНИГА ОБ АКАДЕМИКЕ И. В. КУРЧАТОВЕ

И. Н. Головин. И. В. Курчатов. Атомиздат. М. 1967. 109 стр.

В 1942 году Советское правительство уже располагало информацией о том, что в Германии и США в условиях особой секретности ведутся срочные работы по созданию нового сверхмощного оружия. В связи с этим возникла необходимость развертывания соответствующих работ у нас. На совещании в Москве при участии академиков А. Ф. Иоффе, В. И. Вернадского, В. Г. Хлопина и П. Л. Капицы возник вопрос: кто мог бы возглавить эти работы? А. Ф. Иоффе назвал наиболее, по его мнению, подходящую кандидатуру — Игоря Васильевича Курчатова.

Небольшая книга доктора физико-математических наук И. Н. Головина знакомит нас с биографией этого выдающегося ученого и организатора, столь счастливо выбранного для руководства невиданными по масштабам и государственной важности работами. Первоначально эти работы были зашифрованы под названием «урановая проблема».

В предисловии автор считает нужным отметить, что перед читателем не история развития науки об атоме в СССР, а только биография И. В. Курчатова. Кроме то-

го, автор ставит перед собой задачу «прежде всего изобразить Курчатова таким, каким не увидят историки, читая его научные труды или изучая архивные документы». А потому большая часть книги содержит личные впечатления Головина, который в течение шестнадцати лет был близким сотрудником и заместителем Курчатова. Но именно это и вынуждает автора подробно осветить грандиозную эпопею работ, завершившихся созданием ядерных реакторов, атомного оружия, первой атомной электростанции.

Впервые в нашей литературе появилось подробное описание того, как сделаны были у нас решающие шаги к овладению атомной энергией. Курчатов был душой всего дела, и творческий расцвет его жизни, самые счастливые годы в его биографии неотделимы от «атомной проблемы». Главы, посвященные этому периоду, написаны с глубоким знанием дела, и в них лучше всего вырисовывается талант и характер И. В. Курчатова.

Получив правительственное задание, Курчатов начинает с того, что собирает физиков и других специалистов, чтобы ускорен-

ными темпами провести необходимые исследования и теоретические подсчеты. К сожалению, те небольшие работы в этой области, которые были проведены у нас незадолго до второй мировой войны, были полностью прекращены после начала военных действий. Курчатову пришлось начинать все сначала, и он сумел в предельно короткий срок в трудных обстоятельствах создать все условия для успешной научной и опытной работы. Появились научные центры, реорганизованные впоследствии в широко известный ныне Институт атомной энергии Академии наук СССР имени И. В. Курчатова.

Автор кратко и в очень доступной форме знакомит читателя с сутью работ, которые предстояло выполнить ученым под руководством Курчатова. Впервые в нашей литературе названы ближайшие сотрудники Курчатова.

Очень интересны страницы, посвященные испытаниям оружия. Руководил ими Курчатов. Атомная бомба была испытана 23 сентября 1949 года в присутствии представителей Правительства и Верховного командования Советской Армии. Через четыре года — на рассвете 12 августа 1953 года — мощный термоядерный взрыв возвестил о полном успехе в создании водородной бомбы. Вот как описывает Головин испытание образца термоядерного оружия:

«На месте металлической башни, где была снаряжена водородная бомба, громадная воронка. Башня уничтожена вместе с бетонным основанием. Весь металл испарился. Почва вокруг превратилась в спекшуюся стекловидную массу, желтую, испещренную трещинами, покрытую оплавленными комками. Чем дальше от эпицентра, тем повреждений меньше, тем тоньше желтая оплавленная корка под гусеницами танков, еще дальше — обугленная земля и, наконец, сохранившаяся трава. И в этой траве изумленные зрители видят беспомощных птиц. Свет разбудил их, они взлетели, но излучение спалило им крылья...»

Первые жертвы разрушительного оружия, в силу необходимости созданного людьми...

Отсюда автор переходит к другой теме — к отношению Курчатова к войне, и в частности к атомному оружию. Вместе с Жолио-Кюри Курчатов неустанно доказывает необходимость запретить это оружие, усилить движение сторонников мира и всеми средствами содействовать укреплению

дружбы между народами. Он пишет: «Только дружба народов, их взаимное доверие открывают путь к прогрессу и общему благосостоянию».

И. В. Курчатов старается наладить международные связи ученых. Он посещает английский атомный центр Харуэлл, где с разрешения правительства впервые рассекречивает ведущиеся у нас работы по мирному использованию термоядерной энергии. У себя Курчатов принимает известного английского ученого в области ядерной физики Джона Кокрофта и других ученых из разных стран.

Еще в двадцатых годах, когда И. В. Курчатов был начинающим исследователем и одним из самых молодых сотрудников Ленинградского физико-технического института, академик А. Ф. Иоффе делал все, что мог, для осуществления широких международных контактов. Многих своих молодых сотрудников он без колебаний посылал в заграничные командировки, продолжавшиеся часто по нескольку лет. Так, П. Л. Капица, Ю. Б. Харитон, К. Д. Сиельников работали в Англии у Резерфорда, Я. И. Френкель совершенствовался у Макса Борна в Геттингенском университете, Л. Д. Ландау — у Нильса Бора в Копенгагене, Д. В. Скобельцын — у Мари Кюри в парижском институте радия. И. В. Курчатов, как и его учитель А. Ф. Иоффе, старался широко распространить обмен учеными и поставить его на прочные основы вне зависимости от случайностей и конъюнктурных условий. В связи с этим Головин приводит слова Курчатова из статьи, в которой подчеркнута большая роль Первой международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве в объединении ученых различных стран.

После завершения основных работ по «атомной проблеме», в которых участвовали специалисты очень многих профилей — физики, конструкторы, химики, геологи, металлурги, артиллеристы и т. д., — И. В. Курчатов решает создать специализированный, чисто физический научно-исследовательский институт.

Вот как он в беседе с сотрудниками, записанной Головиным, намечает задачи этого нового института:

«Главная задача нашего института — получение атомной энергии. Реакторы для

получения плутония мы научились делать. Здесь больше нет проблем. Теперь их пусть проектируют конструкторские бюро, а мы будем постепенно освобождаться от забот о них. Силовые реакторы для электростанций идут у Анатолия Петровича (академик А. П. Александров.— *Ф. К.*), Савелия Фейнберга (профессор С. М. Фейнберг.— *Ф. К.*) и других «ребят» успешно. Еще на много лет они займут важное место в нашем институте. По мере решения этих проблем мы будем передавать их конструкторам. У себя оставим лишь темы проблемные, передовые. Физика деления, физика легких атомных ядер? Это нам для энергетики нового ничего не даст. Но пусть украшают наш институт и мыслители. Грошев, Спивак, Певзнер (известные советские физики.— *Ф. К.*), мой брат Борух (профессор Б. В. Курчатов.— *Ф. К.*) сделают ценный вклад в физику классического атомного ядра. Пусть этот раздел мирно развивается. Многозарядные ионы и трансураны мы отправили в Дубну. Это очень хорошо. Там Флерову (член-корреспондент АН СССР Г. Н. Флеров.— *Ф. К.*) на международной арене работать легче. Линейный ускоритель протонов? Ему не место в нашем институте. Хорошо, что продали его Алиханову (академик А. И. Алиханов.— *Ф. К.*)! Циклотроны? Нечего их у нас проектировать! Это задачи прошлого. Теперь без нас, физиков, их успешно строят инженеры. Высокие энергии, мезоны — это инородное тело в нашем институте. Это дело Дубны, которой мы дали дорогу в жизнь, и не зря ведь выделили из своего института. Но нужно быть человечным. Старик Исай (академик И. К. Кикоин.— *Ф. К.*) заработал себе право тихо работать с мезонами. Кикоин? О! Как он работает! Больной, а любое дело решает блестяще! Ни у кого в институте так четко не поставлена работа, как у него. Его дела остаются важнейшими в институте. Будкер — блестящий Гее (академик Г. И. Будкер; Курчатов иногда называл его шутливо «господин директор», или, сокращенно, «геде» — *Ф. К.*) с новыми методами ускорения — едет в Новосибирск. Там ему будет хорошо».

В этом отрывке, как и в других записанных автором беседах, проявляется индивидуальная, присущая И. В. Курчатову простота обращения, на которую, однако, никто не обижался. В его шутливой речи часто узнавался стиль разговора комсомольцев двадцатых годов. Так, любимым выражением его было «физкультпривет», заменявшее ему обычное «здравствуйте» или «добрый вечер».

И. Н. Головин, рисуя образ академика И. В. Курчатова, показывает нам ученого с большим темпераментом, увлеченного почти до фанатизма своей работой — порученной ему миссией особой государственной важности. Когда требуется, он тверд и властен, даже суров. Не всем это нравится. В то же время Курчатов всегда заботится о своих сотрудниках, защищает их, не давая в обиду. Автор пишет: «Весь риск в исследованиях и разработках (Курчатов) брал на себя, и сотрудники не раз убеждались, что при неудачах он никогда не ставил их под удар». Эта черта всегда была свойственна И. В. Курчатову.

Книга о Курчатове написана несколько патетически. Многие страницы выражают горячее чувство восхищения автора героем атомной эпопеи.

Приведенные имена и краткие характеристики многих сотрудников Курчатова вызывают мысль о том, что в будущем некоторые из них, возможно, расскажут об «атомной проблеме», дополнив то, что упустил из виду И. Н. Головин.

Может быть, слишком пессимистично замечание автора о том, что «все меньше участников атомной эпопеи, у руководства которой стоял Курчатов, остается в живых. Часть ее истории поэтому навсегда стала нераскрытой тайной для человечества».

Хотелось бы надеяться, что появятся и другие книги, освещающие эти важные исторические события. Как и увлекательная книга И. Н. Головина, они, несомненно, будут для наших читателей хорошим подарком.

Ф. КЕДРОВ.

НОТ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

А. К. Гастев. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. «Экономика». М. 1966. 472 стр.

Случается, что подолгу не издаются и незаслуженно забываются художественные произведения, получившие поначалу и признание и успех. Бывает, важное научное открытие проходит мимо внимания современников и лишь через много лет, повторенное вновь, пробивает себе дорогу.

Но бывает и так, что спустя всего четверть века приходится с азав разрабатывать целую отрасль науки, ранее уже разрабатывавшуюся. Именно так произошло с творчеством Алексея Капитоновича Гастева, создавшего ЦИТ — Центральный институт труда. Это учреждение определяло все исследования в области организации производства и труда на протяжении первых двух десятилетий советской власти. Любая из статей сборника «Как надо работать» не только плод личного творчества А. К. Гастева, но и научное осмысление каждого этапа движения за наилучшую, обоснованную исследованиями и большим коллективным опытом организацию труда, отчет о сделанном и о перспективах работы возглавляемого им института.

Талант Алексея Гастева превращает эти отчеты в произведения подлинно публицистические. До сих пор они сохраняют свое значение и как практическое руководство, программа исследований для работающих в области научной организации труда (НОТ).

Подобное утверждение о книге, самые последние статьи которой написаны тридцать лет назад, — малоприятный «комплимент» для современной науки о труде. И поэтому справедливость его надо доказать. Это тем более необходимо, что стало традиционным мнение, будто разработки ЦИТа ориентированы на ручной труд и нынче могут быть использованы разве лишь некоторые его рекомендации по организации рабочего места.

Подобное мнение сложилось, видимо, потому, что вновь издавать А. Гастева начали лишь два-три года назад, и статьи, вошедшие в первые небольшие брошюры, были подобраны не совсем удачно. Познакомиться же основательно с научными работами А. К. Гастева не могли даже специалисты — книг его в библиотеках не было.

На конференциях, научных совещаниях, в газетных и журнальных статьях еще идет

спор о структуре учреждений, призванных осуществлять научную организацию труда, о том, кто должен возглавить движение за такую организацию в научных центрах и на предприятиях. А ведь еще в тридцатых годах ЦИТ имел четкую, отлично продуманную систему органов НОТ в каждой отрасли промышленности, на каждом предприятии. Десятки и сотни научных учреждений по единому плану (который координировал тот же ЦИТ) выполняли обширную программу исследований. При этом вся система была не только отлично организована, но и теоретически обоснована, построена на научных принципах.

Сегодня мы как о первом интересном опыте говорим о деятельности лабораторий по научной организации труда, работающих по заказам предприятий. Между тем целой системой таких учреждений, созданных ЦИТом, накоплен богатейший опыт хозяйственной деятельности.

Только в самое последнее время предприятия — инициаторы движения за научную организацию труда приходят к идее о необходимости разработки и внедрения комплексных планов НОТ, охватывающих все производство. А еще в 1921 году Гастев писал: «Переход работы со станка на станок, заводской транспорт, как всякое механическое движение на заводе, предстает перед техническими руководителями как величина, подлежащая учету и изучению. План цехов, распланировка станков и всех рабочих мест, генеральный и будничный транспорт точно так же регламентируется, автоматизируется, нормализуется, изучается в пространстве и времени и постепенно превращается в тонко рассчитанную машину управления предприятием, машину управления трудом. Так возникает система научного управления предприятиями».

Это сказано в самом начале движения за научную организацию труда, при определении задач ЦИТа, а в 1937 году Гастев выступает со статьей «Проектирование поточного производства» — кратко изложенной методикой и обоснованием организации в условиях самого прогрессивного и для наших дней способа производства.

С первых дней существования ЦИТа исследования в области организации труда ве-

лись масштабно, систематически, и притом в комплексе.

В этих исследованиях нашли свое точное место и медицина, и физиология, и психология, и биомеханика, и социология, и технология, и педагогика.

После реформы, принятой сентябрьским Пленумом ЦК КПСС, мы начали пристально изучать проблему сочетания экономики, материальных стимулов и организации производства и труда. Тем интереснее взглянуть, как рассматривал эту проблему Гастев в том же 1921 году, в первой программе ЦИТа.

«Вопрос об экономических стимулах труда стоит перед нами неотступно,— писал он в статье «Наши задачи».— В действующей системе заработной платы (в том числе и системе премий), несмотря на всю уродливость ее применения, взят курс на производственную энергию работника, энергию индивидуальную. Если мы поднимем вопрос о применении этой энергии за пределами площади станка, которую обслуживает рабочий, то система поощрений развертывается до исключительных форм поощрения таланта, организаторских способностей, хозяйственной складки работника. Здесь практикуемые оплаты явно недостаточны и жизнь требует постановки уже более широких проблем».

Это вполне современная постановка проблемы. И ведь она во многом получила свое разрешение в последующих работах Гастева и ЦИТа. Нелепым кажется тому, кто читает сборник, укоренившееся мнение об ориентации Гастева на ручной труд— вся книга пронизана идеей «машинизма»: машинное производство и особенно поток, конвейер, тщательно исследуются с момента их зарождения и до самого широкого применения в американской промышленности. Более того, даже самое обыкновенное рабочее место Гастев учил представлять как сложный производственный организм.

Нельзя не сказать об одной удивительной особенности книги. Составлена она из ста-

тей, напечатанных в разное время в различных газетах и журналах. Но, расположенные в строго хронологическом порядке, они воспринимаются как единое, неразрывное целое. Создается впечатление, словно в самом начале творческого пути автор построил свою работу строго по НОТу, на долгие годы вперед определив программу исследований и систему их изложения.

И еще одно. Сейчас все чаще и чаще приходится слышать мнение: ни о каком НОТе нельзя говорить на старых предприятиях, где теснота, неприспособленность помещений, изношенное оборудование и т. п. не дают возможности создать условия, соответствующие современным требованиям к культуре и эстетике труда.

Да, конечно, лучше и, пожалуй, выгоднее еще на стадии конструирования закладывать основы научной организации труда на будущих предприятиях. А что же делать на сотнях и тысячах предприятий, где будет работать, возможно, еще не одно поколение? Послушаем А. Гастева, ведь такие дискуссии были и в его время.

«Многие думают, что научную организацию труда можно вводить только при очень хорошем оборудовании. На самом деле это неверно. Научную организацию труда можно ввести на очень совершенном заводе, в котором будут машины-автоматы, но можно ввести и в любом шалаше, в любом овраге».

Надо запомнить, что главное качество, которое требуется от работника по научной организации труда,— это крайняя бережливость, бережливость материала и бережливость человеческой энергии. А ведь такая бережливость может быть проведена где угодно».

Алексей Капитонович Гастев понимал научную организацию труда как «постоянное исследование» и «рационализацию» любой выполняемой работы. Думается, и сегодня мы можем и должны принять на вооружение очень многое из его рекомендаций.

И. КАРПЕНКО.

ВЗЯТА ЛИ ЭТРУССКАЯ БАСТИЛИЯ?

З. М а й а н и. Этруски начинают говорить. «Наука». М. 1966. 336 стр.

Интерес к этрускам, народу, населявшему Италию в первом тысячелетии до нашей эры, возник еще во времена правления римских императоров. Но проблема происхождения этрусков и родства их языков с каким-либо из известных языков мира — живым или «вымершим» — по-прежнему остается загадкой, решить которую предстоит современной науке.

Римляне были «учителями Западной Европы». Этруски — «учителями римлян», то есть «учителями учителей». Этруские архитекторы создали «римский» тип жилого здания, они научили римлян искусству планирования городов и строительству водопроводов; знаменитая Капитолийская волчица, символ Рима, — этрусского происхождения; по всей видимости, и сам Вечный город первоначально был поселением этрусков. Перечень «римских достижений», имеющих этрусское происхождение, можно было бы продолжать очень долго. Но ограничимся констатацией того, что этрусская цивилизация является колыбелью римской цивилизации, которая в свою очередь является колыбелью западноевропейской цивилизации.

Но — ирония судьбы — об этрусках мы знаем гораздо меньше, чем о многих других народах, живших на много десятков веков ранее, чем этруски, и на много тысяч километров дальше от Западной Европы. И по сей день открывают итальянские археологи великолепные фрески, статуи и вазы, гробницы и некрополи и даже целые города этрусков. И по сей день этот удивительный и трудолюбивый народ остается загадкой для современной науки.

Самое верное свидетельство о жизни народа — памятники письменности, которые он оставил. До нашего времени дошло около десяти тысяч этрусских надписей — на саркофагах, стенах гробниц, вазах, посуде, статуэтках, зеркалах, каменных плитах, свинцовых таблицах. Самые короткие из них содержат всего-навсего одно слово; самый длинный этрусский текст, хранящийся ныне в Загребском музее в Югославии, — около полутора тысяч слов. Это целая книга, написанная на льняном полотне (обнаружена она была не в Италии, а в Египте).

Этруски писали буквами, и здесь они были «учителями учителей», ибо современный

латинский алфавит, которым пользуется ныне население всех частей света, восходит к алфавиту этрусков. Поэтому ученым не стоило большого труда прочитать этрусские тексты. Но как понять их? Почти во все языки цивилизованного мира вошли этрусские слова «цистерна», «литера», «таверна», «персона», «церемония». И все же, несмотря на несколько веков исследований, этрусский язык и по сей день остается загадкой для современной науки.

Какие только языки не использовались исследователями для дешифровки этрусского языка! Древнееврейский, латинский, греческий, кельтский, санскрит, многочисленные языки Кавказа, финский, языки жителей Южной Индии — дравидов, языки индейцев Америки, баскский, шумерский, наконец русский — все языки привлекались учеными различных стран мира в надежде, что с их помощью удастся найти ключ к этрусской тайне.

«Были тщетно испробованы почти все языки земного шара от финского до коптского и от баскского до японского», — подвел итог этим поискам французский этрусколог М. Ренар. А его коллега и соотечественник А. Р. Блок оценил их следующим образом: «Все попытки проникнуть в этрусский язык при помощи какого-либо известного языка до сих пор бесславно проваливались».

И все-таки нельзя сказать, что наши знания об этрусском равны или близки к нулю. Мы с достоверностью знаем значение более полутораста этрусских слов и отдельные грамматические формы этрусского языка. Удалось перевести краткие надгробные, посвятельные и некоторые другие надписи. В обширных текстах расшифрованы отдельные слова и грамматические формы, иногда словосочетания вплоть до целых частей предложений. Мы имеем общее представление о характере и предназначении длинных текстов («Загребская пелена», например, является этрусским религиозным календарем). Все эти сведения удалось в основном получить благодаря так называемому «комбинаторному» методу исследования, основанному на изучении структуры самих текстов (при этом принимают во внимание обстановка, в которой они были обнаружены, стандартные фразы, ко-

торые имеются на аналогичных памятниках, язык которых известен, например, эпитафии, посвятельные, дарственные надписи и т. п.).

Естественно, что возможности «комбинаторного» метода ограничены: за несколько веков изучения текстов не удалось установить значения даже двух сотен этрусских слов! Значение же оставшихся нескольких тысяч неизвестно. Если бы удалось найти «язык-ключ», язык, родственней этрусскому, то расшифровка этого загадочного языка пошла бы вперед семимильными шагами. Но, как мы уже говорили, все попытки отыскать такой «ключ» оказались безуспешными... Значит ли это, что язык этрусов является Иваном, не помнящим родства? Или, может быть, все-таки у этрусского языка есть родственники?

«Этруски начинают говорить» — так называется книга французского исследователя З. Майани, которую перевело на русский язык и выпустило в 1966 году в нашей стране издательство «Наука». В ней Майани в увлекательной форме рассказал о своих изысканиях в области этрусского языка, о долгих и тщетных поисках «языка-ключа» и поведал о том, что ему наконец-то удалось найти этот ключ — им является албанский язык!

О родстве этрусского языка с албанским этрускологи говорили за много десятилетий до Майани. Более столетия назад Ган, немецкий этнограф и лингвист, бывший консулом Австро-Венгерской империи в Восточной Греции, выпустил объемистый труд об обычаях, нравах, религии и языке албанского народа. Ган предположил, что албанцы являются ближайшими родственниками исчезнувшего народа — этрусов. Этрусков называли «тусками», а жители юга Албании называют себя «тосками»; столица Албании (город Тирана) происходила, по мнению Гана, от другого названия этрусов — «тиррены».

Гипотезу Гана поддержал итальянский лингвист Асколи, который в 1877 году писал: «Если кто-нибудь попытался бы расшифровать с помощью албанского языка таинственнейшие надписи этрусов, нельзя было бы утверждать, что он исходит из посылок, менее основательных, чем те, которые были избраны многими признанными учеными». Ровно через десять лет после этих слов Асколи его соотечественник Моратти попытался связать этрусское слово

«рил», переводя его как «возраст», с албанским корнем «рри», означющим «расти». Еще через два года, в 1889 году, Шнейдер выступил с утверждением, что этрусский язык можно расшифровать с помощью древнего албанского языка, однако его попытки добиться конкретных результатов к успеху не привели.

В 1912 году в столице Греции, в Афинах, вышел толстый том, посвященный расшифровке этрусского языка с помощью албанского. Его автором был Томопуло. Прошло несколько лет, и выдающийся итальянский этрусколог Дж. Буонамичи подытожил все попытки применить «албанский ключ» к решению загадки этрусского языка.

Буонамичи показал, что прямое сопоставление албанских и этрусских слов неправомерно. Однако, по его мнению, в языке этрусов, как и в албанском языке, имеется много элементов сходства. Объяснить это сходство можно двояко — либо оно является результатом древнего родства языков, либо же и албанский и этрусский языки «наслоились» на какой-то древнейший язык жителей Балкан и Италии, на котором там говорили до появления албанцев и этрусов.

Албанский язык является «материей, очень полезной для сопоставления с этрусским», — таков был осторожный и дипломатичный вывод заслуженного этрусколога. Действительно, албанский язык, по всей вероятности, является потомком (и притом единственным из «оставшихся в живых») древнего иллирийского языка, на котором (или на которых, потому что иллирийских языков могло быть много) говорило население Балкан, Центральной Европы и, возможно, древние жители Апеннинского полуострова. Многие элементы этого иллирийского языка могут быть и в этрусском языке; не исключено, что этрусский вообще является одним из иллирийских языков.

Значит, чтобы попытаться открыть этрусскую загадку «албанским ключом», нельзя прямо сопоставлять албанские и этрусские слова: сначала необходимо реконструировать «иллирийскую основу» в албанском, а только затем сравнивать полученные корни и грамматические формы с корнями и грамматикой этрусского языка. Только тогда мы можем делать выводы, обладающие достаточной убедительностью. Но... к сожалению, такой реконструкции никто из этрускологов

не проводил. Не провел ее и автор книги «Этрусски начинают говорить» З. Майани.

Вместо того чтобы сопоставлять язык этрусков с древним иллирийским языком, Майани — с весьма большой изобретательностью и остроумием — сделал попытку объяснить все этрусские слова с помощью слов албанских. Итогом этих сопоставлений явился «Этрусско-албанский словарь», содержащий около трехсот слов. Кажется бы, такое число слов (при скудости дошедшей до нас этрусской лексики) говорит о том, что албанский язык действительно является ключом к этрусскому, но — увы! Дело в том, что благодаря многолетним усилиям этрускологов, как уже сказано, удалось достаточно достоверно установить значение около полутораста слов этрусского языка. А в словарик Майани из числа этих «беспорных» слов вошло около десятка. Остальные же «беспорные» слова туда не попали. Почему? Да потому, что здесь не нашлось албанских параллелей. Такой порочный «метод умолчания» характерен для очень многих энтузиастов дешифровки, пытающихся во что бы то ни стало найти неизвестному языку или письму параллель в каком-либо известном языке или письме. К сожалению, его не избежал и Майани.

Порой Майани допускает совершенно непонятные натяжки, например, считая слова «винум», «ен» и «ин» формами одного и того же слова (!). Столь же неудачны его экскурсы в область индоевропейского языкознания: например, он трактует этрусское слово «спура» как «город» и сближает его со славянскими словами «сбор», «соброр», в то время как уже давно доказано происхождение этих слов из индоевропейского корня «bhez» (естественно, не имеющего никакого отношения к этрусскому слову «спура»).

Достоинство книги Майани — в живости и увлекательности изложения; читатель как бы вместе с автором открывает «албанским ключом» тайну этрусского языка. Но тот же читатель, если он внимателен, заметит, что зачастую Майани вместо доказательств прибегает к различным уловкам — «отшучивается», а не убеждает. Например, в одном из случаев он пишет: «Начальное *p* не исчезает в этом албанском слове... но, по всей видимости, оно исчезало в этрусском языке», ибо этрусски, «недурные едоки, так часто употребляли это слово, что съели его первую букву!». Подобные доказательства, весьма частые в книге Майани, мягко говоря, далеки от научной строгости.

«Этрусская Бастилия взята. Но напомним, что взятие Бастилии было лишь первым шагом на пути установления нового порядка» — так оценивает Майани результат своих исследований. Но, увы, это еще не так. Ворота этрусской Бастилии по-прежнему закрыты. Майани предпринял еще одну — какую уж по счету за многие века этрускологии! — героическую попытку штурма. И попытка эта, несмотря на оптимизм автора, кончилась неудачей.

По всей видимости, взять «с налета» этрусскую крепость не удастся никому. Необходимо долгая, планомерная, систематическая осада с привлечением всей современной методологии, тем более что в последние годы исследователи получили мощное «стенбитное орудие» — электронные вычислительные машины, которые с успехом начали применяться в дешифровке древних письмен. Только такой подход может дать реальные успехи — и стены этрусской Бастилии наконец-то падут.

А. КОНДРАТОВ.



НАСЛЕДИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

История Византии. В трех томах. Том I. «Наука». М. 1967. 523 стр.

С красочной суперобложки первого тома «Истории Византии» смотрит императрица Феодора. Дочь простого смотрителя зверинца, танцовщица и проститутка, она стала супругой величайшего из византийских императоров Юстиниана. Феодора активно вмешивалась в управление огромной империей, благодаря ее незаурядной си-

ле воли заколебавшийся было Юстиниан остался в Константинополе в момент народного восстания 532 года и сумел потопить его в крови. Энергичная, властолюбивая и жестокая государыня — такой ее рисуют современники. Но на сохранившейся в Равенне стенной мозаичной картине, созданной при ее жизни, мы видим кроткую красивую

женщину. Усыпанная драгоценными камнями диадема увеличивает тонкое аскетическое лицо. Взгляд больших темных глаз устремлен не на окружающих, а вдаль — за пределы материального мира, к тем высшим силам, с которыми непосредственно соотнесены особы императора и его супруги. Золотое сияние окружает голову императрицы. Она — земное воплощение святости, сакральной природы государственной власти. Художник явно не ставил перед собой цели передать индивидуальный облик живой женщины — ему нужно было создать икону, обобщенный тип носительницы власти неземного происхождения. И нужно признать — задачу эту мастер выполнил блестяще. Фигура Феодоры и фигуры членов ее пышной свиты (мозаика полностью воспроизведена в книге на странице 223) удлинены, ниспадающие до земли парадные одежды не просто скрывают тела, их под ними вообще не чувствуется, и все внимание зрителей невольно приковывается к лицам, очень похожим одно на другое, несущим общее выражение святости, благочестия и величественного спокойствия. Фигуры неподвижны и монументальны. Между собой они непосредственно не связаны, как не связаны они и с условным фоном, нет впечатления, что они прочно стоят на земле. Но тем сильнее должен был ощущать средневековый зритель, к которому обращены эти фигуры, свою духовную связь с ними. Мастер говорил со зрителями на единственно им понятном языке. Это язык религиозных образов, являвшихся одновременно и художественными символами. Портрет Феодоры вводит нас в самую суть византийской цивилизации, в круг основных вопросов внутренней жизни человека этой эпохи. Каков был мир идей и образов средневекового человека? Как он воспринимал действительность? Каким образом соотносились индивид и общество и, следовательно, что представляла собой человеческая личность в этом обществе? Я полагаю, что именно эти сюжеты в первую очередь представляют интерес для современного читателя истории Византии. Но можно ли получить ответ на эти вопросы? Ведь речь идет о цивилизации, в высшей степени отличной от той, к которой мы сами принадлежим. Да, ответ возможен, но при соблюдении по меньшей мере двух условий. Первое: необходимо отрешиться от все еще бытующего мнения, что человек и его созна-

ние всегда и всюду были одинаковы и подобны нам и нашим формам отношения к миру.

Второе: при изучении других цивилизаций нужно тщательно избегать привнесения субъективных оценок в осмысление их достижений и не мерить их современными мерками, исходя из теперешних критериев красоты и добра. Многие из культуры других народов, живших к тому же в далекие эпохи, покажется нам чуждым, непонятным, может вообще ничего не сказать современному вкусу и эстетическому или моральному чувству. Но не будем на этом основании выносить свой приговор. Ибо если мы хотим понять другую цивилизацию, то важна не наша реакция на памятники культуры прошлого, а установление того, как воспринимали их люди, принадлежавшие к этой цивилизации. У них были свои критерии оценки, нередко далекие от современных и даже противоположные им. Цивилизации несопоставимы по их ценности. Если иному нашему современнику легче получить наслаждение от созерцания эллинской скульптуры, чем византийской иконы (а кое-кому, возможно, напротив, средневековое искусство скажет больше, чем античное), то причина не в качественной неравноправности этих двух цивилизаций, а в тех связях, которые существуют между определенными сторонами культуры нового времени и античной культурой, и в отсутствии столь же прямых связей нашей культуры с византийской.

Первый том «Истории Византии» охватывает начальный период византийской истории, с IV по VII век, — эпоху, переходную от античности к средневековью, эпоху краха древней цивилизации греко-римского мира и рождения средневековой цивилизации, формировавшейся в Византии в огромной мере из элементов античной культуры, но качественно измененных и вступивших в новые сочетания. Перед авторами стояла нелегкая задача — показать постепенную смену двух цивилизаций и выработать по отношению к обеим верную объективную оценку. Трудность состояла прежде всего в том, что «в тени» уходящей культуры античности нарождающаяся, но еще не окрепшая византийская культура могла показаться незначительной и «провинциальной». Кроме того, доминирующие черты средневековой культуры сложились под воздействием христианства, а научной, опирающейся на

строгий историзм оценки роли христианства в истории культуры средних веков наша наука, к сожалению, еще не выработала. Следы этого можно обнаружить в некоторых сравнительных оценках культуры античности и Византии, встречающихся в книге: «неувядаемое очарование» античного искусства — и «несколько сумрачное, хотя по своему также прекрасное» византийское искусство; «обаяние языческой культуры» — и «мертвящее дыхание» христианства. Эти противопоставления не безукоризненны с точки зрения научной объективности и историзма, они противоречат тому обильному конкретному материалу, который приведен далее в главах по византийской литературе, изобразительному искусству, философии. Не нужно забывать: христианство в тот период не навязывалось насильно народу — оно сделалось единственно приемлемой и возможной, общераспространенной формой мировоззрения. Церковь и государство укрепляли единообразие веры, подчиняли христиан официальной догматике, но вряд ли можно согласиться с утверждением, что начиная с IV века христианство «из религии угнетенных стало религией угнетателей», вернее было сказать, что оно стало религией всего общества, объективно использовавшейся в классовых интересах угнетателей.

Точно так же вряд ли можно ограничивать себя одной лишь констатацией того, что в некоторых отраслях знания, например в космографии, средневековье сделало шаг назад по сравнению с античностью. Фантастическая картина мира, рисуемая Косьмой Индикопловом, интересна тем, что в ней рождающееся новое — типичное для средневековья — сознание смешивало воедино географические сведения и библейские мотивы, насыщая положительное знание морально-символическим содержанием: пути земные как бы сливались с путями к богу, ибо в сознании византийца представления о поверхности земли по своей значимости не шли ни в какое сравнение со знаниями о спасении души; «Христианская топография», совершенно неудовлетворительная с точки зрения античной или современной науки, вполне удовлетворяла глубокую потребность тогдашнего человека в познании «божественного космоса».

Более убедительное решение проблемы своеобразия византийской культуры находим мы в последних разделах тома. Осо-

бенно хотелось бы отметить главу о византийской литературе. В противоположность традиционному мнению о единообразии и эпигонском характере литературного творчества в Византии эта глава выдвигает убедительную картину многопланового и не сводимого к единому канону развития ранней византийской прозы и поэзии. Это развитие еще идет в русле классической традиции. Авторы следуют жанрам, сложившимся в античности. Но под покровом традиционности скрывается процесс преобразования древней литературы, становления христианской культуры, развивавшейся на почве античного наследия и одновременно в борьбе с язычеством. Перед нами проходят живые индивидуальные характеристики ряда византийских писателей и поэтов: Палладия Еленопольского, в рассказах которого набожность сочетается с юмором; Григория Назианзина — автора величавых религиозных гимнов и отмеченных глубоким психологизмом автобиографических поэм; продолжающего народную традицию Романа Сладкопевца; многочисленных авторов эпиграмм. В VII веке литература, теряя связь с классическими традициями предшествующей эпохи, становится более демократичной; в это время развивается агиография, в произведениях которой значительное место получают жанровые сцены, живо рисующие повседневную жизнь простых людей и подчас проникнутые юмором. Автор этой главы С. С. Аверинцев дает в ней ряд собственных превосходных переводов ранневизантийской поэзии.

Любопытны некоторые наблюдения С. С. Аверинцева, касающиеся психологического своеобразия византийской литературы и культуры в целом. Так, разбирая «Великий акафист» богородице (начало VII века), он тонко замечает: «...поэма статична в такой мере, какая была бы невыносимой для любого читателя и слушателя, кроме византийского». Византийская эстетика требовала статичности от авторов религиозных гимнов. «Великий акафист»... идеально подходит к ритму богослужебного «действия» греческой литургии, к интонациям византийской музыки (которые тоже статичны), к очертаниям церковного интерьера, наполненного мерцанием свечей и поблескиванием мозаик». Эти замечания затрагивают существеннейшие стороны византийской культуры: неподвижность основных ее форм, устойчивость центральных символов, вокруг

которых группировались представления о боге, мире и человеческом обществе.

Здесь мы подходим к вопросу о специфических особенностях византийской культуры. Дело в том, что религиозный символизм мышления и искусства — черта, присущая как византийской, так и западноевропейской культуре средних веков. Статичность литургической поэзии и живописи, выраженная в византийской цивилизации с большей силой, чем на Западе (С. С. Аверинцев противопоставляет ее в этом отношении преисполненной одухотворенной напряженности западной готике), тем не менее не составляет ее абсолютной особенности. Но существуют некоторые другие признаки культуры, достаточно резко отличающие Византию от Запада. Решающая из этих особенностей, на мой взгляд, — отношение к человеческой личности.

Ныне историки культуры не склонны безоговорочно присоединяться к знаменитой формуле Я. Буркхардта, гласящей, что Возрождение было «открытием человека», и предполагающей, что средневековые еще не знали человеческой индивидуальности, ибо индивид поглощался группой, сословием и растворялся в них. Что касается Византии, то ее социальным отношениям корпоративный строй, развивавшийся на Западе, был присущ в гораздо меньшей степени. В известном смысле можно говорить об индивидуализме византийских общественных и идеологических отношений, который проявлялся и в большей, чем на Западе, развитости частной собственности, и в нестабильности состава господствующего класса, пополнявшегося выходцами и выскочками из других слоев и столь же легко терявшего многих из своих членов, и в учении о достижении спасения души путем психофизического метода молитвы, основывавшегося на индивидуальном стремлении к божеству.

Но присмотревшись к этому «индивидуализму», мы убедимся, что он имеет мало общего с развитием подлинной человеческой индивидуальности. Заслуживает внимания такой парадокс: в Западной Европе, где корпорация «поглощала» личность, она же создавала условия для уважения ее прав, ибо корпорация держалась на принципе равенства людей, принадлежавших к одному сословию и социальному разряду, будь то бароны — они считались равными между собой, — рыцари или бюргеры. Обладатель

высшей власти — король — был «первым среди равных» — пэров. Отношения в среде господствующего класса основывались на феодальном договоре и на принципе вассальной верности. Ничего подобного не знала Византия. В византийском обществе не существовало развитых «горизонтальных» связей между людьми одинакового социально-правового статуса, зато преобладали «вертикальные» связи подданных и государя. Самые могущественные, знатные и богатые люди, достигшие высших должностей в государстве, оставались совершенно бесправными и незащищенными законом по отношению к императору, который мог произвольно лишить их имущества, чина и самой жизни, так же как мог возвысить любого человека. Самое любопытное заключается в том, что право императора неограниченно карать и экспроприировать подданных никем в Византии не оспаривалось — оно воспринималось как естественный порядок вещей. «Индивидуализм» византийской знати — это индивидуализм холопов, заботившихся о своей карьере и обогащении, лишенных какого бы то ни было чувства собственного достоинства, готовых ради подачки на унижение и рабствовавших перед императором. Может показаться, что хотя бы одна личность в империи все же существовала — священная особа самого василевса. Но и это не так — священной считалась императорская должность и все с нею связанное, но каждый второй византийский император был насильственно лишен престола, изувечен или умерщвлен. Да и пока он оставался, казалось бы, всемогущим, он был рабом сложнейшего дворцового этикета, не личностью, а центральной фигурой неизменного церемониала. Подданные, простиравшиеся ниц перед императором, ежеминутно могли ему изменить: никакого сознания рыцарской верности и личной преданности у них не было и в помине. Здесь сверху донизу все были рабами.

Византия прославилась крупнейшим в средние века сводом законов — «Кодексом» Юстиниана, объединившим римское право, — и полнейшим отсутствием правосознания, уважения к закону как гаранту прав человеческой личности. Принцип «что угодно императору, то имеет силу закона» — это принцип самодержавного беззакония. Самодержавие и человеческая индивидуальность несовместимы. Являвшееся нормой холопство неизбежно порождало

произвол и деспотизм, лицемерие и «византизм».

История Византии завершилась полтысячелетия назад — Византийское государство погибло под ударами турецких завоевателей, и падение Константинополя в 1453 году лишь поставило точку в затяжной исторической драме крушения некогда блистательной цивилизации, сохранившей и передавшей Европе многое из античного культурного наследия. Но судьбы Византии, природа этой обширной империи, одно время объединявшей в своем составе ряд народов Европы, Азии и Африки, привлекали и продолжают привлекать историков, как еще недавно они волновали государственных и политических деятелей, философов. Систематически проводятся международные научные конгрессы византинистов, в работе которых советские ученые принимают активное участие. Во многих странах издаются журналы по истории Византии; выходящий в СССР «Византийский Временник» достойно продолжает серьезную научную традицию, созданную еще дореволюционным русским византиноведением.

То, что в России история Византии всегда вызывала живой интерес, объясняется рядом причин. С ликвидацией Византийской империи центр православной церкви переместился в Москву, и московские патриархи оказались прямыми наследниками патриархов константинопольских. Подобно тому как Византийская империя не без известных оснований считала себя преемницей древнего Рима, так после ее падения русские цари стали претендовать на то, что они преемники власти византийских императоров. Идея «третьего Рима» означала, что империя не умерла, но лишь была перенесена по воле божьей из Константинополя в Москву.

Но не одни религиозные и политические факторы будили в России интерес к Визан-

тии. Не меньшее значение имело и то, что на протяжении большей исторической эпохи Русь в культурном отношении была ближе к Византии, чем к Западной Европе.

Интерес историков-марксистов к Византии обусловлен в первую очередь стремлением спределить ее место во всемирно-историческом процессе, понять причины глубокого своеобразия этого государства, отличавшегося и от западных средневековых монархий, и от восточных деспотий. одновременно разделяя с теми и с другими некоторые черты и сочетая в себе традиции античности и новые явления, присущие средневековью. Одна из характерных особенностей византиноведения — его комплексность. История Византии изучается силами историков и правоведов, лингвистов и искусствоведов, историков литературы и археологов. Византиноведы по самой природе объекта своих исследований связаны со специалистами по истории античности, с востоковедами, славяноведами, с историками древней Руси. Также и результаты исследований византиноведов представляют непосредственный интерес для значительного круга специалистов. Но они многое могут сказать и вдумчивому читателю, далекому в профессиональном отношении от исторической науки.

Я остановился подробно на содержании первого тома «Истории Византии» с тем, чтобы продемонстрировать некоторые проблемы, поднимаемые в этом издании. Вышел из печати и второй том (VII—XII века), и в производстве находится третий том (XIII—середина XV века). Новая обобщающая работа советских византиноведов представляет, как мне думается, немалый интерес для широкого читателя.

*Профессор А. ГУРЕВИЧ,
доктор исторических наук.*



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ — РАЗУМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В последнее время на страницах газет и журналов все чаще появляются статьи ученых, где высказываются предложения, как улучшить организацию научных исследований в нашей стране, как повысить эффективность труда научного работника.

Советских ученых серьезно беспокоит этот вопрос. И вовсе не потому, что мы как бы вдруг обнаружили ранее не видимые для нас недостатки в организации научных исследований и, опохватившись, забились в колокола. В Советском Союзе с каждым годом увеличиваются масштабы научных исследований, ассигнования денежных средств на их проведение, возрастает количество научных сотрудников.

Ежегодные общие расходы на науку в СССР исчисляются ныне миллиардами рублей, а каждый рубль, вложенный в научные исследования, дает от трех до пяти рублей дополнительного прироста национального дохода.

Число научных кадров в СССР приближается к семистам тысячам человек. Это четвертая часть всех научных работников мира!

Поэтому и не удивительно столь энергичные усилия, направленные на то, чтобы создать наиболее благоприятные условия для научных исследований, устранить все, что мешает им, ограничивает или снижает их эффективность. В настоящее время некоторые законоположения и инструкции уже не соответствуют нынешним грандиозным масштабам научных исследований. Жизнь настойчиво диктует необходимость внести некоторые новшества в организацию научных исследований.

Мне уже приходилось высказывать в прессе свое мнение по этому поводу. Но поскольку проблема эта пока еще далека от своего решения, хочется еще раз остановиться на ней более детально.

Устраняя недостатки и различные помехи в организации научных исследований, одновременно следует задуматься над тем, как повысить эффективность труда не только научного коллектива в целом, но и каждого научного работника в отдельности. Тут же возникает вопрос: а что должно быть мерилom эффективности? Ведь куда проще оценить эффективность научно-педагогической работы, чем научно-исследовательской. В нашей стране в отличие от некоторых западных стран педагогическая деятельность научного работника ценится очень высоко, она не считается второстепенной по сравнению с научно-исследовательской, тогда как в США педагогическая деятельность научного работника почти не принимается во внимание. Об этом с горечью говорил на международном симпозиуме Всемирной федерации научных работников (Будапешт, 1965) профессор Ф. Оппенгеймер. Когда же речь идет о труде научных работников, занимающихся исследованиями, то обычно оценивается эффективность работ научного коллектива в целом и к тому же лишь по одному — то ли положительному, то ли отрицательному — результату проведенных исследований.

Разумеется, эффективность труда научного работника во многом определяется его субъективными данными: квалификацией, научной и общей эрудицией, опытом работы, пытливостью, любознательностью, наблюдательностью, умением глубоко и абстрактно мыслить и делать конкретные логические выводы из абстрактного мышления и т. д. Но одних личных качеств еще недостаточно. Не менее важную роль играют и объективные условия научных исследований, которые в Советском Союзе, в общем, весьма благоприятны. Это не требует доказательств. Величайшие успехи

советской науки общезвестны и общепризнанны во всем мире. Но вполне естественно стремление каждого научного работника к еще большей эффективности своего труда, к более полному использованию своих потенциальных возможностей. А это требует хорошо продуманной организации научных исследований и хорошо налаженной их координации. В координации исследований нам в последние годы удалось уже кое-чего достичь, правда, еще не во всех областях науки — в некоторых, по нашему мнению, сделано еще очень мало. В организации же научных исследований у нас, к сожалению, по-прежнему еще слишком много ничем не оправданных весьма существенных недостатков. Они становятся особенно нетерпимы при нынешних масштабах научных исследований.

Современный этап в развитии целых сфер науки отличает дифференциация, «отпочкование» различных отраслей и в то же время близкое «стыкование» каждой отрасли и даже наук в целом с другими. При таком положении стало немисливо вести научные исследования, замыкаясь рамками отрасли, как это с успехом можно было делать в тридцатых и даже в сороковых годах. Невозможно, например, в наше время решать многие жизненно-важные проблемы дальнейшего развития нефтяной промышленности без учета развития угольной, газовой, сланцевой и торфяной промышленности, гидроэнергетики и атомной энергетики. Веление времени в ряде случаев (к примеру, в разработке прогнозов энергетического баланса страны, капитало-вложениях в топливные отрасли промышленности и т. д.) настойчиво диктует необходимость комплексных научных исследований. К сожалению, каждая отрасль промышленности ограничивается по-прежнему исследованиями в рамках своей отрасли. В свое время в СССР был создан Научно-исследовательский институт комплексных транспортных проблем. Опыт работы доказал полную жизнеспособность этого института. Тогда почему же у нас не существует института комплексных проблем промышленности или отдельных сфер ее (скажем, институт комплексных проблем топливно-энергетической промышленности и т. п.)? А необходимость в таком институте созрела давно. В наше время многие научные проблемы могут быть решены только при комплексных формах научных исследований.

Исключительно важное значение для успешного развития науки всегда играла ее связь с производством. Чем короче расстояние между наукой и производством, тем больше экономический эффект от научных исследований. Не случайно в США около шестидесяти процентов научных работников занято исследовательской работой в заводских лабораториях и лишь сорок процентов — в научных институтах. У нас же в промышленности их занято менее двух процентов. И это тогда, когда исследования в заводских лабораториях имеют много преимуществ (производственная база, совместная работа с производственниками и т. д.). Опыт некоторых стран показывает, что именно в заводских лабораториях быстрее создаются даже уникальные процессы, которые определяют техническую политику важнейших отраслей промышленности. Общеизвестно, что процесс каталитического крекинга Е. Гудри (США), которому суждено было на многие годы определить техническую политику в нефтеперерабатывающей промышленности, был создан им в небольшой заводской лаборатории в Паульсборо. И это далеко не единственный пример блестяще проведенного научного исследования в условиях заводской лаборатории.

Мы так единодушно ратуем за тесную связь науки с производством, почему же у нас сделано все для того, чтобы ученый не был заинтересован работой в заводской лаборатории? В заводской лаборатории он должен почему-то получать заработную плату значительно меньшую, чем в лаборатории института. Чем это вызвано и оправдано? Неужели экономией средств? Если так, то это экономия мнимая, приносящая большой вред науке и материальный ущерб государству.

Советское государство выделяет огромные материальные средства на развитие науки. Труд ученого у нас оплачивается высоко. И сам ученый, и все, кто с ним так или иначе работает и сталкивается, должны бережно относиться не только к расходованию материальных средств, но и к расходованию времени ученого, которое тоже представляет ценность. В наши дни немисливо представить себе ученого, замкнувшегося в рамках «чистой» науки. Советский ученый — прежде всего гражданин, интересы которого неразрывно связаны с интересами его страны, его народа. Он

должен быть и общественным деятелем. Им и на самом деле у нас является ученый. Но до сих пор он порой не столько занят своим прямым делом — научно-исследовательской или педагогической работой, — сколько просто околонучной суетой: заседаниями, собраниями, комиссиями, различными общественными поручениями и т. п. Нередко необходимость «мелькать» в различных ученых советах, редакционных коллегиях, бесчисленных комиссиях и т. д. не дает ему возможности сосредоточиться на порученном деле.

Еще лет десять назад все это было осуждено. Многие ученые освободились от чрезмерных общественных обязанностей. Но прошло время — и все снова вернулось на прежнее место. Но почему же? Да потому, что руководитель каждой организации рассуждает примерно так: «Мы уже не так часто беспокоим (к примеру, скажем) Николая Ивановича». И это справедливо, но при этом забывают, что организаций-то у нас ох как много.

Видимо, не всякий знает о том, что после дневной работы в лаборатории, на кафедре и т. д. у ученого дома начинается «второй рабочий» день в вечерние, а нередко и в ночные часы. Человек науки не может работать «от» и «до». Дома он занимается научно-литературной работой, чтением научной литературы и т. п. Не говоря уже о том, что ученый и просто человек, он хочет читать художественную литературу, ходить в театр, в кино и т. п. Одним словом, мы снова стоим перед необходимостью разгрузить ученого от чрезмерно возложенных на него общественных обязанностей и категорически запретить всем организациям своевольно загружать их своими заданиями и поручениями. Это должно коснуться и той, правда малочисленной, части научных работников, о которых так удачно сказал видный польский ученый Л. Инфельд: «Ученые, у которых честолюбие заметно превышает их научные способности». Таких ученых надо заставить заниматься наукой, а не околонучной суетой (что, конечно, никак нельзя смешивать с научно-организационной работой). Можно было бы назвать немало фамилий ученых, ныне руководителей научно-исследовательских и учебных институтов, которые успешно занимаются научными исследованиями, а некоторые, став затем руководителями, увлеклись представительской работой, уча-

ствием в непрерывных, нередко бесплодных совещаниях. Часть этих руководителей (в прошлом прекрасных исследователей), к сожалению, безвозвратно потеряна для науки. При таком положении практически повседневной работой научной организации руководит второе лицо, заместитель директора, директор же для своего коллектива малодосагаем, задержан множеством организаций, требующих от него компетентного мнения по всякому поводу, — и чаще всего по самым мелким вопросам.

Правда, не каждый руководитель научного или учебного заведения способен сочетать научные исследования с организационной работой. В таких случаях вопрос о сохранении ценного для науки исследователя должен решаться конкретно, принимая во внимание его способности к той или иной работе (административной или исследовательской), и, конечно, во всех случаях должно отдаваться предпочтение научной деятельности (это, конечно, вовсе не означает, что следует недооценивать организационную работу).

Для дальнейшего развития науки важно более или менее равномерное насыщение различных районов страны научными кадрами высокой квалификации. Пока семьдесят два процента докторов наук РСФСР и более пятидесяти четырех процентов докторов наук СССР работают в Москве и Ленинграде. Конечно, Москва и Ленинград не только крупные промышленные, но и не менее крупные научные центры страны. И тем не менее ненормально, что в некоторых крупных областях и республиканских городах Советского Союза еще очень мало докторов наук. Следовало бы создать благоприятные условия для неограниченной миграции научных работников высокой квалификации. Необходимы условия, при которых доктора, профессора и кандидаты наук могли бы свободно выезжать из Москвы и Ленинграда на несколько лет на работу в любой район страны, имея полную возможность вернуться к месту своего постоянного местожительства (сохраняя жилплощадь, прописку). Тогда, безусловно, нашлось бы немало желающих поехать на работу во многие районы страны на пять—десять лет, как это бывало раньше. Старые порядки, как и старые вещи, не обязательно должны быть плохими. Ныне же действующие порядки фактически ограничивают миграцию научных работников любой квали-

фикации, а она пока очень нужна и целесообразна.

К числу серьезных вопросов организации научных исследований относится и вопрос о рациональном использовании «старых» кадров в науке. Подготовка молодых кадров всегда была у нас и продолжает оставаться в центре внимания. На протяжении всей полувековой истории советской науки у нас сложилась прекрасная практика передачи опыта и знаний «старыми» учеными молодому поколению. Последние в свою очередь показывают примеры достойных учеников, идущих дальше своих учителей. Это, собственно, и есть естественный закон роста. Тем более нетерпимы тенденции, наметившиеся в последние годы под влиянием волевых и не продуманных до конца высказываний.

В таких высказываниях часто широко, но неумело использовался русский фольклор. Жизнь человека делилась на два этапа: на первом — человек едет «на ярмарку», на втором — «возвращается» с нее. Столь примитивное деление деятельности человека, особенно занимающегося творческим трудом, вряд ли соответствует действительности, если между этими этапами будет «утверждена» волевая, во всех случаях единая красная черта, отделяющая первый этап от второго.

История русской науки (да и не только русской) знает немало примеров, когда голы давали не только старцев, но и мудрецов, когда ученые в почтенном возрасте обогащали науку великими открытиями и уходили на покой с чувством исполненного долга. Эти прекрасные и благородные традиции как бы в порядке научного наследия перешли и к нам, советским ученым. До недавнего времени ни в одном официальном решении никогда не определялся возраст, при каком ученого следует считать едущим «на ярмарку», а при каком — возвращающимся «с ярмарки». Это весьма деликатный вопрос. Устанавливать в нем «пограничные столбы» рискованно. И тем не менее в развитие этого «крылатого» выражения несколько лет назад все же был установлен возрастной рубеж для ученого — шестьдесят пять лет. По мнению некоторых руководителей науки, после названного возраста ученый только с особого разрешения может быть допущен к руководству институтом, лабораторией, отделом, сектором или кафедрой. Развивая этот те-

зис, Президиум Академии наук СССР принял решение, по которому ученый вне зависимости от его личных качеств не может стать членом-корреспондентом после пятидесяти пяти лет. Это поистине «мудрое» решение не находит объяснения. Неужели в действительности во всех случаях ученый, достигнув шестидесяти пяти лет, лишается способности руководить научной организацией и тем более в пятидесятипятилетнем возрасте безнадежно потерян для Академии наук?

Как известно, состав членов-корреспондентов пополняется за счет докторов наук. В 1963 году шестьдесят два процента докторов наук были в возрасте старше пятидесяти пяти лет. За минувшие три года эта величина могла только увеличиться, но отнюдь не уменьшиться. Таким образом, Академия наук «списала за непригодностью» более половины ученых, часть из которых могла бы быть резервом для ее пополнения.

Тем, кто принимал такое решение, следовало бы знать, что покойный академик И. М. Губкин окончил Горную академию тридцати девяти лет. Как и всякому деятелю науки, ему потребовалось время, и немалое, чтобы стать ученым с мировым именем. И он стал им далеко не в цветущем возрасте. Следовало бы им знать и то, что академик Павлов до восьмидесяти семи лет успешно занимался научными исследованиями, что Д. И. Менделеев более чем в шестьдесят лет открыл новый способ получения бездымного пороха, что ныне здравствующий английский физик лауреат Нобелевской премии С. Пауэлл, которому сейчас за шестьдесят, успешно занимается изучением космических лучей. То же можно сказать и о польском ученом Л. Инфельде, которому перевалило за семьдесят. А академику С. Г. Струмилину — ученому с мировым именем — уже за девяносто лет. Каждый из нас может позавидовать трудоспособности этого человека, ясности его ума и четкости мыслей. Число подобных примеров можно множить бесконечно. А раз это так, то уже никак нельзя решать декретированием возрастную проблему в науке. В подобных случаях надо оценивать научного работника индивидуально, вне зависимости от его возраста. Конечно, случается, что ученый и в пятьдесят—шестьдесят лет мало работоспособен, но это редкое исключение — такое же редкое, как

бывают «дряхлыми стариками» и вполне молодые люди. Поэтому возрастную «проблему» в науке надо решать осторожно, не придавая значения круглым датам. В этом случае мы избежим ошибок, не нанесем ущерба науке, не обидим достойных и полезных людей.

В наше время важное значение для развития науки в целом и для успешного труда каждого ученого имеет осведомленность о достижениях мировой науки. В век почтовых карет научный багаж накапливался медленно, ученому не угрожала опасность отстать даже в том случае, если он изредка пользовался сведениями мировой науки. Теперь ученый может оказаться в хвосте научных событий, если он всего лишь несколько месяцев не будет обращаться к «багажу» мировой науки. Мировая наука — это нечто слишком обширное. Но даже если у ученого узкая специальность, то и в этом случае он должен знать, когда и что делается в его отрасли науки. Установлено, что ныне ученый затрачивает не менее трети своего рабочего времени на информационные поиски. Освободить ученого от такой затраты времени может только хорошо поставленная научная информация, которая позволяет при незначительной затрате времени быть в курсе основных новейших достижений. Важно и то, что хорошо поставленная научная информация позволяет ученому охватывать мировую научную литературу, издаваемую на множестве языков.

Общезвестно, что в постановке научной информации Советский Союз уже достиг многого. Уникальные и разнообразные издания Всесоюзного научно-исследовательского института научной информации Академии наук СССР высоко оцениваются не только советскими, но и крупнейшими зарубежными учеными и научными центрами. Но существование даже самого хорошего и разностороннего научно-информационного центра в стране, каким располагает Советский Союз, еще далеко не решает все вопросы, связанные с потребностями научного работника в знакомстве с достижениями мировой науки и техники.

Дело в том, что и теперь научному работнику трудно справиться с обилием научно-информационных материалов. Порой он вынужден тратить много времени на поиски справочных и других материалов сводного характера. Правда, научно-иссле-

довательские организации, как правило, имеют свои небольшие ячейки (в вузах их почему-то нет) научно-технической информации, которые в какой-то степени облегчают труд научного работника.

Стоило также заняться подготовкой специалистов в области научной информации. Без них не может обходиться ни учебный, ни научно-исследовательский институт. Пока же подготовка их ведется в весьма ограниченном масштабе и на факультативных началах.

Надо серьезно подумать о создании более благоприятных условий для публикации научных работ, особенно молодых научных работников. В совершенствовании издательского дела нельзя ограничиваться только признанием давно всем известных и бесспорных истин — нехватка бумаги и т. п. Ведь обнаружение результатов трудов ученых непосредственно влияет на развитие научных исследований. Нынешний порядок установления тиража научных книг, учебников и учебных пособий, основанный главным образом на коммерческих началах, нуждается в изменении. Не всегда следует исходить из стремления быстрее товарооборота. Научная книга, учебник и учебное пособие — не скоропортящаяся продукция.

Надо сделать так, чтоб и через несколько месяцев после выхода в свет книгу можно было найти в магазинах. Даже только что изданную книгу, учебник нелегко приобрести и в Москве две-три недели спустя после выхода в свет, не говоря уже о периферии. Система заявок, рассчитанная в основном на оптового покупателя, не должна быть единственным фактором, определяющим тираж той или иной книги. Не пора ли нам вернуться к опыту двадцатых годов, когда успешно действовал институт распространителей книги?

В наше время этот институт можно создать и на общественных началах. К сожалению, Комитет по печати, существующий уже несколько лет, внес мало нового в совершенствование издания научной и учебной литературы.

Работа научного работника, как и всякая творческая работа, нуждается в определенных условиях. С каждым годом в нашей стране возникают новые научные центры, строятся учебные и исследовательские корпуса. Но пока еще даже в крупных промышленных центрах страны, в Москве и

частности, немало научно-исследовательских институтов, ОКБ, СКБ и лабораторий долгое время работают в непригодных помещениях, разбросанных порой в различных районах. Вполне понятны и целесообразны ныне действующие ограничения в строительстве новых зданий для московских научных организаций, но во всех ли случаях?

Время убедительно подтвердило, что нельзя решить проблему регулирования численности населения Москвы путем перебазирования из нее в Подмоскovie, на «лоно природы», министерств (даже сельскохозяйственных) и многих учебных заведений и исследовательских организаций. Другое дело — надо всякий раз серьезно подумать, прежде чем создать в Москве или в Подмоскovie новый исследовательский центр или высшее учебное заведение. Но по-прежнему задерживать решение проблемы создания благоприятных условий для уже сложившихся, жизнеспособных исследовательских и учебных институтов нецелесообразно.

Большую роль в улучшении организации научных исследований может и должно сыграть Министерство финансов СССР. Пока же оно лишь весьма активно борется за жесткую «экономия» государственных средств в науке, не подозревая, что своими благородными намерениями оно часто наносит государству большой ущерб. Во многих случаях это экономия мнимая, требующая неукоснительного выполнения годами сложившихся, устаревших или непродуманных инструкций, положений и т. п. На этот счет можно было бы привести бесчисленное множество примеров из жизни каждого научно-исследовательского института нашей страны.

В течение многих лет в нашей стране продолжает существовать порядок искусственного разделения научно-исследовательских институтов на категории. К первой категории отнесены все институты Академии наук СССР и лишь некоторые отраслевые институты. Большинство же институтов относится ко второй, чаще к третьей категории, а некоторые и вовсе остались без нее.

Общезвестно, что зарплата научных работников, имеющих ученые степени и звания, находится в прямой зависимости от категории института. Такая система оплаты труда ученого основана, вероятно, на

представлении, будто, разделяя научные исследования по категориям, мы тем самым эффективнее используем государственные средства. На самом же деле это ошибочное представление. Такая система наносит вред науке и ничего общего не имеет с экономией. Во-первых, в наше время неправильно делить научные исследования на первостепенные, второстепенные и третьестепенные. Можно согласиться с тем, что научные исследования в некоторых областях сегодня имеют наиболее важное значение, но это вовсе не означает, что все остальные исследования должны быть отнесены к категории второстепенной или даже третьестепенной важности. Партия и правительство направляют сейчас все внимание на удовлетворение возрастающих потребностей народа. В этих условиях научные исследования в области, к примеру, скажем, улучшения качества одежды, обуви, продуктов питания, мебели и других товаров широкого потребления никак нельзя назвать второстепенным или третьестепенным делом.

Но дело не только в этом. Дело в том, что ряд институтов второй и третьей категорий (не говоря уже о бескатегорийных институтах) в течение многих лет не могут укомплектовать свои лаборатории квалифицированными работниками, так как последние по вполне понятным причинам оседают в институтах первой категории. Эти институты никак не могут встать на ноги и, как правило, непроизводительно расходуют выделенные им ассигнования. Их содержание, безусловно, превышает сумму мнимой экономии, удорожает их исследования. Этих-то лишних затрат, не видимых простым глазом, и не замечают финансовые и другие органы, ведающие вопросами категоричности научных исследований. Не говоря уже о том, что им не под силу определять степень общегосударственной значимости тех или иных научных исследований. Загадкой для каждого ученого и специалиста любой отрасли служит тот факт, что зарплата научных работников специальных конструкторских бюро (СКБ) и центральных конструкторских бюро (ЦКБ) неодинакова. Зарплата первых приравнена к заработной плате научных учреждений, а зарплата вторых — к заработной плате управленческого аппарата. Между этими двумя названиями нет существенной разницы. Специалисты обеих орга-

низаций заняты научными исследованиями и конструкторскими разработками.

Опыт многих зарубежных стран показывает целесообразность разумного соотношения в научном учреждении между категориями научных работников — высшей (докторов, профессоров), средней (старших научных сотрудников, доцентов) и низшей (младших научных сотрудников). К сожалению, такого рационального соотношения в ряде наших научно-исследовательских институтов пока нет.

Еще хуже обстоит дело с соотношением между научными сотрудниками всех трех категорий и техническим персоналом. В настоящее время технический персонал урезан до явно нецелесообразного минимума. Самая дефицитная должность почти в любом нашем научно-исследовательском и учебном институтах и конструкторских бюро — машинистка, секретарь, делопроизводитель (последняя категория давно ликвидирована финансовыми органами в штатных расписаниях научно-исследовательских и учебных заведений). Поэтому не удивительно, что почти в любом институте научные отчеты (а в вузах учебно-методическая документация) ждутся месяцами. И не удивительно также, что нередко в институтах за машинкой можно видеть не только младших, но порой даже и старших научных сотрудников, доцентов и старших преподавателей, получающих должностные оклады куда выше, чем машинистка. Обслуживание ученых (даже крупных) машинописью, делопроизводством и другими видами работ (подбор литературы, рефератов, обеспечение книгами и т. п.) не входит в обязанность научных организаций, да они и не имеют такой возможности. Более того, у нас распространено мнение (особенно в отраслевых институтах), что поиски, сбор и систематизация материалов для ученого — это работа, которой он должен заниматься сам. Разумно ли так относиться ко времени и затратам сил ученого? А ведь есть прекрасный образец более совершенного и разумного использования знаний ученого, существующий в конструкторских бюро (в авиации, машиностроении и т. д.). Этот опыт достоин подражания. В любой отрасли науки ученый должен быть поставлен примерно в положение главного конструктора самолета. Между тем пока на «мелочах» ежедневно теряется в науке много квалифицированного труда,

стоимость которого не видна недремлющему оку финансовых органов. Все это удорожает стоимость научных исследований, отвлекает научных работников от их прямых обязанностей. Не пора ли нам покончить с этим самообманом?

Надо предоставить право каждому директору научно-исследовательского, проектного институтов и ректорам высших учебных заведений по собственному усмотрению определять штат лабораторий, отделов, кафедр. Тогда действительно можно будет достигнуть экономии за счет рациональной организации труда научных работников. В настоящее же время стремление любыми средствами добиться экономии иногда наносит большой ущерб государству. Это призрачная экономия. Ратуя за отмену категоричности научных исследований, мы вовсе не являемся сторонниками уравниловки в оплате труда научных работников. Наоборот, мы считаем, что наступила пора по-настоящему ввести материальное стимулирование за успешные научные исследования. Размеры этого стимулирования должны находиться в прямой зависимости от результатов исследований. По нашему мнению, научные работники должны получать дополнительное вознаграждение за годовую экономию от внедрения их исследований. В настоящее время научные работники периодически получают подобные вознаграждения (премии) вне зависимости от размеров экономического эффекта, получаемого в результате внедрения их исследований, а иногда и при отсутствии, наравне с научными сотрудниками, результаты исследований которых определяются огромными суммами. Размеры ныне существующих фондов для премирования по существу не служат стимулом в научных исследованиях. Как правило, они незначительны, а главное, принципы их распределения практически не увязываются с конкретными показателями экономической эффективности законченных работ. Нередко премиальный фонд в научных организациях расходуется по принципу «всем сестрам по серьгам». Нам представляется, что было бы целесообразным размеры материального стимулирования сделать более ощутимыми, а принципы распределения премиального фонда более конкретными: они должны находиться в прямой зависимости от размера экономической эффективности законченных исследований. Нам кажется, что следовало бы смелее и

шире применять практику хозяйственного расчета в проведении научных исследований, особенно в отраслевых институтах, где в основном решаются научные проблемы прикладного значения. Однако не следует забывать о проблемной и поисковой тематике, которая должна подготавливать «тыл» для завтрашнего дня в науке. Такая тематика должна финансироваться из бюджетных ассигнований. Недооценка теоретических исследований в науке неизбежно приведет к печальным последствиям. Опыт послевоенных лет показал, что только успешные теоретические исследования открывают большие возможности для решения конкретных практических задач.

И наконец эффективность всякого труда, творческого в особенности, зависит от слаженности коллектива. Чистота взаимоотношений, товарищеская поддержка, благожелательная критика и помощь влияют на творческий гуд. Хорошие отношения в коллективе — лаборатории, отдела, кафедры и т. п. — это половина успеха в деле. И наоборот, неуважение, неискренность, настороженность, подозрительность — все это вносит нервозность в отношения между людьми, снижает КПД их труда.

Жизнь показывает, что и в среде ученых бывают люди, которые не затрудняют себя усилиями быть вежливыми и внимательными к окружающим. Древние греки говорили: «Самая высшая власть для человека — власть над собой». Если человек теряет власть над собой, не управляет сдерживающими центрами, теряет самоконтроль, он неизбежно приходит в столкновение с окружающими его людьми. Вовремя не обузданное высокомерие, зазнайство, резкость и т. д. приводят человека к тому, что он предъявляет требования только к окружающим его людям, не замечает своих собственных вопиющих недостатков, зато гиперболизирует мелкие недостатки окружающих. Такому человеку кажется, что его окружают «серые» личности, а он возвышается над ними, и обо всех или почти обо всех говорит только плохо. Вот такие «деятели» несут активную коррозию во взаимоотношения людей. Наука разработала эффективные способы борьбы с коррозией металла, но мы еще недостаточно боремся

с коррозией во взаимоотношениях между людьми, в научном мире в частности.

Мы не научились предупреждать патологическую склонность некоторых людей к склокам, интригам, к грубости и подобным порокам, нетерпимым в жизни коллектива. Вспомним, как Петр I говорил, что цель его — «возвысить в отечестве сан Человека». А ведь мы живем не в XVIII веке, а в переходный период от социализма к коммунизму. И тем не менее бываем свидетелями, когда один человек, к тому же нередко облаченный в ученый мундир, создает в институте, лаборатории или на кафедре невыносимую обстановку, запутанные ситуации. В таких условиях трудно говорить об эффективном труде научного работника. Подобные ситуации дорого обходятся в материальном отношении. В нездоровой обстановке в лучшем случае затягиваются исследования, в худшем — они бесплодны.

Сложность взаимоотношений людей в коллективе заключается в том, что если многие вопросы в науке могут быть разрешены законодательным порядком, то вопрос о чистоте человеческих отношений трудно регулировать законами. Здесь действует только моральный кодекс — неписанные законы. Вот их-то и надо уважать, а работникам науки особенно, хотя бы потому, что ученые не только призваны совершенствовать технику и технологию производства, но и творца их — самого человека. Нам кажется, что при обсуждении той или иной кандидатуры при выборе научного работника на руководящую должность, от самой высокой до самой низшей, мы должны не только учитывать его деловые качества, но и его способность, умение вести дело с людьми. Грубый, необузданный, даже самый маленький руководитель в науке — опасное явление (не говоря уже о руководителе большого масштаба). Мы должны научиться бороться с такими людьми.

Затронутые нами вопросы, конечно, не исчерпывают всего, что мешает более энергичному развитию нашей науки, но решение даже некоторых из них окажет положительное влияние, в этом нет сомнений.

С. Лисичкин,
профессор.



КОРОТКО О КНИГАХ



РАЛЬФ ПАРКЕР. Советский Союз продлил мне молодость. Избранные статьи и репортажи. Перевод с английского. Вступительная статья Бориса Изакова. «Прогресс». М. 1966. 255 стр.

Человек, чье имя стоит на обложке этой книги, приехал в Советский Союз в октябре 1941 года как корреспондент «Таймс» — самой консервативной английской газеты. Он прожил с нами двадцать три года и умер три года назад в Москве. Ральф Паркер именно прожил с нами все эти годы, а не просто жил на нашей земле. Потому что он искренне и сполна делил с нами наше горе и наши радости.

Эта книга составлена из корреспонденций, репортажей, статей, которые он писал для зарубежных читателей и печатал в зарубежной прессе. Тут, правда, очень малая толика из того, что он написал и напечатал. Но даже из этой крохотной частицы сделанного Паркером видно, какой это был умный, цельный, бескомпромиссный человек, какой это был смелый и честный журналист.

Как никто другой из корреспондентов западной буржуазной прессы, он правдиво, без тени предвзятости рассказывал английским и американским читателям о советском народе-воине, о его трудной победе. В сорок пятом году, увидев, как расходятся торжественные обещания правящих кругов его страны с их действительным отношением к разгромленному фашизму, Ральф Паркер порвал с «Таймс» и стал убежденным борцом за мир, против войны, в том числе и «холодной». Его статьи и книги, написанные с большим публицистическим темпераментом, рассказывали правду о Советском Союзе, о советском образе жизни, помогали тем западным читателям, которые хотели понять, «какие они, эти русские». Горячо и убежденно разоблачал он нелепый жупел «коммунистической агрессии», показывал, что советские люди заняты созидательным трудом и не помышляют о войне. Большое впечатление оставляют его статьи «Какие они, эти русские?», «Письмо Клементине Черчилль» и многие другие.

А какое знание нашей культуры, какое понимание нашего искусства — музыки, живописи, танца — раскрывает он в своих статьях и очерках «Шостакович говорит на всех языках», «Святослав Рихтер», «Живопись Корина» и других.

За два года до смерти Ральф Паркер писал в статье «В ногу с веком»: «...Волею судьбы я прожил почти половину сознательной жизни в Советском Союзе и чувствую, что продлил свою молодость. Я приехал сюда в праздники 24-й годовщины Октября и с тех пор живу среди людей нового поколения... Мне с ними всегда было интересно, их глазами я смотрел на жизнь и учился понимать значение революции. Для них война против фашизма была войной против зла, расизма, диктаторства и зверства... Молодое поколение Советского Союза готовит себя для жизни в новом обществе, в мире без войн, в мире, где творческая работа и применение способностей будут иметь громадный удельный вес...» В этих строках сказался весь Паркер с его любовью и верой в советского человека.

Л. Лерер.



С. НОРИЛЬСКИЙ. Н. М. Федоровский. Волго-Вятское книжное издательство. Горький. 1967. 124 стр.

«Федоровский передал Эйнштейну приветствие от советских ученых, рассказал, что в этом году в Советской России будет издана «Частная и общая теория относительности» в переводе Сергея Вавилова...

— Меня это радует,— поблагодарил Эйнштейн.— Я читал труды Вавилова и ценю их. Скажите, как вам удастся в такое тяжелое для вас время издавать столь специальные книги?

— Мы во многом себе отказываем,— произнес Николай Михайлович.— Но смотрим вперед. Вот почему мы найдем для Вашей книги самую лучшую бумагу и самую лучшую типографию. Вообще наше правительство не жалеет средств на научную работу».

Приведенный отрывок взят из биографического очерка С. Норильского об ученом-большевике Н. М. Федоровском. Очерк вышел в серии «Нижегородцы-революционеры», издаваемой Волго-Вятским книжным издательством.

Встреча Федоровского с великим физиком произошла в январе 1921 года в Берлине, куда Федоровский приехал, чтобы наладить связи ученых молодой Советской республики с учеными зарубежных стран. После дружеской беседы, о которой рассказывается в этой небольшой книжке, Эйнштейн написал известное письмо «Русским коллегам».

«Я узнал, что русские товарищи даже при настоящих условиях заняты усиленной научной работой... Приветствую их сердечно и обещаю сделать все от меня зависящее для организации и сохранения связи между здешними и русскими работниками науки. А. Эйнштейн».

Прощаясь с Федоровским, Эйнштейн просил передать привет В. И. Ленину.

Николай Михайлович Федоровский принадлежал к числу русских интеллигентов, которые еще в доревлюционные годы накрепко связали себя с делом революционного пролетариата и как бы совмещали партийную и научную работу. Вступив в партию в 1903—1904 годах (так он писал в своей автобиографии), Н. М. Федоровский на всю жизнь связал себя с большевиками и всегда был на переднем крае. В 1905—1906 годах он — в Свеаборге, где становится известным по подпольному имени Степан Финляндский. Здесь он ведет работу вместе с А. К. Воронским, А. Литвиным, М. Трилис-сером. Они выпускают подпольную большевистскую газету «Вестник казармы», ведут жаркие бои с эсерами.

Осенью 1908 года Федоровский поступил на физико-математический факультет Московского университета. Связи с партией он не прерывал. Федоровскому посчастливилось стать учеником великого геохимика Вернадского, и это предопределило его путь как ученого. После окончания университета он выехал в Нижний Новгород, где его и застала февральская революция. Автор книги шаг за шагом проследивает роль Федоровского в жизни нижегородской большевистской организации и в установлении там советской власти.

В Москве Федоровский возглавляет горный отдел ВСНХ РСФСР, вместе с И. М. Губкиным организует Московскую горную академию и занимает в ней кафедру минералогии. Создает научно-исследовательские институты, ставит ряд важных исследований, организует разведку месторождений ископаемых, которых до революции в нашей стране не добывали, пишет научные труды, редактирует БСЭ...

Разносторонняя кипучая деятельность Федоровского была на продолжительный срок прервана. А когда он получил возможность к ней вернуться, его оставили физические силы, и вскоре затем он умер.

Н. М. Федоровский — один из многих замечательных людей нашего времени, биографии которых могут служить примером беззаветной преданности партии, народу, науке.

К сожалению, серия ЖЗЛ, издаваемая «Молодой гвардией», до сих пор не включила в свой круг деятелей такого типа, какими были Федоровский, Штернберг, Шмидт и другие. Этот пробел, конечно, далеко не полно, восполняется очерками, которые издаются на местах.

Автор книги о Федоровском С. Норильский проделал большую работу по сбору

материалов к биографии, однако сам очерк не может полностью удовлетворить читательские запросы. Стремление к строгой документальности порой делает изложение почти протокольным.

И. Пешкин.

★

ГРЕЙ УОЛТЕР. Живой мозг. Перевод с английского. «Мир». М. 1966. 300 стр.

Велико ли напряжение тока в карманном фонарике? А если уменьшить его в тридцать миллионов раз — каким оно станет ничтожно малым! Именно такие неувлимо слабые токи и образуются в совершеннейшем природном «генераторе» — человеческом мозге.

Невероятно сложны механизмы функций мозга. Их раскрытие и познание входит в задачу нейрофизиологии — науки специальной и сложной. И однако достижения в этой области живо интересуют сейчас буквально всех.

Книга Грея Уолтера помогает читателю, не имеющему специальной подготовки, ориентироваться в проблемах этой науки. Она содержит множество интересных сведений. Оказывается, например, что характер электрических проявлений мозга различен при «блестящем» интеллекте и у «тупых» личностей. Эти проявления, далее, не одинаковы у людей, мыслящих наглядными, зрительными образами и при склонности к абстракциям. А ведь именно от таких особенностей зависит часто психологическая «несовместимость», которую как будто и объяснить нечем!

Автор не преподносит банальных истин. Он серьезно, уважительно и в то же время в непринужденной форме беседует с читателем, шаг за шагом вводя его в потайные лаборатории мозга. Он ведет речь об обучении и памяти, о сне и бодрствовании, о различных аспектах формирования условных рефлексов и многом другом. В большей своей части книга построена на материале личных исследований автора, кстати говоря, плодотворно развивающего за рубежом идеи И. П. Павлова. Советскому читателю особенно отдают видеть, что в книге подчеркнута непреходящее значение павловских трудов.

Книга написана живо, интересно, изобилует яркими и остроумными сравнениями. Этот метод изложения нигде, однако, не заслоняет от читателя главного — логики мысли ученого, с первых страниц захватывающей и покоряющей читателя.

Е. Мец.

★

А. ТУРКОВ. От десяти до девяноста. О творчестве А. Я. Брушгейн. «Детская литература». М. 1966. 94 стр.

Когда ребенок рождается, никто не требует с него расписки о том, что он будет хорошим человеком. На него просто надеются. Верят. И это не так уж неосмотрительно: хороших людей все-таки больше, чем плохих. Их можно распознать сразу —

они всегда должны. Должны делать что-то хорошее, полезное, доброе. Иначе не могут. Каждый день, каждый час, каждую секунду. И даже тогда, когда трудно. Когда слепнут глаза. Когда только слуховой аппарат, включенный на полную мощность, едва доносит слова собеседника. Но если ко всему этому за спиной длинной цепочкой стоят восемьдесят три трудных, наполненных работой года — тогда это уже подвиг!

О таком подвиге и рассказал А. Турков.

Более пятидесяти пьес, несколько томов прозы, сотни статей — творчество старейшей советской писательницы Александры Яковлевны Бруштейн — явились предметом его исследования в новой книжке «От десяти до девяноста».

Проследить и проанализировать почти шестидесятилетний творческий путь литератора, не очень-то избалованного вниманием критики, — задача настолько же благородная, насколько и трудная.

А. Турков не старается во что бы то ни стало втиснуть в книжку свои размышления обо всем, что написано А. Бруштейн.

Очень продуманно и точно он останавливает внимание читателя на тех произведениях, которые определяют главную тему в творчестве писательницы.

«...Борьба с фашизмом включает в себя воспитание в людях подлинного интернационализма, отношения к другим как к равным, воспитание личной ответственности за все происходящее вокруг и готовности активно выступить против несправедливости, даже если она не касается ни лично тебя, ни кого-либо из близких и дорогих тебе людей», — пишет критик.

Читатель, которого Турков провел по страницам произведений А. Бруштейн, не может не ощутить того, что все они так или иначе посвящены этой борьбе.

Рассказывает ли автор о пьесе «Голубое и розовое», разбирает ли трилогию «Дорога уходит в даль...», анализирует ли главы «Вечерних огней» — его прежде всего интересует то, что делает «путешествие в страну Вчера» путешествием в самый центр острых проблем современности.

А. Турков не упускает возможности поделиться с читателем и своими мыслями об этих современных проблемах — о формировании человеческой личности, о том, как мы собираем наших детей в дорогу жизни.

Зоркому глазу литературоведа все видно в творчестве А. Бруштейн. Даже ремарки в пьесах. Некоторые из них, написанные ярким, образным языком, А. Турков приводит как свидетельство отличного владения прозой, которое в конце концов и предопределяет рождение прозаика.

Автор книги не избегает и строгих критических слов, но немалые эти слова всегда справедливы. Некоторая неточность, на мой взгляд, есть только в замечаниях о стиле трилогии «Дорога уходит в даль...». Турков прав, отмечая некоторую перегруженность сравнениями первой части этого произведения. Но это верное замечание он сопровождает не очень убедительными иллюстрация-

ми: «Сросшиеся брови, как толстая мохнатая гусеница, изогнувшаяся над глазами», «Лицо у тети Жени красное, как борщ, который забыли заправить сметаной». Сросшихся бровей я встречал в литературе немало, но увидел их, честное слово, в первый раз. И «борщ» мне, пожалуй, тоже по вкусу.

Можно пожалеть о том, что А. Турков не открывает перед читателем дверей рабочего кабинета писательницы, мало говорит о бытовой, жизненной стороне ее биографии. Но упрекнуть его в этом нельзя — подзаголовок книги «Очерк о творчестве» определил границы его исследования. Однако со страниц этой, казалось бы, чисто литературоведческой работы к читателю приходит не только большая писательница, но и обаятельный в своей мудрости человек и гражданин.

А. Рейжевский.

★

Ю. С. МУСАБЕКОВ. Занимательные истории из жизни ученых. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль. 1967. 140 стр.

«Однажды Эмиль Фишер (1852—1919), мастер органического синтеза, совершал прогулку по Берлину. К нему подошел немецкий писатель Зудерман и сказал:

— Как я счастлив, ваше превосходительство, позвольте выразить вам благодарность за ваш чудесный снотворный препарат веронал. Вы меня спасли. Мне уже не нужно принимать его, мне уже достаточно, чтобы веронал лежал на моем ночном столике.

— Странное совпадение, — с улыбкой ответил Фишер, — когда мне трудно уснуть, я прибегаю к помощи вашего романа. Это действует безотказно; действует уже то, что я вижу вашу прекрасную книгу лежащей на моем ночном столике!»

Этот забавный случай, свидетельствоющий о находчивости и остроумии выдающегося ученого, — один из многих описанных в настоящей книге. Ее автор — профессор Ярославского технологического института Ю. С. Мусабеков, историк науки. Конечно, предмет истории науки — это прежде всего развитие научных идей, творческая деятельность ученых. Однако интерес представляет и личность ученого: его человеческие качества, особенности ума, манеры и т. п. Их изучение, возможно, лежит в стороне от главных задач историков науки. Но без этих подробностей сама история науки была бы, пожалуй, сухой и специальной. Показать ученого как человека, которому не чуждо ничто человеческое, — вот какую задачу поставил перед собой автор.

И перед нами — несколько необычная книга. Она, так сказать, побочный продукт занятий историка науки. Но вряд ли найдется человек, который, ознакомившись с первыми страницами книги, не прочитает ее до конца. Используя широкий круг мемуарной литературы, русской и зарубежной, автор собрал и подверг беллетристической обработке около трехсот миниатюр. Основные их сюже-

ты — остроумие и необычайная рассеянность ученых. Та самая рассеянность, которая давно уже стала притчей во языцех, но которая, по справедливому замечанию автора, есть не что иное, как крайняя степень сосредоточенности человека, поглощенного научной идеей. Невозможно перечислить темы помещенных в книге смешных и занимательных историй. Вот химик, в ответственный момент забывший фамилию своей жены; профессор, павший жертвой собственного честолюбия; врач, мрачно утешающий больного при помощи теории вероятности; вот знаменитый немецкий математик Д. Гильберт, который горько шутил о своем сыне, лишенном математического дара: «Математические способности сын унаследовал от матери, все остальное от меня».

В книге рассказывается об ученых разных специальностей: химиках, физиках, математиках, астрономах, натуралистах, историках, юристах, философах и т. д., а также о писателях. Среди них М. В. Ломоносов, А. Л. Лагуазье, Г. Кэвэндиш, А. М. Бутлеров, Р. Бунзен, Архимед, И. Ньютон, А. Эйнштейн, Т. Эдисон, А. Н. Крылов, И. В. Гёте, А. Дюма, Марк Твен, Б. Шсу и другие.

Миниатюры об этих великих людях не только интересны и забавны, они несут познавательный характер и поучительны.

А. Черняк.

★

НИКОЛАЙ АМОСОВ. Мысли и сердце. Повесть. «Роман-газета». 1967. №№ 6, 7.

«Роман-газета» выходит громадным — трехмиллионным — тиражом. Если не бояться сравнений, то можно сказать, что на Западе до такого тиража не дотягивают многие бестселлеры. С другой стороны, нетрудно заметить, что многим общепризнанным произведениям, ставшим нашей классикой, тоже никогда не снился такой тираж. Между тем в последние годы вполне рядовой роман или так называемая «проходная» повесть уже в силу того, что «Роман-газету» надо выпускать, могут вдруг удостоиться чести стать изданием супермассовым, многомиллионным. По библиотекам и подписчикам они расходятся, но на прилавках киосков лежат месяцами.

В отличие от таких выпусков «Роман-газеты», появляющихся иногда в свет чуть ли не в одно время с журнальным вариантом произведения, повесть Николая Амосова «Мысли и сердце» завоевала право на это издание уже пришедшей к ней прочной популярностью. Она появилась больше двух лет назад в одном из украинских журналов и сразу же была замечена критикой и читателями («Новый мир» писал о ней в декабрьской книжке 1965 года), потом она вышла отдельным изданием и вот теперь в «Роман-газете», но и «Роман-газету» с этой повестью уже не увидишь на прилавках.

Секрет успеха повести — не в теме и даже не в жизненном материале, положенном в ее основу. Об уникальных операциях на сердце писались много раз, и уже в силу

своей сенсационности такой материал привлекал самое широкое внимание. О нарождающихся и крепнущих в наше время связях самых, казалось бы, далеких от «стыковки» наук пишут в последние годы тоже много. В частности, о перспективах союза медицины и кибернетики неоднократно писал и сам Амосов, он давно занят этой проблемой и решает ее как ученый в своей киевской лаборатории.

«Лаборатория — это моя любовь», — пишет Амосов в своей повести. — Последняя любовь... Сейчас, когда жизнь идет к концу, хочется одного: понять, что такое человек, человечество. И что нужно делать мне, другим людям — молодым, старым — в наш век, когда все так бешено рвется вперед».

Хочется многого: понять, что такое человек, человечество и как помочь им. В сущности, литература всю свою историю только этим и занимается: это и право и призвание «человековедения». Амосов счастливо соединяет в себе врача, ученого и, как обнаружилось в последние годы, умного, чуткого к современности писателя. Он познает человека с разных сторон и помогает ему многие годы, спасая многие человеческие жизни. Теперь в повести он рассказывает о своей трудной работе и поднимает человеческий дух, укрепляет в человеке так нужное в наши дни мужество.

В повести много героев: больных (чаще всего это дети), товарищей по работе (это целая галерея характеров), и есть один герой, из лица которого ведется повествование, — сам ученый, спасающий людей (а иногда и не спасающий: медицина еще не всемогуща, и будет ли она когда-нибудь всемогущей?). Читая повесть, мы все время видим перед собой незримую и хрупкую грань между жизнью и смертью. Борьба за жизнь, борьба со смертью ведется в ней непрерывно — не только на операционном столе, но и во время бессонницы, в редкие часы отдыха. Ведет ее человек, беспощадный к себе и ко всему, что мешает победе жизни. И потому эту повесть, как всякую до конца правдивую книгу, не так-то легко читать. Но именно бескомпромиссная правда и укрепляет наше мужество.

Наверно, можно предьявить и некоторые претензии автору. Наверно, не один читатель «увязнет» на страницах Сашино «кибернетического» дневника. Может быть, кому-то не понравятся рубленные, короткие фразы, но это уже дело вкуса. А в целом перед нами очень интересное, заставляющее думать произведение.

К. Алексеев.

★

В. И. КОСТИН. Татьяна Алексеевна Маврина. «Советский художник». М. 1966. 179 стр.

Персональные выставки Т. А. Мавриной, несколько лет назад состоявшиеся в Москве и Ленинграде, стали для многих как бы открытием нового мира. Фантастические звери, многоцветные терема, причудливые

«лесные человечки», переливчатая, сияющая во всю ширь голубого неба радуга — все это сперва уводило в сказку, а потом — так же широко и властно — возвращало к действительности, напоминая о красоте земли нашей.

Русская древность, маленькие районные городки, народная сказка — вот чему в основном посвящено творчество Мавриной. И все-таки мы не сомневаемся: оно современно, причастно сегодняшнему дню.

В чем же здесь дело? В том, «что Маврина чутко уловила и поняла самое важное, непреходящее и в сказке, и в древней русской архитектуре, и в народном творчестве... их воистину общечеловеческий, большой гуманистический смысл...»

Цитата эта — из первой советской монографии о Мавриной, принадлежащей перу В. Костина. Совсем недавно мы радовались выходу его исследования о Петрове-Водкине. Книга о Мавриной — подарок любителям искусства: она рассказывает о художнике, которого еще недостаточно знают и ценят, о смысле и значении его творчества.

С интересом, вниманием следит В. Костин за путями, которыми Маврина шла к обобщению, богатству колорита, к созданию своего стиля, эмоционального и выразительного, объединяющего традиции народного примитива с пониманием задач и требований современного реалистического искусства. За непосредственностью, кажущейся легкостью рисунка художницы он умеет увидеть строгий отбор изобразительных средств и настойчивое изучение традиций, за умением остро и наблюдательно передать прелесть районного города, в котором современный быт и красота старинной русской архитектуры органически сливаются в единый образ, — услышать голос нашего времени.

Недостатки? Они есть, конечно: в рыхлости некоторых глав, беглости заключения. Но их нетрудно будет исправить в следующем издании, необходимость в котором чувствуется уже сейчас: буквально в несколько дней книга исчезла с прилавка.

«Виновата» в этом прежде всего сама Т. Маврина, интерес к творчеству которой сейчас так явственно определился. Но, думаю, сыграли свою роль и текст монографии, и предисловие Е. Дороша, и прекрасный внешний вид книги. Книга издана широко, свободно: на больших полях — рисунки, на отдельных листах репродукции, то цветные, то черно-белые. Репродукций много, они выбраны со вкусом и активно сопровождают текст, наглядно давая читателю представление о художнике.

О. Воронова.

★

Л. Я. РЕЗНИКОВ. Горький и Север. Карельское книжное издательство. Петрозаводск. 1967. 232 стр.

В книжке «Горький и Север», можно сказать, три «героя»: сам Горький, его очерки и Север.

Личность художника, биографическая основа очерков Горького занимает Л. Резникова прежде всего. Из разнообразных и малоизвестных материалов — личных свидетельств, писем, полузабытых газетных очерков — добывает Резников детали к портрету Горького, рисует его реальный облик.

О Севере, о местах, где побывал Горький в июне 1929 года (Мурманск, Кемь, Соловки), Л. Резников рассказывает так, как это умеют делать хорошие краеведы: с точностью ученого и непосредственностью доброго хозяина. Естественно входят в его рассказ точные сведения по экономике, географии, технике, истории края (в частности, история Соловецкого монастыря; подробности о состоянии Соловецкого лагеря особого назначения в двадцатые годы и т. д.). Природа русского Севера, картина освоения его трудом и наукой, биографии тех людей, с которыми встречался Горький, досказанные уже сегодня, — все это позволяет нам живо представить край, потянувший к себе Горького сразу же после его возвращения из-за границы на родину.

Тяготение Горького к Северу объясняется Л. Резниковым с разных сторон. Это давнее увлечение писателя олонецким фольклором, его живыми хранителями, такими, как Федосова; особый интерес Горького к своеобразному варианту русского национального характера — к типу «крепкого», северного человека. Это наконец желание писателя увидеть социалистическое строительство в его наиболее трудных, напряженных моментах.

Л. Резников обращается в своей книжке и непосредственно к текстам очерков Горького «По Союзу Советов», исследует логику их композиции, принципы обобщения, выявляя современное, сегодняшнее значение идей Горького.

В очерках «По Союзу Советов» Горьким руководил не только пафос утверждения (как принято считать), но задача более объемная и диалектическая — не прямолинейное противопоставление прошлого и настоящего, а раскрытие их исторической «тяжбы».

Интересна сама форма подачи материала в книге Резникова. Это нечто вроде научно-исследовательского «приключения», со своими тайнами и легендами («Загадка поездки на Север», «Соловецкие легенды», «Тайна рукописи...»). Правда, здесь есть и некоторые авторские просчеты: преувеличенная порой таинственность, злоупотребление «загадками» и т. д.

Л. Резникову удалось как бы заново прочитать очерки Горького, верно уловить глубокое современное значение его идей, уточнить некоторые наши представления о писателе.

Л. Колобаева.

СТ. РАССАДИН. Так начинают жить стихом. Книга о поэзии для детей. «Детская литература». М. 1967. 316 стр.

Книге Станислава Рассадина, в название которой вынесена строка поэта — «Так начинают жить стихом», — совершенно соответствует уверение, которым Книготорг сопровождает каждую свою рекламную аннотацию: «Интересна для самого широкого круга читателей».

Это редкость — обычно подобная реклама лукавит. Но книга в двадцать печатных листов с подзаголовком «О поэзии для детей» действительно интересна не только литературоведам, педагогам, воспитателям детских садов, но всему кругу людей, читающих своим детям, внукам и племянникам «Мойдодыра» и «Рассеянного». Людей этих Рассадин уважает. Он вовсе не считает себя педагогом и наставником: он просто заранее предполагает, что человек, обратившийся к его книге, живо интересуется проблемами, изложенными в ее шести главах. Достаточно широкие и ответственные проблемы эти обозначены в названиях глав: «Пробуждение личности», «Быть человеком»...

И вместе с тем как ни отмежевывается автор в своем предисловии от исторической последовательности, получилась у него все-таки именно история стихотворной книжки для детей, летоисчисление которой Рассадин ведет от ночного поезда, в котором отец под стук колес придумывает для большого сына: «Жил да был крокодил, он по улицам ходил...»

Книга вобрала огромное количество материала. Здесь соседствуют Ушинский и Маршак, Марк Твен и Абрам Эфрос, Пастернак и Барто, Лессинг и Захoder; у Брема и Бюффона, у Ренара и Чарли Чаплина находит Рассадин ту образность, которая необходима ребенку в его постижении мира. В союзники себе автор берет Пирогова, Корчака, Макаренко (интересно, необычно увиденного с сегодняшней точки зрения); его противники — это главным образом догматики, призывавшие когда-то изгнать Маршак и Чуковского из детской литературы. Но Рассадин не столько защищает Чуковского от псрамленных догматиков, сколько всю детскую поэзию, а вернее, самый мир детства, от назидательности, от узкого практицизма, от умиления, от возвышенной патетики. Рассадин утверждает связь поэзии для детей со всем миром поэзии, как утверждает связь самого детства с жизнью взрослых и в то же время его автономность.

Понимание чужого детства невозможно без отчетливой и благодарной памяти о своем детстве. Эта слитность воспоминания и наблюдения — сильная сторона книг Рассадина. С отдельными оценками его можно спорить. Но спорить с книгой в целом не хочется. Писатели, которых Рассадин даже не помянул (он вежливо извиняется перед ними в предисловии), вряд ли на него обидятся. Скорее будут благодарны за книгу о важнейшем жанре литературы,

написанную человеком, который хорошо помнит себя ребенком и понимает детство новых поколений.

Е. Полякова.

★

Ф. СЫРКИНА. Александр Григорьевич Тышлер. «Советский художник». М. 1966. 192 стр.

Александр Тышлер — из числа странных художников. Он прежде всего сочинитель. Реальная действительность предстает в его искусстве в фантастическом, остро субъективном, поэтому часто вызывающем принципиальные споры преломлении. Через все свое творчество Тышлер пронес любовь к пластическим парадоксам, к сопоставлению, казалось бы, несопоставимого. Он рисует прекрасных женщин, на голове которых высятся дома, старинные корабли, балаганчики, карусели, свечи, цветы. Эти образы воспринимаются как персонажи какого-то большого удивительного представления, создаваемого Тышлером-живописцем и Тышлером — театральным художником. Театральная природа дарования Тышлера пронизывает и во многом объясняет его живопись. Существуют и более первичные истоки его творчества — это острая связь с народным искусством. Рассказ об этих истоках, о том, как вводит Тышлер фольклорную стихию в современную живопись и театр, является, быть может, самым ценным в монографии Ф. Сыркиной. В этой книге показано, как в атмосфере творчества народных еврейских мастеров-ремесленников — бондарей и столяров, кузнецов и плотников, маляров и вязальщиков корзины — вызревал будущий художник. Здесь рождалась его любовь к материалу, страсть к созиданию вещей. Здесь перед ним прошли образы многих его будущих произведений: «странствующие акробаты, на которых глазают сытые мешане, уличные торговцы, таскающие на себе весь свой товар, бродячие музыканты, цыганские таборы на пологих берегах Молочной, солнечные пейзажи, бедные жители южного городка, привыкшие носить на головах корзины с рыбой, бельем, овощами, цветами, хлебом, мороженым, разными изделиями рук своих».

И театр для Тышлера будет дорог прежде всего как место, где живет дух балагана, народного представления, разыгрываемого на площади. В этом смысле искусство Тышлера находится в русле поисков Вс. Мейерхольда и других режиссеров двадцатых годов, которые возрождали в театре его площадную сущность. У Тышлера таким спектаклями стали «Король Лир», созданный в содружестве с С. Михоэлсом, «Ричард III» и весь дальнейший шекспировский цикл, тонко и глубоко разработанный автором монографии. В этих работах яснее всего раскрылось понимание Тышлером современной театральной эстетики: подлинность, психологическая достоверность, мужественная простота образов

шекспировских героев, предельно демократичных, близких нам людей,— и откровенная условность пластического мира, который выстроен художником на подмостках и в котором разворачивается действие спектакля.

Ф. Сыркина интересно рассказывает об основных темах художника. Это серии, посвященные гражданской войне и революции («Смерть командира», «Всадник с красным знаменем» и другие полотна). Сыркина точно сравнивает их с песней, поэтической легендой. Здесь Тышлер предстает как увлеченный романтик, пишущий чистую, юношески светлую пору жизни народа. В тридцатые и последующие годы романтические устремления Тышлера находят своеобразный выход в картинах и спектаклях на цыганскую тему, которая виделась художнику как тема вольности. Близок Тышлеру поэтический мир Э. Багрицкого и И. Сельвинского, поэмы которых он иллюстрировал в тридцатые годы. Но особенно увлеченно работал художник над произведениями Вл. Маяковского — завершением этой линии творчества стал спектакль «Мистерия-буфф», где родственность эстетических взглядов поэта и художника обнаружилась в веселом переплетении реального и фантастического, дерзкой гиперболичности и мистериальной торжественности праздничного представления. Наконец, картины, которые пронизаны тревогой. Ф. Сыркина показывает, как художник в разные годы и в разных произведениях — от «Бойни» 1925 года до «Казненного ангела» 1964 года и «Расстрела голубя» 1965 года — находит своеобразное воплощение темы судьбы Человека и Искусства. Искусство для художника — наивысшее проявление творческой, созидательной природы человека, способного противостоять фашистскому варварству, бездуховности, насилию. Сюда же относится и серия «Клоунов», которая начинается шутом из «Короля Лира».

Из претензий, которые можно предъявить автору монографии, главной является та, что Тышлер рассматривается несколько изолированно от развития всего советского искусства. Единственное в книге сопоставление искусства художника с иным направлением — с конструктивизмом — не кажется убедительным.

Жаль, что эта книга, написанная выразительным языком и хорошо изданная, уже сейчас стала библиографической редкостью, ее весьма скромный тираж — 6500 — заведомо сделал ее недостижимой для многих любителей изобразительного и театрального искусства.

В. Березкин.

★

БАРТОЛОМЕ ДЕ ЛАС-КАСАС. К истории завоевания Америки. «Наука». М. 1966. 228 стр.

В прошлом году исполнилось четыреста лет со дня смерти великого испанского гуманиста Бартоломе де Лас-Касаса, одного

из первых в истории обличителей колонизаторов. Сектор Америки Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР в сотрудничестве с американцами других гуманитарных институтов выпустил к этому юбилею сборник статей, посвященный памяти Бартоломе де Лас-Касаса. Наряду с известными советскими исследователями в сборнике приняли участие видные ученые Латинской Америки.

Что представляло собой открытие и завоевание Нового Света испанскими конкистадорами? Защитники колониализма утверждают, что конкистадоры были носителями «высшей», христианской культуры, что они, покорив индейцев, «приобщили» их к бесценным дарам европейской цивилизации.

Разоблачать этих апологетов современного колониализма и неоколониализма нам помогают свидетельства очевидцев. Одним из них был доминиканский монах Бартоломе де Лас-Касас — участник конкисты и свидетель чудовищных зверств и насилий, посредством которых завоеватели насаждали свою власть. На его глазах было порабощено и истреблено индейское население Кубы, Гаити, Мексики, Венесуэлы.

Возникает, однако, вопрос: почему Лас-Касас не подвергся преследованиям за свои взгляды, почему корона поддержала его идею о провозглашении индейцев свободными людьми, а сам он получил титул «покровителя индейцев всех Индий». Корона надеялась, что провозглашение индейцев свободными поставит конкистадоров в зависимость от Испании и заставит их вновь аккуратно делиться своими доходами с казной.

Авторы сборника осветили еще одну, до сих пор не исследованную сторону деятельности Лас-Касаса: его борьбу за освобождение негров-рабов на американском континенте. На авторитет Лас-Касаса ссылались такие борцы за свободу и независимость Латинской Америки, как Миранда, Боливар, Хосе Марти. Не меньшее значение его труды имеют и в наши дни.

Юрий Галин.

★

Е. ЧЕРНЕНКО. Жизнь в саду. «Детская литература». М. 1966. 190 стр.

Сын крестьянина-бедняка из захолустной украинской деревни С. Ф. Черненко с юности мечтал о прекрасных садах. Природное чутье помогло ему в первых опытах. Он ищет все новые формы скрещиваний яблонь, отдает этой страсти все немногие часы своего досуга.

В советские годы пятидесятилетний самоучка садится (кстати, заодно со старшей дочерью) на студенческую парту. Получив высшее образование, он через несколько лет становится доктором сельскохозяйственных наук и профессором.

К этому времени работы С. Ф. Черненко находят широкое признание в науке и практике. Созданные им новые виды яблонь,

сочетающие в себе лучшие качества средне-русских и южных сортов, быстро распространились. На Украине и в Казахстане, в Крыму и в Сибири, в самых различных климатических зонах Советской страны цветут и плодоносят черненковские яблони. Их красивые сочные плоды отличаются одной важной особенностью — они рано созревают, но годными к употреблению становятся лишь спустя несколько месяцев: одни в ноябре, декабре, другие — в январе, третьи — в феврале, марте. И есть наконец такие сорта, которые хорошо сохраняются до мая—июня (надо лишь умело хранить их). Народ прозвал этот поразительный ассортимент плодов яблоневым календарем: каждый месяц на стол подаются свежие яблоки.

В арсенале галантливого селекционера много чудес. Им, например, создан первый

в мире гибрид яблони и груши, проведены интересные опыты с безлепестной яблоней и другие. Труды С. Ф. Черненко раскрывают перспективы той большой преобразовательной деятельности, которую еще предстоит развернуть будущим поколениям.

В небольших очерках, из которых состоит вся книга, рассказано о настойчивой, целеустремленной борьбе селекционера за осуществление своей мечты. В ней много интересного и познавательного материала о тайнах скрещивания, создании новых форм растений. Юный и взрослый читатель узнает также много нового и любопытного о малоизвестных широкой публике кудесниках русского садоводства — Симиренко, Шредере, Кичунове, Пашкевиче, с которыми встречался Черненко.

С. Смуглый.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. 64 стр. Цена 7 к.

Владимир Ильич Ленин. Биография. Издание третье. 695 стр. Цена 1 р. 56 к.

В. Горюх. Перед грозой. 72 стр. Цена 7 к.

Г. Дзидзария. Ефрем Эшба. 70 стр. Цена 10 к.

Ленин в 1917 году. Воспоминания. Сборник. 388 стр. Цена 1 р. 8 к.

Методическое пособие по философии. Для школ основ марксизма-ленинизма. 303 стр. Цена 43 к.

Национально-освободительное движение. Книга для чтения. 375 стр. Цена 65 к.

П. Рогачев, М. Свердлин. Нации — народ — человечество. 191 стр. Цена 28 к.

П. Родионов. Коллективность — высший принцип партийного руководства. Разработка, развитие и воплощение ленинского принципа коллективности в деятельности КПСС. 287 стр. Цена 57 к.

Э. Росс. Великий Октябрь и рабочее движение Австралии. Перевод с английского. 144 стр. Цена 20 к.

Б. Ширендыб. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Монголию. 99 стр. Цена 14 к.

Ю. Юданов. Монополия-грабитель (Концерт «Юнилевер»). 71 стр. Цена 6 к.

Б. Ярошевский. Зеленое чудовище. 71 стр. Цена 6 к.

«МЫСЛЬ»

Английские материалисты XVIII века. Собрание произведений в трех томах. Перевод с английского. Том 2. 405 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Антипов. Индонезия. Эконом-географические районы. 263 стр. Цена 1 р. 8 к.

В. Афанасьев. Основы философских знаний. Для слушателей школ основ марксизма-ленинизма. 351 стр. Цена 60 к.

О. Борисов и Б. Колосков. Борьба КПСС за единство и сплоченность революционных сил современности. 191 стр. Цена 21 к.

Борьба большевистской партии за создание политической армии социалистической революции (март — октябрь 1917 года). Сборник статей. 368 стр. Цена 1 р. 42 к.

В огне революционных боев (Районы Петрограда в двух революциях 1917 года). Сборник воспоминаний старых большевиков-питейцев. 583 стр. Цена 1 р. 81 к.

Л. Воляновский. Луна над Танти. Перевод с польского. 144 стр. Цена 45 к.

Г. Габинский. Критика христианской апологетики. 175 стр. Цена 27 к.

И. Грушев. Исторический опыт КПСС по осуществлению ленинской национальной политики. 420 стр. Цена 1 р. 65 к.

Б. Долгорма. Государственный бюджет и планомерное социалистическое строительство в МНР. 96 стр. Цена 14 к.

Из истории национального строительства в СССР. 104 стр. Цена 32 к.

Т. Кулиев. Проблема интересов в социалистическом обществе. 183 стр. Цена 57 к.

В. Лаврычев. По ту сторону баррикад (Из истории борьбы московской буржуазии с революцией). 288 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Макаров. Историко-философское введение к курсу марксистско-ленинской философии. Второе издание. 423 стр. Цена 65 к.

Общее и специфическое в диктатуре пролетариата. 192 стр. Цена 60 к.

Г. Ренар. В тени Альгамбры. Путешествие по Испании. Перевод с немецкого. 142 стр. Цена 59 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Голубов, А. Зяблов и В. Калупов. Учет в оптовой торговле. 157 стр. Цена 51 к.

В. Зубчанинов. Экономические основы конструирования технологического оборудования. 159 стр. Цена 53 к.

А. Кобринский и Н. Кобринский. Кибернетика в управлении производством. 64 стр. Цена 17 к.

Ю. Константинов. Финансирование и кредитование технического прогресса. Контроль за использованием основных фондов. 71 стр. Цена 17 к.

Министерство и НОТ. Сборник статей. 183 стр. Цена 75 к.

Очерки по современной советской и зарубежной экономике. Выпуск пятый. Под редакцией Н. Ознобина. 352 стр. Цена 82 к.

Г. Раздорский. Товарный характер социалистического производства. 191 стр. Цена 76 к.

П. Силинский. Планирование народного хозяйства в области. 118 стр. Цена 32 к.

Я. Столяров. Цена и рентабельность в общественном питании. 214 стр. Цена 54 к.

Экономическая наука и хозяйственная практика. Экономический ежегодник. Главный редактор С. Первушин. 352 стр. Цена 1 р. 48 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Арденс. Ссылный № 33. Роман. 544 стр. Цена 95 к.

П. Боцу. Материки. Стихи. Перевод с молдавского. 111 стр. Цена 21 к.

И. Бражнин. Южная тетрадь. Записки военного корреспондента. 242 стр. Цена 46 к.

И. Велембовская. Женщины. Повести и рассказы. 283 стр. Цена 48 к.

Г. Георгию. Тепло земли. Роман. Перевод с молдавского. 272 стр. Цена 42 к.

А. Глебов. Рассказы о сильных. 311 стр. Цена 63 к.

А. Городницкий. Атланты. Стихи. 110 стр. Цена 15 к.

Ц. Динер. Человек рядом. Стихи. Перевод с латышского. 91 стр. Цена 16 к.

Ц. Дондокова. Солнце-гора. Стихи. Перевод с бурятского. 96 стр. Цена 19 к.

Д. Зорин. Русская земля. Роман. 511 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Катаев. Святой колодец. 139 стр. Цена 28 к.

В. Карнылов. Возраст. Книга стихов. 99 стр. Цена 26 к.

Л. Ленч. От и до. Избранные юмористические рассказы. 480 стр. Цена 77 к.

Г. Люшин. Стойкость. Стихи. 95 стр. Цена 15 к.

В. Маканин. Прямая линия. Роман. 254 стр. Цена 27 к.

В. Монастырев. Тетрадь с девизом. 352 стр. Цена 61 к.

В. Панов. Сквозь лес и степь. 360 стр. Цена 54 к.

Ю. Полухин. По ту сторону добра. Дневной поезд. Повести. 310 стр. Цена 50 к.

А. Рутько. Пленительная звезда. Трилогия. 432 стр. Цена 74 к.

Рядом с героями. Сборник. 427 стр. Цена 1 р. 9 к.

Д. Семернин. Дерево. Сборник стихотворений. 106 стр. Цена 17 к.

А. Чиков. Янтарь. Стихи. 91 стр. Цена 15 к.

Д. Юферев. Останемся неизвестными. Роман. 816 стр. Цена 1 р. 65 к.

Яков Ильин. Воспоминания современников. 352 стр. Цена 84 к.

Э. Январев. Переправа. Стихи. 87 стр. Цена 19 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Деледда. Свирель в лесу. Рассказы. Перевод с итальянского. 287 стр. Цена 59 к.

К. Кулиев. Избранная лирика. Перевод с балкарского. 415 стр. Цена 60 к.

Лао Шэ. Развод. Роман. Перевод с китайского. 221 стр. Цена 61 к.

Монгольские сказки. Перевод с монгольского. 264 стр. Цена 44 к.

И. Нонешвили. Стихотворения. Перевод с грузинского. 206 стр. Цена 41 к.

И. Рождественская. Поэзия Эдуарда Багрицкого. 311 стр. Цена 73 к.

А. Страшмиров. Хоро (Избранные произведения). Перевод с болгарского. 363 стр. Цена 51 к.

К. Федин. Костер. Роман. Кн. 1. Вторжение. 526 стр. Цена 3 р. 65 к.

А. Чапыгин. Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. Рассказы и повести. 1904—1916. 594 стр. Цена 1 р. 5 к.

Н. Шелгунов, Л. Шелгунова, М. Михайлов. Воспоминания. В двух томах. Том I. 511 стр. Цена 1 р. 8 к. Том II, 636 стр. Цена 1 р. 29 к.

К. Шульц. Камень и боль. Микеланджело Буонаротти. Роман. Пеззод с чешского Д. Горбова. 638 стр. Цена 2 р. 42 к.

И. Эвентов. Жизнь и творчество Демьяна Бедного. 271 стр. Цена 82 к.

Эркман-Шатриан. История одного крестьянина. Роман в двух томах. Перевод с французского. Том I—455 стр. Цена 95 к. Том II—483 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Адамов. Стая. Повесть. 272 стр. Цена 55 к.

Айбен. Священная кровь. Роман. Перевод с узбекского. 335 стр. Цена 75 к.

О. Груднин. Путь к себе. Повесть. 416 стр. Цена 73 к.

Э. Дубровский. Стреляные гильзы. Рассказы. 173 стр. Цена 18 к.

М. Емцев и Е. Парнов. Море Дирака. Фантастический роман. 460 стр. Цена 61 к.

Г. Колосов и Л. Шестерников. В фокусе — фоторепортер. 192 стр. Цена 43 к.

М. Обregon. Стихи из глины. Перевод с испанского. 128 стр. Цена 32 к.

Поэмы. Баллады. Стихи. Песни. Сборник. 392 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Смирнов. Саша Чекалин. Повесть. 384 стр. Цена 89 к.

Д. Сарабьянов. Образы века. О русской живописи XIX столетия, ее мастерах и их картинах. 176 стр. Цена 81 к.

Товарищ Ленин. Воспоминания, стихи, рассказы. Композиция. Составитель С. Лесневский. 238 стр. Цена 74 к.

И. Фоянов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

А. Яковлев. Сквозь льды. Повесть о полярном исследователе Руале Амундсене. 191 стр. Цена 35 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Взрыв. Рассказы современных вьетнамских писателей. Перевод с вьетнамского. 144 стр. Цена 32 к.

А. Власов, А. Млодик. Вейся над нами (О подвигах героев знаменосцев). 320 стр. Цена 72 к.

Ф. Майхнер. Гадкий утенок. История жизни сказочника Ханса Христиана Андерсена. Перевод с немецкого. 127 стр. Цена 34 к.

И. Панькин. Начал одной жизни. Повесть. 224 стр. Цена 43 к.

А. Садовский. Мальчик с Выборгской. Повесть. 191 стр. Цена 37 к.

Е. Таратуга. По следам «Овода». 224 стр. Цена 44 к.

В. Церлинг. Растения рассказывают. 96 стр. Цена 30 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Бояджиев. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. 555 стр. Цена 2 р. 33 к.

Б. Брехт. Обработки. Ветупительная статья И. Фраддина 487 стр. Цена 1 р. 90 к.

Л. Волков-Ланнит. В. И. Ленин в фотоискусстве. 292 стр. Цена 2 р.

Н. Калитина. Музеи Парижа. 224 стр. Цена 1 р. 42 к.

Г. Мамлин. Обелиск. Драма. 63 стр. Цена 20 к.

Я. Маркулан. Кино Польши. 291 стр. Цена 1 р. 88 к.

В. Мириманов. Африка. Искусство. 143 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. Митрофанов. Современная монументально-декоративная керамика. 182 стр. Цена 1 р. 12 к.

Показывает «Мосфильм». Сборник статей. 116 стр. Цена 86 к.

Правда кино и «киноправда». По страницам зарубежной прессы. 336 стр. Цена 1 р. 53 к.

Талант и мужество. Воспоминания. Дневники. Очерки. 223 стр. Цена 1 р. 9 к.

Э. Эйнгорн. Основы фотографии. Перевод с чешского. 279 стр. Цена 1 р. 60 к.

Экран. 1966—1967. Сборник статей. 344 стр. Цена 2 р. 16 к.

«НАУКА»

Д. Аллегро. Сокровища медного свитка. Перевод с английского. 188 стр. Цена 61 к.

Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятипятилетию академика Н. И. Конрада. 511 стр. Цена 2 р. 91 к.

О. Кемаль. Мстительная волшебница. Рассказы. Перевод с турецкого. 128 стр. Цена 36 к.

Х. Кинн. Как строились египетские пирамиды. 110 стр. Цена 34 к.

А. Коломиец. «Манга». Сборник рисунков Хохусая (Исследование). 136 стр. Цена 61 к.

Маргарита Наваррская. Гелтамерон. Перевод с французского. 420 стр («Литературные памятники»). Цена 1 р. 95 к.

Новое о прошлом нашей страны. Памяти академика М. Н. Тихомирова. 392 стр. Цена 2 р. 33 к.

Л. Онвана. Мы убиваем Паршивую Собаку. Рассказы. Перевод с португальского. 96 стр. Цена 26 к.

И. Симонич. Воспоминания полномочного министра. 1832—1838 гг. Перевод с французского. 176 стр. Цена 58 к.

О. Старосельская-Никитина. Эрнест Резерфорд. 1871—1937. 316 стр. Цена 1 р. 6 к.

Церковь в истории России (IX в.—1917 г.). Критические очерки. 336 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Брунс. Писатель и американская жизнь. Перевод с английского. Том первый. Расцвет Новой Англии. 424 стр. Цена 2 р. 13 к.

А. Верт. Россия в войне 1941—1945 гг. Авторизованный перевод с английского. 774 стр. Цена 2 р. 79 к.

Из норвежской поэзии. 10 норвежских лириков. 128 стр. Цена 24 к.

Кин Тацу Дзю. Суд над Пак Талем. Перевод с японского. 64 стр. Цена 16 к.

Ж. Превер. Избранные стихи. Перевод с французского. 171 стр. Цена 33 к.

Э. Станев. Иван Кондарев. Роман. Части третья и четвертая. Перевод с болгарского. 558 стр. Цена 1 р. 74 к.

Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года. С изменениями и дополнениями на 1 января 1966 г. Перевод с французского. 323 стр. Цена 1 р. 2 к.

Б. Ширендыб. Минута капитализма. Перевод с монгольского. 136 стр. Цена 73 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

О. Высотская. Поиски тепла. Стихи разных лет. 94 стр. Цена 12 к.

И. Фейнберг. История одной рукописи. Рассказы литературоведа. 173 стр. Цена 25 к.

Э. Цюрупа. Умеешь ли ты читать? Книга о книгах и людях, их написавших. 335 стр. Цена 1 р. 44 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Толкунова. Право женщин на труд и его гарантии. 192 стр. Цена 97 к.

Ю. Циерман. Правовой режим основных и оборотных средств государственного промышленного предприятия. 151 стр. Цена 49 к.

П. Элькинд. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. 192 стр. Цена 78 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**
(ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 15/VI 1967 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 17/VIII 1967 г.
А 02596.	Формат бумаги 70×108 ^{1/16} .	9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
	Зак. 2033.	Тираж 144.200.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636